

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2003

8



2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ. Книга о жизни (предвоенные главы);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Избранные места для переписки с
друзьями (роман);
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое
Василии и подвижнице Серафиме;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический
роман);
ЕЛЕНА ИСАЕВА. Первый мужчина (театр.doc);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
ИНГА КУЗНЕЦОВА. У окраины сердца (стихи);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Заболоцкий и Пастернак (эссе);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Долгожители (рассказ);
АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
ИГОРЬ МЕЛАМЕД. После многих вод (стихи);

ТАТЬЯНА МИЛОВА. Вечная перемена (стихи);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Три рассказа;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное пове-
ствование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
РОМАН СЕНЧИН. Вперед и вверх на севших батарейках (по-
весть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»;
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Бабушкин спирт (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
АНТОН УТКИН. Новый роман;
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. Пушкинский бульвар (сюжеты);
ГУСТАВ ШПЕТ. «Я пишу как эхо Другого...» (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГО-
РИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА
КУШНЕРА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ,
ДМИТРИЯ ПОЛИЩУКА, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ
СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ,
статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ
БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИ-
МИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ
ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТ-
КИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИ-
НА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ
СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО и
других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек, 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи начиная с 1 сентября.

Те из вас, кто имеет возможность приходиться за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДРА МОЧАЛОВА — На грани стекла и огня, стихи	7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Без политики, повесть	12
ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ — Ненадежное солнце, стихи	62
ГЕОРГИЙ КАЛИНИН — Пробуждение, рассказы	66
НАТАЛЬЯ ВАНХАНЕН — Одни наречья, стихи	74
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ — Реабилитация, или Письма из Испании	78
ЯН ШАНЛИ — Под ногой у цапли, стихи	112

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АЛЕНА АНДРЕЕВА — Колумбийские впечатления	117
---	-----

ОПЫТЫ

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ — Ночной дозор. Из цикла «Сатана в шкафу»	132
ВЛАДИМИР ХОЛКИН — «Колобок»: смерть поэта	140

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — У Астафьева	145
-------------------------------	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Христос и машина времени	148
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Диалогия Василия Гроссмана. Из «Литературной коллекции»	154
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Евгений Ермолин. Где ваша улыбка?	170
Юрий Кублановский. Чижик-пыжик и поворот	172
Алексей Машевский. Что содержит жизненная форма?	174
Валерий Сендеров. Конец конца истории, или После либерализма	178

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА	183
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	190
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	194
WWW-ОБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ КОНРАДОВОЙ	200

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	207
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	210
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

**КАК ВЫ ХОРОШО ЗНАЕТЕ,
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕНЫ
БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ «НОВОГО
МИРА» ДЛЯ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ РАНЕЕ ИНСТИТУТОМ
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» (ФОНДОМ СОРОСА).**

**У РЕДАКЦИИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ РАССЫЛКУ
ДАЖЕ В БОЛЕЕ СКРОМНЫХ МАСШТАБАХ.**

**ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ПРОДЛИТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ
ПОДПИСКУ НА 2004 ГОД, ПОСКОЛЬКУ У МНОГИХ НАШИХ
ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕЖИМИ НОМЕРАМИ ЖУРНАЛА,
КРОМЕ КАК В БИБЛИОТЕКЕ.**

**ПОДПИСЫВАЯСЬ СЕГОДНЯ НА «НОВЫЙ МИР»,
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ, КОТОРЫЙ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ
XX ВЕКА САМ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

АЛЕКСАНДРА МОЧАЛОВА



НА ГРАНИ СТЕКЛА И ОГНЯ

С осени прошлого года я, сам выпускник Литинститута (семинар Евгения Винокурова), веду в Литературном институте семинар поэзии у заочников.

Семинар (пока) большой, двадцать один человек.

Большинство из них — взрослые люди, с образованием, профессией, зачастую — с публикациями (как правило, в местной печати, в Сети), с большими — зачастую преувеличенными — надеждами.

Часто студенты оказываются интереснее своих текстов.

Вятская художница Александра Мочалова — одна из тех, в ком есть не только, что называется, способности, но и дарование (дар=подарок), что не очевидно даже среди студентов Литинститута.

У нее есть и голос, и слух — поэтический (по аналогии с музыкальным).

Она пишет долгие красивые стихотворения.

Одаренному человеку нужна своевременная смена аудитории.

Остальное — таинственно и непредсказуемо.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

Натюрморт с лимоном

Едва касаясь краешка стола
И спинки стула — то, что было раньше,
Ко мне вернулось и к виску примкнуло:
Сто лет назад я также здесь жила.
И апельсин в ладони был оранжев
Настолько же, когда ладонь бела.

Не знаю я, ладонь или ладья
В замедленном скольжении мгновенья
На краешек поставит бытия,
Как натюрморт, мое стихотворенье.

Вот очертания приобрела
Серебряного кораблекрушенья
Темно-коричневая палуба стола.
Сто лет назад я рядом с ней плыла
В размере головокруженья.

И все заведомо, над флотом небольшим
Командует обветренный, бывалый
Дух чаепитий. Это он кружит,

Мочалова Александра Александровна родилась в Кирове (Вятка) в 1977 году. Закончила Вятское художественное училище им. А. А. Рылова по специальности живопись. Работала бутафором-декоратором в Кировском ТЮЗе (Театре на Спасской), декоратором в Театре кукол. Публиковалась в областных газетах и журналах, коллективных сборниках. В «Новом мире» печатается впервые. Живет в Кирове.

Витают и движения вершит
У спинки стула, словно у штурвала.

Плетет из нот несложный клавесин
Вдоль комнаты игру теней и света.
Я опускаю красный апельсин
Среди поставленных предметов.

И все во всем слегка отражено.
Заключено в фарфоровых узорах.
И апельсин в поверхности приборов
Затеplился цветным веретеном,
Кирпичной пыли мелким перебором.

Но в сочетания, затеянные кем-то,
Тем, кто ни мной, ни мне необъясним,
Для глубины необходима синь —
Взыскательна гармония акцента.
Ее старательной рукой ультрамарин
Одной из кружек чуть смещен от центра.

На фоне матовом фарфорового блюда
Я по лимону лезвием веду.
Для сердца терпкую возьму беду,
Иголочные капельки прольются.

Здесь от Востока желтого и жаркого песка
Тончайшей ниточкой сокрытого истока
Смешалась с цитрусом туманная тоска
И воздух Рождества с лимонным соком.

Тончайшей хрупкости подвержен натюрморт.
В нем фиолет и снег и зной кифары.
В мой сахарный фарфор песок Сахары
Как из часов песочных перейдет.

У ложечек особые дела:
То лодочник в серебряном почете
В своем перенесении весла
Участвует, как будто бы в полете,
В рассеянном движении крыла.

Но мнимый распорядок не случаен,
Все по своим расставлено местам,
Как в шахматах. И чайник Notre Dame
В потертом лаке повторен печально,

И «натюрморт» отринул перевод,
По смыслу тот, что «мертвая натура»,
Гуляет норд меж башенками чашек,
И свято чтит невидимый народ
Лимонное колесико фортуны,
Настольный город кораблей и башен,
Обветренный штурвал у спинки стула.

Сей синеглазый мир и корки серпантин,
Контраст, пульсирующий в глянце,

Уж верно, знали малые голландцы
И век назад художник, что носил
Серебряное имя Константин
И в жизнь играл с трагедией паяца.

И если плоскость прочная светла,
То, словно в мраморе прожилки,
Опаловая палуба стола
Окружности посуды приняла,
Как белые на белом жизни.

Как чай и сахар перемешан мир.
И люди стол теснее окружили.
И стрелки ложечек, и золотой пунктир
Движение по кругу завершили.

И каждому казалось, что сюда
Явился он по собственному делу.
Тогда, когда над плоскостью стола
Дух чаепитий властвовал всецело:

Притягивал, рассаживал фигуры
И светом кружевным плутал по лицам,
И золотой полоской контражура
Спадал вдоль плеч, и синевой в ресницах
Ютился, любопытствуя прищуром

Во взглядах, расположенных друг к другу
В обыкновенье разговорных тем —
Всех тех, кого собрал сюда затем,
Чтоб завершить движение по кругу.

* *
*

...Плету, плету не отрываясь,
Но доплести не успеваю.
Сейчас поднимут крылья братья,
Сейчас костры поднимут крылья
И люди гордо вскинут брови.
Надменной медью реет пламя,
Пустой соломы позолота
Мгновенно превратится в уголь.
Но превосходны переходы
В немом произвольном звуке,
От мук произрастая в радость.
И крылья переходят в руки,
И руки в круг объединенный...
— Ограждена ли от испуга,
И от костра, и от печали,
И от молчания, сестра?
— Едва ли мне не быть спасенной.
И лишь того не избежать мне:
Всю жизнь крапивные объятья
Плету, плету не отрываясь,
Но доплести не успеваю...

Стекланный Человечек

— Станный вы народ — люди! — сказал,
усмехаясь, Стекланный Человечек. — Всегда
недовольный тем, что есть.

В. Гауф, «Холодное сердце».

Тропой Лорелеи
Меж темными елями, словно в бреду,
Как только умею, едва, еле-еле
Над Рейном бреду.

У пепельной ели живет в подземелье
Мой хрупкий лесной стеклодув.
Под хвойною тенью, тропой Лорелеи,
В зеленую чащу иду.

Меж птиц и растений тропинка к тебе ли? —
Веду разговор на ходу.
Беду ли найду я в лесной колыбели,
Покуда тебя не найду?

Я буду шептать заклинанья, бледнея,
Чернея в огне и в аду,
А ежели губ разомкнуть не посмею —
Молчу, заклинаю и жду:

Явись предо мною, пред ясные очи —
Еловый, подземный, чудной,
Сквозной колокольчик, веселый стекольщик,
Прозрачный, как месяц ночной.

Явись предо мною,
На доброе сердце, тепла и стекла не жалея.
Дыханьем стекланный сердце земное
Согрей, а захочешь — разбей.

Сквозь чистый и ясный осколок на свечку
Посмотришь — увидишь меня.
Там сердце на грани стекла, Человечек,
На грани стекла и огня.

В стекланные реки увидишь, как руки
По Рейну сплавляют леса,
На выдох стекольное дело сквозь трубки
В сосуды всплеснет чудеса.

И спросишь: «Чего ты хотела у ели —
Понять, поменять, обрести?
Людские желанья, заветные цели
Просты, но не ясны, прости».

Тропой Лорелеи
Меж темными елями, словно в бреду,
Как только умею, едва, еле-еле
Над Рейном иду...

* *
*

Когда, спускаясь по спирали,
Тоскуя, полдень смотрит шире,
Я вижу красоту детали,
О целом забывая мире.

И словно слышу об уходе.
На фоне графики рябин
Как ваш рисунок не свободен,
Как ярк осени рубин.

И снова рядом благороден
Ветвей орнамент не прямой.
Как ваш рисунок не свободен,
Как не свободен мой.



ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

БЕЗ ПОЛИТИКИ

Повесть

1

Старый хер, я сидел на краешке ее постели. Весь в луне — как в коко-не чистого серебра.

В том-то и дело! Старикан Алабин сидел на самом краешке ее постели. Конечно, напряженно. Конечно, с опаской. Но луна за окном вдохновляла!

Ни к чему много света. Закопная луна это понимала не хуже меня: на спящую молодую женщину хватило одного луча, но какого! Воистину чудо. Я был в отпаде. Я не дышал. Луч тоже не дышал. (Картина старых мастеров. Уже наш Вермеер. Вот он. Откровенный. Самую чуть.) Хотя, по сути, чтобы пускать слюну, лунному лучу открыто было не так уж много. Лицо... И сонно нависшая женская грудь. И пожалуй, подчеркнута диагонально рука — узкая, выпроставшаяся из-под легкого одеялка.

Я немного придвинулся. За полчаса я всего-то преодолевал расстояние в сантиметр. Чужак. А что поделат! (Зато в их дом я пробрался за пять минут — половицей не скрипнув, прошел веранду, прошел комнату. Большую их комнату с фортепьяно... Взял влево... И в три мягких шага оказался в спальне.) Однако теперь медлил и вел счет на сантиметры... Тем более, что едва придвинувшись на первый же смелый сантиметр, я замер. Я вдруг учуял запах. Сладковатый.

Он исходил как бы от ее лица. Что-то необычное и пряное?.. Эту пряность ее дыхания я учуял еще вчера. Утром. (Когда напросился сюда, к Даше, на чай.) Но я уже забыл... Луч... Я тонул глазами. Луч не давал думать... Луна завораживала. Луч, смещаясь, показывал теперь фрагмент той же картинки. Лицо и грудь.

Невольно насторожившись, я втянул воздух (и сладковатого ее запаха) побольше... Спит... Я еще к ней склонился. Еще. Получалось, что я осторожно пробовал лечь с ней рядом. (Я хотел бы лечь. Это правда. Но движения, чтобы лечь, я не делал.) Я только вбирал ее пряное дыхание. А Даша проснулась.

И тотчас, инстинктивно, толчком бедра она сбросила меня на пол. Включила ночник. Я стал оправдываться. Сидя на полу... Объяснение было, конечно, нелепо. Фантазии никакой!.. Мол, шел ночью к некой женщине, а попал на дачу к ним. Ошибся в темноте домом... Даша только фыркнула:

— Что за сказки, Петр Петрович!

Но я опять... На дачах бывает!.. Ночью вдруг заблудишься... Темно... Мое словоизлияние Даша решительно перебила — она хотела спать.

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в Орске Оренбургской обл. Окончил МГУ. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

Из книги «Высокая-высокая луна». (См. также: «Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10; «Неадекватен» и «За кого проголосует маленький человек» — «Новый мир», 2002, № 5.)

— Хватит. Иди на веранду, дед... Там диванчик.

Я подумал, не попытаться ли хотя бы обнять ее. Для контакта.

— Иди, иди, дед! На диван. Там есть одеяло... Утром кофейку выпьем. Я сник.

— Я, Даша, вчера яблоки принес.

— Видела.

— Отличные яблоки.

— Видела... В нашем саду и насобирал, а?

Я нехотя отправился на веранду — и уже оттуда с обидой ей выговаривал. Ворчал, что, мол, за люди кругом! Что за гнусные наговоры! Эти их склоки... Эти их дачные друг на дружку поклепы, которые разносятся как ветром!.. Однако же что правда, то правда. Ее яблочки. Они. Когда шел, не мог не протянуть руки. Не удержался! (У меня ни такого сада, ни таких яблок.) А они потрясающи. Они одуряли. Они манили. Давно не видел таких крупных.

Луна сияла, а я лежал на диванчике и тускло обдумывал неудачу. И заснул. Я как-то и луну забыл.

Даша (уже при ярком утреннем свете) стояла надо мной и с издевкой, молодая, смеялась:

— Дед. А что тебе, хи-хи-хи, от меня было надо?

Я огрызнулся:

— Хи-хи-хи, не скажу.

Смеялась:

— Ну, дед! Ну, влюбленный!.. Ночная атака, ха-ха-ха... хи-хи-хи!.. А в чем, собственно, был твой, хи-хи-хи, интерес? Чего ты хотел?.. Но ты уверен, дед, что ты *чего-то* хотел, ха-ха-ха-ха!

Я вяло поднялся. Нечего смеяться над сонным. (Я хотел, хотел! Не сомневайся!)

Со сна я плескал себе водой в лицо. Я люблю воду.

Именно так. Со сна старикан Алабин плескал себе водой в лицо, и на шею, и за ушами — летним утром холодная вода очень освежает.

Услышал... Это пришла, притопала к Даше соседка. Из небогатых. Тощая и облезлая — из тех косматых ведьм, что поутру всегда что-то, бедные, клянчат. Но при всем том каков голосище... Валерьянку ей *и пару сотен рублей!* Батон хлеба *срочно!* Насос для колодца *до вечера!*.. Что-нибудь да выпросит. Даша очень умно поспешила старухе навстречу — не дать ведьме шанса вопить на весь поселок.

А в воздухе ванной, где старикан умывался, слышалось женское присутствие минуто-две назад. Чертовка! Плыл и здесь сладковатый пряный запах... Конечно, Даша... Даша на минутку уже заглядывала... Старый Алабин наскоро вытерся и, втягивая ноздрями, целил носом то туда, то сюда. Ванная комната здесь велика! Однако щекочущий ноздри запах нигде не становился сильнее. Нет. Никаких таких *порошков...* Теперь — в углах.

Когда крикливая соседка ушла, Алабин уже и с углами покончил. Он обследовал зеркало... За зеркалом... В шкафчике. На верхней полочке и даже за трубами с горячей водой (если встать на табурет). На самом полу, возле фаянсового тюльпана... Ничего. Нигде. И тогда старый Алабин прошел на кухню.

Да, да, я быстро-быстро на кухню — там Даша у плиты разжаривала картошку, заливая ее яйцами. Я подошел тихонько к ней сзади и обнял. Сзади удобно обнимать. Особенно же пользуясь тем, что женские руки заняты готовкой.

— Но-но! — прикрикнула. И залилась: — Ха-ха-ха. Хи-хи-хи!..

И вчера, и сегодня — прежде чем вот так хихикать и хахакать, она отлучалась в ванную комнату. (Я припомнил.)

— Ха-ха-ха. Хи-хи-хи!.. — И мощно оттолкнула меня задницей.

Кобылица!

Я успел ощупать: в карманах ее халатика, их всего два, ничего не было. Ни намека. И на молодом теле, под легким ситчиком, нигде не топорщилось, не шуршало и не бугрило.

Не обнять ли. Не начать ли поутру новой атаки в такой, казалось бы, доступности ее тела. Всего-то халатик! — думал я. Но смех настораживал. Смех ее какой-то рваный... Даша как раз повернулась от плиты и шла к столу (и ко мне) с полной шипящей сковородой.

При случае такая сковорода — опасное оружие.

— А я в тюрьме! — смеялась она.

— А?

— В тю-ууурьме! Ха-ха-ха-ха-ха!.. Хи-хи-хи-хи-хи! — Смех стал жесткий (как режущий наспех стекло).

А следом... Уже как вопль боли... Без перехода, обвалом — в стремительную женскую истерику с криком, с брызгами слез:

— Они меня заперли!.. Заперли! Заперли!.. Ха-ха-ха-ха-ха! В тюрьме!

Она вопила. Судорожно дергала плечом... При этом достаточно метко разбрасывая ложкой содержимое шипящей сковороды по нашим двум тарелкам. Опасно стояла... Как раз передо мной.

Возможно, поэтому я ей спешно подсказал:

— Двери открыты.

— Двери? Ты, дед, мудака... Что мне двери!

— И окна тоже.

— И окна?! — завопила она прямо мне в лицо. С никак не мотивированным (по отношению к этой минуте) раздражением. При вскриках она еще сильнее дергала плечом. А сковорода в руке!

Глаза в немыслимой жиге — слезы так и слетали. Слезы тоже разбрасывались по нашим двум тарелкам. И какие слезы! Давно не видел таких крупных.

— Жизни не-ееет! — кричала. (Как ни молода, как ни современна женщина, она начинает с того, что «жизни нет». И что муж идиот... Классика.)

Она с ним давно в раздрае. Муж забрал машину. Да пошел бы он! Она разводилась с ним уже дважды — разведется и в третий!.. И это не с крыши упало. Не случайно. Разумеется, это злой и завистливый (к ее красоте и к ее уму!) заговор людишек. Она не может отсюда выбраться, не может даже сбежать, ОНА В ТЮРЬМЕ, ты понимаешь, старый идол, В ТЮРЬМЕ-ЕЕ-Е... Даже телефон, не поболтать всласть, лимитирован. Поминутная оплата. Непродленная!.. Телефон — только если звать на помощь. Если пожар!.. Если грабят!.. Да хоть бы ограбили, пошли они все!..

Она выкрикивала, а я с перепугу уставился ей в глаза... Зрачки расширены. Истерика?.. Человек при таких зрачках больше видит — или меньше? (Я тупо припоминал. Из оптики.)

— Они все сговорились!

— Они нехорошие, — поддакивал я.

— Сучары! У всех дела! Свои делишки! А я сиди одна! Одна!..

И вдруг смолкла. Кажется, ее качнуло. Наконец поставила (бросила резким движением) пугавшую меня сковороду на дощечку. А сама наконец села.

Как быстро менялась ее картинка! Она пригорюнилась. Дед, давай запоем. Дед, мудака старый, давай петь!.. Она звучно всхлипнула. Она подперла кулачком щеку и завела — негромко и вполне душевно. *А я-аа хочу-уу...* Песенный вой прерывался всхлипами. Разве могут в наши дни молодую женщину понять? *Юбка в клет-точ-чку...*

Но и этого куплета не осилив, молодая страдальница вздохнула и... разок на пробу хихикнула — надо же как резово! А зрачки-то, зрачки!

И мне пальчиком, с легкой укоризной:

— Ты, дед, хи-хи-хи-хи, как птичка, которая прилетает к моему окну поклевать. А поклевать — ноль. Меня заперли. Меня крест-накрест. В

тюрьме не поклюешь. Хи-хи-хи-хи, птичка ко мне на окошко... Птичка садится...

Я подыгрывал:

— На самые прутья решетки.

Я поел. Я хорошо, отлично поел! (А она есть не ела.) Она вся обмякла, откинулась к спинке стула — и руки-ноги вялые, никакие. Качалась.

Я приобнял ее за плечи и повел мелким шагом к кушетке. Дернулась, но снова обмякла — а я ее бережно вел. Уложил. Я мог ее сколько-то ласкать, но не более того. Я и сам был парализован ее зрачками.

— Ты глуп, дед, — бормотала она негромко. — Ты совсем без башни. Ты очень глуп... А вот мне клёво. Мне — лучше не бывает! Хи-хи-хи-хи... хи-хи-хи... Знаешь, кто ты?

— Птичка.

— Птичка, хи-хи-хи-хи... прилетевшая... по какому-то идиотскому случаю... — Голос ее стихал. Но она продолжала нести чушь. А я ее скромно ласкал.

Под каждой крышей свои мыши. Еще вчера казалось, что эта Даша так счастлива жизнью на богатенькой даче. Здесь, за добротным забором, она, казалось, не живет, а только растет и растет — тянется к своему огромному солнцу. Яркий стройный подсолнух... Ранний.

— Птичка села на решетку... на мою фиговенькую железную решетку. Поклевать — ноль. Хи-хи-хи-хи!

Радиация радости... За забором... Так казалось. Из-за их забора шло неслабеющее излучение светлой и благополучной молодой жизни. Я проходил около разинув рот. Наблюдать за красоткой в саду — это затягивает! Кусок счастья... Всем хватит! Как огромный духовитый домашний пирог. (Яичко. Лучок... Как следует поперчено... И привкус. Хруст корки!) Свежеиспеченный пирог, по какой-то случайности выложенный от меня, старого и шустрого, неподалеку. В лунные ночи мне так и думалось — как о большом пироге. Хотелось отщипнуть. Хоть бы с края.

Помимо своей красоты, Даша в общении мила, интеллигентна, так что если однажды поутру решиться и к ней прийти... Если незваным попросту войти к ним на ухоженное пространство их дачи (одна из лучших здесь дач... собаки нет), то вряд ли прогонят... Пришел, мол, по-соседски. Лето, мол. И сразу что-то решительное, напористое про погоду...

А она даже не взгляделась. Она сразу сказала: «Садитесь же. Чашку чая?» — и мне, старику, только и дел было, что кивнуть, — мол, да, да, да, никак не кофе, не люблю кофе!.. И вот уже Даша, по-летнему одетая, легкая, подала...

Принесла салфетку и чайничек. Чашки, мне и себе, *чай с жасмином, так?* — подтолкнула поближе еще и стекляшку с вареньем. И села напротив с отчасти ждущей улыбкой. Мол, что за дедок такой с неба свалился.

По-летнему, в легком платьице — такая она и теперь лежала на кушетке. Нежная кожа открытого плеча. Загар. Можно погладить... Загорелые, с легчайшим пушком руки. И слабые тени в изгибе локтя. Но это и все, что отщипнулось.

Засигналила приветственно (и даже с поддразниванием) машина за забором. Я правильно отличил звук. Так приезжают родные.

А Даша тотчас поднялась с кушетки. Еще прежде меня (на секунду) звук тоже отличив и узнав. Сестра! Это сестра!.. Даша встала, еще и потянулась — как после сна. Хрустнула плечами. Разминка мышц перед скорым боем.

— Кто-о?.. Кто-о?.. — Сразу в крик. — Кто, я спрашиваю, забрал машину?

— Знать не знаю, — отвечала ей приехавшая сестрица.

— Заперли! Забрали машину! Выкрали права!

— Но ты, Дашка, не можешь сейчас водить! Я сочувствую... Я сочувствую. (Оглянулась на меня. Голос строг.) Не имеешь права — а потому, извини, не имеешь прав!

— Не учи меня! — взвилась Даша.

— Не хочу ссориться.

— А я хочу!

Даша и Алена стояли друг против друга... глаза в глаза — и ни единого слова приветствия. Слишком близки. Слишком родны. Каждодневные, должно быть, перебранки интеллигентных молодых. Как говорится, *слишком сестры*.

— Сказать, что будет с тобой завтра? — спросила Алена с легкой угрозой.

— Скажи.

— Сказать?

— Давай, давай!.. Мне интересно.

Но сестра Алена уже взяла себя в руки. Старшая. Красива, еще более, чем Даша. Пошла к плите. Спокойным шагом к плите... Надо же выпить кофе.

Гурмански заваривая себе полтора наперстка, увещевала Дашу:

— А что, сестренка, творится на улицах — знаешь ли? А что стреляли прямо из окон — знаешь?

— Зачем знать всякую хренотень?

— А что бабушке прямо в пакет молока влупили? Прицельно. Даже не ранили. Чтобы посмеяться. По улице шла себе бабка, хромала, в авоське молочко домой несла. Пакет-то невелик, *ноль-пять*, полулитровый!.. И пулей чпок!.. Как раз бы нашей Даше теперь поручить на тех улицах! По классной машине они с удовольствием стреляют — ну как пропустить такую конфетку?

— По движущейся машине не попадут.

— Неужели?

А я был, конечно, на стороне Алены: не хотел, чтобы Даша уезжала. Если дадут ей машину — финиш. Уедет — я ее потерял! (Ах, ах, старичок! Влюблен-с.)

— ...Дашка! Сидишь ты какая!.. Расслабленная, вялая, ленивая! Салата поутру себе сделать не можешь! Трудно ли нащипать с грядки?

— Поди и нащипай!

Но сестра Алена сбить праведный тон не дала. Увещевала сестру Дашу медленно и умно — а вот *она дома*, представь себе, так и сделала, *она себе с утра нащипала*, она красиво позавтракала! Это ж не в труд!

— Хозяйничать нас с тобой отец учил — это как игра. Это для самой себя. Это как удовольствие... Или, скажем, полить деревья *по пять ведер под корень*. Изнывающие в жару от жажды... А кстати, как яблони?! Ты смотрела на листья? На самый кончик ветки, Даша, смотрела? Представь, что у тебя вот так же скрючены кисти рук. Ссохшиеся пальцы! Представь, что жажда...

— Что?! — И Даша вдруг значаще хмыкнула. Сестринское слово не промах! *Жажда*.

И дернулась загорелой рукой вперед:

— Дай позвонить.

— Кому?

— Да кому угодно...

Алена оставалась спокойной:

— Ах, Дашка!.. В Доме их отлично знают. Кого ты обманываешь. Твой Славик — парикмахер в хозчасти... Блондинчик, а носит берет. Разве блондины носят берет?

— Тебе какое дело?

— А Стасик и того попроще, да и *поржавее* — водопроводчик. Но воду он как раз почему-то не пьет, а?.. Слесарек!

— С кем хочу, с тем вожусь.

Даша водилась с молодыми людьми в Доме, где меня бы и ко входу близко не подпустили. И где работал (судя по намеку, *совсем-совсем недавно*) их, Даши и Алены, влиятельный отец.

— Но дай!.. Дай хоть мужа вызову. Муж он или не муж? Он звонил?

— Нет.

— Тогда Стасика-Славика дерну.

— Да кто в такой день к тебе приедет!

— А кто бы ни приехал — я рада. Поговорит со мной. Кофе сварит. А там, ха-ха-ха, и пять ведер под корень яблонькам нальет! Сама сказала — *жажда!*

Даша сильно, вкусно произнесла это слово.

А я, чуть в сторонке, уже скорбел о потерянном сегодняшнем шансе. Уедет! Сейчас и уедет! Молодых слесарьков в Москве не счесть. (Примчавшаяся Алена словно разбудила ее!) А ведь Даша и я — мы были в Подмоскowie как в ссылке. Как на острове. Чай с жасмином. Как староватый Адам и молоденькая Ева. Яблоки на каждом шагу... Даша почти сразу стала говорить мне «ты» и «дед» — дистанции ни малейшей. И скучала. И одна-одинешенька на огромной даче...

— Дай твой мобильник. Дай!.. Я же при тебе буду звонить!

Сестра Алена едва прикасалась губами к чашке. Кофе мелкими глотками. Протянула Даше трубку, а та — так и выхватила своей рукой. (Я первый раз в жизни увидел мобильный. В 93-м это было нечто.) Но потрясен я был отнюдь не техникой — лицом Даши.

От сестры Даша отвернулась, зато теперь повернулась лицом ко мне. (И трубка у самой щеки.) Боже ж мой! Гном!.. Телефонный гномик! Разговорная дрочилка!.. Весь в пол-ладошки, а ей обернулся какой радостью! Она будто выхватила рукой свободу.

Даша сияла.

Надо признать, и сестра Алена переменялась лицом — открылась, ответно подобрела к младшей. Даже губку нижнюю прикусила, как бы молча каюсь... Но какие обе красотки!

А Даша названивала. Звонок в звонок, она просила позвать ей Славика, а если нет Славика, если курит, — Стасика. Это просто. Это же ее приятели. Ей им только свистнуть!.. А вы делайте, делайте, что вас просят, — просят позвать, зовите!

Ей отвечали (как я понял), что и Славик, и тем более Стасик сильно заняты, и разве она не знает, куда она звонит? Не знает, что у них? Не знает, что сейчас у них шагает сама История! — сказали ей с нажимом (я расслышал). На что Даша ругнулась, это она мастерски. И добавила, что на шагающую Историю ей еще со школы плевать... А на их Дом плевать еще больше! А Славик ей обязан, он мудозвон, но для Даши он свой и, если что, расшибется в лепешку, — а тем более расшибется в лепешку Стасик!

Переговорив, Даша стала менее красивой, но зато лаконичной:

— Ну, суки!

И рванула в ванную комнату. Прямо-таки влетела туда! Впрыгнула — принять душ и переодеться.

Я-то смекнул (в отличие от сестры) — но как было Дашу остановить? Что и как сказать?.. А что, если молодая женщина любит в жару принять прохладный душ? Ванная у них отменная! С душевыми кабинками! А льющуюся воду никто не жалеет, не считает... Не мог я ей помешать. Ничего не мог. Разве что на халыву помыться. Освежиться в очередь!

Конечно, глядел во все глаза, когда она, вся дыша прохладой, вышла. Одежды на ней только и было — летнее безрукавное платьице. Под ним слегка просвечивали крохотные трусики, набедренная повязка. Но опять же нигде ничто не топорщилось и не выпирало... Я ждал, будет ли хихикать.

Нет, не хихикала. Но зато как-то ловко и умело отворачивала лицо, зрачков не углядеть.

— Молодец! Классно выглядишь! — похвалила Алена и вдруг, засмеявшись, тоже подхватила: — Приму-ка и я свежей струи!

А я все недоумевал: где же *она*, если не на Даше... и если в ванной комнате я тоже ничего не нашел?

Сестра Алена, направляясь принять душ, словно бы на меня наткнулась. Только-только вроде заметила... И спросила с улыбкой — а это, мол, *кто такой?* И откуда? — на что я, неожиданно для себя, этак по-домашнему ворчнул в ее сторону. Глухо, но ворчнул:

— Птичка.

Ничуть не меняясь, с той же улыбкой на красивом лице она переспросила Дашу:

— Откуда этот старый филин?

2

— Ты почему вырубился — почему смолк, дед? Ты же влюбленный... Не расспрашиваешь, не интересуешься женщиной. Нехорошо. Некрасиво!.. А ты давно трахался? Скажи честно. Давно ли? Сколько лет назад? Я же должна знать. — И засмеялась. — Или ты уже не помнишь?

— Я помню.

— А хотел бы ты быть... м-м... сутенером, дед?

Я тоже засмеялся:

— Конечно.

— Трахался бы вволю. С любой и разной... И денег бы внавал, а?

— Деньги бы не помешали.

Ей нравился такой треп. (Эти их, девичьи, манеры!)

— Молодец, дед... Я ведь только любопытствую. Люблю поспрашивать...

Ей бы не спрашивать, а рулить. Дорога вся в колдобинах, в ямах — мы прыгали и скакали... А Даша, знай, наращивала скорость.

— Что там? — Я напрягся.

— Не бойсь, не бойсь!

Прямо на пути (проезжали Осиновку) вырос громадный битый стол. Как слон... И сразу под колесами два выброшенных стула. Даша так рванула руль, что я приложился виском.

— Держись, дед — если сел!

— Мать твою!

Она засмеялась:

— А тебя дрючили в зад?

Я даже крякнул:

— Бог миловал.

Она еще залиvistее. Ну смех разбирает:

— Разок-другой?.. Неужели не дрючили, дед?

— Нет.

— Везучий ты.

Это чтобы сбить мужика с колеи. Ну и для понта. Кр-рутая. (Я, мол, все про вас, в брюках, знаю.)

— Значит, ничего занятного с тобой не было — а, дед?.. Или лучше тебя называть Петр Петрович?

— Как угодно.

— Ты, дед, конечно, мудака... Почему?.. Да это же видно сразу. Но хоть какой-то завлекательный опыт у тебя есть?

Просто болтает. Я особо и не слушал. Я стар. Это для нее всякие словечки горячи, еще *обжигают*.

— Объясни почему?.. И с вином тебя любят, и с цветами. И даже (что реже!) с заботливым умным словом. И нежничают... И подарки... А на самом деле они к твоему задку подбираются... Чаще всего — к задку.

— Ты уверена?

— Конечно.

— Гомики?

— Брось, дед. Не прикидывайся... Это всё здоровые и крепкие ребята. Спортивные! Красивые даже... А я так думаю, дед, что им все эти дела — как вершина горы. Самоутвердиться за твой счет. Только бы на гору влезть — для отметки. Отметиться!.. Ты понимаешь, о чем речь?

— Не. Я отсталый.

— Ну да, я слышала: у тебя всё только лунная ночь... Луна, луна!..

При этом Даша все прибавляла по колдобам. Тряска меня доставала куда больше, чем ее треп. Желудок взмывал вверх. И урчал... Я тихо молил — скорей бы шоссе.

— А зачем в постели луна, дед?

Я не ответил. Она засмеялась:

— Де-е-ед! Зачем?.. Зачем луна, спрашиваю.

— С луной легче.

— Почему?

— Не знаю... Я отсталый. Я, Даша, дремучий. Я где-то на уровне де-душки Фрейда.

— Это как?

Она чуть тормознула. И переспросила:

— При чем здесь Фрейд?

— Ну-у, это... Это — чтоб лунный свет... Чтобы постель. И чтобы все красиво. — Я вдруг засмеялся. — Это чтобы в постели ты не показалась мне моей дочкой.

— Дочкой?

— Ну да.

— Только и всего!.. Фи! Над твоим Фрейдом скоро будут смеяться.

— Почему?

— Груб... В новом веке над ним будут потешаться. Как мы потешаемся, когда лечат кровопусканием.

Какие мы умные!..

— Держись крепче, дед.

Конечно, я мог ошестиниться. Так запросто, меня мудаком... Болтунья! Но с другой стороны...

— Держись крепче, я сказала!

Но с другой стороны, кем я вижусь ей после той лунной ночной атаки?

— Как теперь, дед, дорога — нормалёк?

С таким трудом мы (мое поколение) пробились в свободу языка. С таким скрежетом!.. С таким запозданием... А ей — *нормалёк*. А ей — всё за-даром... *да она же наследует нам!* — вдруг дошло до меня.

Но на колдобах ей было бы лучше не газовать.

— Ах, ах. Значит, и в зад не дрючили... Как же так?.. Жизнь уже про-жил!.. Не обижайся, дед. Я всех спрашиваю.

— Бывает.

— Что «бывает»?

— Бывает, что женщина *всех* об этом начинает спрашивать.

До нее дошло.

— Что ты имеешь в виду, дед?

— Да ладно... Женщинам это прощается.

Мелкая месть. Но так получилось.

Я думал, она взорвется. Думал, рассвирепеет. А она обиделась:

— Дед... Я ведь не сказала, что меня дрючат.

— Да ладно.

Она отчеканила:

— Я. НЕ. ПРО. СЕ-БЯ!

— Ладно, ладно.

— Дед! Ты мудака. Я же про... Я про современную женщину... Вчера только в газете читала. «Московский комсомолец»! Всерьез обсуждают... Умные люди спорят!

— Я же сказал: *женщинам* прощается.

Только теперь она озлилась:

— Дед, а ты мудака ядовитый.

— Ну что ты.

— А не боишься, что я тебя выгоню на хер из машины?

В каких-то ста метрах от шоссе опять заминка — объезд из-за ремонта. Резко рванув руль влево (меня опять бросило), Даша рассказывает анекдот о Чапаеве — о том, как знаменитый Василий Иванович написал наконец свои мемуары. Воспоминания о войне. Первая фраза далась рубаке с трудом: «Я вскочил на коня, пришпорил и отправился в штаб дивизии, не зная зачем...»

Я помнил анекдот, но смолчал. Иногда интересно услышать вдруг вырвавшийся собственный смех рассказчика.

— Книга, дед, триста страниц. Представляешь! Триста!.. А последняя фраза в этой его книге такая: «И вот я приехал в штаб дивизии».

— И всё?

— И всё.

— А о чем же книга?

— А там на каждой странице — всюду — повторяется в каждой строчке одно и то же коротенькое слово: «Цок-цок. Цок-цок. Цок-цок...»

Я дождался — Даша выдала сама себе счастливый смешок.

Я спросил:

— И все триста страниц «цок-цок...»?

— Все триста.

— Понятно.

— Мог бы и засмеяться, дед.

Мог бы. Но рябило в глазах... Пятна мелькающей земли!.. Когда в мчащейся машине вдруг (ни с того ни с сего) вспомнишь о самом себе, то даже не сразу понимаешь, кто ты?.. где ты? почему ты здесь?.. В этом освобождении от «я», должно быть, и припрятано нехитрое счастье движущегося человека. Знай мчи вперед!

Я ведь тоже мчал — ехал *в штаб дивизии, не зная зачем*. Цок-цок. Как я оказался в машине?.. Цок-цок... Поначалу, когда у них на даче сестра Алена небрежно спросила о «старом филине», я смалодушничал. Я смолчал. Я же — в гостях. Гость! Пил чай с жасмином!

Откуда этот старый филин? — а я смолчал. Я блестяще смолчал. Ни слова. Но затем бочком-бочком я с их богатенькой дачи отвалил. Ушел. (Не снес обиды.) Вышел, выбрался поскорей за их красивую калитку. На пропыленной дороге... И с кислой мордой обходил сзади... Огибал скучавшую машину этой Алены. (Хотелось пнуть.)

Уже было зашагал в направлении моего Осьмушника, затхлого огрызка дачи — домой, домой! (Долго не сержусь. Себе дороже.) Погостевал, и хватит. И пыль знаково плеснула. Пыль ухода! Это я ботинком в сердцах причерпнул летней дорожной пудры. Как вдруг... из калитки вслед за мной... вышла Даша.

— Де-ед! — окликнула.

Нет, не пулей выскочила на дорогу, а вышла — спокойно, элегантно. В руках сумочка. Села в машину и позвала меня:

— Едем, Петр Петрович!

И первое, что я остро почувствовал, — я ей нужен. По голосу. Хотя ни намека. *Мужчина в дороге всегда в помощь*. Я сел рядом, и Даша свою сумочку бросила (сразу) мне на колени. А в другой руке (не мог не заметить) — в кулачке зажаты сестрины ключи от машины и ее же права.

А что же Аленушка?.. У нас в поселке, известно, волосы промываются отлично: *мягкая вода!* Водичка, бормотал я себе под нос. *Сестрица промывает голову водичкой.*

Но на всякий случай я поинтересовался — а мужчине в будущем за помощь что-то перепадет?

— Э нет. Я не торгуюсь.

Остановила машину, проехав едва ли десять метров. Перегнулась через руль и толкнула мою дверцу:

— Хочешь — выходи.

Я не хотел.

— То-то, дед. А то сразу про награду. — И Даша нажала на газ.

Даша прибавляла газу, где только могла — и где не могла тоже! Я вдруг пару раз блеванул. Прямо в открытое окно... Мы уже давно не ехали — мы летели. Цок-цок.

— Каждый отцов помощник — каждый, заметь! — получал, пользуясь его связями, поле действия и перспективу. Молодые таланты... Отец ставил на молодежь. Молодой талант получал машину «нисан»... Обязательно светлую... Получал куш. Куш денег для вложения куда-то *конкретно* и, обзаведясь блядами, вдруг затихал... Нет его!

— Зачем?

— Затихал, замирал... И ждал некоего общего потрясения. Пейзаж после битвы... На потрясение куш тотчас списывался. Смута... Все вдруг как в тумане. Денег нет, бляди разбежались, и где светлый «нисан», неизвестно. И каждый — каждый, заметь! — тотчас отращивал бороду.

— Хотел быть мрачным?

— Хотел быть неузнаваемым.

— А твой отец — был и есть человек хороший. — Это я поддакнул, понятно, с иронией. Проблевавшись, я повеселел... Даша захлебывалась рассказом, но я-то, я слышал и переслышал такого. О плохих-скверных-мерзких-вороватых помощниках. И о хороших, честных, милых, но чудаковатых начальниках.

— Ты, Петр Петрович, не врубился... Отец даже не знал, что скоты пользуются его именем. Приторговывают именем... Грозят именем... Шантажируют...

Мы уже выскочили на лихое шоссе — в Москву, в Москву!

— Молодые, дед, живут в наш торопливый век как получится. Ждут... Ждут и ждут. Один что-то случайно примыслит — остальные набегают ратью и хап, хап, хап!.. И опять тесным кружком сидят и ждут.

— Ждать — талант.

— Ручонкой подпереть башку и думать, думать! Я это, дед, умею. Я умею. Могу... Но вот делиться надуманным — не хочется.

— Однако вот делишься.

— Это я просто так. Болтаю. С тобой как ни делись и чем ни делись — ты не урвешь, староват слишком!.. Не чувствуешь ситуацию. Не рубишь дровишки... Эй, дед, проснись!

— Я не сплю.

— А с какого перепуга ты блевал?

— Цок-цок, — засмеялся я.

Шоссе сузилось. Пост ГАИ.

Даша только здесь и сбавила гонку. Сбросила разом скорость. Плавно катила... И скучавшему постовому улыбалась во весь рот. Красавица! Он на миг охрел. «Привет, мент!» — крикнула ему скалясь.

— А?

— Привет, говорю!

Он зачем-то стал перетаптываться. Как-кая!.. Блондинка, бля, за рулем! Распущенные светлые космы... В сверкающей, бля, в дорожной машине!

А мы, конечно, сразу рванули.

Когда я оглянулся, мент уже не перетаптывался. Стоял спокойно. Но с открытым ртом.

— Нравишься гаишникам?

Она смеялась:

— Он же денег хотел, дед.

Впереди уже выросли каменные кубы Таганки.

А я тоже вдруг заговорил — в дороге такая смена говорящего обычна. Без причины заговорил:

— Это он, Даша, от смущения. Я про гаишника... Это он притворялся...

Притворялся, что ему деньги нужны. Но что ему деньги!.. Такое бывает, Даша, от смущения. От мягкости душевной... На самом-то деле он думал о нас. О безопасности...

— О людях думал?

— О людях.

— Это ты такой ядовитый, дед?

Она в ответ приударила по тормозам. Легкий тормозной визг попадал точно меж моими и ее фразами — в пустоты, как в цель. Помолчала. Оценивала... Человек уважает яд. (В дозе.) Яд успокаивает, смиряет.

Но и тут Даша нашла что сказать:

— Не люблю я о людях — если обо всех сразу. Что мне, дед, твое человечество?!. Что они мне, если кучей?

— Не нравится человечество?

— Как бы это тебе объяснить, дед. Нравится — или не нравится? Не знаю... *Чудовищный долгострой!*

От Таганки мы рулили каким-то новым съездом... Понастроили! Я почти не узнавал. В глазах мелькало и рябило... Попали на набережную. И мчали уже там — по другую сторону реки от Кремля.

— Здесь меньше машин. Здесь английское посольство, — коротко бросила мне Даша.

— Папа хотел, чтобы я прочитала то, прочитала это. Он растолковывал мне не книги, а их идеи. Надо или не надо — он растолковывал. Разъяснял самые сложные!.. Мама умерла. Нет мамы. А он мне взамен мамы — книги, книги, книги... Я, дед, знаю уйму всего. Я угадываю мысль с полуслова. А знаешь зачем?..

Как не знать! Я так и видел ее папашу. Я его чувствовал!.. Политиканчиновник... Солидный старый мудила... Как же чертыхался он на неуправляемую свою дочурку!

— Что бы они там ни говорили — наверх! Им всем хочется. Всем — наверх, пока там еще есть место. Говно хочет всплыть!.. Говно не может всплыть не толкаясь. Ты это знал, дед?.. В этом-то вся нынешняя *проблема*.

— Что?

Даша засигналила — раз, другой... третий! — обгоняя машину за машиной.

— Боишься?

— Осторожней! — Я вскрикнул.

И тут же я (совсем по-отцовски, что самому неожиданно) вдруг стал заботливо пояснять ей, что *страх — здоровое чувство, Даша*. На небо — без спешки. Там — нет очереди...

— Дед. А вдруг там — там — нас ждет одна сплошная радость? После всего этого говна... После всей этой мыловарни... Прикольная мысль — а, дед?! Радость и радость!.. Почему бы и нет, а?.. Никто же *оттуда* не пожаловался... Неужели ты боишься, дед? Ты уже столько прожил! Все пробовал и перепробовал, а мыслишки твои мелкие — как бы уцелеть. И как бы кого бы напоследок трахнуть.

— Трахнуть тоже радость, — заметил я.

— Да ну?

— И — не кого бы. И — не как бы.

— Аг-га. Значит, с отбором!.. Обиделся!.. А что тебя так радует, когда женщина раздвигает ноги? Победа?

— Меня луна, Даша, радует. Сначала — луна.

— А да, да! — я забыла: ты же лунатик!

— Меня радует спящая молодая женщина. Я не лунатик.

— Поселковский лунатик — все знают!

По набережной и правда ехать было легко. Почти пусто.

— И никакой нет луны, дед. Ты пережиток. Ты просто мамонт!.. Вбить кол меж ног. Самцы. Вот вся мудрость. Кто глубже... А женщина лежит — потолок изучает.

И как же стремительно, как взбалмошно мы столь замысловатым путем промчались! (От бранящейся сестрицы Аленушки — к ловким ребятам Славику и Стасику.) Как быстро сжиралась под нашими колесами дорога. Съедалась эта пустота меж пунктом А и пунктом Б.

— Ты точно знаешь, куда рулишь?

— Не сомневайся.

Навстречу нам шли непонятные грузовики... Шофера в касках! Ага — на повороте просятся бэтээры-80. Первый из бэтээров изо всех сил мигал. Тревожно мигал...

— Страшно?.. Сам же сказал: страх — здоровое чувство. И больше не гоняйся за женщиной среди бела дня!

— Не шибко я и гонюсь.

— Тогда что ты сейчас делаешь?

— Цок-цок.

Она засмеялась:

— А молодец, дед. Не трусишь. Ведь уже близко...

Мы въехали на Бородинский мост. Дом уже маячил. Дом давил высотой — я смотрел не отрываясь. Как на белую гору. Скорость мы сбавили.

— Жизнь без натуги — а, дед?

— Жизнь без натуги, Даша.

Нам стало хорошо. Нам стало отлично. Так бывает вдруг... Возбуждение и кураж — взамен тревоги.

— Нет. Честно... Зачем ты увязался за мной? Твое время — ночь. Ты же поселковский лунатик, все знают.

Она поучала:

— Женщина днем, пусть она даже супер. Пусть раскрасотка... Она тебя принижает... Это тебя мельчит, дед. Это прокол. Это расплыться. Это все равно что к блядам! Нет и нет!.. У тебя должны быть только лунные женщины! Лунные бабцы! И никого других. Это звучит! СТАРИК, ТРАХАЮЩИЙ ПО НОЧАМ! У СТАРИКА МОЩЬ ШИЗА. Чувствуешь?.. У НЕГО СТОИТ ТОЛЬКО ПРИ ЛУНЕ! При высокой луне, ты сказал?

— При высокой.

— Вот так и трахать. Всех подряд. Но — при луне. Ты должен поддерживать имидж. Лицо держать! Как говорил мой муженек, лицо надо держать не после удара, а во время. Не кривясь и не моргая. Это же сила! Это звучит гордо. ПРИ ЛУНЕ У НЕГО ЧЕТЫРЕ ЯЙЦА. ОН УМЕЕТ ЛЮБИТЬ ТОЛЬКО ЛУННОЙ НОЧЬЮ.

— Ночью — это прекрасно.

— А, кстати — чего ты тогда здесь? в машине?.. Когда еще совсем светло! — Даша смеялась.

Стало весело. Хотя мы как раз съехали с моста и уже выворачивали на явное сближение — на встревоженную улицу.

— Аленушка в струях плещется... Уже, уже, дед! Уже полотенчиком на ее плечах. Выглянула она в окно — и увы...

Вспомнив сестру, оставшуюся без машины, Даша и минуты не каялась.

А я ощутил несильный, но как бы оживший внутри меня холодок страха. (Увидел танки.) Впереди ползла «Жигули»-шестера. Медлила.

— Здесь же нельзя парковаться...

— А? Парковаться?.. Что за проблемы, дед! Как говорил один мой дружок, что за *проблумы*?.. Это у него так в компьютере само собой написано. Опечатка!

Мы притормаживали.

— Он, бедный, все печатал: проблема... проблема... проблема... Все было сложно, мутно, муторно. В мыслях хаос. В голове — хлам. И вдруг напечаталось само: *проеблума!*.. И вдруг (он так сказал) все в жизни стало ясно! И все-все-все видно. Солнце взошло! Окна распахнули!

Сбросив скорость, мы объезжали — внушительный Дом плыл от нас слева. Бело-розовая пастила. (Пастилку поставили на попа. Громадная. С окнами.) Вот и оцепление... Танки. На мосту — танки. И солдатики наши родные.

— Не трусь. Мы дома, — сказала Даша. Она чуть шевелила рулем.

Первый кордон. Кольцо... Десантники с короткоствольными автоматами. С дюралевыми щитами. (Чтоб всякому их издали видно...) Мрачноватые. В бронезилетах. А под касками гражданские лыжные шапочки.

Но главное — это в цепочку их бэтээры-80. Солидно... Тем солиднее, что дальше — в глубине, в противостоянии — можно было угадать еще одно зримо-незримое тянущееся кольцо. Кольцо защитников.

— Мы дома. — Голос Даши стал заметно мечтателен.

Я чувствовал, что мне сильно полегчает, если мы сейчас встанем. Где-нибудь на обочине встанем. Где удобно. И просто посидим с ней вдвоем. Почему не поболтать вдвоем в машине. (Я уже ясно слышал страх. Холодок полз.)

Но, может быть, у нее спецпропуск? Папин подарок?.. А этот ее сладкий замысел разжиться здесь зельем!.. Бело-розовый Дом-брусок внушительен. Но красotka Даша выйдет из машины с улыбкой... И со старичком... Мимо тех и этих стражей. Она небось будет придерживать меня за локоть. За локоток. Мудак старик придаст ее приходу в Белый дом значительность! (Старик никогда не помешает.)

А внутри... В прохладном огромном здании... поищем-ка Славика-Стасика, парикмахера или слесарька. Или кофеварочника Мусу. Или кто там еще... И с этим же Славиком в каком-нибудь уютном уголке прихлебывать кофеек из термоса. И, покуривая обычную сигаретку, заодно забить, выкурить потайной косячок. (Или что там еще найдется у Славика-Стасика.) А какой кайф! А какой *на всю жизнь* кайф — хмель дерзости и блеф отваги. В таком-то месте! За такими-то шторами! (Когда за окном нацелились танки...)

Ну да! Посиживать за термосом с кофе. Кайф!.. И вот-вот начнется большая пальба! *Мудаки они, дед...*

— Они мудаки, дед. Они обалдели от слова «парламент». Музыка для совка!.. Парламент — понос. Публичная дрисня. Если бы они знали, какое это уже не востребованное старье. Какое это говно, разбросанное по всем континентам! Уже приванивающее от страны к стране!

— Чего ты опять кружишь?

— Так надо.

Машина еле ползла.

— Ждешь?

— Да.

— Чего?

— Нашу минуту.

Иногда танк или сразу два слепившихся танка стояли так, чтобы не дать пройти и проехать (чтобы перегородить пространство). Стояли боком... Но все равно башни их были повернуты как надо — дулами на Белый дом.

Кружили мы с Дашей — рядом с бэтээрами — и очень-очень медленно. Эти величественно плывущие мимо нас стены Дома... Эти окна на высоте... Как замок...

— Такой косячок дадут закурить, что не прокашляешься!

Она смолчала.

— Зря мы по дороге не послушали радио.

— Остынь, дед.

А я остыл. Я только не знал, что нас ждет.

— Если бы понимали, какая это вонь — их парламент, — продолжала Даша, — они хотя бы уборщиц из Дома отпустили. И подростков. И баб. И некоторых парикмахеров. Разогнали бы по домам...

— Но, может, они хотят умереть.

— Ты, дед, хочешь умереть?

— Нет.

— Почему ты решил, что ты их умнее?.. Здесь ведь нет глупых. Здесь — мудаки. Это — шоу. Это всем, всем, всем будет показано. Шоу — и более ничего.

Я возразил:

— Знаешь, подруга... Не все так просто. И расстрел — шоу. И гильотины — шоу. И ООН — шоу, и нобелевский комитет... И вся история человечества — шоу. Однако же...

Вот тут она мне и сказала:

— Не люблю я про всех сразу. Не люблю про человечество... Как все это медленно. Чудовищный долгострой!..

Кольцо оцепления, против ожидания, оказалось не строгим, а скорее веселым. Солдаты, ерничающие, совсем молоденькие, запросто толкались. Только-только слезшие с боевых машин, они разминали руки-ноги. Каждый бэтээр — как маленький муравейник.

И прохожие, и всякие праздные люди тут как тут. Людишки у нас молодцы — любопытны! Да и лавка-фургон торговала. Бери не хоч! Яркие ряды бутылок пепси-колы и фанты. (Для солдат?) И тут же классическая старушонка с двумя таксами на поводках... Тюп-тюп...

Наша машина еле ползла.

Таксы, демонстрируя свои мягкие позвоночники, стелились по асфальту. Принюхивались к уличным урнам. А как же — собачкам пописать!.. Старушке, я подумал, тоже бы не мешало. Перед большой стрельбой.

— Бабулю видишь? — спросила Даша.

— Да.

— А за ней солдаты топчутся?..

— Вижу.

Солдат как раз бросил (или выронил) на землю сверток с недоеденным. По краям свертка жирно блестело... Старуха колебалась — подвести ли такс поближе, пусть-ка обнюхают! Или, может, смешливых солдатиков все-таки остеречься?

Даша, похоже, перехватила неосуществленный старухин замысел — пойти не к бэтэеру, а к живой цепи солдат. Не хитря... Честно... Мы решили. Мы тотчас оставили машину. Оставленных здесь машин (и до оцепления, и сразу за ним) я увидел немало — стояли вразброс. Стояли там и тут.

Гражданские стражи («идейные», выразилась Даша) нас бы непременно развернули. Еще бы и к номерам нашей машины вязались. И потому мы с ней шли напрямик к солдатам. Мы, мол, запросто... У Даши никакого пропуска не было. Она приобняла меня за плечи — и вот так шла. Слово бы я не мог идти сам, словно бы ступал еле-еле... Ведет старого отца. А то и дедушку. Солдаты прикрикнули, но не на нас, а друг на друга. Они расступились.

Расступились с запасом — дали места пройти меж ними. Удивительно, что и я — ничего не поняв — все понял. И подыграл. Я именно заковылял, я ссутулился. Нет чтобы распрямиться! Нет чтобы ей сказать — куда ты меня на хер тащишь! Что я там не видал?! — вместо этого я именно что заковылял. Я ковылял, а она помогала. Сердобольно поддерживая, обнимала меня за плечи, и при этом — ух, женщина! — грудью грела мне бок. Теплой, круглой, крепкой грудью — старичка вела, а грудью грела.

На пути нашем как раз и стояли брошенные легковые машины. (Или кого-то из Дома слишком долго ждавшие? Но уже, конечно, невыездные.) Даша так и шла от машины к машине — вроде как она ведет к одной из них отдающего концы дедушку. Вроде как вот-вот свернет к машине, открывает дверцу.

Но она шла и не сворачивала. И с ней я.

Только завидев, что цепочка оставленных машин уже кончилась, а мы, не останавливаясь, уходим на открытое пространство площади — шагов за семьдесят до Дома, — солдаты, пропустившие нас, и их командир (я слышал его тонкий молодой голос) завопили:

— Эй! Эй!.. Куда вы!

Тонкоголосый офицерик прокричал в мегафон:

— Берите правее! Правее!.. Все службы справа! Все службы — в обход с правой стороны!.. Будьте осторожнее!

Даша, это было гениально, так и не ускорила шага. Так и вела меня, придерживая за плечи и продолжая греть толчками своей груди. Я все время слышал ее грудь. Горячие чувственные толчки меня пришпоривали. (Я готов был шагать бесконечно.)

Послышались одиночные выстрелы, но в отдалении... Случайные, в воздух — не в нас. И тишина.

На виду у всех мы продолжали идти. Из окон здания нас уже видели. А мы с Дашей снизу — тоже видели их... Пятна их лиц.

Двери дома оказались массивными и величественными. Даша и я — мы стали маленькие. Мы оба стали с ноготок, подступив к зданию вплотную... Как к средневековому замку.

Едва подойдя к дверям, Даша обернулась к тому молоденькому командиру и к его солдатам. И через пространство площади помахала им рукой — зачем? — как «зачем», с благодарностью!

Скрип тоже был средневеков и внушительен. Двери Дома медленно раскрылись... А внутренние двери (в глубине первых) разъехались — оттуда выскочили два бородача с заплечными автоматами. Схватив меня под руки (как совсем уж инвалида), стремительно втащили внутрь. Я завис. Я только перебирал ногами в воздухе. Даша шла следом и смеялась:

— Осторожней! Дедок может рассыпаться!

Мы оказались в большом холле. Стоял гул — и вокруг полным-полно вооруженных людей.

Сам холл красив... Сходы лестниц стекали напрямую к нам, как ручьи с возвышенности. Сверкающие ступеньки... Для глаза было лучше, что ковры ободрали.

3

Люди (в основном не вооруженные) по этим ярким лестницам спускались к нам в холл как на большую выпивку. Люди (служащие) несколько празднично толпились. Но затем они спускались еще ниже, чтобы загрузить собой емкий цокольный этаж, который в простоте звали *подвалами*. «Всем готовиться! Всем в подвалы!..» — так я слышал команды. Шли и шли вниз. И гул стоял.

Но были и совсем другие приготовления. Бегущие наверх лестницы перегораживали. Прямо на моих глазах кабинетный стол, большой, на-

чальственный (и тяжело принесенный), заваливали поперек лестницы набок. Похоже, готовились к рукопашной. Один стол поперек... Другой... Третий. Сужали тем самым лестничные проходы, заодно впрок заслоняя от будущих осколков себя и сотоварищей дубовыми «щитами».

Был и главный стол. Казавшийся главным. Единственный не лежавший на боку — стол гордо стоял по центру. Возле него маячил революционный матрос, через его плечи к поясу сбегали знакомые ленты с патронами... Крест-накрест, кто ж их не знает. Мне вдруг понравился матрос. (Я подчас старомоден.) Тем более, что матрос честно улыбался — не брал на себя лишнего. Я, мол, впрямую скопирован с фильма... Стол... За столом спаренно сидели два строгих человека — и чуть сбоку девица за компьютером. У подходящих сюда людей проверялись какие-то бумаженции, бланки, мандаты. Архаика революции... Неумирающий надзор... Контроль бесшумный!.. Мужчины передавали бланк девице. Девица, сверив с голубеющим экраном компьютера, шлепала печатью.

К революционному столу Даша сначала и сунулась — спросила там (через головы я слов не расслышал). Но ее сразу и отодвинули. Красота не в помощь! Куда там!.. Ее так отшили, что в сторону этого стола она теперь даже не оглядывалась. Зато переключилась на трудяг, баррикадирующих лестницы, — на тех, что кряхтя несли сюда дубовые кабинетные столы со второго и третьего этажей:

— А Славик?.. Не знаете ли, где Славик Широков?

Не знали, конечно.

— А где Стасик? Ну, Стасик — водопроводчик ваш! Слесарь!

Не знали. И тогда она спрашивала всех подряд. Кто-то дал ей скорую подсказку — но, кажется, недостаточную. Даша нервно закусил губку. А движущиеся люди все напирали, теснили. Выдавливали нас куда-то вправо, вправо...

В хаотичной общей толкотне Даша уже нервничала. Лицо побелело. И еще (я заметил) она украдкой — воровски — щиплет себе правую грудь. (Ту, что на площади так горячо меня подталкивала.) «Даша, Даша!..» — крикнул я. Она слышала. Но не обернулась. Нас разделил вдруг возникший ручей вооруженных людей. Эти шли мрачноваты. И шумны.

У меня сердце бухало, так я боялся ее потерять. Но толпой меня зажали. Еще больше вправо... Какое-то время пришлось отгороженно стоять в углу, где все курили и, теснясь, задевали друг дружку локтями. Окурки бросали в урну, там слегка дымилось.

— Не наделает бы пожару! — рассудительно сказал я, просто чтобы что-то сказать.

Столь же рассудительно кто-то близкостоящий мне ответил:

— А ты посы, старик.

Я вдруг обиделся. Я крепкий старик, я могу и врезать... Я так и буравил его глазами, ища повод.

А совсем близко возник человек с фотоаппаратом. Стиснутый, сдавленный, он умудрялся снимать окружающих, разок и меня — так сказать, для колорита. За мой непризывной вид и седину... Его изгнали криками. И даже пинками. Фотоаппарат его был совсем мелкий. Нечего торчать с такой побрякушкой в интимном углу... Где все курят. «Гнать! Гнать прессы!.. Это всё стукачи!»

И какой-то психованный мужичок... Он умильно улыбался. И каждому нашептывал. Этот тихий шепчущий дурачок, притиснувшись, стал меня уверять, что мне необходимо оружие. Он спрашивал: «Вам „калашников”? Или вам будет тяжело?.. Поискать вам пистолет?»

Негромко, но прямо в лицо ему я прошипел: «Отста-аань!» — Он исчез, но появился опять. Он не мог со мной расстаться. Опять растекался в

улыбке и нашептывал мне в самое ухо, что пистолеты — большой дефицит, *только раненым и командирам.*

Я видел, как, нервничая (и пощипывая грудь), Даша протискивалась к входу наверх — на этажи. Кто-то ей дал знать.

Возможно, новая подсказка насчет Славика и Стасика... Но лифты отключены намертво. Даша крутанулась на одной лестнице, затем на другой. Я едва успевал отслеживать в толпе ее светлые волосы. Волосы ничуть не развевались... Волосы по самые плечи. Светлый овал так прекрасно гляделся среди тупых мужских голов и затылков. Как вдруг я ее упустил!

Я метнулся к лестнице. Она только что прыгала здесь... На этих ступеньках... Я заспешил вверх. Звук ее каблучков, плоских, деревянно цокающих. (Если я ее потеряю, что мне здесь делать?)

На третьем этаже каблучки стучали зазывно. На пятом я уже ничего не слышал, кроме их зазыва. Я подымался быстро. Кто-то пытался меня остановить. Офис — всегда офис, даже перед концом света. «Где Селиванов?.. Стойте же!» — и ведь как требовательно мне кричал. А каблучки стихли.

Спросил спускающихся навстречу людей, не прошла ли, не свернула ли на этаж девушка со светлыми волосами — сказали, *пробежала. Только что.* На даче (я помнил) Даша заскакивала, прячась, в ванную комнату минуты на три... Я решил, что здесь — нервничая — она забьется в женский сортир. А куда еще? Она слишком тороплива, чтобы выбрать что-то получше. Я смело туда вошел — и пулей вылетел из туалета обратно. Ее нет. Кабинки нараспашку... Пяток баб. Все в кружок — и курят.

И тогда я забегал по коридору.

Я бегал, а этаж пустел... Люди уходили, спускались вниз. Они все вдруг туда побежали. (Курившие в туалете тоже. Все пять. Я считал.) Оставшись на этаже один, я заскакивал теперь в незапертые кабинеты. Заглядывал на бегу...

Половина кабинетов была оставлена открытыми. И предбанник пуст, и дверь самого кабинета едва прикрыта — входи, дорогой! Паника?.. Не только паника... Если что, человечек скажет — а я ушел на миг, я даже не запер, я не бросал рабочего места! Трудоголик! (Эти нелепые объяснения мелькали в моей голове как сор — как мусор! О чем заботится чиновник, все равно не угадать.) Они сбежали. Ни души.

Кабинет за кабинетом. И всюду на рабочих столах стаканчики с авторучками, то-то украсть бы!.. Компьютеры... Кипы бумаг... Телефоны... Присборенные на окнах шторы...

Инстинкт толкнул меня в дальний конец коридора — в самую отдаленную чиновничью конуру. Ищи во тьме. Именно так: я вошел во тьму. Только на пятом-шестом слепом шагу заиграла впереди полоска света — это выдало себя ненамертво зашторенное окно.

Здесь были высоченные окна. Смелея, я прошел вглубь и углядел еще одну дверцу — там комнатка. А в комнатке на полу какие-то волны, вверх-вниз. Я тронул на пробу одну из волн носком ботинка. Скатанные в рулон паласы... Или же ковры... В углублении волн (меж вздутиями двух соседних рулонов) лежала Даша. У самой стены... Она лежала как в люльке. Грудь справа сильно обнажена. Платье, а с ним и белая маечка, спущены с правого плеча... Почти до пояса.

Майка скомкана, и я решил, что порошок (или что еще) где-то здесь. В потайном карманчике майки... В плечике... А то и просто в складке.

— Даша...

Я так долго хотел ее. Мысль моя угасла. Я даже не успел понять, как я оказался на Даше, алчно дыша духами ее шеи, елозя по лицу губами, а рукой пытаюсь стянуть с ее бедер нечто вроде узкой повязки. А она знакомо

хихикала — и так ловко отталкивала. Отбивалась... Нет-нет и рукой хлеща меня по лицу.

Следовало бы еще выждать. (Пусть примет свой дозняк.) Но я... Но я... *Мысль-то угасла...* Стащить набедренную повязку почти удалось. Уже достаточно! Вот так!.. Я был готов. В самой боевой позе!

Как вдруг она перестала меня отталкивать и даже подставила грудь под мои губы. Я, конечно, прильнул. Еще бы!.. Раз и другой! Теперь-то я был уверен, что мы (мы оба) уже неостановимы. Кто же не знает, что ласка, лучшая из женских ласк — встречающая! Даша, обняв — да, да, обняв мою голову, прижимала ее к груди. Моими губами чуть выше упругого соска. Вот-вот зазвучит музыка неба!

Но Даша снова... Снова мою голову обняв... И губами (моими губами) по груди, по груди, по груди... Возила и елозила моим ртом по каким-то там пупырышкам. Вроде как одна из женских постельных дразнилок. Некая современная прелюдия к сексу.

Я все же оторвал лицо — захотел увидеть сияющие (или, может, стыдливые) молодые глаза.

— Даша!

И сладковатый ветерок ее рта... А она с улыбкой, уже обеими руками прихватила меня за шею — и опять мои губы к груди. Терла и терла... Я млел... И уже ждалось предначальное женское «оо-х!..». *О-ох...* Что-то было на ее груди. Словно полоски лейкопластыря... Две... под моими губами. Сладко... Как вдруг лицо Даши отодвинулось. Исчезло... Не поимел... А затем вся Даша от меня отодвинулась — исчезла, улетела с какой-то фантастической быстротой!

Я чувствовал, что словно бы сильно пьян. В голове туман... Что касается звуков, журчало, как по камешкам. Бежал звонкий (откуда-то и куда-то) ручей.

— Эй, люди... Даша... — позвал я из моего тумана.

Ни людей... ни Даши.

Я очнулся на тех же самых свернутых коврах-паласах, лежавших волна к волне. (Был в отключке минуту-две. Как провалился...) Я был один. Я поднялся. Я шел по коридору. Звучащий ручеек вдруг тоже стал понятен. Это пристукивали Дашины каблучки. Сомнений не было — мне и сквозь двухминутную дрему слышались уходящие ее шаги.

А ощущение (первое из них) было новым ощущением моих ног. Ноги как-то очень легко и свободно помещались в носках, а носки еще легче и свободнее — в ботинках. Ноги там слишком уж легко болтались. Да и сами ботинки касались пола еле-еле! По коридорному паркету я то ли скользил, то ли даже слегка взлетал. (Новичок на коньках.)

На миг Даша привиделась голая и почему-то с огромной почтовой маркой в зубах. Но я разгадал, что фантом. Я напряг мозги — и Даша распалась. Зато ноги мне теперь только мешали. Я почти летел... Стук моих тупоносых ботинок перерос в цоканье. Я скакал. Моя ворона... Какой кайф! Скок-скок. Цок-цок. По ступенькам... Лестница!

А какой-то безумный летел по лестнице вниз. Мне навстречу. Меня поразило, что он с автоматом.

— Что вы здесь делаете? Все уже внизу! Все внизу! — Он пролетел мимо.

Я крикнул ему вдогон:

— Я буду воевать, трус проклятый!

Мне стало отчаянно весело. Я очень и очень смел! Отличное ощущение!.. Я воин.

Я подскакал к некоему начальнику. Это был суперначальник. У него был большой, немереный лоб. Он стоял на месте, но тоже цокал копытами. (Звучный, как эхо.) Аура конармии... Аура свободной скачки отбросила мою лексику во времена Первой Конной — на несколько десятилетий назад.

— Много работы, товарищ? — Я спросил.

Лоб молчал.

И тогда я его спросил (глядя поостроже):

— А где светловолосая? Где?.. Возможно, она *не наша* — ха-ха!.. А что, если ельцинская шпионка?

Начальник так и замер. Его сразила информация. То-то. Начальник совсем побелел. Стоял недвижим... Он белел и белел, пока вовсе не перестал быть человеком. Он стал колонной с надписью синим фломастером: **ПЕРЕВЯЗКА РЯДОМ С СОРТИРОМ...**

Но зато на повороте следующего этажа я увидел неубегающих людей... Пост в три человека.

Пост был с обзором — у большого окна, застекленного квадратиками. Очень удобно! Постовой наблюдал с «калашниковым» в руках... Он выставился коротким дулом прямо в окно. В один из пустых квадратиков окна... На миг представился некий пулеметчик, поливающий вражескую улицу свинцом. Я был в восторге! Воин — это прекрасно! Не жаль людей было ничуть. Себя тоже!

.....галлюцинация сменилась. Галлюцинация стала удивительной! Подходя к ним ближе (я уже не скакал), я шел легко и непринужденно, как идут спуском. Как идут на закате к реке.

Я принял этих трех постовых (вооруженных автоматами мужчин) за людей с удочками на берегу реки — за неудачливых рыбаков! (Рекой в этой галлюцинации было огромное искрящееся стекло окна.)

— Эх вы-ыыы! — подсмеялся я.

А закатом, надо думать, было солнце за окном. Преломленное мозаичными квадратиками стекла.

Трое постовых знали. Наверняка они знали, что — *что именно* — должно было вот-вот начаться. Они тоже хотели сбежать лестницей. Они хотели вниз. (Наблюдать в огромное окно нацеленные на тебя дула танков им надоело.) Но я-то не знал. Для меня они были неудачливые рыбаки. Салаги! Ну что, ни хера не поймали! — так я к ним подступил. Так я подсмеивался. В реальной жизни я не кичился тем, что хороший рыбак. А вот тут...

Они же не умеют держать удочку! А что за узлы!.. Я потешался над их безрукостью, над их уловом, их мелкой рыбешкой — «кошке? кошке разве что?». Я издевался над ними: место у реки не сумели выбрать! «С чего это вы сели жопами на занюханный обрывчик! Вы же у рыбы на виду! На ярком солнце!.. Рыбки хихикают!» — Я небрежно шлепал ладонью по их непружинящим удилищам. Эх расставились!

Они угрюмо ворчали. Но без агрессии. Возможно, они (постовые) меня жалели и щадили. Кто я был для них? Тронувшийся старик-чиновник?.. Акакий Акакиевич, спятивший от долгого кабинетного усердия под дулами танков. Не покинул этаж. Не покинул рабочее место... В отличие от многих... Бедняга!

А я меж тем перешел к самому изысканному рыбацкому оскорблению. Оно заключается в том, что их мелкий улов ты считаешь экологической порчей. Есть такой указ рыбнадзора: *не губить малька*. Есть и статья, между прочим. То есть все, что с трудом поймали, — всю их мелочевку в сетке я издевательски посчитал мальками. «Вам не сойдет с рук. Клянусь, завтра же наступу в рыбнадзор!» — серьезничал я. Я вошел в роль охранителя природы. Решил сам разобраться с теми, кто портит рыбий генофонд. Принять меры! А в таких случаях — снасть изымают...

Я ухватил удочку одного из них — я видел, что автомат, что классический «калашников»! — однако же твердо хотел его изъять, конфисковать.

— Ну-ка отдай! Сдай по-быстрому!

Постовой опешил: «Спятил! Спятил, старый лось!..» Но я тянул и тянул автомат к себе. Настойчиво... И я продолжал издеваться:

— Сдай инвентарь.

.....Тут (мгновенно) наступило прояснение. Я увидел у них автоматы, все три — я увидел, что никакие не рыбаки, а вояки. Правда, с побелевшими лицами. И что предстоящей бойне они что-то совсем не рады... Это никуда не годилось. Возможность воевать бок о бок с трусоватыми мне не нравилась.

И тогда я сделал дружеский шаг к тому, который выставил дуло автомата в пустой квадратик окна. Я хотел расположиться рядом с ним. И забрать на время его автомат. (Я в дозоре.)

— Да, я староват. Но мы будем биться рядом.

Хотел поднять им боевой дух. Я хотел повоевать, пусть это и не спасет наш парламент.

Но на меня продолжал криком кричать первый — совсем разъярившийся молодой мужик:

— Спятил, отец!.. Вали отсюда! Давай, давай!

Другой, с острым, хищным лицом, тоже раздражился:

— Спускайся! Спускайся!.. Уходи вниз! Дочка твоя уже давно внизу... — И тут же он спросил у третьего: — Спустилась она вниз?

— Мелькнула! — кивнул третий, но неуверенно.

Напомнили о Даше, и я пришел в себя... Отчасти... И настроение мое круто переменялось. Я стал пацифистом. Я — малек. Я стал мелким — и я уже жалел всю прочую мелкую рыбешку... Брошенную на прикорм.

В ту пацифистскую минуту мне было без разницы — те или эти. Влезет ли Ельцин на танк, или Хазбулатов вскарабкается на Мавзолей...

А трое, отчасти испуганные, вдруг схватили меня за руки. Выкрутили... Какая-то бессмысленная акция. Два рыбака прижали меня к полу и не отпускали. Они увязывали мне руки ремнем. (Опять стали рыбаками. И солнце, искря, катилось по большой реке.)

А я (тоже, в общем, без смысла) кричал — мне, мол, жаль рыбешку. Малька жаль! Убивать людей! Убивать ни за что! Не стану...

— Надоел. Заткните рот этому придурку!

Третий из них, побледневший, посмотрел на часы.

— Время, — сказал он.

— Сколько?

— Минуты четыре... пять...

А я продолжал бесноваться:

— Правде рот не заткнешь! Малька жаль!

Они решили уходить. Лица совсем бледны. Всех их сильно трясло. Один вдруг выронил автомат, поднял... опять выронил.

«Правде — нет, а тебе рот заткнем», — мстительно нашептывал тот второй, с хищной харей, и за неимением лучшего стал заталкивать мне в пасть самодельный кляп. Смятый в ком пластиковый пакет, подванивающий рыбой... Жареной рыбой!.. Лешом... (Рыбак рыбаку.) Чтобы я замолк. Хотя зачем ему мое молчание, если он уходит?.. А ни за чем. Им было страшней при моих воплях, вот и все.

Я вертел головой, а он запикивал в меня пакет... все глубже. Вонючий пластиковый ком. Но вот тут ша-ра-рахнуло. Да как!..

Дом сотрясся. Меня подбросило на ступеньках. Кляп выскочил у меня изо рта мигом. «А, ч-черт!» — Этот второй, стуча ногами и бренча оружием, кинулся по ступенькам вниз. Они все разом побежали.

Я же не знал про обстрел, как знали *по минутам* эти постовые, что были оставлены (или расставлены) здесь у углового окна и что вовремя дали деру. Поэтому, когда шара-ра-рахнуло, я здорово подпрыгнул на месте. Зато и руки развязались сами собой. Неумехи-рыбаки вязать, конечно, не умели. (Интересно, кто из них пожертвовал ремень?) Неумеха бежит сейчас подергиваясь, хром-хром, восемь на семь! По ступенькам!.. Придерживая и автомат, и штаны.

Я, признаться, тоже проскочил с перепугу этажа три сразу. Наверх ли (к Даше) или вниз (в направлении цокольного этажа, где все) — я даже не помню. Помню только, что одним духом шесть пролетов.

Но остановился. Пожалел старое сердце. Кое-как пришел в себя. Значит, эти скучавшие танки уже стреляют. Прямо с моста? Значит, трахаем бело-розовое тело?.. Надолго... Как же Даша?.. Внизу?

Страх подсовывал самое простое решение: бежать вниз. Но я сказал себе — стой. Я даже зауважал себя. Стой! Сосредоточься... Если Даша внизу, ты ее в общей толчее не найдешь. В цокольном этаже — сотни. Там тыщи... Считай, потеряна... А вот если Даша наверху...

Шарах-шарах-ша-ра-рах! — раздалось над головой.

Третий удар из танкового орудия... Уже, конечно, не такой внезапный. Зато сами стены, казалось, заныли... Вибрировали от разрывов. Весь дом гудел.

Но более всего сотрясался пол. Подвижный пол — это нечто... На этот раз я не подпрыгнул, а только прибавил машинально шагу — шел и шел по коридору. (Искал Дашу.) Прогрели четвертый и сразу пятый ша-ра-рахи. Но ничего не случилось. Просто я каждый раз вжимал голову в плечи. И косился на отскакивавшие куски штукатурки — осколки стен. Летящие взврос!

Один удар пришелся рядом со мной. Звук сам по себе был слаб. (Или я уже приглож.) И вот вслед за звуком я увидел, как на правой от меня стене расцвел цветок. Цветок все голубел и голубел. Надо же какой! — подумал я.

— Краси-иво!..

Страшно или не страшно, но я уже понимал, что этот цветок — пробоина (и довольно высокая) в стене. А сквозь пробоину — небо... Небо голубело в далеком далеке. Уже к горизонту... Уставившись и на миг замерев, я увидел это наше небо мелким синим пятном.

— Краси-иво! — еще раз протянул я. (От страха хотелось что-то говорить.)

Какой этаж, я не знал, — а нужен был седьмой-восьмой... Нет, девятый. Но сосредоточиться было трудно. И еще под два или три ша-ра-раха я бестолково бегал туда-сюда. (Я мог бы сориентироваться по кабинетам... Вспомнить... Но мозги не работали. Какая-то половинчатая отключка.) Наконец выбежал к лестнице... Там кой-где этажные номера... Там проще.

И сразу на лестнице, на ступеньках — раненый. Рядом валялся его автомат. Чуть ниже громоздился перегораживающий лестницу дубовый стол. (Явно кабинетный... Лежал на боку.) И стояли два знакомых мудака, тоже с автоматами, онемевшие и с открытыми ртами... Смотрели, как упал и корчится их товарищ.

Это были те самые постовые. Они не сбежали в цоколь. Вспомнили долг. Они лишь спустились ниже — к баррикадно (набок) заваленному столу.

А раненый был тот самый, с хищным лицом, что заталкивал мне в рот из-под-рыбный пакет.

На его бедре проступило и расплывалось этакое пятнище крови, прямо сквозь светлые брюки. Похоже, ему попало чем-то мелким... Крошкой снаряда... Или стены... Лицо раненого, совсем белое, уже не казалось мне хищным. Зато хищным казалось пятно. На его брючине... Кровавое пятно проступало зловещей темной харей.

Двое наконец кинулись к сотоварищу, чтобы помочь.

Отложив автоматы, они суетились, мешая друг другу. Хотели спустить раненому штаны... Но тот вопил: «Нет! Нет!» — и так решительно взмахивал рукой: не подходи!.. Рукой он и врезал одному из помогавших ему. Удар был что надо. Помогавший откинулся назад, еще и грохнув головой о дубовый стол.

И тут опять ша-ра-рахнуло — и ступеньки под нами подпрыгнули.

Сотрясением от разорвавшегося снаряда... Из лежащего на боку стола вдруг с грохотом вырвалось его содержимое. Ящики выскочили играючи. (Вдоль по своим хитрым внутренним рельсикам.) Ящики как бы выстрелили и легко помчались по ступенькам лестницы вниз. Но их тоже опередили. Обгоняя все и вся, вниз по ступенькам хлынула бумага... Стопы кабинетных бумаг... Бумага в свою очередь с еще большей скоростью выпрыгнула из движущихся ящиков. Бумаги убежали вниз белым ручьем. Они достигли меня. И все ускорялись... Отделяясь и скользя одна по одной.

Я стоял на полпролета ниже, но действие бумаг... Оно проскочило уже и меня. Ручей мчал! Забыв ша-ра-ра-хи и лежащего раненого, забыв Дашу, забыв все на свете, я присел над бегущей «водой»... Я полоскал в скользящей бумаге руки. В этом было что-то завораживающее! Сначала я, кажется, хотел собрать их. Инстинктивно. Собрать хоть немного — хотел кому-то помочь!

А те двое наконец подхватили своего сотоварища под руки... Понесли... Приподнимая над ступеньками.

Меня, присевшего и полощущего руки в бумажном ручье, они не могли не заметить. Шли мимо. Шли рядом. «Контужен?!» — крикнул-спросил меня один из них. Но тут на них завопил их раненый... Было не до выяснений. И к тому же опять ша-ра-рахнуло.

Я держал руки в проточном ручье бумага. Иногда я хватал лист, какую-то страничку, бегло зачем-то смотрел и вновь пускал вниз — по течению.

Один из них кричал другому:

— Нечего на него глазеть!.. Давай! Понесли, понесли *на хер!*.. Наш сей-час опять заорет!

Мысль их была проста. Уйти поскорее.

Кряхтя, браня друг друга за неловкость (и болтая неудобно висевшими на шее автоматами), они потащили раненого вниз. Мимо меня проплыл его открытый вопящий рот.

Даша... Уцокавшая на каблучках куда-то вверх. Присев на ступеньке, я думал о ней. (Руками я все еще перебирал белые листы бумаги. Белые с одной стороны.) Я не мог бросить Дашу, как не бросают раненого. Такая правильная пришла мысль. Как не бросили те двое своего вопящего...

Я почувствовал, что не хотел бы в жизни больше ничего — только погрузиться ладонями и пальцами в ее светлые волосы. В ручей ее бегущих мягких волос. (У меня потихоньку встал. Это было ужасно некстати.) Один, на опустевшей лестнице, когда вокруг беспрерывно ша-ра-рахало, я сидел весь притихший и немыслимо, непередаваемо хотел ее... Сидел на ступеньках (по шиколотку засыпан бумагами). И сам себе мечтательно улыбался.

Я отыскал седьмой (или девятый?)... Тот самый этаж. Ту далекую в коридоре комнату. Где стареющего лунного придурка одурманили женской грудью.

Свернутые в рулоны паласы так и лежали мелкими застывшими речными волнами. Штиль. В задумчивости я зачем-то попинал их слегка ногой — то ли ковры, то ли паласы. Тупым носком ботинка.

Глаза, опущенные вниз, дали мне заметить светлый предмет. Это была ее маечка. Ух ты! Легкая, нежная на ощупь. (Не носила лифчиков — маечка взамен.) Я вовсе не любитель женского бельяшка. Ничуть!.. Я в норме... Это я к тому, что случилось неожиданно в ту минуту. А случилось, что я схватил легкую светлую тряпицу и припал лицом, носом, ртом к соответствующему месту, где правая женская грудь. Я нюхал и вбирал. Сразу найдя!.. Сразу учуяв сладковато-пряную пахучую пядь ткани... Конечно, было как спитой чай. Остаточное. Но в голову шибануло. Успел повеселеть!

Ощущение чудесной высоты... И ноги стали легки и опять бесконечно свободны в носках, а носки — в ботинках. Ноги вытянулись. Этак четырех-пятиметровые. Вниз — смотреть страшновато.

И я храбро на них зашагал. Как на ходулях.

Я припомнил заново: «Мелькнула на девятом!»... Кто-то мне это говорил, кричал! Веселый, я уже нацеленно вел счет: *девять — это семь плюс два... На седьмом* я только что пинал рулоны.

Нюхнул еще раза два-три. По-собачьи. Я набрел (носом) на уголок, почти девственный... На шве майки, на рубчике с забившейся туда духовитой пылью нашлась-таки мне *понюшка!* Я оценил забытое меткое словцо, язык не дурак!

На лестнице пусто, только стол на боку — знакомый. Ручей, что с бумагами, вернее, из бумаг, — уже не тек. Ручей застыл. Здесь был опустевший пост... Я выставил голову в разбитое окно. Внизу открылась настоящая бездна. Я увидел там защитников — они были как муравьишки с автоматами.

Увидел импровизированные баррикады — у входов и въездов. Вывороченная брусчатка — курганами. Крест-накрест прутья арматуры... Сверху было не разобрать, что там за кубы и кубики. Неужели тоже кабинетные столы?.. Различились две легковые машины. (Лежали на боку... *Бензин слили?..*) И стоял грузовик.

Выскакивая из-за этих кубиков, муравьишки с автоматами, вероятно по приказу, стали отбегать к нашему Дому и скрываться в нем.

— Ого-го! Улю-лю! — кричал я им сверху. Пропарламентские упрямы!.. Я свистнул в два пальца. Мне было весело. (Вынув из кармана, я еще разок нюхнул светлой маечки.)

А муравьишки — надо полагать — бежали, чтобы засесть в первых этажах. (Как известно, к этому времени невооруженные защитники: клерки, облуга, женщины — все скопились в обширном цокольном этаже Дома.) Цоколь был хорошо защищен самим фундаментом. Но и канонада усилилась. От отдельных пристрельных попаданий башенные орудия танков перешли к равномерному и мощному обстрелу Дома. Стало ясно — дело нешуточное.

Стало ясно, но, конечно, не мне. Для меня просто продолжало грохотать. Где-то там. Где-то здесь...

Маечка маечкой, но было же в моем минутном нанюханном веселье и простое человечье торжество! Огромный же дом, домище, кругом величественные кабинеты. Отделка стен, лоск, сверканье ламп и люстр (хотя и обесточенных). А властная игра дверей! А отблески отлично прописанных фамилий на табличках — целый путеводитель по высшему чиновничеству! **ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ... ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА... РЕФЕРЕНТ...** Фамилии частично выдернуты. Прибраны. Фамилий нет. Испарились на тревожные дни.

Так что один-единственный **МИНИСТР...** И один-единственный **ЗАМ,** и один **РЕФЕРЕНТ...** И вообще один-единственный живой **ЧЕЛОВЕК** — я! — вышагивал по этому величественному кишкообразному лабиринту. Я внутри. Я здесь. (В кишках **Власти.**) И какой **Власти, не хер воробьиный** — **ВСЕ-РОС-СИЙ-СКОЙ!**) Правда, моему торжеству (так сказать, личному и ни с кем не делимому *всероссийскому* триумфу) мешало то, что я нет-нет и вжимал голову в плечи. Скотство! Проклятый нутряной страх не давал словить минутную радость.

И еще мерзкий скрип битого оконного стекла под ногами... Под подошвами, когда идешь коридором вдоль кабинетов. На девятом было много, очень много стекла.

А вела мысль. (Женщина — как инстинктивный самоповтор.) Если на седьмом этаже она со своей бедой забилась, забурилась, запряталась, зако-

нопатилась, замуровалась в последний кабинет — она замуруется в самый последний и на девятом.

Оказалось все же — в предпоследний. Это оттого, что инстинкт. Это оттого, что инстинктивная хитрость, повторяясь, сама себя хотя бы на волосок сдвигает, смекает. Так ей еще хитрее.

Именно здесь на этаже (важно!) я вскрикивал на каждый мощный ша-ра-рах. Их было три таких. Три подряд. А вскрикивал я, потому что не ожидал. Потому что ша-ра-рахало по этому этажу и как раз по моему ходу — прямо передо мной, как по особой просьбе. Я вскрикивал и приседал. Вот это лупят! Пробоины на стенах! Опять же как синие цветы... Пробоины, как цветы, ускоренно отснятые на киноплёнку. Возникали — и сразу на глазах распускались. И каждый раскрывавшийся бутон тотчас показывал мне (едва я с ним поравняюсь) кусочек синевшего неба. Уже темно-синего.

— Во дают! Во!.. Цветоводы! — говорил я. Страх все время понуждал что-то болтать.

В пустоте девятого этажа сохранялась логика седьмого. Понятно было, что Даша спрячется, ляжет где-то... Точь-в-точь... Вот только паласов-ковров здесь не оказалось. И это был не кабинет, а пока что приемная — секретаршин предбанник. Сам кабинет был в глубине. Заперт!.. Массивная и манящая к себе дверь. Но уже с обезличенной красивой табличкой. (Тайна. Не ясно кто.)

Даша забилась в самый угол приемной. Прямо на полу. Ее бил мелкий озноб. Казалось, ей страшно от столь близких разрывов.

Я огляделся — куда бы ее, испуганную, переместить... Переложить. Жестко ей. Нехорошо ей!.. И сама собой мысль... А не открыть ли нам (я уже думал *нам, для нас*) кабинет и не облюбовать ли несомненный там кожаный диван. Не может не быть там ложа. За дверью... Порочного черного кожаного дивана. (Неужели же нет?) Для истомленного рабочим днем бонзы. Для его секретарши (про запас).

Я изучал запертую дверь. Вглядывался и вникал в замок... когда вошел вдруг Славик. Это Даша вызвала его по телефону. Отыскала. (Внутренний телефон работал.) Даша, как я понял, сделала звонок из последних сил. После чего забилась в этот угол — лежать и дрожать.

Работавший здесь, в Доме, парикмахером, Славик был стройный молодой человек. Стройный и отлично одетый. И с чувством собственного достоинства, сразу заметным.

— Я уже весь этаж обыскал. Кабинет за кабинетом... Когда позвонила, она неточно объяснила. Дверь за дверью дергал, — винился Славик передо мной как бы за опоздание.

Я его успокоил — я, мол, и сам еле-еле Дашу нашел.

Славик был вооружен пистолетом и был оружием очень горд. Правильнее сказать, он был горд своей востребованностью, своим участием — он *защищал*. Пистолет в руках он, конечно, сейчас не держал. Пистолет за поясом... Но после очередного ша-ра-раха (снаряд разорвался где-то пониже нас) Славик бросился к окну с выбитым стеклом. Выхватил пистолет. И выстрелил — пах!.. Пах! Пах! Пах! — в сторону танков. Так сказать, им ответил.

Когда он склонился к страждущей Даше, она приоткрыла глаза и ждала, что он скажет хорошего. Но хорошего ей не было. Она ждала глазами — часто подрагивающими и жалкими.

Славик покачал головой:

— Ничего нет.

Даша взрыднула и забилась дрожью. Дрожь мелкая... Приступами... А Славик только пригладил ей волосы. Он ее жалел. Он был чистенький молодой человек — с чувством своей всегдашней опрятности.

— Почему? Почем-мм-му? — спрашивала Даша, не переставая дрожать.

— Что — почему?

— Почем-ммму-у? — мычала бедная, вибрируя неожиданно севшим, сипатым голосом.

Я тем временем ковырялся в дверном замке. Взял скрепку со стола секретарши, выгнул — и мягко вводил внутрь, ощупывая острием пазы. Пазы замка — это как железные пещерки с не очень хитрой тайной. Ввел — направо. Ввел — налево. Знай ковыряйся! Я умею это. А Дашу трясло... Добавилось новое ей страдание — ком в горле. Она все глотала его. И снова глотала.

Славик, сидя около, красиво держал руку на поясе. На пистолете. Все еще слышал тепло ствола после стрельбы.

Я уже опустился на колени. Я весь ушел в замок и в его пещерки. А Славик тронул меня за плечо и, извиняясь, объяснял — почему у него нет наркоти. Даже вина, молодой человек сохранял достоинство... Кем он меня здесь считал? — трудно сказать. Но уважение его явно возросло, когда под моими пальцами замок четко, неигрушечно щелкнул. Возникла, должно быть, мысленная переключка меж курком его пистолета и вскрываемым замком.

Я еще аккуратнее ввел и ковырнул. Еще один звонкий щелчок — и дверь сама своей тяжестью колыхнулась туда-сюда. Дверь дышала. Дверь моя. Я выпустил из пальцев победную скрепку и смело в нужную секунду мягко вытянул дверь на себя.

— ...Вы поняли? — объяснял Славик. — Я не наркоман. И не продавец... Это правда. Я парикмахер. Меня все знают. Она попросила поддержать для нее косячки по дружбе. Дома ее обыскивают. Сестрица у нее там!.. А теперь я все выбросил. Я решил, что в такой ответственный день!.. Вдруг найдут. На всех защитников сразу же навесят поклепы — а?

— Понимаю.

— Даже на убитом найдут, и то поклеп — вы поняли?

Я понял. Он был *защитником*. Он сам счел нужным этот нюанс уточнить: он сказал, я, мол, не идейный — я просто защитник. Потому что здесь работаю. Потому что вместе... Согласитесь, люди это люди, *нельзя бросать своих!*

— Ух ты-ы! — так Славик воскликнул, когда дверь открылась и мы прошли в просторный, ореховой мебели кабинет.

Массивный стол по центру. Три кресла вкруговую. Для бесед.

Но я прошагал к четвертому креслу, которое у окна, — я усмотрел, что оно с характерной покатою спинкой. (Раздвижное. Для Даши... Не все же блага на свете для гнущихся секретарш.) Я так и кинулся к креслу со спешной заботой. Стал дергать так, дергать этак, искать рычажок и второпях уже тянул кресло на развал — прямо за сиденье. Я сладил с креслом не так красиво, как с дверным замком. Но сладил.

А Славик все стоял у стены, восторг на лице:

— Ух ты-ы!

Возглас относился уже не к кабинету, а к его особой части — к настенным (тоже вкруговую) полкам, заставленным коробками табака самых-самых, как выяснилось, знаменитых и дорогих марок. Несомненно, коллекция. Табачный рай. Несомненно, хозяин кабинета — многолетний, давний коллекционер.

Но та скромная зашторенная полка, что уходила в сторону окна, сорвала особое наше восхищение. Трубки!.. Славик приоткрыл — и вся полка оказалась испещрена специальными небольшими гнездами. Как соты. А в гнездах, в укладку, курительные трубки... Жерлами прямо нам в лица... То темнея, то играя цветом... То на изгиб. То подчеркивая свою прямиз-

ну... Трубки расположились! Одна к одной. Давних лет и далеких-далеких стран.

Возможно, знаток сказал бы, что кое-что здесь декоративное. Возможно, что напоказ. Но нас ошеломило. Ух ты-ы!.. Хозяин кабинета был док-кой! Представляю кайф, какой ловил дядя во время работы. Просто став рядом. Просто нет-нет и разглядывая. Или кому-то доверительно показыва-вая! Похоже, он запырался в кабинете, а потом вышагивал от табаков к трубкам — и обратно. Похоже, он даже не курил... С этой смешной мыс-лью я перестал биться над креслом. Оно не раздвинется! Оно нераздви-жное... Более того: оно здесь случайное. Плебей! Колхозник! — сказал я себе. Пороки хозяина были совсем из иной, *из высокой* сферы. (Зачем ему гнущиеся в кресле секретарши, когда вот они — гнутые *в веках* трубки. Амбре! Дурман табаков так и плыл... Зачем ему *здесь* запах напряженного женского тела, паха, подмышек... Какой я плебей!)

Славик больше не трогал за поясом остывавший свой пистолет. Руки его были уже заняты. В руках было кое-что другое. Славик тоже угадал про высокий порок. Смекнул. (Порок *из неизвестных* действует интригую-ще.) В обеих руках молодой защитник держал по фантастической кури-тельной трубке. Принюхиваясь к той и к другой, подносил их поочередно к лицу.

Даша застонала, и увлеченный Славик несколько нервно (и нетерпели-во) вскрикнул: «Щас! Щас!» — Оставив трубки на столе, он вернулся к ней. Ну что? что?..

А ничего: ломка продолжалась. Даша была мокра от крупнокапельного пота. Лицо оплыло. Зрачки как-то странно буравились.

— Н-ме-нэ. Н-ме-нэ, — повторяла невнятное.

При этом скосила измученные глаза. Возможно, она показывала взгля-дом на свою правую грудь. На ту самую, что меня одурманила. Но ведь там (мелькнуло во мне) уже исчерпано. Там пусто уже в предыдущую ее лежку. На тех паласах...

Славик тоже не понимал.

— Ладно, — сказал он.

Но она просила:

— Н-ме-нэ. Н-ме-нэ.

— Ладно, ладно!

Стоны ее усилились. Она пускала слюну. Она косилась и косилась на правую грудь. А затем вдруг стала стаскивать с себя платье. Стягивала лег-кие плечики. Платье чуть затрещало.

— Ты что? — возмутился Славик. (Я не успел помешать.) Он дважды ударил ее наотмашь по лицу. — Ну ты, падла! В такой день!

И еще прикрикнул:

— Тихо! Ну тихо!..

Его удары не были похожи на отмеренные пощечины, какие годятся при истериках. Это были плохие... хотелось сказать, грязные удары. От та-ких ласк портятся ушные перепонки.

Я кинулся к ним. Кривя недобро рот, он все еще нависал над Дашей. Он был готов ей врезать еще. Я (на ходу) выбросил вперед руки, чтобы помешать, чтобы оттащить юнца за ворот. Я сильнее, дело пустяк! Только дернуть за ворот...

Но Славик уже и сам отскочил от Даши в сторону. В испуге... Снаряд ударил по нас, по нашему этажу. И тут же второй.

Нельзя бить женщину — дело последнее. Нас всех рвать скоро нач-нет! — Я хотел объяснить, прикрикнуть... Но опоздал... Один за одним снаряды взрывались у нас, на девятом. И совсем близко. Рядом! (Тоже удары по перепонкам, еще какие!) Однако я запомнил, что на миг стих-ло... Стекла вылетели беззвучно... Стекла оглохли.

И тогда я засуетился. Опасность! Вот-вот мы ждали гостинца прямо в окно... Я перенес Дашу из секретаршиного предбанника в кабинет. Сразу — в то гнущее кресло. Кресло все-таки пологое. Там ей лучше. Она же *больная*. Кресло оказалось на колесиках, подвижное, я сразу же воспользовался этим — переместил кресло (вместе с Дашей) от окна подальше. Внутрь.

Кресло с Дашей я приткнул у стола на самое начальственное место. Молодая женщина в самом центре... Дергающаяся от ломки Даша казалась теперь рассерженным нашим шефом. Гневающимся! Недовольным нами.

Мои руки, мои ладони все еще удерживали ее тепло. Это не исчезало. (Как, должно быть, ладони Славика удерживали тепло пистолета.) Женское тело словно бы в моих руках.

К этой моей минуте лихорадочные дерганья Даши, ритм ее ломки совпали с ритмом обстрела. С разрывами снарядов... Удивительно! Птичьим, высоким, страдальчески требовательным голосом Даша под залп вскрикивала:

— О-о!

И под следующий залп:

— О-о!

И снова... Она в точности фиксировала. (Как легко воспринимается молодой женщиной чужой ритм.) Снаряд за снарядом бухали теперь по десятому. Прямо над нашими головами.

А потерявшемуся Славiku (такому опрятному, сдержанному) вдруг показалось, что это от совпадающих Дашиных вскриков сыплется там и тут штукатурка. Что это от ее голошения выпрыгивает из сотрясавшейся стены по полкирпича. Еще хуже была веером брызгавшая из той же стены крошка бетона — осколки!

— О-о! — Это опять Даша.

А Славик — к Даше. Он подскочил к ней, вопя:

— Молчи-и-и! Никакой паники-и-и! — Крики их, совпавшие, уже ничего не значили.

Люди и под снарядами все-таки живут личным — Славик, казалось, не мог допустить, чтобы Даша насмерть запугала его воплями, а я не мог допустить, чтобы он еще раз поднял на нее руку... Так получилось, что он кинулся к ней — а я кинулся за ним вслед. И как раз снаряд врезался в наш девятый (взял пониже). Рвануло буквально в двух шагах — в стенную перегородку меж нашим кабинетом и соседним. Рвануло как до небес. Я тут же ослеп от пыли.

Еще один разрыв — и опять у нас! Именно этот могучий, спаренный — ШАХ-ХАХ-ХАХ-ШАРАХ — перешел в долгую (долго звенящую) тишину, а тишина — в нечто. В нечто ватное. В нечто никакое. Я принагнулся к Даше, к ее креслу... Я споткнулся. Меж нами упал Славик, валялся и полз... Мои ноги топтались в его куртке... Запутавшись ногами, упал и я...

Когда пыль рассеялась — я кое-как поднялся. И Славик поднялся.

Я был цел, а он был ранен в плечо. Мы стояли оба открыв рты (полные песка, пыли), а рядом с нами в кресле продолжала лежать Даша, пребывая в ожесточившейся мелкой-мелкой тряске. Ее лихорадило. Но зато она уже не кричала под взрывы: «О-о!» — чего же вскрикивать, чего же фиксировать голосом приближающиеся разрывы, когда снаряды уже «наши» — уже оба здесь.

Едва придя в себя, Даша спросила про сумочку. Женщина!

Когда Славика ударило, он завалился в сторону полулежавшей в кресле Даши и зацепил сумочку, что была при ней. (Даже когда я переносил Дашу в кресло, сумочку она цепко прихватила и держала.) Теперь же сумочка, упав, раскрылась.

И вот ведь неадекватность заботы! Оказавшийся после ШАХ-ХАХ-ШАРАХА на полу, я стал собирать. Я почти оглох. Я едва видел от пыли.

Но моя рука скребла по паркетинам — я сгребал в горку тюбик крема, крохотную записную книжку, денежки, звонкие и бумажные, а также и закладки, зажимы двух цветов для светлых ее волос при сильном ветре.

Вывалившаяся мелочевка заорожила меня. Я спешил собрать. Я не мог ничего оставить. «Сейчас! Сейчас!» — кричал я Даше... Сумочка наполнялась, мелочь к мелочи.

Я привстал было — и к Славику. (Заметил его кровь, капающую на пол.) Но Даша завопила:

— А зеркальце! Зеркальце! Круглое!

Так кричала, что я не посмел шагнуть к Славику. Он стоял покачиваясь. Но ведь не падал. И кровь почти беззвучными каплями... С плеча... Шлеп, шлеп... Совсем не слышная кровь в нашей общей приоглохлости после двойного разрыва.

А я уже вновь на коленках, искал (важным! мне оно казалось суперважным!). Зеркальце... Я ползал под столом... Потому и не разбилось, что круглое. Закатилось, а не разбилось. Под столом. Я заглядывал и под кресла! Я ползал не уставая. Трудоголик. Я готов был остаться там... На четвереньках... Навсегда. Мне нравилось смотреть на чистенькие ровные паркетины.

Плечо ему порвало осколком. А возможно, острый огрызок бетона. Из разнесенной снарядом стены.

Славик левой рукой кое-как вытащил спецпакет из кармана. Там был бинт, была вата. И даже йод!.. Славик, лицом бел, хотел все сам. Но я помог — обработал по краям рвань кожи, заткнул разрыв ватой и перевязал. (Внутри чисто. Только разрыв.) Кровь сочилась. Но теперь несильно... При чужой ране делаешься очень заботлив. Я даже поддержал при шаге и усадил Славику в кресло, тоже по центру стола. Справа от Даши. Теперь они двое в креслах, как два начальника. Два шефа. Это пошутил Славик. Первые минуты Славик держался прекрасно.

Раненный, он не переставал считать себя защитником. Рукой нет-нет и ощупывал пистолет за поясом. Он, мол, в полном порядке. Он, мол, не вышел из строя. (Это про пистолет.) И кое-кто из защитников тоже еще крепок и в порядке. Тоже в строю. (Это про себя.)

А потом Славик стал часто раскрывать рот. Но голос сдерживал. Для меня, оглохшего, Славик ничуть не стонал.

Те два снаряда, когда Славику ранило, минут на пять—десять запечатали мне уши. А тот удвоенный грохот стоял в моих глазах восклицательным знаком! Зрительный образ из далекого детства — из того сидячего школьного времечка, когда я писал ненавистные диктанты. (И соображал, какие где знаки препинания.)

Слух стал возвращаться, и я тотчас осознал свою востребованность. Даша... И Славик стонал! Как вдруг уяснилось: Славик сквозь зубы цедил мне (оглохшему) номер нужного сейчас телефона. Он по десять раз повторял его. Назвав цифры, Славик обессиливал. И стонал.

Уже через пять минут к нам примчался человек. Поднялся снизу (из цоколя) после моего звонка... С небольшой фельдшерской сумкой через плечо. Молодой. Рослый. И сам себя весело назвавший:

— Я — Павлик.

Прошагав к Славику, он сунул нос к его раненому плечу — к красному пятну, ярко расцветшему через бинт.

Словно бы впрямь принюхиваясь к кровавому пятну, фельдшер с улыбкой еще разок представил себя нам:

— Я — непьющий Дракула. Я завязал. Легко переносу вид чужой крови.

Все еще глуховатый, я тупо переспросил:

— Дракулов?

Он посмеялся — нет, нет, по паспорту он просто-напросто Павел Дыроколов. Такая фамилия! Нет, она ничего не значит. Он даже не гроза девственниц. Просто-напросто его предки шили. Возможно, деревенские. Жили шитьем... Впрочем, может быть, кололи дырки во льду. Зимняя рыбалка.

Болтая, он осматривал рану. Осколка не было — и он заново быстрыми движениями перевязал Славику плечо. И похвалил меня — перевязано, дед, было неплохо. Совсем неплохо. Отлично даже. Чудо-юдо!.. И что в кресле — тоже правильно. Со свежей раной... Покой! Покой!.. Но не лежа.

Его веселые глаза остановились на трясущейся Даше. Он тронул ей лоб, после чего нюхнул свою мокрую руку. Обнюхал ладонь... Всю в каплях ее пота.

— Вот как!.. А у нее что?

Я сказал осторожным голосом — ломка. Я боялся, он тут же заблажит, занервничает. Но он только кивнул... Затем воскликнул:

— Да?.. Так надо ж ей дать покурить. Смотри, сколько здесь курева, чудо-юдо!

Чудо-юдо, как оказалось, был я.

А он, как оказалось, был еще один *защитник*. Как раз ахнуло снарядам совсем близко. Мы притихли... Наш веселый Дракула метнулся к окну без стекол, выхватил из своего кармана оружие — пистолет! — и ответно два или три раза смело стрельнул в пространство. Это было так похоже на Славику, что я не стерпел. Мне подумалось, что и фельдшера сейчас точно-точно накажет. Его накроет следующим разрывом снаряда — что я тогда с ними, мудаками, буду делать? (Двое раненых! Одна в ломке!) Я подскочил к нему и завопил — хватит, придурок! хватит!

— Это почему? — спросил он удивленно.

Злить и ярить человека с оружием не надо. Я стар, я знаю. Так что, воля, я пытался быть остроумным:

— Хватит *колоть дырки* в небе!

То есть пулями. Одна из пятисот пуль, вопил я, считается *шальной!* Она ранит или убивает прохожего. Мальчишку, любопытствующего на балконе. Калеку, раззявившего рот на дороге. Бабку с авоськой...

Фельдшер посмотрел на меня и, гмыкнув, сказал:

— А ведь ты прав, дед. Ей-ей, прав... Гм-м.

Он был симпатичен своей мальчишеской открытостью. Правдивостью, которая так к лицу молодым.

Он запрягал пистолет куда-то в карман поглубже и призывно-радостно захолопал в ладоши:

— Всем курить!

Коробки развалились (коллекционная ветхость!). От последнего ша-ра-раха табак посыпался на пол, а частью — на большой кабинетный стол. Посыпались и трубки. На столе география! Холмы и пригорки. Рыжеватые... Пахучие.

Дракула, он же фельдшер Дыроколов, ловко набил одну из кривых трубок, раскурил и дал Славику. Затем стал набивать трубку себе. Фельдшер был речист и весел, удачное сочетание. Утрамбовывал табак пальцем. *Надо держаться...*

Тащить раненого вниз? Э, нет... По лестницам? Перила обрушены. И плюс этот бабец с ломкой? Уж лучше переждать... Он успокаивал, посмеиваясь. «Я держусь. Я держусь», — негромко отвечал ему Славик. (И затыгивался... Поднося левой рукой трубку.) Ко мне пополз вкусный дым. Дымило грушевым деревом... Как ранней осенью.

— Перекурим... Переждем... — посмеивался фельдшер. — Стемнеет... Канонада стихнет.

От Дракулы мы и узнали (во всяком случае, я), что извне Дом давно обесточили. Отключили воду, даже канализацию. Дом перешел на автономную жизнь. Но собственный наш генератор тоже вот-вот выдохнется... *Видите?*

И фельдшер указал на кабинетные лампы — обе и в самом деле были не ярки. Слабо подмигивали.

И прикрикнул на меня:

— Дай же ей! Дай!

— Чего?

— Чего, чего! Хорошую трубку набей!.. При ломке это в кайф! Тебе бы, дедок, хоть наскоро пройти «Курс современного фельдшера». Книжонка такая! Ты от нее потащишься!

Я послушно исполнил. Набил Даше трубку, роскошную, надо сказать, трубку, раскурил — ах, как завоняло старой грушей! — и вложил ей в руку. Этого мало! Медленно и бережно я еще помог заправить мундштук трубки Даше в губы. Она затянулась слишком вяло. И повторно вяло... Но вот наконец вдохнула с силой — нервно, жадно.

Закурил и я.

Четверо, мы сидели в креслах вокруг стола (с некоторой асимметрией) и курили. Себе трубку я выбрал сам. Сначала, как и фельдшер, я протянул руку за гнутой, однако почему-то забраковал. Выбрал прямую. Острую.

Ах, как это было! Пах-пах... Пых-пых. Я пускал клубы дыма и оглядывал это чудное сборище — курение в креслах четвером. Дымящее зелье заволочло нас... В наших пыхах было полным-полно важности. Значительности — до небес!.. Мы не курили — мы решали судьбы. Боги! Фельдшер Дыроколов сидел счастливый. Он все это затеял. Он вещал. Он это сравнение и выдал — *мы как Боги*. Это же так прекрасно — курить! И не обращать внимания на разрывы! *Другие при каждом залпе падают на пол. Им страшно! Даже раненые бросаются на пол!* Он это видел. Или бегут вниз — в цоколь. *А как раз бьют снарядами по переходам. Лучшие остаются на месте... Нет, Дом не завалится... Танковые снаряды слабоваты. Калибр маловат...*

— Оно так. Как Боги... Но что же нам дальше делать? — спрашивал я, не переставая думать о Даше.

— Как — что? Можно будет еще раз-другой набить трубки — почему нет?.. И разве это не приятнее, чем стрелять вслепую из окон. Ты же сам сказал, дед. Ты хорошо сказал. Палить по глухарке... По согбенной глухой бабке с авоськой...

А я подумал, что хозяин кабинета, хозяин трубок и табаков, если он тоскует сейчас в цокольном этаже... Был бы он нашей застойной картинкой доволен?.. Некоторый беспорядок в иконостасе трубок... Варварский разброс. И холмы табака на столе...

Но зато весело гляделась Даша: женщина с трубкой — это нелепейшая картинка! Она полулежала и курила. Попыхивала.

Когда внизу вдруг усилилась автоматная пальба, она же и вспомнила первая:

— Домой бы надо.

Дважды пыхнув, она мастерски выпустила дым. Огромный клуб... Зеленоватый с проседью.

Старикан Алабин так и не знает, был штурм — или его не было?.. Обе точки зрения сосуществуют. И с той и с другой стороны есть свои неоспоримые стопроцентные свидетели. Есть свои неоспоримые факты. Но что до них ему!

Но что до них мне!.. Я — влюбленный старик. Я был горд *своим* чувством. Я любил. Я не мог симпатизировать жлобью, размахивающему красными флагами и тем меньше их хитроватым вождям. Но и за атакующих я не шибко болел. У меня своя жизнь. Говоря высоким штилем — у

меня свои ценности. Какие-никакие. Свои... Личностные ценности! И я нес эти ценности, свою боль и свою влюбленность, не в обход, не сторонкой, не где-то в уголке, а через события. Я нес — через. Не вместе с людьми, а сквозь них. В самой их гуще. В самой каше. Так получилось.

Конечно, мои чувства к людям были в те дни обострены. Но из тех моих чувств я помню сейчас лишь самое сильное. Это чувство было, есть и будет — жалость. Я жалел что тех, что этих. Особенно же тех и этих придурков, черную кость всякого бунта.

«Пулями промчались... Это были профи. Могу спорить: „Альфа”... Или, может, „Витязь”... А наши и пукнуть громко не успели. Их перебили. Их здесь мало было...

Один мертвый сидел на полу с открытыми глазами. Возле лифта. Сидел как живой...

А кого-то на носилках — сразу в сторону».

Такие были разговоры... После... Когда сдавались... Про штурм.

*«Кантемировцы и таманцы... Они били из танковых орудий. Во время атаки особенно часто били. Это деморализует. Это как прикрытие для спецназа... Спецназ этаж за этажом взял первые два... Только два этажа... И тут же они все смылись... Один спецназовец, последний, бежал мне навстречу. В берете. С автоматом. Я чуть инфаркт не схватил, а он ухмыльнулся и крикнул:
— Все кончено! Сраные вы вояки!..»*

Усилившаяся автоматная стрельба внизу означала, что именно в это время (если штурм был) нижние два этажа были атакованы и взяты. Атака спецназа длится от двух-трех минут до получаса. (И еще полчаса, чтобы трупы вынести. И чтобы уйти. Чтоб без следов.) Громить же тысячи людей в цокольном этаже никто не собирался. В цоколе полным-полно набилось людей сторонних... Сотни клерков... Женщины... Обслуга... Честные кухонные трудяги...

Часть тяжело раненных (после скорого штурма) забрали будто бы вместе с трупами. Уже *на воле* их срочно разделили по интересам — кого-то спрятали в больницы, а кого-то в морги. Неразбериху улаживали. Говорят, что телефонные разговоры были конспирированы. Не произносили, скажем, ВТОРОЙ МОРГ... А говорили: ТАНАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НОМЕР ДВА. Иногда вдруг запестрят фамилии... Фамилии — да. Имена — да... А вот кто из них ранен? Или кто труп?.. Это — интонацией.

«...Меня занесло в Совет национальностей. Такое оказалось тихонькое место. И совсем без окон... Ни одного окна. При обстреле лучше не бывает... Как я сразу его не нашла. Ух, местечко!.. Там несколько нардепов сидели. Мрачные...

А на десятом пожар...»

Атаковавшие не хотели навешивать на себя убитых. Это понятно. Чем меньше крови, тем почетней и тем *современней* победа.

Логика... Но и защитники набрали в рот воды. Они оказались еще более *современны*. Понимая, что дело проиграно, защитники боялись, что как раз число убитых им прежде всего и поставят в вину. (Именно им убиенных зачтут. Победителей не судят.) И как только спецназовцы унесли два десятка трупов... Как только атаковавшие ушли (и ждали теперь знака о капитуляции)... защитники тотчас стали замечать следы. Защитники сами замывали на этих двух этажах кровь, подметали гильзы... И проветривали окна.

И те и другие сами собой, без сговора, решили скоротечный бой замолчать.

Звуки осады?.. Или там звуки штурма?.. Сверху, с высокого этажа, нам было не разобрать. Мы так и не узнали.

Нам, четверым, было не до них... Один *на хер* раненый... Другая в ломке... Третий *на хер* старик, уже дважды слегка контуженный (лишь бы возле Даши!)... И четвертый — фельдшер, который изо всех сил поддерживал в нас дух. Шутит. Уверял, что здесь *на хер* нам лучше всего... Хотя тоже рулетка. Танки-то лупили по верхним этажам. Танки по нас *херачили*.

Вволю уже накурившись, фельдшер Дыроколов и я (самые говорливые) угощали друг друга дорогим табачком.

Фельдшер: — Позвольте вам угоститься моим английским. Табачок — прелесть!

Я: — Да мой-то с Кубы... Будет покрепче-с.

Фельдшер: — А вы вот именно деликатного... Деликатного оцените.

Щедрые слова немедленно подтверждались подарком: перемещением целой горы табака с его края стола — ко мне.

В эстетику всякого разгрома входит особенность пережитых мгновений. Надо быть благодарным жизни.

Фельдшер мог быть доволен. Рвущиеся снаряды нам теперь не мешали. Разрывы пришли наконец с нами (с нашим пыхтеньем трубками) в полное согласие. Мы совпали. Консенсус. Пах-пах. Пых-пых.

Бухало — и тотчас мы подносили трубки ко ртам. Делали затяжку. Бах-бах, а мы опять трубку в пасть. В ответ. Пых-пых. И еще... И еще много-много раз. Нам бух-бух — а мы им пых-пых.

Дашу при этом мелко трясло. Ее рука плясала. Ее трубка плясала. И даже ее дымок (продолжение трубки) после всякой ее затяжки приплясывал, вырисовывая в воздухе некую дрожь.

— А где Стасик? — спросила она. — Вы ведь знаете Стасика?.. Внизу он? Веселый Дыроколов ей ответил:

— Нет. Еще ниже.

— Как это?

— В бегах!.. Водопроводчик Стасик ушел через подземные коммуникации. Слесарек дело знает. По трубам — до Урала... Что ему двойное оцепление!

Фельдшер смеялся. Продолжал нас взбадривать. Подчеркивал наше изысканное (с трубками в руках) спокойствие под обстрелом. А мы оглянулись на Славика — пусть он тоже расскажет о беглом водопроводчике.

Тут и заметили, что трубка Славика поникла.

Четвертая трубка угасала. Дымок еле-еле... Трубка теряла свой прямой угол. Эй, эй, Славик!.. Силы четвертого нашего курца уходили не на попыхиванье. Не на сладостную тягу. А лишь на удержание трубки в зубах — хоть бы не выронить.

— Мать твою! — Дыроколов вдруг выпрыгнул из своего кресла — и был уже рядом со Славиком.

Он запустил правую руку за спину Славика (левой удерживал трубку). И с лету попал рукой в мокрое. В кровь.

Даже присвистнул.

Ладонь фельдшер пронес назад, нам не показав. Но она мелькнула. Вся красная. Скорым движением он спрятал ладонь под белым халатом. (В карман и там вытер.) Повернулся к нам лицом... Веселый Дракула все еще пытался улыбаться. Объяснял, что *пропорол спину... Осколком... На уровне печени...*

Он сообщал нам, как сообщают сводку погоды — Славик, мол, *сам не понял. Не расслышал, где боль... Плечо его болело сильнее!.. Надо же!.. Два осколка с разных сторон!*

Рукой (уже вытертой) фельдшер ткнул под самое кресло — показал на-текшую лужу Славиковой крови.

Славик уже в отключке. И только теперь трубка вывалилась из его вялого рта. Я подскочил ближе, хотел ее подхватить... Трубка брякнула о стол. Из трубки вывернулся холмиком сгоревший табак.

Курила теперь только Даша. Руки ее плясали. Но соображала она быстро.

— А я? А я?.. — повторяла. Боялась, что теперь ее (с ее длящейся ломкой) оставят одну, попросту бросят.

Вдвоем (фельдшер и я) мы взяли Славика под руки справа-слева и подняли с кресла. Не только поясница его, но и зад промокли кровью. Вся левая штанина брюк была темна, тяжела.

Я успел дважды крикнуть Даше, что вернусь. Я оглянулся. Как же сильно ее трясло!.. Лицо смазано. Губы прыгали.

Мы наполовину вели Славика, наполовину волокли. Держали обмякшее тело на весу, давая его ногам выписывать синусоиды — то гнутые, то выгнутые дуги. Вышли к спуску. К плохо освещенным ступенькам... Ни души... Только мы... И чуть ли не на каждом повороте лестницы (на каждом полуэтаже) фельдшер повторял как заклинание:

— Мать твою!

Славик не приходил в себя. Сносить по лестнице — тяжело. Никогда не забуду, как по пути нашего следования — седьмой этаж... шестой... — стал на лестнице гаснуть слабый свет лампочек. Генератор сдыхал. Мы с трудом различали ступеньки.

Тело мы удерживали, а вот ноги его сползали по ступенькам сами, вприскоч. Ноги сами поторапливались за нами. Но в разбитом месте, с шестого на пятый, был обход. Мы еле нашли другую лестницу. Эта лестница оказалась здесь винтовой, и Славика пришлось туго. Он сильно закапал кровью. И лампы уже еле светили. Был самый трудный момент. Мы изгибались, и изгибали тело бедного Славика. Он ужасно страдал, но держался.

«Я держусь», — повторял он. Он даже силился не постанывать. Вот ведь дурачок! На этот миг-другой придя в себя, задергался... он хотел *быть в строю*... все искал за поясом свой пистолет. (Мы бросили это говно еще у кресла.) Мы жестко перекручивали его тело, а он так и не застонал в голос, смолчал. Он только сильно капал кровью, но это уже не его вина.

Снаряд ударил низом, лестницы трянуло, мы подпрыгнули. (Все трое мы разом подпрыгнули на взывавшей лестнице. Как камешки на ладони.) Я оступился — и, конечно, не удержал. Мы упустили Славика.

— Мать твою! — орал фельдшер. Он орал на меня. Больше орать было не на кого. (Не на Славика же, который нырнул от нас вниз.)

Тело Славика проехало по всей лестнице. Еще и запрокинулось в конце пути. Ноги над головой. С выгнутой косо шей... Ступенек восемь вниз, и все лицом. Когда подняли, лица Славика я уже не увидел. Не было... Только рот открыт и тоже полон кровью... И лишь по-прежнему молодо глядели его красивые и крепкие, один в один, зубы.

Одна из дверей оказалась закрытой, заложеной щитами, и опять нам с фельдшером пришлось сделать маневр — проташить Славика по коридору до другого спуска. Это было уже на четвертом. Близо!..

Но как только мы продолжили спуск, накал лампочек сошел на нет. Свет погас. Мы нашаривали ногой... Мы сходили по ступенькам уже в темноте. Где-то на темных ступеньках погас и Славик.

Мы почувствовали. Он стал тяжелее.

В огромном холле тоже темень — но все же в углу пылало что-то вроде факела. И в центре, где «революционный» дубовый стол, горели свечи. Запах пльл... Я еще подумал, что нагар. Что это так нагорели свечи час за часом. Хотя это мог быть «нагар» спецназа, уже повоевавшего на первых двух этажах. (Если штурм был.) Народ оставался внизу, в цоколе... Холл пуст.

Холл почти пуст... Туда-сюда все же ходили какие-то отдельные люди с фонариками в руках. Лучи фонариков метались по потолку. Один из них уперся в нас.

И нам сразу показали — куда.

В самом дальнем углу слева. Комната... С ширмами... И там светлее — несколько керосиновых ламп. Когда мы вносили Славика, по его содранному в кровь лицу несколько раз прошлись проверочным лучом фонарика. Белые халаты... В медкомнате было, считая вместе с нашим, уже четверо принесенных. Очередь...

И хотя наш Славик был с очевидностью более кровав, ему не сделали поблажки. Не пропустили вперед. И напористый фельдшер Дыроколов тоже смолчал. Не показал характер... Он, я думаю, уже знал, что Славик мертв. Что спешка ни к чему. (Возможно, когда мы так тяжело несли в лестничной темноте, он и пульс успел *не нащупать*.) Фельдшер смотрел куда-то мимо. Мимо меня... И в обход лица Славика. И он теперь не шутил, что он завязавший Дракула и потому запросто переносит вид крови.

А четверо принесенных, словно бы взревновав, вдруг заспешили в своей небесной очереди. Сначала стал мертв кряжистый мужик, который лежал как раз перед нами (перед Славиком). Он вдруг вытянулся, и те, что принесли его, переглянулись. Но сразу же задержался в агонии и тот, кто шел вторым. (Не стерпел.) Теперь это была очередь мертвых. Вот разве что принесенный первым был еще жив.

И танки насытились — танки смолкли. Понятно, что к ночи, что стемнело и что танки, как и все живое, попритихли к концу светового дня. Понятно, что по приказу... Но как было не подумать, они, мол, смолкли и стихли ради раненых. Ради того, чтобы принесенные нами раненые бедолаги могли в тишине отдать концы. Что они, чуть заторопившись, и сделали.

Когда Дыроколов стал рассказывать (докладывать) врачу, я ушел. Зачем мне это слушать?.. Я только кивнул веселому фельдшеру и вернулся в холл. Туда, где во тьме по высокому потолку метались пляшущие тени... И по стенам... В лучах десятка фонариков.

Однако обратного хода из парадного холла на этажи не было: уже не пускали. Причина: избежать лишних жертв.

Я объяснял стражам, что там, на высоком этаже, осталась молодая женщина и что ей плохо, что больна — надо ее забрать! Я уйду — и с ней же сюда вернусь! Сразу же ее приведу!

Но все слова — впустую.

Могло быть, конечно, что не хотели лишних свидетелей. (Что еще не замыли кровь. Не все замели в угол гильзы.) Но могло быть и правдой: там опасно... Мне ли не знать.

— Мы не командиры. Мы не решаем! — еще и так отвечали, посмеиваясь.

У каждой лестницы стоял рослый вооруженный мужик. И выкрикивал, едва я приближался:

— Куд-да-аа?

Никто из них перерешить приказ, конечно, не мог. Я лгал им насчет потерянного пропуска. Что толку!.. Мазнув фонариком (не вверх, а под углом в сорок — сорок пять градусов), мне снова и снова показывали осевшую от канонады мрачную лестницу. Смотреть (вверх по ступенькам) и впрямь было страшновато. Пейзаж фантастический.

А командиры, по их словам, сидели в штабной комнате цокольного этажа и решали, как завтра поутру сдаваться. К ним не пускали. Ни на минуту... Людское скопище могло им помешать. Ни по какому вопросу. Больная бабенка наверху — семечка... Они заняты... (Здесь не потерпят провокаций.)

Они решали, кому и за кем поименно завтра выходить из Дома. С какими лицами. С какими словами для телекамер. Быть может, просто молча. (Такие мгновения навсегда. Для летописей. Для веков.) И само собой, не оробеть под дулами автоматов, наставленных на них в упор в первую (в самую историческую) минуту... Много чего важного решалось — при том, что там, запершись, начальники и командиры, конечно, ели, пили, ходили по нужде... и все прочее.

И тут, вдруг вспомнив, что полдня не мочился, я по-стариковски, скорой трусцой побежал поискать. Где-то же была она... Мелькнувшая (при свечах). Подморгнувшая мне (при свечах!)... Она... Ни при каких режимах и ни при каких бунтах не меняющаяся буква «М».

— А что, отец? Небось пострелять сверху хочется? — спросил один из охранявших лестницу, и рослые стражи разом захохотали. Ну, ржачка. Ну, весело!.. Им было забавно, почему я так рвусь вверх.

Я тоже смеялся с ними вместе. Я старался быть своим. (Почему не потешить вооруженных людей?.. Я будил их убогое воображение.)

А меж тем снаряды где-то что-то прожгли. Я чувствовал. Где-то дымил! Еще как!.. Вонь паленой бытовой пластмассы. И там Даша!.. Вяло сгорающий пластик — как химоружие! Клубы сизой вони!.. Даша... Лежащая в отключке... Много ли надо, чтобы ей задохнуться.

Но вдруг помог случай. Женщину выручила женщина.

Не знаю, как она здесь (когда все в цоколе) появилась. Откуда?.. Однако это был факт, что женщина уже здесь и что с ней истерика. Она рыдала в голос. «Коля! Коля!» Кричала, что Коля на втором этаже... И качала какие-то нелепые права: «Серебрянкин звонил — ему можно, а мне нельзя?.. Нельзя-ааа?..» — вопила, и к ней на голос сразу зашпешили с фонариками.

Хотели увести. Но, взвинченная, она уже хлопнулась на пол. Вся в бегущих лучах... «Коля! Коля!.. Серебрянкин звонил!» И давай биться головой! Как деревяшкой... Дык! Дык!.. Страж, что как раз у лестницы, метнулся к женщине. Сказав мне кратко и приказным тоном (велел мне сменить его). *Присмотри, отец! На пару минут!*

У самого входа на лестницу... Он присел возле упавшей. И я видел (успел увидеть), как страж подставляет обе свои ладони под ее подпрыгивающую голову. Очень вовремя. И мягко приняв ее затылок.

Зато теперь впал в тряску его автомат. Дык!.. Дык!.. Дык!.. «Калашников», висевший у него за спиной... Женщина билась. Страж ее держал. И его автомат хочешь не хочешь синхронно бил дулом в пол.

Так я оказался сам по себе. Но я не метнулся тотчас во тьму. Я нашел стопроцентно правильный ход.

И не пришлось придумывать. Мне сказали эти слова — и я их повторил. Этаким конвейер взаимных просьб. Я обратился к тому, кто рядом... Я изменил соответственно лишь возрастное обращение (и ни на чуть интонацию). *Присмотри, сынок! На пару минут!* И едва только ближайший ко мне мужик с автоматом изобразил согласие (занять сторожевое место у лестницы) — я шагнул в сторону. Я шагнул в темноту как в свободу. Движения совпали: он кивнул — а я уже шагнул и исчез.

Первые шаги в темноте были нетрудны — по памяти фонариков, плясавших на ступеньках. Это когда стражи показывали мне опасный путь наверх: мол, не рыпайся, старикан, куда тебе!.. Но я знал куда.

Полуразрушенные лестницы — как слалом, финт направо — и подняться. Налево — и еще подняться. Но всюду гармошка битых ступенек... Я шел и оступался. Перила попросту вдруг исчезали... Нет перил... И тогда я впустую махал руками в темноте, хватаясь за воздух. Зато стены всегда опорны и честны. Только в темноте понимаешь, что такое стены.

Как пройти вторым этажом и поворот на третий — это еще удерживалось памятью цепко. Памятью волочимого нами Славика. Здесь мальчонка угас. На этих ступеньках. Уже во тьме... Но уже на четвертом я умудрился попасть на лестницу, которая оказалась тупиком.

Конечно, я сбился. Дверь была заложена наскоро кирпичом (готовились к долговому бою? или такой крупный обвал?..). Обнаружился некий боковой ход, а уже за ним ступеньки... Лестница, чрезвычайно узкая и с поворотами — почти винтовая. (Это вроде бы она. Здесь мы тоже помучили Славика.) Но я сразу ткнулся в перегораживающий деревянный щит. Прибитые доски крест-накрест... Не пройти. Сбился...

Я двинулся в сторону по этажу (по какому?)... Обход ничего не дал. Лестничную площадку я кое-как в темноте обнаружил... Но оказалась вдруг дверь. Дверь заколочена. Я дергал и дергал за ручку! Бессильный и злой!..

Пробовал вникнуть в замок, но куда там! Дверь заколочена здоровеными гвоздями, двадцаткой. Я только водил пальцем по их могучим металлическим шляпкам.

Я так и привалился к двери. Я сник. Я устал. Все-таки уже ночь.

Как вдруг на этаже (шагах в десяти слева от меня) послышался говор, похожий на шепот. Там шли очень медленно. Медленно, но уверенно. Как-никак в полной темноте... Шли без фонарика.

Судя по голосам, идущие осторожничали — состорожничал и я. Я мигом снял ботинки. В носках, как балерун, легко приблизился к шепчущимся... Нет, не шепот. Но все-таки негромкий и осторожный (это чувствовалось) говор двоих — они поднимались вверх и слегка спорили. Один говорил, что *«уже пора!»* — а второй настаивал, что *«уже пора... но надо убрать из обоих»*

Речь шла о двух портативных компьютерах. Возможно, не «убрать» и не «стереть», а «заменить»... Или, напротив: «что-то вписать», «вставить». Я не уверен. Уже не помню. Я всего лишь предполагаю и домысливаю (синдром ночного сговора), что сдающиеся могли хотеть что-то слегка подправить. Что-то убрать-стереть. Замести следы. И похоже, что мелькнуло слово *«списки»*... Но мне-то что! Мне было важно, что они знают путь вверх.

И первая моя мысль была мысль ясная и детская — просто красться за ними, *за знающими*. Идти за ними — и все. Однако мелькнула опаска: а если их дело серьезное?.. Опаска вполне в духе новейшего времени. Профи, они ведь и пристрелят. Возьмут недорого. Если дело ответственное... Если ставки крупные.

Серьезным парням (голоса молодые! свежие!) совсем не до какого-то озабоченного старикашки!.. Еще и заподозрят. Запросто пристрелят. (Как хорош в темноте молчаливый свидетель.) Я испугался всерьез. Хорошо помню. Это был страх.

Я так и видел, что с простреленной башкой останусь лежать на этой подванивающей порохом лестнице. И Даша, спускаясь, пройдет мимо тела. Завтра поутру... Обязательно пройдет — других лестниц здесь нет. И, увидев старичка, присядет на ступеньку. И еще как всплакнет! (Это я иронизировал. Меня лежащего Даша даже не узнает. Поторопится. Сбегая в спешке пролет за пролетом.) Зато я стал подбадривать себя эпитафией. Кадрики фильма... Надгробие... Бегущая строка... **ОН ШЕЛ ЗА ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ И ПОГИБ — ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ.**

А кто-нибудь юный припишет мелом: *НО ТАК ЕЕ И НЕ ТРАХНУЛ.*

Страх страхом, а меж тем в полной тьме я уже вышел на лестницу (к движущимся молодым голосам)... Заговорил... Открыто и *по-товарищески* сказал-спросил:

— Можно ли с вами вместе подняться?.. Мне на одиннадцатый.

Их голоса на миг замерли (не ждали, что их слышат) — а затем из темноты мне этак спокойно, этак с легкой смешинкой:

— С нами до девятого... Можно!

То есть оба идут до девятого, но никак не выше. У них свои дела! И никакой иной помощи, конечно... Так что поспешай, заблудший!

Один из провожатых врубил свой фонарик и все-таки мазнул по мне лучом. А затем недоуменно воткнул луч в мои ботинки, что на весу. (Я так и держал их в руках, не успел надеть.) Засмеялся:

— Что это у вас? С мертвяка сняли?

Я не знал, что сказать, и коротко бросил:

— Жмут.

Он опять засмеялся:

— С мертвяка всегда жмут. Поначалу.

И тем наше общение кончилось. Оборвалось... Они вскоре свернули на свой девятый. А я затопал выше — опять в полной тьме.

Ступеньки разбиты и скользки... Или выбиты. С пропуском в две, а то и в три сразу. (Я уже обулся.) Я нашаривал ступеньку, тыча во тьму ботинком.

Но самая тьма оказалась там... На этаже.

Я пытался определиться по запаху. Большие кабинеты (по ним били танковые пушки) должны были подванивать обстрелом. Несколько дверей (я же помнил) были вышиблены снарядами. Но, видно, боевая гарь уже улеглась. Куда ни нацель нос, в воздухе чисто... Остывшее не воняет.

Хоть выколи глаз! Я шел, тыркаясь то туда, то сюда. Черда кабинетов должна же быть, но где?.. Должна быть по линии стены. Но направление все время терялось... Я уже толком не знал, не забрел ли я опять в сторону лифтов и лестницы (если лестницы — то какой?).

Даже двери кабинетов были не те. Не такие... Я пробовал почиркать спичками — но что можно разглядеть в объемной тьме? — только самую тьму. (Спичек осталось штук пять!) Я все-таки вошел на пробу... В кабинет с приоткрытой дверью. Вошел шагком за шагком. Но за приемной вдруг обнаружился провал никак не предвиденной двери... Там тянулся какой-то новый, неведомый коридор.

Я мог толкаться здесь целую вечность. Я заметался. Весь в поту, бросался от одной стены к другой стене. Я ошупывал углы... Стучал по стене кулаком, уже не в силах сориентироваться. Надежда была разве что на везение. На случай.

Однако же помог не случай, помогла интуиция, сопровождающая всякое наше сильное чувство. Влюбленный старик — он ведь тоже — влюбленный. Я вдруг понял... Я вдруг сообразил (не знаю уж как), что те двое пробиравшиеся наверх по своим серьезным делам меня обманули. На всякий случай обманули. Замели след. Их этаж был *не девятый*, а, значит, этот — *не одиннадцатый*. (Я именно чувством, чутьем сообразил. Я даже исчислил, что обманывающие обманывают в таких поспешных случаях *на один*.) И сразу же — на порыве — я поспешил назад к лестнице.

И взлетел этажом выше. Это был он, одиннадцатый. Потому что тьмы не стало.

Потому что сразу же я увидел поперечные лунные дорожки. В длинном темном коридоре гениальным прочерком лежали лунные полосы. Три. (От трех кряду помнившихся мне снарядов. От тех самых. От их пробоин высоко в стене.) И еще угадывалась последняя пробоина в самом-самом конце коридора, где Даша... Вдалеке.

Нарастивая нетерпеливый шаг и пересекая (каждый из трех) лунный ручей, я невольно поворачивал голову к стенной дыре. В пробоине (в каж-

дой из трех) я видел луну, кто бы еще мог мне здесь помочь! Сердце возликовало. Это она... Подруга постаралась! Мне в помощь!.. На ее белесые полосы я ступал в темноте уверенно — как на земную твердь.

Снаряд, пробив наружную стену, попадал в кабинет, по пути вышибая затем еще и его дубовую дверь. Три кабинета тем самым были нараспашку. Без дверей. Они приглашали... Я все помнил... Наш одиннадцатый.

Меня так окрылило, что я (в гордыне) подумал, что справился бы с задачей поиска и без луны.

Я ведь тогда, за неимением лучшего, пожертвовал пахучей маечкой Даши. Уходя, набросил майку на круглую медную рукоять двери (того кабинета, что с трубками и табаками). Приметил место извне... Когда помогал Дракуле нести Славика... Конечно, я мог промахнуться, бросить мимо дверной ручки. Но и упавшая маечка — достаточный знак.

Найти с лунной, отыскать при такой ее дружеской (подружкой) подсветке было, конечно, легче. И радостнее!

Маечка, вяло повисшая на дверной ручке, увиделась уже издали.

Лунный прорыв, что в самом конце коридора, был более яркий: он был двойной. Потому что двойным было то оглушительное попадание. Снаряд за снарядом, убившие Славика.

Все еще помня о погибшем, луна сотворила здесь дорожку высшего класса — и шире, и торжественнее, и трагичнее. Снаряды протащили с собой внутрь сверкающие куски окна и лунного света. Крошево оконного стекла лежало на полу... Под моими ногами лежала луна. Разбитая в мелочь.

Лунно и светло (от тех же пробоин) было и в кабинете... Куда я вошел и где увидел спящую Дашу. Она лежала на полу. Вся в луче... Как на картинах старых мастеров. Она-таки сорвала с себя платье. Нагая... В забвении...

Я и луна, мы смотрели. Мы только и делали, что смотрели — а красота тихо спасала мир!.. Я не посмел смотреть стоя. Я сел на краешек разбитого кресла и закурил. Я медленно курил. (Вот зачем спички.) Не отрывал глаз... Набедренная повязка ее все же была на своем месте. Нагота лишь казалась полной. (А почудившийся треугольник был всего-то косой тенью ее бедра.)

Но чудо застывшей картины вдруг слегка подпрыгнуло. И сместилось. (Луна затряслась... Луч луны прыгал мелковато. Этак припрыжкой... Не от перистого ли облака?) Я глянул в пролом. Луна там спокойна. Тогда я сразу перевел глаза назад — это не луну, это Дашу трясло. Это ее колотило, било мелким боем в продолжающейся ломке. И ломало ей руки. И пальцы крутило... И с отблеском прыгало пятно на ее лбу — мелкий пот.

Я лег к ней... Секс ни при чем... Я лишь пытался передать ей этот лунный мир. Передать покой. Передать это отсутствие желаний. И счастье покоя... Я просто лежал рядом... а Даша билась.

Я не хотел ее — и мой член, помощник в деле, оказался не востребова- ван. Он по-тихому подсмеивался надо мной со стороны. Впрочем, сочувственно и вполне по-товарищески: *зачем, мол, тебе я?.. Тебе и так неплохо...* Я пробовал (проверочно) им шевельнуть, пополнить его кровью — той самой кровью, что по-сумасшедшему гнала меня за Дашей весь долгий день. Но он только подсмеивался: «Ну-ну, приятель! Нет же никакой драмы!.. Смотри, как славно вы с ней (с Дашей) лежите. Цени свою минуту... *И ведь она (луна) тоже с вами. Чудное триединство! Зачем вам еще и я?»*

Говорят же, обьятия женщины врачуют! Дашина тряска попритихла. Ломка, конечно, не прошла. Ломка затаилась. Мы лежали с полчаса? Час? Не знаю... В темноте... В состоянии дремы... А потом я, отврачевавший, встал и пошел прямо на луну. В ее направлении. Луна висела в проломе.

Пролом в стене (плюс сбоку пустой оконный проем) был достаточно велик и вертикален — как раз за счет того двойного попадания. Почти в

рост... Когда я вошел (или, лучше, *вышел*) в корявый овал пролома, то оказался на своеобразном балкончике — без перил, но с выступавшей наружу темной балкой. За балку я и придерживался. Я был высоко... Над ночным городом.

А как дышалось! С удивлением я обнаружил, что под ногами вовсе не балкон. Это был вылом — кусок взорванной стеной перегородки, выступивший каким-то случаем наружу. Выступивший туда углом... И держащийся на весу только за счет более тяжелой части, оставшейся в кабинете. (Кусок стены лег прямо на тот замечательный стол, раздавив его. На табачки и трубки.)

И едва глаза пригляделись, я обнаружил, что парю над городом. На малом выступе. На пяточке. (Примерно метр на два.) Как на микроскопической хрущевской кухоньке. И если что — держусь за балку.

С еще большим удивлением я обнаружил, что я совершенно гол. При луне это было хорошо видно. (Поначалу я все-таки изготовился к активному общению с Дашей.) Но в конце концов, что мне теперь до каких-то трусов. Да на фиг! Что мне до одежды, если ночь! Воздух застыл и недвижим. Тепло... Какая осень!

Подо мной был огромный город. Подо мной мчали ночные машины... Внизу были атакующие. Внизу были защитники. Все они... Безусловно, в том моем подлунном стоянии было торжество. Нагота — это открытость. Я был свободен от людей и от одежды. Я сам по себе. И я ничего не хотел. Разве что просто поиметь весь мир. Хотя бы один раз в жизни. *Важная для всякого художника мысль.* Да, да, поиметь. А иначе почему у меня встал?

На высоте дух мой ликова!л!

Одна из смелых мыслей была в том, что снаряд тоже ведь ворвался в этот Дом голым. И потому я неспроста стоял здесь под луной гол-голышом. Я был то, что этот Дом возвращал... Дом не остался без ответа. Я — был ответ. Я был как ответный голый снаряд. (А можно предположить и так, что Дом вернул миру кое-что неперевариваемое... Выбросил из себя. Я — как честная блевота. Я — как возврат.)

Лишь тут, если честно, я заметил, что стою со стоящим. Но ведь это тоже увязывалось с достойным ответом.

Если честно, столь высокая и торжественная образность мысли слетела с меня мигом, как драный птичий пух... Слетела шелухой... Едва только снизу в меня уперся вдруг желтый прожектор. В ночной тьме это как удар. Как укус в глаза. Укус в зрачки... Это атакующие бдели. Нет-нет и они шаррили снизу, ощупывая ночное здание прожекторами — они ведь приглядывали! (Не устанавливают ли среди ночи в окна пулеметы? Не выкинут ли наконец белый флажок. Мало ли что!) По мне прожектор сначала только скользнул. Потом он вернулся, словно обомлел от моего нагого вида. Уперся. Замер... Вот тут у меня встал. Возможно, от легкого испуга. Бывает.

Я стоял и стоял. Я ощущал монументальность. И луч с меня не сползал... Ощущение затянувшегося величия. Миг истины... И на минуту-другую крыша моя, это возможно, поехала.

Когда я вернулся к Даше, я сообщил ей:

— Знаешь. Мы оба там стояли.

Она решила, что я брежу. И откуда такой голый? Почему?.. А я только улыбался. Я-то считал, что все понятно — что разъяснение мое честно и открыто. К тому же достойный минуты юмор.

Даша вполне очнулась. Но и ломка проснулась с новой силой. Ее чудесное лицо запрыгало, затряслось. А Даша смеялась... Через силу...

Этот ее мелкий хриловатый смех! Напряженно выставив руки, но ладонями (почему-то) вперед, она звала к себе.

— Это я, — на всякий случай сообщил я.

— А?

«Это я...» — именно так (в точности так) я сказал ей вчера в темноте ее дачи (в такой же лунной полутьме). Даша тоже тотчас вспомнила и засмеялась повтору. «Вижу». — Она еще потянулась ко мне. Она звала глазами... К себе... Она скосила глаза туда, куда до этого скосил свой глаз прожектор.

Руки Даша завела за голову, сцепив там пальцы и образывая для своего затылка мягкое гнездышко. Она, мол, сколько-то приспособится к ломке. Она, мол, сумеет... И все равно ее голова запрыгала... Взлетала и скакала. Как мяч.

Она расцепляла свои руки лишь на миг, чтобы обнять меня, чтобы прихватывать меня за лопатки, входя в мой ритм. Но затем опять убирала руки под колотящийся затылок. Руки там и оставались.

И глубоко, жадно захватывала ртом воздух.

— Даша...

— Да.

То, что надо. То, что нам было надо. И ей (как я после понял) в особенности. Голова ее в подложенных снизу ладонях уже не билась — голова моталась туда-сюда. Голова казалась беспомощной. Но я вдруг сообразил, что это счастливое мотанье из стороны в сторону — не тряска... Это же оно. Это оно.

— Даша...

— Да, да! — вскрикивала она, уже не слушая и не слыша.

Она захватывала ртом все больше и больше воздуха. Звуки стали первородными:

— Оо... Уу... Ага-га-аааа!.. Уу!

— Как твоя голова?

— Что?

Она плакала. Счастливо плакала, мотала головой, билась, а я это понимал и был с ней, сколько было сил. Я старался. Я почему-то знал, что ей это нужно... Наши жизни исчезли... До предела. Долго. Пока она не впала в слабость. Пока не вырубилась. В забытьи... В никуда... И, только увидев, что могу торжествовать, я перевел дух. Я еще огляделся. Я не сразу обмяк. Я еще увидел, какие мы с ней смуглые в лунной подсветке. Лицо Дашы осталось мокрым от слез. Хотя спала...

И хорошо помню: очнулись... Бабахнул какой-то запоздалый танк. Случайный ночной выстрел?.. Как после узналось — *ночной*, но не бессмысленный. (Это был знак согласия со стороны атакующих. Знак на подписание мира — двойной выстрел холостыми.)

Но мы-то решили, что бой продолжается. Бой до одури. Нам стало весело. Нам — наплевать!

— А представляешь, если бы сюда. Даша!.. Если бы снаряд ахнул сейчас здесь... Прямо в окно... Над нами!

— Оо... Ну и что?

— Как — что? Прямо над нами.

— Не страшно... Ты бы раньше кончил. Вот и все.

Мы смеялись. Ее больше не трясло. Она вполне могла говорить. Она уже была прежней Дашей.

И ведь какая обычная, скромная с виду минута... Мое тщеславие распустилось самым пышным цветом. Я с Дашей. Пусть это случай, пусть совпадение! Ломка изошла сама собой! Пусть!.. Но ведь совпало со мной!.. И значит, исцелил. И значит, покончил с ломкой... Я!.. Я!.. Мой мужской (и такой естественный) ритм оказался ритмом, ее подавившим и врачующим.

Лежали рядом... Как необычен, как скромен этот покой победы. А Даша затаилась. Боялась поверить. (Это она прислушивалась к себе: кончилась ли ломка? Точно ли?) Она боялась обрадоваться и назвать словом. Боялась сглазить.

Зато я вдруг вовсе лишился ума. Я этак на полчаса спятил. Я теперь буйствовал от великой радости обладания. Дергался, паясничал... Ликовал!.. А потом мгновенно вырубился уже надолго. Отключился и здесь же (на полу) заснул.

Даша рассказала (после), как именно я ликовал. Как показывал пальцем на луну в проломе и говорил Даше:

— Пойдем туда. К ней. Запросто!.. Что за *прооблума!*

Не знающий, как радость избыть, в те первые счастливые минуты я лизал Дашино плечо и ту коварную ее грудь. Я лизал до победы. До шершавости. До пустоты там.

А были (при луне еле разглядел) три этаких квадратика — с легкой клейкой пленкой. Возможно, нарезные «дольки». Или марки с покрытием. Не знаю... Два квадратика, уже прежде слизанные ею. Да и третий почти... Но теперь я слизал и покрытие третьего, и сами квадратика. Все — на фиг! Я уже сыто мурлыкал (это я еще помню). Ей — ни крупички!.. Ей (после ломки) оставлять нельзя.

То есть в некотором смысле я жертвовал собой — брал на себя. Жертвенное животное. Я делал это весело. И запросто!.. Жаль, не все помню. Лизал... И сразу же после жертвоприношения (это помню) плясал и скакал по разгромленному кабинету. Прыгал как балерун через валяющуюся битую мебель... Через обломки кирпичей и бетона. Как козел.

Даша (после) рассказала, как я, устав от пляса, устроил себе перекур. Стенной перегородкой завалило ту великолепную коллекционную полку. Какая досада! Я не смог отыскать ни одной трубки. Но зато табака на полу было полно! Пригоршни... Я скрутил козью ножку (козью ногу) из газеты — из свисавшего с подоконника огромного газетного лопуха. Курил. Нечто монументальное... Я держал на весу громадную сигарку, и дым — пахучий, заморский! — как уверяла Даша — валил у полоумного старика даже из ушей.

Покурив, я сильно посвежел и вновь пустился в скок и пляс. Но побил ноги о кирпичи... А Даша (надо же!) едва не взялась за старое. Грудь у нее была обнажена. И свою собственную грудь она своей собственной рукой тянула ко рту. Нюхала... Казалось, что оторвет. Нюхала, притягивая грудь к носу, к губам. Едва не грызла ее... Но *тату* (окоемочная татуировка) с вкрапленным порошком наркоты уже сошла, исчезла под моим языком. *Тату* тью-тью... Только-только и значились блеклые квадратика от слизанных марок. (Следы на стенах от проданных картин.)

И ведь как хотела! Разок даже застонала, как прежде. Бедная Даша!.. А что делать — все слизал и все вынюхал. Фигу ей! Ничего не оставил старый козел. Тью-тью.

Зато я, с непривычки, все только веселел и веселел в процессе — в первом в своей жизни кайфе.

— Все во мне! — вопил я.

Счастливо взывая, я припал к Даше — она отбивалась. Я бросался на нее с высунутым языком... Как с копьем... С шизоидной силой заново вылизывал ее плечевые впадинки... Ее грудь. Правую. Всю!.. Даша хохотала. А я слизывал. Я свел-таки слюной на нет даже след хитроумной наклейки. Я выел тату. Я выжрал. Я взял в себя до пороховой пылинки. Саму пыльцу... Я покончил с пороком.

Не все помню... Однако же вот помню, что полизал еще ее грудь в самый сосок. Просто так. Из дружбы... А потом я вырвался (Даша туда не пускала). Выскочил на тот обвальный выступ-балкончик и там улюлюкал.

Но вернулся... Осколки стекла... Эти осколки под ногами были кусочками моего мозга, и я (помню) шел прямо по ним... По серому веществу... В моих извилинах похрустывало-похрупывало... Хруп-хруп! (Мысль-мысль.)

Это было как откровение. Я чувствовал: выявляется через звук хрустящая сущность гомо сапиенс. Когда мысль нас осеняет, она тут же гибнет.

Вот в чем правда. Поняв мысль, мы ее давим! Хруп! Хруп! — И уже вслед ей мы кому-то говорим: «Вот мысль. Послушай!»... А ее нет... Она уже хруп-хруп. Мысль — это некая маленькая смерть.

Даша (после) рассказала, что, *нализавшийся*, я не переставал скакать ни на минуту. Бесноватый старикан... В одних трусах... Но мой скачущий пляс (уже перепляс) не был простым повторением. Сменилось место! Я уверял Дашу, что мы с ней уже какое-то время там — на Луне... Она на Луне, и я на Луне — как не порадоваться, дорогая!.. Я разулся, чтобы радоваться. Чтобы на лунном грунте плясать веселее и энергичнее. Порезал о битое стекло ноги. Но не остановился... Я все время слышал некий сигнал... Дело в том, что, оказывается, я был востребован с родной Земли. Я собирал лунную породу. Это была сверхзадача. Я должен был передать камни землянам...

Когда я рухнул и тотчас уснул на полу, Даша не перетащила меня волоком куда-нибудь в угол, на мягкое. Она побоялась. Подо мной могло быть стекло, много стекла.

Но, конечно, не это меня обидело. Подумаешь, оставила спать на жестком. Подумаешь, голый спал на полу! (Прижимая к груди собственные носки, набитые осколками бетона...) Да я же был счастлив! Еще как! Я мог спать на той темной балке, что выставилась в ночь в пролом стены...

Вялая самодвижущаяся колонна — вот как это было. Разбухший людской ручей.

Проще сказать — очередь... Мы ведь не отталкивали один другого, мы шли, жмясь друг к другу. Все тесней и тесней. Впритирку... Нам хотелось выглядеть плохо. Нам хотелось выглядеть измученными и, конечно, голодными, истощенными. (В осажденном Доме и впрямь было не сытно.) Надпись нас ждала: ВЫХОД...

И чем ближе к выходу — тем мы тише. Здесь мы шли совсем тихо. И прятали глаза. Мы сдавались.

И справа, и слева смотрели... На нас... Люди, что справа, что слева (победители), сильными и уверенными голосами кричали нам: «Топай, топай! Выходи!» — И нетерпеливо-ерническое громкое подбадриванье: «Шевелись! Шевелись, родные!» — было первое, что нами от них услышано. Их было много. Победителей всегда много.

К нам сразу приблизилось оцепление (и стало теперь нашей охраной). Нас ждали. С наставленными автоматами. И с кулаками.

Мы, впрочем, уже знали, что их кулаки страшнее их автоматов, так как стрелять в нас не будут. *Ни в грудь стоящему, ни в спину уходящему.* Конечно, солдаты и поодаль бэтээры... И автоматы в упор, всё так. И толпа нас ждала. И зрители ТВ ждали. А все же три-четыре человека из обеспокоенной родни (молча затесавшиеся среди победителей) тоже вытягивали шеи — и тоже ждали.

Но прежде всего нас ждали эти крепкие парни *с кулаками*. Их кулаки были историей уже оправданы. По-своему честны... Не вы ли, мол, сверху стреляли в людей! Бунтари сраные!.. Не вы ли затевали войну — своих против своих. Прохожие гибли! ни за хер!.. Отпускаем вас ради общего мира — исключительно ради мира. Но уж пинка-то ради этого мира мы вам дадим! Хор-ррошего пинка! Еще и кулаком по загривку!..

Очередь сдающихся была вполне на кулак и пинок согласна. Но, понятное дело, на выходе медила. Еле двигались... Очередь шла как бы по шаткому настилу. Готовая в испуге тотчас отпрянуть назад, если избиение станет кровавым и пугающим.

Били, конечно же, мужчин. Записывать на пленку «Выход сдающихся» телевизионщикам разрешили попозже. Когда серьезные парни с кулаками

как раз ушли на обед. И когда оставшиеся мужички подымали на нас руку уже кое-как. Уже с лентой... И давали по шее каждому десятому — вялая русская расправа.

В избиваемой очереди мы шли к выходу с ней рядом, совсем рядом, и Даша держалась робкими пальчиками за мою руку. В этих пальчиках, возможно, и вся моя обида. Не держись, отчуждись она сразу, я бы и дальнейшее воспринял по-иному. Но отчуждаться не было и в мыслях. Мы даже касались, бок о бок... По ходу чуть слышно терлись бедро к бедру, но главное — ее пальчики — они не переставая ласкали. Поглаживали кисть моей руки... Мою ладонь... Подушечки ее пальцев!

И вот ВЫХОД, и как раз на виду тех парней с кулаками (и с перекошенными злобой рожам), пальчики отдернулись — ласковые пальчики упруго поджались в кулачок, пальчики собрались, сгруппировались. И этим костистым оружием Даша сама стала меня лупить. По плечам. По башке. Еще по плечам... Еще по башке... Не дожидаясь, пока за меня примутся парни.

Смысл был очевиден: девчонка выволокла *оттуда*, из огня и обстрела, своего дурака отца (из-за дурацких убеждений полезшего в пекло!). Заблудший, дурно политизированный, а все же любимый папашка!.. Девчонка сама его справедливо наказывает! Пусть все видят — дочь дубасит отца. Она даже подпрыгивала, чтобы мне по башке врезать получше. (А что поделать, если родной папашка такой кретин!..) Так и прошли мы по коридору оцепления. Со стороны мне только разок и дали слегка под зад. И присвистнули!

Коридор победителей... С обеих сторон на нас были наставлены нестреляющие автоматы — и сколько мы мимо вороненых дул шли, столько Даша меня лупила и пританцовывала. Какой-то дикий пляс! Мумбо-юмбо. Я, щурясь, только и видел — косым взглядом — ее взлетающие кулачки. Да еще подпрыгивающие при замахе (совсем близко) ее груди без лифчика. (Маечка так и пропала.) Автоматчики тоже знали, куда скосить глаза. И парни с кулаками тоже. Как один... Наблюдали ее замечательно подвижные молодые белые груди.

Как только мы отошли достаточно далеко, Даша преспокойно взяла меня под руку. Мы шли через ту самую, что и утром, площадь. Я оскорбленно отодвинулся, а она вскрикнула:

— Что такое?!

Я молчал.

— Что случилось?

— Ничего. — Не стал объяснять.

Мы вышли к припаркованным машинам. На площади лавка с кока-колой. Никаких перемен... Машина на месте... Даша шагнула к машине — а я шагнул в сторону.

Она позвала. Но я уже смешался с толпой.

Мелкая дробь ее кулачков (не остаток ли ее ломки) была старой моей голове куда лучше и куда более щадяща, чем любые справа-слева удары дюжих ребят. И даже чем один их прицельный кулак мне в ребра. Когда мы с Дашей проходили тем *коридором*, децимация (каждый десятый) еще не восторжествовала. Могли ударить каждого. Любого! ТВ пока что не снимало. Это при ТВ они будут бить кое-как...

Так что, в сущности, я должен был благодарить Дашу за ее ловкую, типично женскую придумку. Ведь мы их на выходе обставили! Одурачили!.. Парни с кулаками и точно решили, что красotka кинулась спасать. Тряса белыми грудями и вся в слезах, кинулась в самую гущу разборки... В самую свару!.. Чтобы вызволить оттуда глупого политизированного папашку! Себя подвергла, а его вызволила! Во какая!

А Дашу, как она после призналась, прежде всего заботило то, что ее имя (в связи со звучным и знаковым именем ее настоящего отца) попадет в газеты — и будет политиканами сразу задействовано. Она отца берегла. Она за него болела!.. Однако она слишком уж торопливо говорила мне это. Признавалась как-то поспешно... Слишком дерганно... Слишком в глаза мне заглядывала... Да, да, ее отец! Такая фамилия! Даша испугалась. Газетчики бы тут же на выходе ее отследили. А то и менты! Эти хуже всего! Отвели бы кой-куда проверить... В связи с фамилией... На случай... Да просто из злой придирки проверить! (На алкоголь. На наркоту.) Отец повис бы на крючке...

Обо мне она и думать не думала — просто подставила.

Я не был так уж озлен. Только досада... Я очень скоро оправдал Дашу. Что ей было делать — молодая! Красивая! Вся жизнь еще впереди!.. И в сущности, это было забавно. Старому козлу по шее!.. Не могла же она допустить, чтобы менты, а то и фээсбэшники по какой-то случайности к ней прицепились. (Проверили бы ее на наркотики. Куда-то бы повели одну.)

Да вот и Олежка, мой племянник, подсмеивался. Он любит меня. Но ведь веселый, молодой, и как тут не поерничать!

— Дядя. Это про вас. — И он протягивал стопку из трех-четырёх газет.

Или одну газету, но уже развернутую на нужном для чтения месте. Где вовсю обсуждалась осада Белого дома. Разговоры о штурме... Разборка, но непременно с нравственной стороны... Прав ли был вояка Руцкой. Как здорово распорядился силой невоняка Ельцин!.. Кто был «за». Кто «против»... Вся эта бодяга. Сведение счетов. Припоминание былых угроз...

Олежка приехал ко мне за город развеяться. По осени он навещает меня чаще... И конечно, он поволновался за меня, исчезнувшего на двое суток. (Приехал, а старого дядьки нет...) И как же он смеялся, когда узнал, где я был. Он прямо катался со смеху... Спрашивал, почему я так плохо руководил обороной.

В те дни Олежка искал новую работу... По объявлениям. По наводке приятелей... Каждый день рылся в газетах всех направлений. Покупал на станции ворохи. Просматривал.

— Дядя. Опять про вас!

И протягивал мне очередную газету со статьей, где вяло спорили, был ли штурм.

— Дядя. А вот опять...

В статье всё снова... Подсчитывали убытки, на сколько тысяч и тысяч долларов изуродовано стен. И отдельный счет на «внутренние органы» — на ремонт раздолбанных кабинетов.

Но зато однажды в протянутой мне племянном какой-то желтой газетенке я прочел о некоем голом человеке на верху Белого дома в ту ночь... Я обомлел.

Защитники Дома, писала газетенка, были готовы сдать. Решение о сдаче уже было принято. Но возникла проблема связи: как заново войти в контакт с атакующими... Как теперь известно, *горячая* (единственная) телефонная линия вдруг отрубилась. И как? Как связаться?

Не могли они дать знать и двойной осветительной ракетой. (О том, что готовы сдать.) Слишком много трассирующих (светящихся) пуль влетало ночью там и здесь. Стреляли!

И как раз запасным, мол, вариантом сигнала о сдаче Дома (решающим сигналом) стал одинокий человек без автомата — *голый, на самом верху*. Проектора нашли его почти сразу. Луч зафиксировал... Голый — как раз и означало, что ресурсы защитников истощились. Сдаемся...

И атакующие холостым залпом тотчас дали понять — сдача как факт принята.

Но параллельно честная газетенка излагала и альтернативное мнение. Оппонент возражал... Да, голый был. Да, на самом верху. Но это был свихнувшийся, одуревший от рвущихся снарядов старик-чиновник... Голый... Его многие видели. Он бродил по коридорам не первый день...

Дело в том, что старик вдруг оказался заблокирован обвалившейся (рухнувшей внутрь) стеной перегородкой. Он еле вылез в щель. Выбираясь из завала, он и ободрался... Стал совершенно гол. А к пролому в стене он, бедный, вышел, чтобы просто отлить... Проектор это четко зафиксировал. Все видели... Старик дотерпел до ночи. Он не мог сделать дело днем на виду прохожих. Среди них женщины... Он не мог сделать дело на виду Си-эн-эн. И поэтому только ночью... Только при лунном свете голый старик отлил прямо на атакующих — газета иронизировала, — *в этом не было презрения, он просто справил нужду.*

Олежка продолжал посмеиваться:

— Дядя. А вот опять... Говорят, там видели голого с членом.

Я только-только выполз из своего Осьмушника, а Даша только-только выехала на машине и на вздыбе дороги меня нагнала.

— Ну что, дед! — крикнула. — Могу подбросить.

— Куда?

— Могу до электрички. А если ты в город — могу в город — напрямик до метро.

Я колебался. Сам не знаю — почему. А машина потрясающая! Эта была еще лучше, чем та, которую она позаимствовала тогда у сестры. Еще более сверкающая. Надо же — с открытым верхом!

— Так едем или нет?

Похоже, я осторожничал. (Или, может быть, лелеял старую обиду.) Я как будто прикидывал, нет ли опять в этом ее приглашении какой-то эгоистичной задумки.

Да нет же! Всё честно... Даша действительно отправлялась своим путем в город — утро как утро. А я тоже выполз на свет с какой-то своей суетой... Мы совпали. Она ничего не задумывала. Она такая. *Подбросить старикана, которого неделю не видела!*

— Едем? — Она открыла дверь машины.

— Минутку.

Я вернулся в Осьмушник, кое-что быстро взял — и к машине. Сел рядом.

— Держи. — Я протянул ей ее маечку, проскучавшую, так случилось, долгое время в моем кармане.

— Зачем она мне?

— А мне зачем?

— Как память! — Она смеялась.

Я бросил маечку в ее бардачок.

— Фу, какой злопамятный! Фу, какое лицо! — А машина уже набрала скорость. Мы выехали за поселок.

Даша поигрывала рулем и смеялась:

— Ты же нормальный, добрый старикан. Зачем ты хочешь казаться гнусным?

Но я вдруг надулся: обида всплыла. Ничего не мог с собой сделать. На фига мне ее майка!

— С чего ты взяла, что я добр?

— Э, дед. Брось!.. Тебя за километр видно!.. Давай о другом. Ты лучше скажи: зачем ты скакал голый по карнизам?

— Я не скакал.

— Еще как скакал.

— Нет.

— Не *нет*, а *да*. Газеты писали. Не совестно тебе?.. С тобой рядом, дед, была, можно сказать, молодая и красивая, а ты за кем-то еще гонял-

ся?.. За кем?.. Голый, у всех на виду! Стыдоба!.. Газеты писали: два прожектора тебя вели. Как вражий самолет. В перекрестье тебя держали! Вернее, не тебя, а твой... ну, этот... Забыла, как называется.

— ...Мне главное, дед, было добраться до моей машины. (Вернее, до сестринской.) Едва-едва мы с тобой оттуда свалили, я машину увидела. Углядела!.. Припаркованную... Не тронутую ментами... Заправленную машину!

Она закурила.

— А это значило, что я — уже дома. Уже с отцом. С родненьким моим папчочкой. Ты понял? Все остальное — не значило... Отец мог кинуться меня искать — и мог засветить себя. Там! В дурном месте.

— Какая хорошая дочь.

— Хорошая.

Помолчали

— Я, дед, заметила, как ты отвалил с обидой. Но я уже решила... Едва увидели мою машину в целости: всё в порядке! Цок-цок. Я прибыла в штаб дивизии. Так и повторяла себе мысленно. *Я прибыла в штаб дивизии...*

Я не хотел выказывать долгой обиды. Это тупик. Это глупо!.. И потому я стал посмеиваться:

— А твоя ломка?.. Ха-ха-ха. Это тоже цок-цок?.. А обстрел? (Я смеялся.) А мертвый Славик? (Я смеялся.) А то, что я оглох? А то, что я тебя не бросил?.. Ничего не значило?

Но может быть, что и я (если счета сводить на глубине) был зол как раз из-за того, что у этой красивой и молодой нашлось в тот час столько отваги — защищать папашку-политикана. Пусть даже сделалось это у нее мимоходом. Пусть на испуге! Пусть на инстинкте!.. Завидуешь, старый хер? — спросил я сам себя... Тебе бы такую дочечку. (Твои-то дочери где?.. Кого они *по жизни* выручают?)

А она повторяла, поруливая:

— Цок-цок. Цок-цок.

Потом все-таки заговорила:

— И нечего обижаться — нечего меня со стороны оценивать. Такая или сякая, какое твое дело!

Я молчал.

— Ты, дед, темный. Слышал ли ты про заповеди? Там есть одна гениальная. *Не оценивай людей, да не оценят тебя самого.*

— Не суди...

— Судить — и значит оценивать.

— Это как сказать.

— А вот так и сказать. Не спорь, дед. Применительно к людям — это ровнехонько одно и то же. Мне папашка объяснил!..

Я смолк. (Я мог бы еще осмелиться и кой в чем поспорить с евангелистами. Но как можно спорить с ее папашкой?)

— Да ты же совсем темный, дед! Меня качает, какой ты темный!.. Старый, а заповеди не помнишь. Не по-ооомнишь.

Я опять попробовал смеяться:

— Если хорошо поднатужусь, вспомню.

— Нет, дед. Если ты хорошо поднатужишься, у тебя только член встанет. Ничего более значащего не произойдет. Ты это уже доказал. Вполне. Бегал голяком... Говорят, твой член в приборы ночного видения усмотрели — любовались. Фотографировали!.. Решили, что парламентарий наконец-то вылез с белым флагом!

Это удивительно, как она и мой племян Олежка одинаково ерничали. Друг друга не зная... Одинаково прохаживались на мой счет. Одинаково мыслили. Одинаково отталкивали старого дядьку. (Заодно с его

мужским естеством. Подчеркнуто заодно. Мой член уже мешал им жить. Занимал место.) Не сговариваясь, хотели меня задвинуть. Выталкивали меня куда подалее... На отмель. На обочину. В мусор. В никуда. В ночь.

— Ой! Я вдруг вспомнила... Битое стекло на полу. Хорошо, я сообразила не оттаскивать тебя сонного в теплый уголок! Вся бы спина в порезах!..

Тоже было понятно. Тактика. (Слегка посочувствовать зажившемуся старикану. Почему бы нет?..) Все равно же на отмель. В никуда.

— Так что прости, дед... Может, и не надо было лупить тебя по башке. Да еще на виду у всех...

Она прибавила скорость.

— Но я же объяснила... Меня беспокоила машина. Ведь машину менты могли угнать...

Наше объяснение вдруг застопорилось. Нас с Дашей прервали. Притом грубо прервали — свистком и еще крепким встречным матом.

Пришлось съехать в сторону и тормознуть.

— Проверки на дорогах. — Даша готовила улыбку.

Мент... Словно проинтуичив, что милицию только что поминали, страж шел к нам, строг и сердит. Но только в первую минуту. Пока не увидел близко Дашу. Документы и права (она протягивала) на этот раз у нее были.

Но что-то опять не в порядке... Я сразу почувствовал... Или машина опять чья-то?.. Даша уже пустила в ход обаяние:

— Я... Я торопилась. Очень.

— Торопилась?

— Да, да! Торопилась, капитан!.. Прости, ради бога. Видишь! Еле-еле отыскала его на улицах. Заблудился, старый хер! Папашка мой!

Идея обаяния была та же самая:

— Как услышала, что он жив-здоров, так и кинулась за ним. В городе ужас! Народ одурел! Что творится, капитан!.. А старики невменяемы!.. У-уух, старый!

И Даша показательно (этак слегка) дала папашке (мне) по шее.

А мент козырнул ей. Приветливо козырнул — езжайте, мол, дамочка! Вперед, мол!

Какое-то время мы ехали молча.

— Не грусти, дед. У тебя крепкая шея, крепкое здоровье, крепкий даже член — чего тебе еще в твои застойные годы?

Она усмехнулась:

— Следишь за дорогой?

— Слежу.

— А ты не следи.

Я и правда насторожился, снова завидев ментов, вытягивающих шеи. В нашу как раз сторону.

— Ах, если бы ментам тогда (у Дома, под выстрелами) шепнули, что у меня нет прав... Когда я торопилась к машине, а?.. Ментам прихватить водилу-женщину — это ж какая мечта! Видел их шеи?.. Слышал, дед, когда-нибудь про параллельные прямые?

— Ну.

— И что ты про них слышал?

— Не пересекаются.

— Это правильно. Это в самую точку... Это ты, дед, про шеи ментов слышал.

Нас не остановили. Мы мчали дальше. Уже Москва.

Но расставание как-никак приближалось (по времени), и Даша опять соблаговолила кое-что припомнить:

— У меня, дед, в тот день были большие трудности... Ты же видел. Ты же присутствовал. Ломало же как!

— По-моему, это только цок-цок.

— Ты, дед, без понятия! — Даша вроде как рассердилась. — Что ты не-сешь, в чем не смыслишь!.. Ты сам-то хоть раз в жизни этот цок-цок про-бывал? Хоть раз?

— Как не пробовать!

— Когда это?

— Тогда же. При тебе... А лунные камни кто в носок собирал!

Она фыркнула:

— Да уж. Повеселил.

— Осторожнее!

Мы сделали лихой обгон.

— Не бойсь. Я за рулем — это класс.

Ее насмешки были теперь мягки. Были милы... Можно даже сказать — миролюбивы.

— Дед. Вот ты бегал, говорят, по всем проломам и проемам. Голый. С членом наперевес. Что ты при этом чувствовал?

— Счастье.

— Счастье?

— Насколько я помню.

— Но ты же, говорят, долго бегал. Разве счастье бывает долгим?.. Гово-рят, фээсбэшники тебя наснимали полные две кассеты. А зачем ты кри-чал: «Мы сдаемся!»

— Не кричал я.

— Кричал!.. Еще как слышно кричал!.. Ты кричал и скакал по руинам со стоячим. На пленке, говорят, отлично все заснято. Бегал и кричал: «Мы сдаемся». Всех потрясло! Всех тогда закачал!.. Защитники Дома тогда и проголосовали за сдачу. А рядовые защитники — единогласно!.. Ты знаешь ли, дед, что сдача Дома началась из-за твоих криков. Из-за твоего дурац-кого скаканья.

Я посмеялся:

— А говорила, ничего интересного. Цок-цок...

— Не права! Не права!.. Ты, дед, счастливчик. Ты уже в истории. Впи-сан в историческое событие... А ведь тебе легко далось! Всего-то и дел, что куролесил голый. Скакал. Выл.

— Я?

— Желтые газеты уже подробно все написали. Тебя разыскивают. Но что ты имел в виду?.. Когда кричал: «Мы сдаемся. Но ночь наша!»... А по-том спешно побежал кого-то трахать.

— Кого, интересно?

— Это тебе, дед, интересно. Газетам — нет... Побежал! Неужели в ту ночь еще и потрахался?..

— Плохо помню...

— Повезло старому... Ты, дед, лучше скажи, как тебе удалось — как ты устроил эту грандиозную сдачу? Ведь избежали кровопролития! А то и гражданской войны. Неужели ты все это предвидел?.. Факт истории. И пусть! пусть случайно! — но ведь остановил бойню. А как насчет Нобелев-ской премии мира, дед? Найдет ли награда своего героя?

Она и прощаясь смеялась. Она уже тормозила.

— Молодец, дед! Рада, что подвезла тебя до метро. С тобой дорога короче.

Я вышел из машины.

Но оказалось, что припарковалась Даша небрежно. Так что сразу же опять возник страж порядка. Мент. (Такой перепуганный день. Менты... Они были всюду.)

Конечно, красотка-блондинка за рулем. Да еще в такой машине!.. Зо-лото волос спадало волной... Дашины плечи... И все же он стал при-дираться.

— Наруша-аете! — цедил мент сквозь зубы.

Даша тотчас запела:

— Вы нас защитили. Такое творилось на улицах... Вы нас так защитили! Но чудной девичьей улыбки оказалось маловато.

— Наруша-аете! — цедил. — Нельзя-я-а...

Не помог и новый залп улыбок. Тогда Даша потянулась рукой назад. В рюкзачок, что был брошен на сиденье сзади — и извлекла оттуда велико-лепно изогнутый (и смутно знакомый мне) предмет.

Протянула стражу:

— Это вам. Подарок... Вы нас так защитили! Сегодня такой день!

И укатила от нас обеих. (Не ожидая высочайшего дозволения, тронула вперед.) Медленно... В ярком солнце... Отъезжала сверкающая открытая машина. И уплывало светлое золото волос.

Мент держал в руках дивную коллекционную трубку. Но он не смотрел на нее. Он замороженно смотрел вслед Даше — стоял открыв рот. «Как-кая женщина, а?» — вдруг хрипло спросил.

Я пожал плечами — женщина как женщина.

Он возмутился:

— Много понимаешь, старая мудь!

А у меня захолодило от ветра зубы. И я подумал, что осень... Осенняя прохлада... Коронки стерлись... Но причина нашлась проще. Оказывается, я тоже смотрел ей вслед открыв рот.

В их районе (в нашем районе) почва сильно пропитывается водой. К зиме промокшая земля схватывается морозцем, отчего фундаменты дач слегка выдавливает наружу. Фундамент «играет». И сама дача «играет»... А с ними вместе «играет» дверь, что выходит на легкую веранду. И чтобы каждый раз с лета на зиму эту дверь не перевешивать (чтобы ее не заклинивало), в самом низу двери оставляют щель в палец-два. В запас.

Этого достаточно, чтобы проникнуть внутрь дачи. Но, само собой, надо подойти так, чтобы не заметили. Старикан Алабин это умеет... Ночью... При луне у него легкий шаг.

А ночь была восхитительно лунной! Старый Алабин вынул из кармана карандаш. Обычный... Вот только в торце карандаша небольшое углубление, лунка... Вставил в замочную скважину. Там ключ. Изнутри... Карандашом (лункой вперед) он сразу попал в торец ключа. И затем карандаш вращал... Тихо-тихо поворачивал карандаш вместе с ключом.

Как только вращаемый ключ совпал с прорезью скважины, старикан его чуток толкнул. И вытолкнул... Ключ упал там. За дверью... Но, разумеется, под дверь (в ту самую щель) старый Алабин предварительно подсунул газету. Так что ключ упал на нее. На газету... Мягко.

Газету — из-под двери — старикан вытянул к себе. Ключ в его руках.

Открыв дверь, он прошел в комнаты. Не зажигая света... И дальше... И еще дальше — в комнату Даши. Все было узнаваемо. И лунные полосы знакомо лежали на постели.

На их даче никого. Старикан знал. (Я отлично это знал. Уже дня три здесь тихо.)

Старик присел на край постели. (Я присел на самый край ее постели.) Постель так и оставалась не убрана. Ее почерк... Одеяло буграми. И старый Алабин мог себе представить, что Даша опять здесь — что спит.

Луч лег прямо на подушку. А старик удерживал в памяти, как именно лежала тогда здесь Даша. Изгиб тела. Поворот головы... Он вспомнил, что ее светлые волосы в лунном луче были темноваты. Разброс своих же теней... Раскинутые во сне, ее волосы заняли тогда все пространство за головой. Всю подушку!

Старику Алабину нравилось вернуться туда, где был. Он из тех, кто себя повторяет. Кто любит *ступать в свой собственный след*. Так он сам это называет. Так ему легче жить. Так ему слаще. Только чуть прищурить глаза... В лунном свете старик с легкостью мог представить, что Даша спит и что он опять с ней рядом.

Вот на эту сторону подушки она лежала правой щекой. Вот здесь лицо... Вот там выставилась ладонь из-под одеяла... Даже до локтя... Луна застыла в окне. И старик Алабин тоже застыл. Тот же самый (почти) миг жизни. Он поверил. Он даже руку негрубо протянул в сторону ее лица.



ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

*

НЕНАДЕЖНОЕ СОЛНЦЕ

* *
*

Птицы поют: чижи, канарейки,
Звонкий, веселый народ.
А люди твердят: рубли да копейки,
Копейка — рубль бережет.

Птицы летят: гуси, гагары,
Лебеди, журавли.
А люди твердят: лиры, динары,
Все лучше, чем наши рубли.

А я утверждаю: журавль в небе
Краше стаи синиц!
А люди твердят: и в Аддис-Абебе
Пред долларом падают ниц!

О эти трели, рулады, звоны,
Их не поймет скупой...
А люди твердят: обними миллионы
И про миллионы пой!

Арабские сунны, индийские шастры
Нам о высоком твердят.
А люди галдят: пиастры, пиастры!
Пиастры отдай, говорят!

Так вот она, культура другая,
Взявшая нас живьем:
Помесь заморского попугая
С отечественным вороньем!

Памяти Сигизмунда Кржижановского

Над кубатурой тяжелых зданий
Чад следом, где проходил трамвай,
Наполненный сворой живых созданий,
Билет пробивших из ада в рай;

Над Австралией и Океанией,
Над берлинской Курфюрстендамм,
Чуть выше забвения и понимания,
По направлению к святым местам;

Над завесой страстей и маний,
Над колонками хищных дат,
Над искрами вспыхивающих восстаний,
Над зыбкой сеткою координат;

Над страницами воспоминаний
О том грядущем, где жили мы,
Летела стая рукоплесканий,
Не отвлекая от дум умы.

Над грозными знаками препинания,
Над морем письменного стола
Летела стая рукоплесканий,
Но так виновника и не нашла.

Лучшие времена

Думали о лучших временах,
Где пройдут уныние и страх,
И в скиту неведомый монах,
И в миру властитель Мономах.

Думали свирепые вожди
И мечтал доверчивый народ,
Что наступит где-то впереди
Время обретений и свобод.

Думали в пустынях и в лесах
Время в нашу сторону склонить:
Надо только в солнечных часах
Солнце ненадежное сменить.

И тогда небесные весы
Уравняют Запад и Восток.
Будут нам песочные часы
Золотой отвешивать песок.

Надо только обмануть лгуна.
Надо златоуста перепеть.
Ах, какие будут времена!
Вот еще немного потерпеть...

Вода

Покой и волю зрению суля,
Неутоленной жажде на потребу
Вода лежит, прозрачней, чем земля,
И параллельно видимому небу.

Вода в себя легко вбирает свет,
У пустоты пространство отнимая.
И плачет, натываясь на предмет,
Значения его не понимая.

Вода в себе нащупывает дно,
Ей ведомо томление и слиянье,
Ей застывать и хмуриться дано
И каплей колыхаться в океане.

И нам вольготно на ее волне.
Вода до слез над звездами смеется.
Она под солнцем не верна луне,
А ночью от луны не оторвется.

* *
*

Дивные индивиды,
Выходцы из народа:
Кто-то видывал виды,
Кто-то выдумывал моды.

Кто-то сводил счета,
Кто-то концы с концами.
Кто-то латал пустоты
Меж ангелами и подлецами.

Кто-то вышел из лесу,
Кто-то глядел в оба.
Кто-то служил прогрессу
С точностью до микроба.

Кто-то подписывал чеки,
Век не выдав свободы.
Кто-то искал в человеке
Свойства высшей породы.

Кто-то разбил корыто,
Клянча у моря обновы.
Кто-то... Ладно, а ты-то —
Кто ты такой?
А кто вы?

Направления

Одни говорят: налево!
Другие кричат: направо!
Одни набивают чрево,
Другие твердят: держава!

Одни зовут в Византию,
Других за Европу тянет.
Чудная страна Россия,
Не ведает, чем она станет.

То сказку сделает былью,
 Чудовищ пустив по свету,
 То ляжет на землю пылью,
 Зря занимая планету.

Как держит она на шее
 Свои ненасытные власти,
 Которым всегда виднее,
 Куда ей направить страсти!

Ее бы еще пожалели
 Сопредельные страны,
 Но отпугивают параллели,
 Смущают меридианы.

Но самые страшные силы,
 Что ищут славы и чести, —
 Ее западники и славянофилы,
 Взятые все вместе!

Молитва

Господи Боже, лжеца накажи,
 Обманутого пожалей.
 За то, что поверил чужой лжи
 И не придумал своей.

Господи, отведи клевету,
 Прочь отмети навет,
 Правому подтверди правоту,
 Не выставляя на свет.



ГЕОРГИЙ КАЛИНИН

*

ПРОБУЖДЕНИЕ

Рассказы

СОН В БЕЛУЮ НОЧЬ

Часа два я промаялся без сна и наконец забылся, провалился куда-то в тусклый полусвет, в непонятное время суток. Все-таки это была ночь, белая северная ночь на призрачной, иссера-темной улице, смешавшей черноту своих стен с белым свечением воздуха. Обычное узковатое пространство между рядами воздвигнутых сплошняком домов, прямоугольный каменный желоб, — и я очутился на его дне по колено в сумерках, потому что свет не доходит сюда, разлетаясь и оседая по фасадам где-то на полпути. Острой, подвальной сыростью отдает черное, влажное дно с мерклым, беловатым отливом. И, прижмурясь, многоглазо и сонно вздымаются по обе стороны от меня отвесные стены зданий, сумеречные, угольно отсвечивающие. Я ищу какой-то дом, а спросить не у кого: каменные джунгли, безлюдье, такое ужасающее безлюдье, что слышно, как разносится, отскакивая от окон, замирая где-то в глубине подворотен, звук трения моих ног о камень.

Я узнал дом, его балкончики, симметрично раскиданные по фасаду, его башенку с железным флажком флюгера, невозмутимо несущую свой дозор на углу. Осели под собственной тяжестью полусорванные с петель двустворчатые двери парадной, в прохладную, гулкую темень которой я вошел, а вернее, юркнул туда. И задрал голову, чтобы увидеть, как подымается круто вверх лестница, и ступил на округло сточенную от середины к краям плиту ступенек. Под рукой у меня — гладкое дерево старых перил, мягкие хлопья слепившейся пыли. Лестничные марши, переламываясь, перегибаясь, провисают растянутыми, вздрагивающими от сквозняка гирляндами паутины, и, желтея, шершавится испещренная царапинами, окрашенная охрой стена. Но что это? Стена колеблется, стена содрогается от исходящих откуда-то снаружи толчков, расползаясь черными и белыми кляксами вмятин. Стена рушится, рассыпаясь в прах, а ко мне доносится странно-протяжный, будто из безвоздушной пустоты, оклик:

— Сергей... Сергей... Сергей...

Я узнал этот негромкий, бесстрастный голос, потому что почти неуловимо держался или, пожалуй, скорее угадывался в нем далекий отзвук легкого, очень знакомого, лукавого смешка. И будто в подтверждение того, что я не ошибся, на мгновение откуда-то выплыв, мелькнуло передо мной лицо Петьки Комарова, попросту Комарика, моего давнего, еще со школьных времен, приятеля, — затуманенное, словно бы в глухой сосредоточенности, и все же, как и голос, непостижимо хранящее отпечаток так свойственного ему лукавого веселья. Никогда, никогда не угасало это жизне-

Калинин Георгий Михайлович родился в 1930 году. Закончил Ленинградский университет. Автор повестей и рассказов, посвященных блокаде. В «Новом мире» печатается впервые. Живет в Москве.

любивое сиянье, лучащееся из его выпуклых глаз, из их обведенных матово-серебристой каймой зеленых зрачков, — даже когда тень уныния ложилась на лицо и убого мерцал золотой фиксой трогательно-беспомощно полуоткрытый рот, даже когда тушевался от какого-нибудь резкого слова и корочка обиды покрывала глаза, — все равно из-под нее просачивалось подмигивающее, себе на уме веселье.

С хохотом вкатывался он ко мне в питерскую первоэтажную, возле самой Невы, комнату. «Живо, живо, — кричал, победно посверкивая золотым зубом, — такая компашка подобралась — загляденье!» Но что ему теперь-то нужно, чего он хочет, вечный мой совратитель, всегда прельщавший меня, неуклюжего анахорета, и вином, и танцульками, и девочками, которых умел — как ловко умел, обвораживающе похохатывая! — и расположить к себе, и чуть-чуть, в самую меру, подпойть, так что становились они охочи и податливы на ласку. Но зачем же пришел сюда в этот ночной час, зачем пустился следом за мной в сонный полусумрак пустынной — ни единой живой души — лестницы: хочет еще чем-то прельстить, еще в какую свою авантюрку увлечь, а может, может, наоборот, — и такое между нами бывало, потому что по-своему он любил меня, — о чем-то предупредить, предостеречь, прийти на помощь, как то случалось во время наводнений, когда первым из моих друзей прибегал ко мне, и мы, расхаживая по колену в воде, убирали повыше, к потолку, куда Нева бы не могла добраться, связки книг.

Я хотел было уже отозваться, даже рот раскрыл, прошептав тихо, буд-то пробуя голос:

— Что? что? что?

И спохватился, замер, холодея: это же он оттуда — оттуда зовет... Как игла, проколов тончайшую пленку сна, прошла сквозь меня мысль, что оттуда, оттуда... Не выдержав, вмешалась земная, главная наша явь, общая всем, и внесла свои поправки в явь, казалось, ей только сопутствующую, эфемерную, ту, что поднялась откуда-то из глубин моего существа. Целый пласт жизни, будто изятый из памяти, вдруг вернулся, и я вспомнил, что Комарика давно здесь нет. Я вспомнил, как уже много лет назад стоял в казенно оголенном, бетонностенном зале больничного морга, глядя на его неподвижное, застылое лицо с сомкнутыми, синими губами, с восковыми футлярчиками век, плотно обтянувших выпирающие из орбит глазные яблоки. Я стоял смотрел, и меня не покидала не то чтобы разветвленная, разбежавшаяся в разные стороны мысль — но скорее долгое, растянутое на часы, полуотчетное чувство, и в его неочерченных пределах непостижимо уживалось, не сталкиваясь, не саморазрушаясь, то, что, казалось бы, уживаться не может: и моя боль, потому что я любил Комарика — и не в последнюю очередь за то, чего был лишен сам, — за его лукавое, подмигивающее веселье, — и недоуменье — почему он, так любивший этот земной мир, в котором был как рыба в воде, быстро, очень быстро его покинул, а я, этот мир не любивший, одно время, правда, тщетно, с надрывом попытавшийся его полюбить, всегда в стороне от его постылых и докучных утех, — остался, и разъяснение, тут же данное, в том же чувстве сокрытое: а потому, потому, конечно, что любовь к земному миру — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская — есть смерть, а нелюбовь к нему, старанье не подпускать чересчур близко к себе — есть жизнь... Но как я мог забыть, что его здесь нет? Как же я мог забыть об этом, если подаю записки об упокоении с его именем, если всякий раз, вычитывая правило ко Святому Причастию, я вспоминаю о нем? И его недвижимое лицо, чугунно придавленное маской смерти, сквозь которую уж ничто не лучится, не проникает наружу, — встает передо мной всякий раз, едва я дохожу до восьмой песни Покаянного канона:

— Како не имам плакаться, егда помышляю смерть, видех бо во гробе лежаща брата моего бесславна и безобразна? Что убо чаю и на что надеюся? Токмо даждь мне, Господи, прежде конца покаяние.

Казалось, я уже проснулся, я уже бодрствовал, казалось, я лежу с открытыми, всевидящими глазами. Но кто-то на меня смотрит, и я на кого-то неотступно смотрю, так что не могу даже пошевелиться — на лицо мне давят чьи-то немигающие глаза. Мой взгляд не выдерживает, гнется, ломается, скрываясь под защиту свинцово набрякших век. Внеся свои поправки, уходит наша обычная явь, а явь, ей лишь сопутствующая, вновь из меня извлекалась и простерлась. Единственное, что она успела сделать перед тем, как исчезнуть, — вывела меня с лестницы, но далеко за собой не увлекла, бросив на произвол судьбы посреди той же прямой, похожей на длинный каменный желоб улицы, доверху, до самых кровель, налитой белым воздушным свечением. А вот и дом с почернелым фасадом, по которому симметрично раскиданы балкончики и лепные круглые барельефчики, похожие на медальоны. Двустворчатая дверь парадной распахнута настежь, я вхожу на лестницу, вернее, на очень невзрачную, тесную лестничку. Она кажется неприятной и голой — видимо, из-за того, что свежая побелка ее потолков и стен проглядывает сквозь слой успевшей осесть и налипнуть пыли. Совсем белая от воздуха у раскрытых на улицу окон лестничка делается серенькой, почти темноватой на вздымающихся круто маршах. Наверное, я взбирался по ней, потому что то попадал в белый свет, то нырял в серость, в сумерки, в тень. Да и ступеньки, которых я как будто не касался ногами, беззвучно бежали, бежали подо мною вверх, вверх, и поблескивал их стоптанный, изогнутый от краев к середине камень. Да и резко вскидываемые куда-то вывес перила, которых я не касался руками, неслись сбоку от меня — я видел их гладкое, светящееся скольжение, которое перегнулось, оборвалось. Серая, сумеречная площадка не знаю какого этажа. Одни пустые, выкрашенные желтой охрой стены: ни окна, ни квартирных дверей. Я сунулся влево: тут был тупик, голая, затянутая по углам паутиной ниша с отвратным кошачьим духом. Я метнулся вправо и споткнулся о низенькие, лепившиеся одна над другой ступеньки. Новая лестничка, о, совсем уж крохотная, почти игрушечная лестничка, и какой-то очень низкий — ну прямо пещерный — нависает над головой проходец, который куда еще, если не в боковую, подъютую над кровлей башенку, ведет.

Нагнувшись, обтирая плечами стенки коридорчика, я протиснулся вперед, в белое свеченье небольшой выложенной кафелем площадки. Посередине, у распахнутого настежь окна, спиной ко мне стояла женская фигура, а над ней золотился со стены образ Спасителя в черном киоте.

В какие-то доли мгновенья, пока мои глаза делали свое дело, не разбирая, где главное, где второстепенное, успел я и все остальное увидеть. Как раз напротив меня отсвечивала растреснутым, облезлым дерматином обычная квартирная дверь с кнопкой электрического звонка и с белой эмалированной табличкой, на которой чернела какая-то цифра. Справа, из оконного проема, выпирали торцы тяжелых распахнутых рам, а между ними пролегла широкая плоскость подоконника неопределенного, грязно-желтого цвета, и трудно было сказать, камень это или отполированное временем дерево. Внизу, в тени подоконника, пряталась могучая, приземистая лавка, которая без особого ущерба для своей длинной, ребристой спины могла бы еще и сто, и двести лет здесь простоять. Сверху, с потолка, раскачиваясь на легчайших дуновениях воздуха, свисали хвостики паутинок, и та же неприятная белизна проступала сквозь налет темной пыли.

О, кажется, я все, все успел схватить, сгрести в охапку, чтобы тут же выпустить из рук, отставить в сторону, отпустить от себя. Я глаз не сводил с фигуры женщины, вокруг которой во мгновение ока разлетелось, взвихрилось и, замирая, расставилось, расположилось все остальное. Она стояла под образом Спасителя не шелохнувшись, но какое-то скрытое движение угадывалось в ее фигуре посреди белого свеченья площадки, а вернее ска-

зять, в ее голове, в ее затылке, словно бы облитом сплошной, сияющей гладкостью волос. Кажется, она тихо и плавно надвигается на меня, и я взгляда не могу отвести от ее зеркально отглаженной головы. Лишь единственная прядка, выбившись из крепкого плетения волос, дрожит от воздушного дуновенья, наливается истонченной, жуткой отчетливостью. Я различаю все ясней сияющую плотность волос: золотясь, темнея, переливаясь светом, пронзительно просматриваются их изогнутые, натянутые как струна нити, переходящие у самой шеи в туго смотанный, пышный клубок.

Я ошибался. Она не надвигалась затылком, а, смещая его, поворачивалась ко мне лицом и глазами. Она поворачивалась очень медленно, она поворачивалась ко мне так медленно, что казалось, мгновенье, начавшееся с моего появления здесь, никогда не кончится. Оно забуксовало, оно застопорилось, вернее сказать, я сам его остановил, сам застопорил, пытаюсь отдалить то, что мгновенье с собой несет. Но оно уже на исходе, и сейчас я увижу лицо, которое не должен видеть, увижу глаза, силу которых не смогу вынести. Уже пролегло передо мной в воздухе смутное овальное очертанье щеки и появилась выпуклость лба с легкой вдавленностью виска, которую завершал нежный прогиб глазницы. Ужас, но не тот черный, бесовский, когда будто хищные, по-звериному острые зубки мертвящие впиваются в тебя, в твою душу, лишая рассудка и воли, — ужас светлый, благой, когда все твое при тебе — я уже умел это различать, — будто ледяной огонь ожег мне затылок, прихлынул к вискам, к темени и, наконец, стекленеющим холодом залил тоненькие, скудельные сосудики волос, поднимая их дыбом в ту последнюю долю уходящего куда-то мгновенья, когда открылось все лицо, вернее сказать, когда, открываясь, расплылось оно, сохранив лишь скругленный свой контур, исчезло, полыхнув ослепительным сгустком белого света, и, наподобие маленького солнца, обволокло, обьяло меня...

Тут прервалось, и я словно бы повис в воздухе, освобожденный от телесной тяжести, легкий и светлый, но снова, снова медленно ею наполнялся и по мере этого опускался, опускался куда-то, пока не открыл глаза уже посреди обычной земной яви.

ТАКАЯ РЫБА С ХВОСТОМ

Не помню уж, как мы оказались на некошеном, в глянцево-блистающей поле, настолько бескрайнем, что лишь где-то далеко впереди, на линии горизонта, призрачно синела в дрожании жаркого воздуха тонюсенькая полоска леса. Не помню и того, куда вела нас с тобой, сынок, узкая, почти как тропа, дорожка среди пахучих, в самую пору цветенья, высоких трав. Но зато я отчетливо помню, каким ты был тогда: беленькое, не тронутое загаром лицо с кожей такой нежной, совершенной гладкости, что сродни разве лишь лаково-липучим листкам, вылезшим из только что распыснутой почки. На голове у тебя было подобие голубой панамки, но с верхом в виде двух перекинутых крест-накрест лоскутков. А из-под этой шапочки смотрели и никак не могли насмотреться на то, что было вокруг, твои прозрачно-голубые, с непонятной печалинкой глаза. Насидевшись в спертых, низкопотолочных городских комнатухах, ты попал на вольный, полевой простор и не знал, как выказать свою радость. Ты забегал вперед, опережая меня, идущего ровным шагом, ты отставал, будто забыв о моем присутствии, или забирался в траву, в ее светло-зеленую гущу, скрывавшую тебя от моих глаз, и, присев на корточки, что-то там высматривал, пока, тревожась, я не начинал звать тебя. И неумолкаемо что-то бормотал, тараторил, вскрикивал, разговаривал на все лады, разными голосами — и с самим собой, и воображая других людей, да, наверное, и с полем, и с травами, и с бабочками, что тесной стайкой вились над твоей головой и, ка-

залось, хотели и не могли разлететься в разные стороны, будто повязанные одной незримой, как паутинка, ниточкой.

Ну а я шел себе не торопясь и думал о чем-то своем. Вот этого, разумеется, не помню — о чем были тогда мои мысли. Но уж в одном убежден: что в предполуденном средоточии света и тепла не думал о минувшей войне, не вспоминал и про блокаду, про заиндевелые трупные штабеля в Госнардоме (там был морг под открытым небом), про отсеченные детские головы, кинутые в скопища нечистот. И уж конечно, думать не думал о главном виновнике той кровавой бойни, самой страшной из всех дотеле бывших. А если так, то не вспоминал я и про случай с откопанной в развалинах обледенелой еловой чуркой. Ее не брала пила, от нее отскакивал топор. Чурка же была не только чурка, но еще и преступная, злобная голова человекоубийцы, та самая, что замыслила в своем углу черепном пространстве погубить, изничтожить необъятно распахнутую на полсвета Россию. И я колот эту вражескую чурку в своей прокопченной каморке, я вгонял ударами молотка длинные костыли в эту тупую, кровожадную башку. И когда вошли они по самую шляпку в сучкастую, промерзшую насквозь древесину, дрогнула чурка, затрещала и у моих ног распалась. Я же радовался победе: и враг повержен, и есть чем топить «буржуйку»...

Ах, ни о чем подобном я тогда, посреди цветущего поля, не думал, ни о чем похожем не вспоминал и вот, ушам своим не поверив, услышал знакомое, резкое, отрывистое, как удар топора, имя из твоих младенчески чистых, невинных уст.

— Что, что ты сказал? — Я остановился и взял тебя за руку: — Повтори.

С гримаской удивленно-веселого недоуменья, вжав голову в плечи и отвернув ее в сторону, — пожалуйста! — ты отгартаторил:

— Сегодня утром под мостом поймали Гитлера с хвостом.

— Откуда это у тебя?

— Это мы в садике сочинили.

— А кто такой Гитлер, знаешь?

Глянув на меня, уловив скрытую в моих глазах улыбку, ты почувствовал подвох, какую-то каверзу. Ты понял, что сейчас должен будешь сказать что-то сомнительное — может быть, даже очень глупое и очень, с точки зрения взрослых людей, смешное. А был ты, как и подобает человеку, уже самолюбив и вовсе не желал выглядеть чересчур глупым и чересчур смешным. Самое лучшее было бы отмолчаться и на вопрос отца не отвечать. Но я ждал, не выпуская твоей мягкой ладошки из рук, я желал услышать, кто же такой этот Гитлер, и ты уступил. Словно бы моля о снисхождении, ты поднял на меня доверчивые прозрачно-голубые глаза и тихо, упавшим голосом произнес:

— Это такая рыба.

Рассмеявшись, я обхватил обеими ладонями твою голову с торчащими из-под шапочки русыми прядками и покрыл поцелуями твое маленькое, нежное лицо. Ты вырвался из моих объятий и побежал по дороге, торжествующе-радостно крича:

— Колючий, колючий...

А мне уже застило и жгло глаза, и — спазмы в горле. Ах, сынок, в какой страшный мир ты попал...

СЛЕД

За ночь зеленые шишечки бутонов распустились. Полусогнутые лепестки легли нежными слоями вокруг желтой пушистой завязи. Серебрились в воде унизанные мельчайшими пузырьками прямые ломкие стебли.

Среди разных запахов, которыми дышало утро, в комнате неуловимо витал тонкий запах лепестков, чрез окно проникал уличный шум. Застыв-

ший, отстоявшийся воздух сотрясался и раскалывался на звонкие, прозрачные глыбы. Говорили прохожие, ехали машины, дребезжали трамваи. Звуки были свежи и необычны, как голос человека спросонья.

— Какое утро, — сказал он вслух, поднимаясь с постели. — Я чувствую себя точно мальчик, которому приснился скверный сон. Теперь мальчик пробудился и рад, что наяву нет ничего похожего на то, что ему привиделось. Но какой запах у этих цветов и какое яркое нынче утро! Я, кажется, не смогу и двух минут пробыть в четырех стенах.

Он вышел из дома. Недалеко была река. Она колыхалась в гранитных берегах. Большое солнце разбивалось на тысячи ослепительных осколков.

Грузчики носили по трапу мешки с зерном на баржу. Рукой они отирали лоб, кончиком языка облизывали губы. Пот блестел на смуглых, напряженных лицах. Тяжело опускались с плеч, поднимая легкую пыль, мешки. Грузчики думали о том, чтобы получше заработать.

По улице шли солдаты. Они поднимали ногу, ставили ее с одним слитным топотом на асфальт. Отскакивала в сторону рука и возвращалась. Головы в зеленых фуражках покачивались в параллельных линиях. Солдаты думали о том, чтобы поскорее подошло время обеда.

Девушки сидели в саду. Они смеялись и ни о чем не думали. Зубы их вот только что разделали вывалянную в сухарях поджарку, измельчили прочую попутную снедь вроде сыра и колбасы. А сейчас никто бы не подумал об этом — так красивы и белы были их зубы.

Платье их недавно стягивали с тела чьи-то сильные, насмешливые руки. А сейчас никто бы не подумал, что оно повисало мятой тряпкой на спинке стула. Таким чистым, отглаженным было платье, так наивно-простодушны были глаза.

Он спиной чувствовал их осуждающе-брезгливые взгляды:

— А это еще кто? Небритая, сивая образина. То ли алкаш, то ли нищий. А одет, одет-то как! Кургузая, грязная куртка, пыльные ботинки и брючины — круглые, будто две трубы.

Он шел молча, сам не зная куда. Мимо пролетали длинные, распластанные над землей машины. Занавески трепетали в рассеченном воздухе. Мелькали на заднем сиденье упитанные, разомлевшие от жары и выпивки лица. Хозяева жизни были поглощены мыслями о деньгах и карьере.

Кто же я такой? — думал он, глядя на мчащиеся лимузины. Я все тот же мальчик, забывчивый и наивный. Мальчик выдул из соломины добрую дюжину мыльных радужных пузырей, и вот они истаяли у него на глазах.

А лимузины неслись и неслись навстречу, как волчья стая, готовая все пожрать, все смести на своем пути.

Белые, стеклянистые червячки поползли перед глазами в воздухе — последнее, что ему успело привидеться. Они напоминали вагонное окно, когда влепляются в него на всем ходу поезда дождевые капли; когда мелькают через мокрое стекло — лес, омет на поляне, бочажина с черной водой, и вдруг открываются на косогоре кладбищенские ветхие, покосившиеся кресты, и среди них — один новый, белый. Все стало темно, как в ту минуту, когда картина кончилась, экран потух, а зажечь свет в зале еще не успели.

Через три дня хозяйка квартиры отворила дверь в комнату. Там было душно и жарко. Прокаленная солнцем, она была вся завалена книгами и рукописями. Хозяйка поспешила распахнуть окно. Воздух предвечерья хлынул в комнату, прохладно касаясь стен, вещей, бумаг, и застывал недвижно.

Грудю рукописей хозяйка отнесла на свалку. Книги попробовала сдать в букинистический магазин — жилец остался ей должен энную сумму, но взять их отказались: вышли из моды, не те, никому не нужны. Тогда, чертыхаясь, хозяйка отправила книги туда же — на свалку.

Лишь когда комната опустела, обратила она внимание на увядший букет: вода в банке с цветами заброснела. Усохлые, сморщенные лепестки вместе с желтой пылью осыпались на пол. Прямые ломкие стебли обросли зеленой, липучей слизью.

Хозяйка выбросила букет в помойное ведро. Банку из-под цветов долго промывала под краном. В комнате по-прежнему неуловимо держался их тончайший запах.

СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ

Сквозь тонкую кожу червь впился в яблоко. Плоть чистая-чистая, белая-белая ему досталась. Никуда ей от червя не деться. Он со света ее сживет, он ее в прах обратит. Будет из этой белизны — чернь, а из этой чистоты — слизь.

Во тьме пожирал яблоко. Таяло, таяло оно изнутри, большое с черной, как пулевая пробоина, червоточиной на подрумяненном боку. Солнца не видел, дня не видел, мира не видел. Для чего ему солнце — чтобы, впившись, как в яблоко, тепло и свет его выесть? Для чего ему день — чтобы, на белых, прозрачных его воздухах повиснув, весь исчернить? Для чего ему мир — чтобы в утробу свою загнать, дали и веси его в прах и тлен обратить?

А тем временем мальчик пробудился. Вскочил с постели, высунулся в окно, и дух ему от радости захватило: ах, как славно вокруг! Это мальчику нужно солнце: кто же еще даст ему столько тепла и света? Это мальчику нужен день: когда же еще по траве бегать, в мяч играть, в речке купаться? Это мальчику нужен весь мир: где же иначе солнцу светить, саду расти, речке течь?

Выбежал мальчик на крыльцо. Подавай ему солнце — где оно тут светит? Подавай ему сад — где он тут растет? Подавай ему речку — где она тут течет?

Вот солнце на небе, вот речка неподалеку, к ней тропка протоптана, вот сад возле дома. А вот яблони растут, и ветви у них чуть не ломаются под тяжестью крупных, налитых яблок. Гнулись, гнулись ветви и уронили на землю дюжину самых спелых, будто шершавой пленкой от просохшей росы покрытых. Поднял мальчик яблоко: ах, какое славное, красивое! Надкусил, а там внутри вместо белизны — чернь, а вместо чистоты — слизь, там червь засел, ошеломленный светом, жирный червь в черной липкой трухе.

Вскрикнул мальчик, отбросил яблоко прочь, но, пересилив себя, с перекосенным лицом подбежал к нему и ногой раздавил вместе с червем. Огляделся, морщась, вокруг: сколько, сколько яблок свисают с веток, сколько внизу, у самых ног, лежат, подставив кверху румяный, литой бочок! И в каждом червь, в каждом гниль. А солнце светит себе как ни в чем не бывало, и день своими воздухами не померк, и мир стоит на том же своем месте, как будто ничего не случилось.

Отвернулся мальчик: к чему мне такое солнце, к чему мне такой день, к чему мне такой мир! Напрасно солнце в глаза ему заглядывает:

— Посмотри, ты только посмотри, какое я сегодня яркое, пыльное.

Напрасно день ему улыбается, обвевая свежестью белых, чистых воздухов своих:

— Посмотри, я сегодня как никогда светлый и ясный.

Напрасно мир его просторами своими обнимает:

— Посмотри, как привольно и широко, без конца и края, я пред тобой распростерся.

Молчит мальчик, ни на что бы глаза его не глядели.

Стало темнеть, повеяло холодом. Ушло солнце за тучи, померк день, затуманился мир. Где тут речка, где тут сад, где тут дом? Разорвался оглу-

шающе в поднебесье первый грозовой раскат, прогрохотав поблизости, и затих где-то вдаль. Редкие капли застучали по листьям. Пахнуло мокрой зеленью. Хлынул ливень, косо забили тугие, блестящие струи. Все полно-весней, все громче. Слышно, как, ударяясь о землю, разлетаются они вдребезги, и осколками их обдаёт кусты и траву.

Мальчик мгновенно вымок. Беречься поздно. Выскочил он из-под яблони и подставил себя дождю. Улыбался блаженно, весь с головы до пят в сплошной пелене воды. А ливень уже стихает, светлеет. Это солнце тянется к мальчику сквозь редкие, блестящие струи. Это день льнет к нему чистотой и свежестью своих воздушных масс. Это мир готовится распахнуть перед ним свои бесконечные дали. Там, подальше, — река течет; тут, совсем близко, — дом стоит; а здесь, вокруг, — сад растет. Яблоки свисают с прогнутых веток, лежат, омытые ливнем, на земле.

А чем солнце не яблоко, желтое, нежное, созревшее на древе мира?

А чем день не яблоко, белое, прозрачное, свисающее вожделенно с древа времени?

А чем мир весь не яблоко, бесконечно огромное, несказанно прекрасное: вызрело на таинственном древе Неведомого и, упав, подкатилось к нашим, человеков, ногам?

— Владейте, ваше.

Да как же я могу без тебя, солнце? Да как же я могу без тебя, долгий-предолгий белый день? Да как же я могу без тебя, бесконечный, неведомый откуда явившийся для меня мир?

Мокрый, с кончика носа капли стекают, поднял мальчик с земли омытое ливнем яблоко, пахучее, холодящее зубы. Внутри, под глянцевой кожей, в пупырышках налипшей влаги, оно — крепкое, белое, сочное. Съел мальчик яблоко:

— Какое сладкое!



НАТАЛЬЯ ВАНХАНЕН



ОДНИ НАРЕЧЬЯ

* *
*

Мне говорила одна золотая старуха:
«Жизнь на земле есть блаженство для зренья и слуха,
если снаряды поблизости не завывают
и никого не калечат и не убивают».
Зренье да слух — ну чего еще, кажется, надо?
Зренье да слух — вот великая наша армада.
Все остальное излишне темно и громоздко.
Видишь, с морозного неба за блестякою блестя.
Слышишь, скрипит под ногой, грановит и игольчат,
и голосок на морозе звонит в колокольчик...
В радужке свет да небесная музыка в ухе —
разве не так обитают бесплотные духи?
Разве не чудо метель, запуржившая крышу,
если представить, что я только вижу и слышу?

* *
*

Мы уже не видимся годами:
незачем, ни к месту, ни к чему.
Розовое облако над нами
уплыло в сверкающую тьму.
И о том, что кончилось кочевье,
а оседлость — мир совсем иной,
плачут монастырские деревья
за высокой каменной стеной.
И к другим счастливым, может статься,
что рифмуют, глядя в небосвод:
«Жить — любить, расстаться — разрыдаться», —
розовое облако плывет.

* *
*

Может, узел еще разрубят,
обойдет мировое зло:
две вороны друг друга любят
и надеются свить гнездо.
В клюве голую ветку крутят
молодая и молодой,
и налит золотистый прутик
изумрудной живой водой.

* *
*

Господи, время, куда ты?
Горсткой, обвалом, гуртом!
Я ведь не ставила даты,
думала, это потом.
Думала, все еще будет.
Думала, ну времена!
Думала, время рассудит.
Ан уж и вечность видна.
Что она, впрочем, такое?
Туго наклеплен сургуч.
Листья опавшие? Хвоя?
Белый с пылинками луч?
Карцер? Симпозиум умный?
Банька? Бескрайняя даль?
Или веселый и шумный
пионерлагерь «Печаль»,
тот, где, о папе и маме
вдруг загрустив у ворот,
девочка в мятой панаме
пишет в намокший блокнот...

* *
*

Неба вдосталь и воли в избытке,
все сбывается — только скажи!
Самолетик на сдвоенной нитке
заплетает вверху виражи...

Все осталось как есть, невредимо.
Все прошло, и упал за рекой
самолетик на ниточке дыма,
управляемый детской рукой.

* *
*

Жизнь — сплошной суетливый глагол —
не всегда удастся возвыситься,
часто смысл унизительно гол:
гнать, держать, не дышать и зависеть.

Смерть не знает глагольной возни,
синь бездонна, и море безбрежно,
и витают наречья одни:
пусто, сыро, легко, безмятежно.

* *
*

Краткий путь, золотая мера —
думал, вверх, оказалось, вниз.
Закатилась звезда Венера
за кладбищенский кипарис.

Но по всходам студеных лестниц,
по ступеням фонтанных блюд
чудный гость, золотистый месяц,
посещает людской уют.

Всем родной, всему посторонний,
он выскальзывает в дымок,
словно лодочка из ладоней,
из неловкой руки челнок.

Подплывает к ручным гераням,
к диким яблоням невдали,
серебрится морозцем ранним
на подшерстке седой земли,

на литом кипарисном стержне,
где поют, заклиная высь,
сладкогласые, как и прежде,
птица-юность и птица-жизнь.

* *
*

В ночи обнажаются мели,
и звезды лежат на мели,
как все, чего мы не успели,
хотели, да вот не смогли.

А небо еще по привычке
былой исполняет урок,
и чиркают звездные спички
о синий его коробок.

* *
*

У кого-то вечная забота —
кто-то жить не может без кого-то.
Кто-то, обуздавший свой полет,
жить не может, плачет, а живет.
А иной бы жил да жил — все мало,
да судьба его переломала —
полистала, начала скучать
и, зевнув, захлопнула тетрадь.
И, блуждая мыслью в этой теме,
я брожу меж этими и теми:
все надеюсь хоть когда-нибудь
тех и этих словом помянуть.



АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ



РЕАБИЛИТАЦИЯ, ИЛИ ПИСЬМА ИЗ ИСПАНИИ

Эти письма — не «материал для печати», а кусок жизни моего сына, Алексея. Обычного, в общем, парня, родившегося в 1974 году в роддоме на Шаболовке. Он закончил английскую школу, затем институт физкультуры по специальности тренер по теннису, отслужил год в армии и до того, как оказался в Испании, работал на телевидении корреспондентом «Вестей»... Но главным в этой ничем особо не примечательной биографии было то, что мой сын в 18 лет стал наркоманом. С тех пор целью и смыслом его жизни являлся героин. «Наркоман», «героин» — страшные слова для тех, кто с ними не сталкивался в реальности. Для тех же, кто, к несчастью, столкнулся, они неизмеримо страшнее. Передать состояние человека, который вводит иглу себе в вену, чтобы пережить нечеловеческие мучения, чтобы как-то дотянуть до завтра, до новой дозы, невозможно, я уверен, никакими словами. Как нельзя описать и чувства его близких, обреченных изо дня в день это видеть и каждый раз с ужасом ожидать возможной передозировки.

Поэтому то, что вы прочтете ниже, не имеет никакого отношения ни к словам, ни тем более к литературе. Это — часть реальной истории, которая может случиться с каждым.

Александр МИХАЙЛОВ.

ИOLA!!! Именно этим словом приветствуют друг друга жители земли басков, где теперь обретаюсь и я. Центр Reto находится в пригороде Бильбао, который называется Barakaldo. Здесь сконцентрирована большая часть тяжелой промышленности Испании, поэтому это место совершенно справедливо считается самым экологически грязным во всей Европе. Прямо за окнами нашего дома проходит эстакада автобана, под ней течет река с отходами нефтеперерабатывающего завода. Если ветер дует в нашу сторону, то запах от реки доносится отвратительный.

Город Бильбао знаменит еще тем, что в нем обосновалась террористическая организация ETA. Это что-то наподобие IRA в Северной Ирландии или наших чеченов. Баски хотят отделиться от Испании и регулярно взрывают автобусы и убивают политиков.

Теперь о центре Reto, в котором я прохожу реабилитацию. Нас здесь живет около 30 человек. Половина — русские, остальные — испанцы, болгары, хорваты и уроженцы Канарских островов. Главное правило Reto: никто не может находиться один. С тобой всегда кто-то должен быть. Даже если ты идешь в туалет, твоя «тень» ждет тебя возле двери.

Первое время меня и еще одного русского пацана, с которым мы вместе прилетели, водили на многокилометровые прогулки в горы, чтобы мы сильно уставали, быстрее перекумарили и начали спать по ночам.

Потом в течение трех недель я работал в прачечной, заправляя стиральные машины грязными шмотками и развешивая мокрые на просушку. Это считается легкой работой, и потому на нее ставят новых, конечно же в сопровождении «тени».

Чуть позже меня отправили работать в магазин, торгующий подержанной мебелью. Целыми днями я либо тер наждачкой старую мебель, либо переставлял шкафы с одного места на другое. Здесь это называется играть в объемный тетрис. Это чуть сложнее компьютерного. Но по-настоящему отличная работа появилась у меня на прошлой неделе. Каждое утро я и пара испанцев садимся в кабину грузовика и ездим по Бильбао. Наша задача — забирать из квартир сломанные холодильники, стиральные машины или старую мебель. Высокий этаж и отсутствие лифта делают это занятие необычайно увлекательным.

Бывает так, что хозяин квартиры открывает дверь и говорит: «Hundanza» — это значит, что его квартиру из 5 — 6 комнат надо очистить от всей мебели, которая в ней есть. В такие моменты даже дух захватывает.

Теперь хорошие новости: я не курю, не пью алкоголя и не принимаю наркотики. Перестал даже матом ругаться. На особой женского пола смотрю не поворачивая головы: в нашем христианском центре это не поощряется. Несколько раз нас возили купаться в Бискайском заливе. Испанцы называют его Кантабрийским морем. Купаемся мы в безлюдных местах — боже упаси, если поблизости окажутся телки!

Большинство испанцев больны СПИДом. Поначалу меня это напрягло, теперь я спокойно ем с ними из одной тарелки салат.

По телевизору можно смотреть только футбол, новости или видеофильмы. Все это, естественно, на испанском языке. Из книг — только Библия. Зато есть на русском.

Почти каждый день проходят так называемые собрания. Все сидят, поют под гитару, читают Библию и благодарят за все Бога. Я еще очень далек, чтобы стать настоящим христианином, поэтому нахожусь в отрицалове. Вообще Reto очень похоже на армию, только устав здесь заменяет Библия. Кроме того, это — предприятие, которое приносит неплохие деньги при минимальных затратах капитала. Жрем мы здесь продукты, которые нам отдают просто так в магазинах. У них заканчивается срок годности и, чтобы не платить бабки за вывоз продуктов на свалку, их отдают пацанам из Reto.

Но это все понты. Еще не выдумали таких трудностей, с которыми я бы не справился. Постараюсь не превратиться в зомби, выучить испанский. Всем привет! Asta la vista!

Espana. Centro Reto.

Hola! Я работаю на грузовике и опять таскаю тяжелые вещи. По ровной поверхности вообще-то не тяжело. Высший пилотаж — это хождение по лестнице. Сейчас я уже достиг такого уровня мастерства, что беру двухспальную кровать, говорю слово «Solo!» (папаше это понравится!) и один спускаюсь с ней по лестнице. Этаж не имеет значения. После того, как я месяц лазал по помойкам в супермаркете, поднятие тяжестей доставляет мне истинное удовольствие.

Тут были в Сантандере, ездили на футбол. Все понравилось. Бесчастных не играл, но матч получился очень интересный. Сантандер вообще отличный город развлечений. Правда, я на все смотрел из окна автомобиля. Телки, кафе, рестораны, казино, дискотеки — все это не для ребят из Reto. В нашей христианской секте можно делать только две вещи — работать и читать Библию. Если тебе разрешают что-то еще, то это уже большое одолжение или, как здесь говорят, привилегия. Если ты что-то хочешь или тебе что-нибудь нужно, обязательно спроси разрешения. А не нравится, езжай домой и продолжай колотиться! Логика железная. Иногда меня это очень сильно обламывает, иногда — пофигу. Чувствую себя, как Форест Гамп, когда он попал в армию. Надо держаться уверенно, стоять прямо и делать, что тебе говорят. Тогда будет нетрудно. Проблем никаких.

«День сурка» — каждый день одно и то же. И что ни делай, завтра все опять будет по-прежнему.

Лёха.

Для начала такая история. Работаю я однажды на грузовике. За рулем — испанец, рядом — я и еще один русский. Нам надо доставить холодильник. Приехали на адрес в Бильбао. Испанец говорит, давайте, мол, тащите, я вас здесь жду. Мы взяли и понесли. Заносим в квартиру, и тут мы почему-то решили, что тот холодильник, который в квартире, мы должны забрать взамен нового.

Хозяин квартиры уперся, лопочет что-то по-испански. А мы говорим, что, мол, ничего не знаем и что нам старший сказал — старый холодильник надо забрать. А время — девять часов утра. Хозяин разбудил своего сына и жену и стал с ними разговаривать. Рассказывает им, что вот, мол, двое русских привезли холодильник, но почему-то хотят забрать старый. Тут мы говорим, что мы точно знаем, что старый — нам надо забрать.

Короче, с боем мы этот холодильник у них отняли и стащили его по лестнице вниз. Когда старший, наш водитель, увидел, что мы несем другой холодильник, он чуть с ума не сошел. Открываем его, а внутри — жратва и выпивка! Но мы же теперь в Reto и поступаем по-христиански. Поэтому пришлось отнести этот злосчастный холодильник обратно.

История другая. Перевозили мы как-то, как обычно, какие-то вещи. Приезжаем, начинаем разгружаться. А место какое-то странное. Обычно в квартиры привозим или в офисы. А это какой-то фан-клуб в натуре — всякие флаги, плакаты. Русский пацан, который со мной был, такой типичный «здорово, бандиты!», спрашивает тинейджеров, которые там тусуются: а вы, мол, за какую команду болеете? Они отвечают — за «Барселону». Он им тогда говорит: а я за «Спартак» Moscu! — и через дырку в зубах смачно плюет на пол. После этого в фан-клубе воцарилась гробовая тишина.

Лёха.

1 нояб. 2000.

На днях поехали в Паленсию (не путать с Валенсией). За рулем — испанец Фран, хороший дядька, которому за тридцатник. Работать с ним одно удовольствие. Он в Reto уже по второму заходу. Когда-то он пробыл тут 3 года, стал респонсаблем. Ему полностью доверяли, пока не обнаружили, однажды утром проснувшись, что он исчез. Ушел Фран из центра и вскоре заторчал. Сейчас он снова здесь, и ему опять доверяют. Но он, по моему, чувствует себя до сих пор в косяках. Почти ничего не говорит, только слышно, как он периодически покашливает, и то тихонько, как бы извиняясь за свой туберкулез.

Второй номер в нашей команде — это армянин Гурген. Он тут больше года. Отлично говорит по-испански. Правда, с русским дело у него обстоит похуже. Но, учитывая то, что по-русски я сейчас могу говорить только с ним, мне и этого достаточно.

Вот, значит, мы втроем едем в кабине грузовика за 250 километров от Бильбао. Выехали в 7 утра. Дорога идет через долину, которая лежит между горами. На некоторых вершинах заметен снег. Солнца как такового не видно, но его лучи освещают вершины. Игра цветов такая, что невозможно понять, где уже облака, а где еще горы. Постепенно дорога выходит на равнину. Ни одной встречной машины. Только горы на горизонте. Прямо Arizona dream какая-то! Несколько раз попадались по дороге мелкие городишки. На улицах ни души. Как в фильме «Дети кукурузы».

К полудню добрались до места. Убитый дом, которому 400 лет. Но хозяйка, выбиваясь из сил, пытается вдохнуть в него жизнь. Такой дом, наверное, был у семьи Буэндиа в «Сто лет одиночества».

Ну, выгрузили мы мебель, чисто по-христиански еще там немного по хозяйству помогли. И поехали обратно. Погода стоит чудная, золотая такая осень. Длинная аллея деревьев с облетающей листвой, и наш грузовик несется под 130 километров. Неожиданно стал ловить себя на мысли, что... Даже не знаю, как сказать. Чувствую присутствие чего-то совсем иного. Божественного промысла в моей жизни. А почему бы и нет?

Да, вот так подкрадывается безумие. Уже 4 месяца я слушаю так называемые свидетельства разных людей. Русских, испанцев, хорватов — бывших наркоманов. Тэрчи, которые жили на улице: грабили, воровали, убивали, торговали наркотой и еще бог знает чем занимались, живут теперь под одной крышей. Учítывая, что за контингент тут собрался, все должно было в считанные дни закончиться катастрофой. А Reto существует уже 14 лет!

В среду вечером после работы поехали в Сантандер. Там — первый из домов Reto. Он так и называется Reto uno. Особенность его в том, что сейчас там живут одни русские. Собрание происходило на русском языке. Из России приехали испанцы, которые уже 8 лет живут в России, и ценой огромных усилий им удалось создать два дома Reto — один в Истре и другой в Самаре. Они рассказывали, как им все это удалось, ободряли нас.

Представьте себе, человек пятьдесят русских в Испании собрались и поют вместе, благодарят Бога. Это впирает, когда ты один из них. Правда, петь я пока не могу. А почему, сам не знаю. Мешает что-то. Ну ничего, мало-помалу. А там, глядишь, и с верой по жизни ходить начну.

Лёха.

1 дек. 2000. Бильбао.

Хочу написать еще о некоторых вещах, которые могут показаться просто абсурдными, однако из них состоит моя жизнь.

Как-то на днях solo, то есть в одиночку, я стащил с 18 этажа по лестнице жесткий матрас «Triplex». Он рассчитан на двухспальную кровать, весит он предостаточно, и нести его по узкой лестнице очень неудобно. Когда я, весь мокрый, добрался донизу и втащил его в грузовик, испанец Кастро, ему 40 и повидал он в Reto многое, бросил на меня взгляд, оценил мое состояние и проделанный путь с 18 этажа и сказал: «Когда захочешь заторчать на героине, вспомни, как ты тащил эту штуку восемнадцать этажей!» Теперь у нас эту историю все рассказывают друг другу и подшучивают надо мной.

А сегодня мы делали очередное порте. Я, как обычно, вышел из подъезда со шкафчиком на плече. На меня уставилась какая-то телка. Я поставил шкаф в грузовик и поехал обратно в лифте с ней. По дороге она давай трещать по-испански. Ну, я ей говорю: спокойно, тетя, я в испанском не очень. Она: а откуда ты? Я: ruso. Тут она давай кокетничать и под конец назвала меня bon-bon. Я потом узнал у наших, что это такая сладкая конфетка. Хорошенький номер! У меня уже бабы четыре месяца не было. Мне такие вещи сейчас говорить опасно. Но должен скромно заметить, что я действительно в хорошей форме и ее комплимент небезоснователен.

Женщины — это вообще большая тема здесь. Вот пример. Пятница, вечер, Бильбао. Одинокие рысы ходят туда-сюда по тротуару, а я с коробками мечусь из подъезда в грузовик и обратно. Ну как здесь быть? Очень просто. Рассказываю: надо превратиться в МАКИНУ. Макиной, машиной по-русски, у нас в центре называют того, кто может работать, не зная усталости и не останавливаясь. И вот я превращаюсь в макину. Полная концентрация на работе. Залезешь в грузовик, подвинуешь несколько коробок к краю, прыгиваешь вниз, хватаешь стопку — две, а лучше даже три коробки, чтобы было тяжелее, — и бежишь в подъезд, где их складываешь возле лифта. Когда набирается много, грузишь коробки в лифт. Наверху другая «макина» их из лифта выгружает. Все надо делать быстро, постепенно наращивая темп. Наверное, можно достигнуть такого состояния,

что даже если все рыси вокруг начнут ходить голыми, то ты не будешь этого замечать.

А вчера я ездил в аэропорт встречать двух новых. Четыре месяца назад сам приехал сюда под кайфом — ни петь, ни рисовать не мог. А теперь новых ездил встречать.

Могу написать об испанце по имени Хесулин. Он первый из испанцев, с кем я начал общаться. Он говорил по-испански, а я по-русски. У него всего пять верхних зубов. Он очень трогательно показывал мне снимок своих зубов, который привез из госпиталя. Хотя и без снимка понятно, что ситуация с зубами у него неважная.

Как-то мы работали вместе с Хесулином, нужно было забрать софу из одной квартиры. Этаж высокий, софа тяжелая, тащить неохота. Решили засунуть ее в лифт. А лифт хороший, с зеркальными стенками. Видим, что Хесулин уже наполовину втащил софу в лифт, но дальше она не идет. Самого Хесулина не видно, но слышно его рычание в лифте и звуки борьбы. Хозяйка начинает умолять: «Por favour!» (Осторожнее с лифтом!) И вот из лифта раздается ответ Хесулина. С шипением и рычанием Хесулин выдает следующее: «Как это так — не влезает? Я уже не торчу и очень сильный!» Дословно это звучит: «Estoy a la carne» (Я в мясе)! После этих слов из лифта полетели шепки, а сеньора чуть не упала в обморок. Хесулин отломал спинку и ножки, и софа все-таки влезла в лифт.

Сейчас у нас тут большое оживление. Со дня на день должен начаться комбиенсион. Что это такое, узнаете из следующего письма.

Лёха.

Здорово, родственники! Вообще-то я адресую это письмо, отец, тебе. Ну а ты сам пробрасывай часть информации всем остальным.

В последнем письме я обещал рассказать о так называемом комбиенсионе. Что это такое. На три дня к нам в Бильбао со всей Испании собрались финисты-ясные-соколы. Каждый день мы прослушивали по 5 — 6 студий. Грубо говоря, по 9 — 10 часов слушаешь испанскую речь. Все понимать очень сложно, не хватает знания языка. Злился я временами, временами понимал. Потом опять злился. На второй день мне все так надоело! Хорошо еще разрешили в перерывах говорить с русскими: после месяца запрета хоть какая-то отдушина. Помню, как между студиями мы отправились на прогулку. Дул сильный, очень сильный ветер, а я шел и крыл матом во весь голос, пытаюсь его перекричать. Может, это из меня так дерьмо выходит?

На студии один ястреб-радикал, христианин в законе, сказал, что человек — это как стакан со всякой дрянью. Его надо сначала полностью отмыть, а потом уже наполнить верой в Бога. За 26 лет во мне, видимо, столько всякой дряни накопилось, что пора от нее избавляться.

В последний день комбиенсиона народ так выходил из зала: люди плакали, обнимались, молились друг за друга. Массовый психоз или религиозный экстаз, кажется, это так называется. Короче, комбиенсион — испытание не для слабонервных. Но он закончился, и началась рабочая неделя. И как вы думаете, чем я в этот раз занимался? Ну конечно, угадали! КЛАД КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ! Тяжелое, должен признаться, занятие — целый день стоять кверху задом и выводить уровень. Но пол в комнате получился даже симпатичный. Каждый шов я промазал белым раствором. Когда вкладываешь много труда, то, видя результат, кайфуешь.

На днях опять встрял на госку-гаку нашему шефу. За что, не понял. На этот раз мне запретили разговаривать только с двумя русскими. Почему? Я и так с ними почти не разговариваю. Вообще налицо недовольство русскими. Мы всегда вместе, всегда смеемся. А чего тут удивительного? Когда целый день работаешь, в перерыве хочется пообщаться. Нами недовольны, к нам цепляются. А меня так вообще сделали каким-то знаменем отрицалова!

У меня теперь новая «тень». Роберто. Он тут уже 8 лет. Его принесли в Reto чуть живым, но он выкарабкался, и сейчас цель его жизни — помогать другим. Это настоящий христианин. Таких тут совсем немного, хотя называют себя так здесь почти все.

Сейчас вечер воскресенья. Прошли выходные. Вчера удалось поиграть в палас. Немного напоминает теннис и сквош. Физически чувствую себя просто великолепно! За прошлую неделю набрал еще немного в весе. Вплотную подобрался к 85 кг. А было время, когда я весил 52, и уже близка была невесомость. Сейчас я настоящий мачо.

Надо только определиться в своих отношениях с Богом. Вокруг многие постоянно говорят, что надо верить в него и жить по-христиански. Но показать это своими делами они не могут. Конечно, если все рассматривать критически, то долго тут не протянешь. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, чтобы общаться с Богом один на один. Чтобы между мной и им не влезали всякие болтуны.

В одном из своих писем ты, отец, написал, что время — лучший доктор. Знаешь, что здесь по этому поводу говорят? No vale para nada. В мягком переводе это значит: никуда не годится. Тут считают, что надо изменить свое сердце. А изменить его может только прикосновение Бога. Вот так. Ни много ни мало. Есть здесь такие, которые настолько приблизились к Богу, что практически в любой момент могут с ним связываться.

Грузят тут очень жестко. Ты — тэрч. А мы можем тебе помочь. Дальше раскручивают синдром вины. Ты виноват и должен искупить свою вину, работая на благо нашего Reto. Иногда применяют грубую лезть. Например, говорят: ты очень сильный духом, к тебе многие тянутся, ты мог бы стать хорошим христианином и повести за собой остальных. Словом, только успевай поворачиваться, не то так загрузят, что и домой не вернешься никогда. А тут так и говорят, что у тебя в жизни не было ничего хорошего и все твое прошлое полное говно. Правда, тут же оговариваются, что семьи это не касается.

Ну все, отец. Буду надеяться, что ты это письмо получишь. Несколько раз писал тебе письма, но потом рвал их, не решаясь отправить. Что поделаешь, настроение меняется, как погода в País Vasco.

Алексей.

17 дек. 2000.

Здравствуй, отец! Hola Patre!

Прошлой ночью у нас была гулянка. В Испании ночь с 24 на 25 декабря называется Bueno Noche. Все оттягивались в полный рост. Учитывая специфику заведения и обстоятельства, мы, естественно, обошлись без алкоголя и стимуляторов. Все это нам с лихвой заменил конкурс знатоков Евангелия от Луки. Вопросы участникам задавал уважаемый аксакал нашего центра Новельда. Возможно, он даже был очевидцем описанных в Евангелии событий. Бывшие тэрчи ловко отвечали на вопросы, а также состязались в перетягивании каната и поднимании газового баллона. Это была действительно сборная «всех звезд». Невозможно представить, чтобы такие персонажи собрались в одном помещении! Вот такая Bueno Noche. Известный фильм ужасов «Ночь живых мертвецов» отдыхает по сравнению с тем, что было.

На моего соседа все происходившее произвело такое удручающее впечатление, что он поклялся больше никогда в жизни не колотиться. Но достаточно словоблудия, необходимо немного фактуры.

На утреннем собрании наш шеф великодушно пригласил на праздничную ночь всех желающих. Впрочем, таковых в городе Бильбао не нашлось. Хотя одного божма все-таки заманили. Надев резиновые перчатки, его вымыли в душе. Дали ему чистую одежду. Под Рождество должны случаться чудеса: вот этому божму и повезло. Особенно мне понравилось, что на него надели баскетбольные кроссовки того же размера, который носит

Шакил О'Нил. Это 56-й, если я не ошибаюсь. В них, наверное, можно даже по воде ходить.

Запомнилась также истерика чувака, которого недавно привезли из Мадрида. Он провел в Reto три года. Ушел и снова заторчал. Сейчас он пробыл в центре около двух недель и выглядит, как лишенное разума существо.

Нельзя не упомянуть такую часть вчерашнего шабаша, как театр. На сцене тэрчи ловко изображали библейских персонажей, а зрители бесновались от восторга. Все это безумие закончилось около 2 часов ночи. Не помню, когда я последний раз ложился так поздно.

На следующий день нас снова по случаю праздника не смогли оставить в покое. Вся гоп-компания погрузилась в машины и поехала в Сантандер на собрание. Меня, как человека, не проявляющего особого усердия в поисках Бога, оставили в доме. Чему я, надо сказать, был очень рад. Кроме меня из русских дома остался всего один Кобра. Он на прошлой неделе дал в глаз респонсаблю, и теперь на него всячески давят, чтобы он уехал домой. Так уж явно его выгнать не могут, надо же соблудости христианские приличия... Вообще то, что он сделал, хотят сделать едва ли не все русские. Есть у нас тут один ответственный русский. В последнее время он совсем потерял нюх и стал бессовестно цепляться ко всем. А самый молодой, Кобра, не выдержал и выхлестнул его. По правилам же центра — респонсабль всегда прав. А то, что Кобра здесь уже 9 месяцев и, чтобы вывести его из себя, надо было очень постараться, — это никого не интересует.

Я думаю, что до весны я еще дотяну, а потом набью одному козлу рожу и свалю отсюда. Вот только пока не могу определиться с направлением. Обидно уезжать из этой страны, не покуролесив как следует. Надоело мне, отец, смотреть на все это лицемерие! Надоело терпеть, как меня грузят всякие замороченные уроды. Вот например: главный местный сказочник пробрасывает нам листовки, в которых написано, что телевизор — враг и смотреть его не надо. Возможно, это и так, но сам он себе спутниковую антенну, между прочим, поставил...

Вчера поехали в город на машине, легковой, что очень важно, а не на грузовике. Ну, думаю, все в порядке: работа не пыльная. Не тут-то было! Поднялись в квартиру на 8 этаж без лифта, а там все в коробках. Хозяйка, надо отметить, весьма симпатичная, вежливо попросила стащить их вниз. Ну, мы встали в цепочку. С 8 по 5 этаж вещи носил Серхио с Канар, русские называют его между собой Островной. Он заслуживает подробного описания. Ему 20 лет, но в Reto он уже больше 2 лет. Имеет обезьянью внешность. Постоянно ковыряется то в жопе, то в носу, то грызет ногти. От него жутко пахнет. Но он обладает нечеловеческой силой, и при росте 1,50 он ухитряется поднимать практически любой вес.

С 5 по 3 этаж вещи таскал я. Эти этажи достались мне не случайно. Из нашей тройки я самый неблагонадежный. И таким образом меня отгородили и от хозяйки квартиры, и от возможности глазеть на телок при выходе из подъезда.

С 3 этажа и до нанятого хозяйкой грузовика вещи таскал португалец Хулио. Он тоже уже пару лет в Reto. Называет себя христианином, а сам продуманный мудила с отвратительнейшей рожей. К тому же когда он говорит, то постоянно шикает. Вот как звучит в его исполнении «Это, это и это» — «Эшто, эшто и ишто».

Но во всем надо искать что-то положительное. Бегая вверх-вниз по ступенькам, я хорошо разогрелся, да и несколько коробок попало по-настоящему тяжелых. Так незаметно пролетели два с половиной часа. Я начал кайфовать от усталости. Но коробки закончились, и я спустился вниз. Вышел на улицу. Напротив — бутик. Там две отменные рысы выбирают себе шмотки. А я тут работаю грузчиком в чужой стране под Новый год! Эх!

Обнимаю,
Лёха.

Здравствуй, отец! Мы успешно отметили Новый год. Накануне завалили свинью и сожрали ее, правда, повар лопухнулся и приготовил не лучшим образом. В качестве новогоднего подарка у нас провели шмон. Оказалось, я тут один такой никчемный: у меня, как у туриста, только елда и кеды. Все остальные ухитрились понатырить всякой фигни — от радиотелефонов до приемников. Теперь в ближайший месяц эти умники будут чистить свиней, мыть туалеты и посуду.

Из-за всех этих событий внимания к моей скромной персоне поубавилось. А то я сам, честно говоря, серьезно рассматривал возможность соскочить на Новый год из центра. Ко мне обращались составить компанию еще несколько беглецов. Но я прикинул: ради чего?

Вместо этого я поел жесткой, плохо пожаренной свинины и до четырех часов ночи смотрел художественную самодеятельность в исполнении испанских тэрчей. Они ловко пародировали друг друга и рассказывали анекдоты.

После того, как мы в пятом часу утра, недовольные беспонтовым (а проще говоря, трезвым) Новым годом, легли спать, нам пришлось еще раз жестоко обломаться. Десяток тэрчей из другого дома Reto пришли к нам в гости. На них были колпаки шутов и Дедов Морозов, в руках они держали крышки от кастрюль и использовали их как тамтамы. Мы едва успели заснуть, когда они ворвались к нам в дом. Я думал, что это только я так болезненно воспринял их визит. Но нет. Не так давно к нам заехал на лечение один русский. Его зовут Николай, ему за 40, и у него никогда не было проблем с наркотиками. Сам он не признаётся, но, судя по всему, бухал он крепко. На днях он сильно ударился ногой и сейчас ходит с костылем. И вот когда ряженые испанцы, лупя изо всех сил по кастрюлям, зашли к нему в комнату, я услышал, как Николай обложил их таким родным, отборным русским матом. Это большая редкость в Reto, поскольку цензурная брань у нас запрещена. Николай этим не ограничился и метнул в них свой костыль. После чего испанцы еще несколько раз прошлись по дому, но в комнате Николая показаться не рискнули. Представь, ты хочешь уснуть, а какие-то олени носятся по дому с диким шумом и криками «Qerenos Cola-Sao!» (Хотим шоколадный безалкогольный напиток кола-као!).

Ты видишь, что продолжаю писать это письмо чернилами другого цвета. Дело в том, отец, что начал я писать его в Бильбао и, честно говоря, не знал, чем продолжить. Но события, начиная с сегодняшнего утра, стали разворачиваться настолько стремительно, что сейчас я продолжаю это письмо, уже находясь в Мадриде.

В 9 утра ко мне подошли два главных респонсабля нашего дома и торжественно сообщили, что принято решение отправить меня для дальнейшей реабилитации в Севилью. К их великому изумлению, я недолго думая ответил «Benga!» (Давай!). Едва я успел собрать свои пожитки и сдержанно попрощаться с русской братвой, как подъехал шеф Reto-Bilbao — Эмилио. Единственным из 15 русских, кого решили отправить в другой конец Испании, оказался, конечно же, я. Вот так просто. А ведь у меня даже особых косяков в последнее время не было.

В 11 утра я уже ел пинчо в Бургосе. При желании можешь проследить мой путь по карте. Обедал я уже в Мадриде. Здесь я переночую и завтра утром отправлюсь в Севилью. Там, говорят, тепло, а то в Бургосе и Мадриде по испанским меркам очень холодно. Пока даже не знаю, как реагировать на все эти перемены. Конечно, интересно тусонуться по Пиренейскому п-ву, но жесткие рамки Reto особенно развратиться не дадут. Представляю, как сейчас гоняют русские пацаны, оставшиеся в Бильбао. Ты же знаешь, что я могу быть душой компании. В последнее время я действительно стал не ярко, но выраженным лидером. В ответ на это руководство решило применить проверенный временем метод «разделяй и властвуй». Нет человека — нет проблемы. Не знаю, что меня ждет в Севилье, но пока

я не обламываюсь. За время, проведенное здесь, я достаточно окреп и восстановился. Подумаешь, без поддержки русских! Это даже лучше. Если Бог испытывает человека, значит, он помнит о нем, так ты мне, кажется, написал в письме. *Vanos Aver*, что буквально значит «Давай посмотрим».

Походил немного и решил еще написать. Странное дело, тусуюсь по дому *Reto-Madrid* один. Никому до меня нет дела. Пошел пожрал фруктов. И никто ничего не говорит. У нас в Бильбао без разрешения ни встать, ни сесть, ни пернуть. В Бильбао постоянная движуха. А тут — полный транкилидад — спокойствие, значит. Конечно, мое нынешнее бездействие можно объяснить статусом гостя. Но уже со стороны видно, что безумного шефа здесь нет. Надеюсь, что в Севилье его тоже не окажется.

3 янв. 2001. Мадрид.

(Продолжение.)

В Мадриде я попал на сходняк директоров *Reto* всей Испании. Эмилио привез меня сюда, чтобы сбегать директору дома в Севилье. Сразу бросился в глаза разница между ними. Эмилио — это здоровенная туша, килограммов на 150. А мой теперешний шеф Маноло борется за жизнь на последней стадии СПИДа и выглядит действительно неважно. Мы с ним немного покатались по Мадриду и поехали в Севилью. Путь, надо сказать, не близкий. По автобану перли под 160 км. Не доезжая до Кордовы пожрали в придорожном ресторане. Ничего особенного, но, учитывая, что в подобных заведениях я теперь гость редкий, упомянуть это событие надо. Из Мадрида выехали около трех, в половине десятого наконец-то добрались до места.

Приехали в главный большой дом. Там человек пятьдесят, из них — 7 русские. Но, видимо, моя характеристика такова, что меня тут же отправили в маленький дом. Этот дом был специально построен для новых. Чтобы они тут могли спокойно перекумарить. Я все-таки успел поговорить с одним русским, он тут уже год. В Москве жил возле Олимпийского и знал Марата и Рената. Помнишь этих дилеров, близнецов-татар с первого этажа? Как тесен мир!

Ну, теперь надо описать место, куда я попал. Сразу скажу, что климат тут из-за близости Африки гораздо более жаркий. Сейчас, правда, прохладно. Но на деревьях растут апельсины и вокруг непролазные заросли из кактусов. Такие можно увидеть в мексиканских вестернах. Летом тут, говорят, постоянная температура около 50 градусов и дождя не бывает в принципе.

Домик двухэтажный, народу нас всего 14 человек. Половина португальцы. И ни одного русского!!! Я, можно считать, баск. Во дворе дома есть бассейн, правда, пока он без воды. Не сезон еще. После Бильбао у меня такое впечатление, что я попал в трехзвездочный отель. Народу мало, поэтому все спокойно и без суеты. Большую часть дня читаем Библии и едим. Я поначалу засуетился. Привык все в темпе делать. А тут совсем другая жизнь.

Сейчас есть возможность спокойно описать тех персонажей, которые остались в Бильбао и которых мне наверняка будет не хватать.

Начну с Павла. Когда я вышел из самолета в Барселоне, со мной вышли еще двое: чувак и телка. Но одного не хватало. Им оказался именно Павел. Его сразу же посадили в обезьянник. Испанцы, видимо, устали от того количества русских тэрчей, которое прется в Испанию. Они поняли, что он на кумаре, и решили его выслать обратно. Но надо отдать должное администрации *Reto*, они привезли какую-то бумагу из своего офиса и отмазали его. Спустя пять часов Павел вышел из кутузки, и мы отправились в Бильбао. Я прилетел на легком кумаре, а вот Павла колбасило по полной программе. То, что мы приехали с ним в один день, нас сразу же сблизило, и мы обязаны были стать друзьями. Но в исправительном учреждении подобные отношения не поощряются. Друзей здесь нет и быть не может.

Я-то на все это забил. А вот Паше это сделать было гораздо труднее. По одной причине. У него есть жена, которую он очень любит, с которой он вместе торчал в Москве и которая на полгода раньше его заехала в Reto. Она сейчас в Вальядолиде. Таким образом, он обязан был идти на сотрудничество с администрацией. А конкретно — с русским респонсблём, который на деле оказался просто ссученным. Он все время пил у Паши кровь. Я, конечно, подбадривал Павла, как мог, но ему приходилось очень тяжело. Хотелось бы, чтобы в конце концов он и сам соскочил с торча, и с бабой у него все в итоге наладилось. А ведь это большой вопрос. Далеко не каждая пара способна пройти испытания наркотиками и Reto. Теперь мне остается за него только молиться. Я верю, что мы с ним еще встретимся.

Сегодня воскресенье. В 12 часов все поехали в дом, где проводятся собрания. Ну, тут программа была обычная — песни, выступления людей, объятых Божьей благодатью, театр-пантомима, рассказывающая о вредных привычках и их последствиях. Единственное отличие — это присутствие в зале девиц. Но я думаю, что тебе уже ясно, что в нашем специальном заведении очень внимательно следят, чтобы я к ним близко не подобрался.

После собрания пожрали и поехали в город на прогулку. Вот где рысей полно, причем всяких и таких соблазнительных, что... Ну вот опять. Все. Bastante, то есть — достаточно.

Моря нет, нет и пляжа. Но очень много парков, где народ и оттягивается. А парки такие, что в прудах плавают всякие рыбы, а с дерева на дерево мечутся попугаи. Экзотика! А у нас сейчас снегу по пояс или грязь по щиколотку. Пустяки, но приятные, если задуматься.

Передавай привет теперь уже не из края басков, а из Андалусии.

Espana. Sevilla. Centro Reto.

Здравствуй, отец!

Вот я уже две недели с лишним обретаюсь в Севилье. Работаю, как всегда, по своему профилю, то есть грузчиком. Составлять фразы на русском языке, а потом еще и излагать их на бумаге становится все сложнее. С русскими у меня здесь возможности общаться нет.

На этой неделе предпринял попытку наладить переписку с пацанами из Бильбао. Пробросил две малявы — Чино и Павлу. Очень надеюсь получить ответ.

Сейчас три часа рубился в футбол. Играли четыре команды по пять человек до двух голов навьлет. Случайных людей на поле, конечно, не было. Все только из нашего реабилитационного центра. И в какой-то момент я понял, что тут сейчас играют едва ли не самые здоровые мужики в Испании. Да и вообще на Пиренеях. Конечно, мы тут все сумасшедшие, все мы отторчали на тяжелых наркотиках не по одному году. Но мы избавились от вредных привычек, соблюдаем режим и вообще ведем христианский образ жизни. Испанцы обожают футбол, португальцы готовы играть, даже если их разбудят ночью. Так что наши субботние и воскресные матчи, возможно, скоро начнут посещать скауты ведущих европейских клубов.

Теперь о наркотиках. В западном обществе эта проблема существует уже более 20 лет. Это у нас она только набирает обороты. А здесь уже давно все отлажено. Хочешь торчать — пожалуйста: есть метадоновая программа. Хочешь соскочить — иди в центр. Их тут полно по всей Испании. В этих центрах, как говорится, сплошная текучка кадров. Привезут какого-нибудь обожравшегося таблеток и чуть живого, он тут перекумарит, поест, его тут постригут, а он возьмет и через неделю соскочит, олень! Некоторые вообще всего несколько часов побудут и уходят. Мне тут случайно на глаза попала анкета одного такого поступившего. Графа «заболева-

ния»: ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез, менингит. Имея все это, от наркотиков лечиться не захочется. Именно для таких и есть метадоновая программа. Государство само выдает им дозу наркотика, чтобы держать их под контролем, чтобы они на кумаре беспределом не занимались. Но некоторые идут в центры, остаются в них и борются. Вот, например, моя нынешняя «тень» Гилермо. Он португалец, 30 лет. Всю жизнь торчал, прошел все центры, болеет СПИДом. Сейчас уже 3 года в Reto. Стал христианином. На днях он подписал контракт и будет участвовать в эксперименте. На нем опробуют какой-то новый препарат. А что, может, с этим новым лекарством и Божьей помощью его и вылечат?

Центр — это не закрытая клиника, где пациент отрезан от внешнего мира. Вот, например, на этой неделе делали одну доставку. В нашем магазине цыгане купили мебель. Ее надо было отвезти к ним и собрать. Специфика цыганских районов в продаже наркотиков. Приехали мы на адрес, а там движуха идет, аж голова кругом! Все торчат. А те, кто не торчит, продают. И вот подъезжаем мы на грузовике. Он у нас очень специфично украшен: сразу привлекает внимание наша эмблема — переломленный пополам шприц. Мы вытаскиваем из кузова софу-кровать и тому подобное и заносим все это в квартиру. Старший остается в квартире собрать шкаф и забрать деньги, а мы с водителем спускаемся вниз: грузовик без присмотра надолго оставлять нельзя. Сидим в кабине, ждем. Подходят тэрчи, интересуются: что за центр, сколько надо платить? И, разговаривая с ними, видишь все ихние мутки. Как ни странно, но мне было довольно мерзко.

Хочу написать про Чино. Chino — это прозвище дали испанцы Сергею Орлову. Причем в первый же день. Глаза у него действительно раскосые, а сейчас он себе еще такую ряху отожрал, что вылитый китайский мандарин получился! Обычно всех вновь прибывших обыскивают. Чино же просто похлопали по заднему карману брюк и сказали: bien (хорошо)! Чино абсолютно гетеросексуален, и такой прием его слегка напряг. Он сказал потом, что ему даже вспомнились слова из телевикторины: «Ваше очко уходит в зрительный зал!» К счастью для всех, он с трудом, но понял, что испанцы просто рады его видеть. В Москве Чино торчал на героине и при этом работал водителем автобуса. Ему до сих пор по ночам снятся пассажиры, умоляющие открыть дверь автобуса хоть на какой-нибудь остановке. А сколько раз он зависал за рулем своего автобуса, стоя на светофоре! Когда его все-таки уволили, то его задолженность перед парком составляла несколько тонн проданного налево бензина.

Преодолев двухнедельный карантин и попав на первое воскресное собрание, он объявил себя сатанистом. Это в христианском-то центре! Администрация пошла ему навстречу — он больше не ходил на собрания. Его и еще одного МУСУЛЬМАНИНА вместо этого заставляли чистить свиней. В итоге дагестанец Батал уехал домой. Но Чино остался и даже стал посещать спецмероприятия.

Если в разговоре с кем-нибудь из респонсаблей речь заходила о Chino, то даже они разводили руками и говорили, что его изменить нельзя. Надо отметить, что Chino единственный русский, у кого есть ВИЧ. Он гоняет по этому поводу, но внешних признаков болезни у него нет. Выглядит он как китайский богатырь, то есть самурай или янычар.

Reto он иначе как сектой не называет. Тем не менее говорит, что с героинон намерен покончить всерьез. Очень смешно он рассказывал о своей поездке в Мадрид. Там он раздавал листовки и зазывал к нам в центр тэрчей. В Мадриде есть такое Bertadero (Свалка). Там живут цыгане и продают всякое дерьмо. И вот Чино рассказывает, как, оказавшись там, он вдруг услышал сквозь шум и гам русский мат. И тогда Чино подошел к русским тэрчам и с пафосом произнес излюбленную фразу наших респонсаблей: «Вы можете изменить свою жизнь!» Прикинь!

Ну и в конце считаю необходимым упомянуть его приметы. Рост — метр девяносто, а то и выше. Вес — килограммов под 100. Обилие татуировок. Особенно бросается в глаза вытатуированный на животе член.

Пока все.

Алексей.

21 янв.

После неизбежного утреннего собрания меня везут в город. Вместе с Мануэлем мы высаживаемся в одном из районов Алкалы. На часах около 9 утра. Идем в ближайший бар. Не торопясь пьем кофе, едим гренки, читаем газеты. Надо побывать в Reto, чтобы оценить это. Для кого-то это обычное утро, для меня это лучшая часть дня. Есть возможность узнать из газеты последние новости о чемпионате Австралии по теннису. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мой компанеро Мануэль говорит, что пора приниматься за дело. Мануэль — пожилой дядька, которому чуть больше 60. Он лет 30 с лишним торчал, продавал наркотики и жил в Мексике. И еще у него нет левой руки. Говорит, был моряком и произошел несчастный случай.

И вот мы с Мануэлем целыми днями ходим по домам и раздаем календари и листовки с символикой Reto (сломанный пополам шприц) и перечнем услуг, оказываемых населению нашим центром. Вот ты, отец, как бы отнесся к тем, кто позвонил бы к тебе в дверь и предложил календарь с изображением переломанного баяна? А хотел бы сам оказаться на нашем месте? А я этим целую неделю занимался. Да. Такого позора Остап не испытывал никогда!

И главное — Мануэль такой еще крепкий дед оказался! Несмотря на свой немолодой возраст и физический недостаток, он легко поднимается без лифта на четвертый или пятый этаж, проворно нагибается, чтобы подсунуть календарь и листовку под дверь в том случае, если никого нет дома или нам не открывают. А я хожу за ним следом. За спиной у меня рюкзак. В начале дня он до отказа набит упомянутой выше печатной продукцией и весит килограммов 15 — 20. Перед каждой дверью я вкладываю в единственную руку Мануэля один календарь и одну листовку. А потом стою и слушаю, как он грузит хозяйку квартиры: «Мы из центра Reto! Это наш календарь и листовка. Если у вас есть желание, можете нам подбросить денег. Ах, у вас нет денег?! Ничего страшного! Главное, чтобы у вас был номер нашего телефона. Если вы захотите выбросить мебель или стиральную машину, то позвоните нам, и мы с радостью все это заберем».

Это обычный текст. Но бывают различные варианты. Если дают нормально денег и завязывается разговор, то Мануэль может разойтись и дать свидетельству (свидетельство) о том, как Бог изменил его жизнь. Может даже упомянуть меня, сказав, что Алексей вон вообще русский. Но я в этом представлении участвовать не хочу. Вернее, приходится, но я не говорю ни слова.

Народ в Андалусии отзывчивый. Подают нам исправно. За день набегает долларов 50. И подают не для того, чтобы помочь бывшим наркомаманам, а просто такое воспитание, такая культура. Увидев нас, сразу идут за деньгами. И лишь потом, дав нам деньги и выслушав нас, понимают, кто перед ними. Хуже этого только лазить по помойкам в супермаркетах.

Слава Богу, на этой неделе меня поставили работать в «растро». Это магазин, значит, мебельный. Шкафы собираю — тут подкрасу, там подпилю. Особенно мне нравится жечь доски в специальном корыте. По утрам у нас холодно, и вот я жгу все подряд. Стою подолгу у корыта, греюсь, подбрасываю доски в огонь и просто туплю. Испанцы говорят, что у меня, наверное, есть цыганская кровь, потому что цыгане все время костры жгут.

Сейчас у нас в доме живет еще один русский, он тут уже два года. Он сам из Екатеринбурга. За те две недели, что мы с ним здесь вместе, мы еще не сказали друг другу ни слова. Испанцы запретили нам говорить по-русски, а по-испански нам не о чем.

Последние три дня полностью посвятил моторам. В «растро» привозят старые стиральные машины. Для начала я откручиваю мотор и все алюминиевые детали. Ну, это быстро и несложно. А вот потом из мотора нужно вынуть проволоку. Она медная, и за нее платят деньги. Чтобы полностью вытащить ее из мотора, нужно потратить часа 2 — 3. Вот этим я и занимаюсь. Руки все изранены и порезаны. Но зато никто не лезет. Только испанцы иногда прикалываются, что дома, в России, я смогу открыть собственное дело: разбирать моторы. Дело действительно непростое. Нужно знать *как* и иметь много терпения.

Научил меня этому Антонио Хитано. Хитано — цыган. Он в Reto уже 9 лет. У него тут подсобное хозяйство. До недавнего времени оно состояло из курицы и петуха. Каждый раз, возвращаясь с работы, Антонио идет проверять свою курочку. Иногда он возвращается с яйцом в руке и счастливой рожей. Недавно мы завели свиней. Антонио решил познакомиться с ними петуха. Ходил он за ним, ходил, подгонял, чтобы тот поближе к свиньям подошел. Но петух боится, убегает. Тогда Антонио взял его за хвост и давай им, петухом, лупить свиней по мордам!!! Такой вот Антонио. Он если чего решил, то сделает обязательно. Работать с ним — одно удовольствие. Все спокойно, без горячки.

Ну а сейчас, отец, история покруче того, как у меня съели котлету в детском саду, когда я зазевался. Вернее сказать, ее повторение, только при других обстоятельствах.

Итак, мать мне отправила посылку. Я ждал, ждал. А посылки все нет. Как-то мы приехали в главный дом, где находится офис. Я спрашиваю у одного испанца, мол, по каким дням почту получаете, а то я посылку жду с воли. Как говорят в тюрьме, жду, когда кабанчик в хату забежит. А испанец спрашивает: а что в посылке-то? Я говорю, да «Nike» кроссовки должны быть. Он говорит, тут неделю назад другому русскому Алексею пришла посылка, мы еще удивились, что он только недавно приехал, а ему уже посылка. Ну и где, говорю, этот другой Алексей? Пришлось раскачивать рамсы. Ох уж эти мне респонсабли! Не могут полностью имя и фамилию прочитать! Отдали посылку первому попавшемуся Алексею. Но земляк мой тоже молодец! Я его спросил: ты не удивился, что тебе ни с того ни с сего посылка пришла? Он говорит, удивился. Там, говорит, еще открытка была внутри, но я ее сразу же выбросил. Уж не знаю, что было в посылке изначально, но в кроссовках он походить уже успел. Так кабанчик забежал не в ту хату, но есть Бог на свете, и справедливость восторжествовала. Шмотки я свои все-таки забрал.

Наметился приток в Reto-Sevilla выходцев из России. Сегодня заезжали в главный дом. Вижу, маячит новая славянская морда. Подошел поговорить. Пацана зовут Сашей. И этот Шурик гонит примерно следующее: да я в свои 19 лет уже будь здоров покуролесил. Да у меня две ходки. Да я во всех тюрьмах побывал.

Ну что я мог ответить этому любителю блатной романтики? Сказал, что здесь христианский центр и тюремные привычки здесь по *vale* (не годятся). Он тогда сказал, что ему убираться в доме и вообще что-либо делать запаadlo. А я сказал, что мы все здесь убираемся, а не только жрем и срем. А под конец я ему еще сказал, чтобы он матом не ругался.

Давненько я с такими оленями не сталкивался. Одно дело, когда варишься с ними вместе, и другое — когда вдруг встретишь такого ни с того ни с сего. Полгода назад я сам был абсолютно сумасшедшим.

Настроение колеблется от *hallisimo* (очень плохо) до *bien* (хорошо). Но в целом (вечно я подвожу какие-то итоги) иду вперед, отец. И вот что

удивительно: несмотря на все ограничения, существующие в центре, я чувствую себя свободным. От наркотиков, от сигарет, от алкоголя, от бессонницы, от боли.

Алексей.

6 февр. 2001.

Здравствуй, папаша! Начинаю писать это письмо 11 февраля. Не знаю, как у вас там, в России, а у нас зима уже закончилась. Днем жара стоит. Скоро нальем воду в бассейн. Сейчас все наши пошли в футбол играть, а я остался дома ужин готовить. Я бы, конечно, тоже пошел, но не могу: ногу потянул. Играл вчера, разошелся не на шутку и давай по полю метаться туда-сюда. Но когда твой вес приближается к 100 килограммам, резкие движения противопоказаны. Сам чувствую, что стал тяжелым и потерял в скорости. А чего суетиться-то? Вот вчера попробовал, так ногу подвернул. Нет, теперь стараюсь делать все не спеша и обстоятельно. Конечно, сохранять спокойствие удастся не всегда. Иногда прямо чувствуешь, как все внутри закипает. Так хочется какого-нибудь испанца или португальца удавить. Но сдерживаешься, а потом думаешь, что этот Родриго или Гилермо вообще-то неплохой парень. Такая вот внутренняя борьба. Когда злость откатывается, кайфуешь, что сумел взять себя в руки и не наломать дров.

Какое-то скучное письмо получается, нужен драйв, чтобы его оживить. И так, еще один персонаж, обитатель нашего дома — Джорди. Иногда его называют Горди, что значит — Толстяк. Это справедливо, потому что весит он больше 150 кг. Всю жизнь Джорди занимался карате. Однажды он вышел в финал чемпионата Испании среди юниоров. К решающему поединку он был изрядно потрепан в предыдущих схватках. У него были потянуты мышцы спины, и морально он совершенно выдохся. Помочь ему решил старший товарищ из сборной команды Испании. Он угостил его амфетаминами. Доверчивый Джорди съел несколько таблеток и на татами вышел уже в реактивном состоянии. Уработав до полусмерти своего визави, Джорди не смог остановиться и отлупил судью и собственного тренера. Если бы в этот момент у него не пошла пена изо рта и он не потерял бы сознание, то, скорее всего, его пришлось бы пристрелить. Вечером того дня Джорди даже показали по национальному телевидению. Но эта популярность дорого ему стоила. Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала его за применение допинга. Спортом Джорди больше заниматься было незачем, и он полностью посвятил себя наркотикам. Что он вытворял, когда торчал, даже представить страшно! Я вообще не представляю, какой барыга решился продавать ему наркотики. Теперь он уже по третьему заходу в Reto. Иногда его здесь в шутку называют Тролль. Он забавно изображает Кинг-Конга и дурачится. Но все это — игра с огнем. Джорди может быть агрессивен и смертельно опасен. Правда, он очень старается измениться или хотя бы держать себя в руках. Он покорно выполняет все, что ему приказывают респонсабли, хотя на улице мог бы разорвать любого из них пополам. Иногда во время вечерних прогулок мы разговариваем с ним по душам. Но поскольку мы с ним оба считаемся сумасшедшими, то наши беседы не поощряются.

Сейчас я пишу это письмо и параллельно готовлю вместе с итальянцем Роберто ужин на 19 человек. Мой компанеро на подъеме и решил исполнить какое-то итальянское блюдо. Моя помощь ему не нужна. Я ради приличия подхожу к нему, что-нибудь съем на кухне и одобрительно кивну головой. Потом медленно иду в зал, сажусь в кресло и продолжаю писать. Сам я тоже мог бы приготовить еду на 19 человек. Раньше, если мне пришлось бы такое делать, я бы от отчаяния на себя руки наложил.

Вчера получил твое письмо, в котором ты изрядно обеспокоен моим возможным уходом из центра на улицу. Хочу тебя успокоить: после того,

как меня перебросили в Севилью, наступила некоторая разрядка. Мое желание покинуть центр теперь не такое острое, хотя все же присутствует. Но ты сильно по этому поводу не гоняй. Хуже, чем когда я был в Москве, все равно не будет.

Эту неделю я — lavandero. Звучит красиво, но к «лавэ» — деньгам — никакого отношения не имеет. По-русски я просто прачка. Целыми днями засовываю грязное белье в стиральные машины, а потом развешиваю на просушку. У меня даже «тени» нет. Испанцы про меня говорят bevidor. Я действительно сейчас имею вид довольного жизнью hombre — человека. Сколько можно со шкафами по лестницам бегать! Сажу на солнышке, жду, пока белье высохнет, размышляю о том о сем. За новенькими наблюдаю. Каждый новый первые две недели обязательно тусуется дома. Слушаю, как они гонят за наркотики и жизнь на улице. Те, кто уже давно в центре, называют таких самреон. Чемпион. Ирония такая. Мол, они признают, что круче самреон'а нет никого, но вот только пришел он сюда за помощью-то к нам.

Видя новых, в очередной раз убеждаешься, что сам ты сейчас в порядке. Но cuidado — осторожно, значит — можешь сам себя развести, что ты торчать больше не будешь. Некоторые срываются через полгода из центра и бегут вытаращив глаза. Жалко. Потому что рвутся быстрее заторчать, хотя сами этого и не понимают.

Сам я, видимо, буду к Богу продвигаться. Другого варианта мне не остается. Я думаю, что мне надо побыть здесь как минимум еще год.

Алексей.

15 февр.

Хочу рассказать о пикнике.

Итак, погрузились мы в машины и поехали в город под названием Vuelva. Путь неблизкий, но 100 с лишним километров мы преодолели без каких-либо приключений. Андалусия, как, впрочем, и большая часть Испании, — это сплошной огород. И я так и не понял, что конкретно, но какая-то сельскохозяйственная культура сейчас укрыта пластиком. По обе стороны от дороги, аж до самого горизонта, простирались поля полиэтилена. Ничего особенного, наверное. Никто, кроме меня, этого даже не заметил. Но меня этот пейзаж позабавил. В России я такого не видел. У нас зимой что-либо накрывать пластиком никакого понта нет. И так все снегом занесет. Тут другое дело. Я здесь прожил первую свою зиму без снега. Que fuerte macho! (Это сильно!)

Приехали мы в Вуэльву. Там тоже есть Reto. И мы вроде как приехали к ним в гости. А они нас встречали и всячески обхаживали. Там такой здоровый парк. Повсюду народ культурно отдыхает, шашлыки жарит, выпивает умеренно. На краю парка расположились мы.

Пока местные жарили мясо, мы успели прогуляться до пляжа и обратно. Моя первая и, надеюсь, не последняя встреча с Атлантикой прошла как-то не очень: на пляже ни души, ветрище дует, холодно. Но поскольку я сейчас реабилитирующийся наркоман из Reto, то в другое время и при других обстоятельствах попасть на пляж не могу. Как ты понимаешь, летом, когда здесь полно баб, нас бы сюда не выпустили.

Пришли мы обратно. Самые оголтелые стали в футбол играть. И тут телок привезли. Наших, ретовских. Они сели в круг, взяли гитары и давай песни петь. Конечно, зачем им мужики? Ну, думаю, и пикник!

Чтобы немного отвлечься от голимых мыслей, пошел я к Джорди. И до самого отъезда мы с Джорди не переставая жрали отбивные и салат. А что еще оставалось делать? Вскоре вообще дождь пошел. Все рассредоточились по микроавтобусам, немного потупили и разъехались по домам. Вот такие у нас в Reto праздники. Лучше бы их не было вообще! Что Новый год, что этот пикник — одно расстройство.

Но с другой стороны, чего я ждал? Секс, наркотики и рок-н-ролл? Нет, с этим покончено. Все это не для христианина, которого из меня здесь настойчиво пытаются сделать. Да, попал я в Reto, а не куда-нибудь. И как это я так повелся на это все? Думал, оттянуться можно в Испании. И нате получите!

Тут несколько наших поехали в Мадрид, в Bertadero, где живут только наркоманы и цыгане, которые им дерьмо продают. И вот наши поехали туда, чтобы выдернуть несколько тэрчей к нам в центр. Привезли двоих. Один — взрослый дядька, за 40. Другой — молодой пацан.

Первый, когда приехал, был еще под кайфом, второй уже кумарил вовсю. День они у нас пробыли. А на следующий — старого начало кумарить, он подговорил молодого, и они вместе ушли. А пацан ведь наших на коленях упрашивал, чтобы ему помогли и забрали с Bertadero.

Жуткое, говорят, это место. Народу там полно отовсюду. Русские, чечены, болгары, португальцы, марокканцы. Я, когда проезжал через Мадрид, видел Bertadero это мельком.

12 мар. 2001. Aleala de Guarda.

Рекадос — это команда из трех человек и грузовик. В кабине грузовика я всегда сижу в середине. Слева, за рулем, сидит Хуан Каседес. Справа — Родриго Ла-Корунья. Хуан — это дядька 35 лет. Он небольшого роста, и я называю его Хуанито. 20 лет он бухал и нюхал кокаин. Сейчас он уже два года в центре. Все это время он только и делал, что клал кирпичи и плитку. На «улице» он тоже постоянно работал на стройках. А сейчас его поставили в «рекадос», и он пока еще не ориентируется, как надо таскать шкафы и загружать грузовик. Мы с Родри над ним прикалываемся и обзываем его «баклан». Но честняга Хуанито нисколько не обламывается и абсолютно счастлив, что может просто быть с нами в одной команде.

Он частенько путает лево и право или пытается вдруг свернуть, когда нам надо проехать прямо. В квартире за ним тоже нужно следить очень внимательно, он может в одиночку схватить какой-нибудь шкаф. Тогда потери и разрушения неизбежны.

Когда мы все-таки стаскиваем все вещи в грузовик и садимся в кабину, чтобы ехать, Родриго уже окончательно переходит на русский и кроет Хуанито почему зря. Тут вмешиваюсь я и говорю: «Pero el esta amigo!» (Но ведь он же друг!) Родриго не может с этим не согласиться, мы начинаем хохотать и едем на следующий адрес. А Хуанито снова начинает косорезить.

Родриго — респонсабль нашей eqiro (команды). Если возникает спорная ситуация, его голос — решающий. Деньги тоже могут быть только у него. Он родом из Ла-Коруньи. Ему 20. Когда он был еще несовершеннолетним, ему дали 9 лет за продажу крупной партии наркотиков. Чтобы не сидеть в тюрьму, он пошел в Reto. Сейчас он уже здесь около 3 лет. Судимость с него сняли, но из центра он не уходит. Стал христианином и хочет продолжать свои отношения с Богом. У него внешность типичного подонка с улицы. Маленький, сухой и опасный, как бритва. Мы с ним несколько раз дрались. Он мне чуть не прокусил плечо, но я засунул его в мусорный контейнер. Это было в начале нашего знакомства. Сейчас мы с ним товарищи не разлей вода. За то время, что он в центре, через него прошло множество русских, которые научили его таким словам, как «стукачок», «шнобель», «мамашка», «баран», «щенок», «лох». Он подолгу ковыряется в носу, что-то из него извлекает и вытирает палец об мои штаны. Я хватаю его рукой за горло. С невинной рожей он показывает мне палец, на котором до сих пор прилеплена козявка. Это значит, он ее об меня не вытер, а только пошутил. Ну как на него можно обижаться! Он ведь тоже друг.

Делаю мы как-то раз доставку мебели. Загрузились, приехали в Севилью, нашли адрес. Подъехали к подъезду, где мы ждали, чувак на спортивной машине. Оказался как раз наш клиент. Хата у него отличная и телка

неплохая. Стали мы вещи затаскивать к нему на четвертый этаж. Слово за слово, выясняется, что телка русская. Мы с ней перешли на русский. Она — аферистка, раскручивает своего испанского папика по полной программе. Он ей хату купил и теперь обставляет мебелью, которую мы как раз и привезли. Ну, я тоже представился: так, мол, и так, вот уже семь месяцев, как реабилитируюсь. Тут девица просит у меня телефон. Человеку с улицы довольно трудно объяснить, что я лечусь в очень специфическом заведении и позвонить мне туда нельзя. В итоге она дает мне свой телефон и просит позвонить. И началось...

Уже в лифте Родриго и Хуан начали меня грузить. «Отдай! — говорят. — Не можешь ты иметь ничей телефон!» И их обоих аж трясет. Я послал их и сказал, что буду разговаривать только с лидером дома. Но мои респонсабли и не думали успокаиваться, их чуть кондратий не хватил от волнения. Ну, тогда я достал листок, быстро запомнил номер и отдал им. Всю дорогу, пока ехали домой, они меня грузили, что они за меня очень волнуются и только поэтому отобрали телефон.

По приезде домой меня вызвал на разговор лидер дома и при поддержке еще двух респонсаблей раскладывал мне все по полкам. Что это центр, что они несут за меня ответственность, что я вообще не имел права брать телефон у этой телки.

Я им пробросил несколько отмазок, но от меня уже ничего не зависело. Я был обречен на наказание. Теперь я очень долго, может быть, всегда, буду мыть тарелки. И из дома меня теперь в город не выпустят.

Это то, что произошло, и последствия. Теперь я тебе скажу, что у меня на душе. Конечно, я сумасшедший. Но поставить свою жизнь на телефонный номер какой-то бабы — это слишком глупо. Когда я разговаривал с респонсаблями, я наговорил им много всего. Они недовольны мной: за семь месяцев я особого рвения в поисках Бога не проявил. Подумать только, что я вынужден переживать из-за телефона какой-то телки!

Все это раз за разом я прокручиваю у себя в башке, сидя на дне бассейна без воды и долбя его дно киркой. Лидер дома назначил мне наказание — отчистить весь бассейн от старой краски. Потом его покрасят заново. Это даже круче, чем моторы от стиральных машин разбирать. За целый день кропотливой работы и раздумий мне едва удалось отскоблить 1 кв. м. Осталось еще около 30. Но время у меня есть.

Алексей.

Здравствуй, отец! С большим трудом удалось заставить себя взять ручку, бумагу и попробовать написать тебе что-нибудь. Сейчас сижу в так называемом «салоне». Это — комната в нашем доме, где мы обязаны тусоваться все свободное время. Все сидят на четырех диванах и креслах, стоящих вдоль стен. Читать Библию или писать в это время не удастся: идет треп попережку с раскатами хохота. Предметом для насмешек может стать любой, даже наш лидер Вайона. Если кто-то пытается вздремнуть, то такая попытка сиесты беспощадно обрезается громким хлопком в ладоши или возгласом типа «Oiga!» или «Oje!» (Слышишь!).

Вчера была студия. Говорил дядька по имени Лания. Он раньше был директором Reto-Sevilla, а теперь у него магазин антиквариата в Сантандере. Очень фактурный тип, с необычной для Reto внешностью. Дорогая и качественная одежда, стильные очки и сухое лицо носителя СПИДа. Студию он дал просто отличную! Лания говорил о привычке жить размеренно и об опасности, которая таится в этом. Лука, 2: 41 и до конца главы. Вот родители Иисуса, как обычно, пошли с ним в Иерусалим на Пасху. По привычке потусовались там как положено и отвалили домой. Думали, что все нормально, все как всегда, только вот Иисуса с ними уже не было. Потом целых три дня маялись, искали его...

Мы в Reto живем в *comunidad* (общезитии). Это не просто — жить изо дня в день вместе. Один кумарит, второй храпит по ночам, третий в депрессухе и хочет свалить, четвертый уже свалил. Но ко всему привыкаешь, принаравливаешься, функционируешь как бы, и ничего более. И если ты становишься исключительно материален и не живешь духовной жизнью, то начинаешь гонять в голове за жизнь на улице, за баб, за *todo gojo*. Потом спохватываешься, и хорошо, если удастся обрести душевное спокойствие.

Не знаю, как далеко я зайду в поисках Бога, но я теперь стараюсь жить духовной жизнью. В апреле вроде бы должен быть большой комбиенсион. Этот комбиенсион бывает два раза в год в Вальядолиде, и, говорят, собирается там 2 — 3 тысячи народу из всех Reto со всего мира. Вот бы туда попасть!

Помнишь, у тебя была когда-то идея отправить меня в Афон? Я не знаю, что меня ждало бы там, но Reto можно легко приравнять к монастырю. Только у нас в Reto в отличие от монастыря отсутствует церковная утварь, есть только Библия на испанском языке.

В понедельник повесили «лист». Это — расписание работ на очередную неделю. Никаких неожиданностей: мой домашний арест продолжается. С утра вымыл четыре сортира, покормил и убрался у свиней, а потом два с половиной часа жарил барбекю. Мясо всем так понравилось, что сейчас сижу в одиночестве на улице, пишу тебе письмо, и никто ко мне не лезет.

В воскресенье выпала возможность немного пообщаться с русскими. После традиционного собрания русские скучковались вместе. А я так тупил отчаянно. За 3 месяца, что я прожил в Севилье, я только с вами по телефону и говорил по-русски. А вчера, с пацанами, вроде соберешься чего-нибудь сказать, начнешь составлять фразу, тормозишь и под конец думаешь, лучше уж я молча посижу. Недавно поймал себя на мысли, что даже со свиньями я говорю теперь по-испански.

Удалось перебраться несколькими фразами с одним русским, которого испанцы называют Мутантом. Рожа у него, прямо скажу, нечеловеческая. Он тут недавно и поначалу был сильно загруженный. А здесь смотрю — пацан на подъеме. Спросил у него, как дела. Он ответил: лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме!

Алексей.

2 апреля.

Родриго Ла-Корунья. Я писал о нем, однако хочу немного дополнить портрет. Когда мы с ним работали в *casados*, то часто ездили в Севилью, в главный большой дом. Едва завидев какого-нибудь нового, приехавшего из России, Родриго сразу же шел с ним знакомиться. Вот он подходит, называет свое имя и протягивает руку. Русский тупит, но в конце концов решается пожать ее. Когда он протягивает руку для рукопожатия, Родриго принимает позу тореадора и, отводя назад свою руку, издает возглас: «Оле!» То же самое кричат зрители на корриде, подбадривая тореадора. Так и получается, что из России приехал упертый в наркотики бык и маленький Родриго будет его укрощать.

Вчера забросили к нам партию новых. Уже сегодня утром один ушел. Сказал, что хочет завязать с наркотиками, а вот курить табак он не бросит. А раз мы в центре не курим, то ему здесь не место, и ушел. Очевидно, не только за сигаретами.

Второй пацан, совсем молодой, побывал в Reto уже не раз, но пока безрезультатно. Сейчас предпринял очередную попытку: пришел к нам. Родители выгнали его из дома, а он напоследок попытался его поджечь.

Третий новый — это Хосе, который нам спать не давал. Он здесь уже почти две недели, но до сих пор с ним трудно. Спать по ночам он начал,

а вот делать ничего не хочет. Говорит, что не может. Я ему говорю, что он Mucha Kaga — наглая морда.

Сам я по-прежнему кормлю свиней, отбиваю краску со стен бассейна. На обед приготовили с Гилермо суп из акулы. Нормально получилось.

Неделя пролетела на одном дыхании. Сегодня уже пятница. Вечером должна быть студия. Дома я по выходным гудел, как трансформатор, загружаясь водкой и наркотиками. А здесь — живое слово Божье, матч по футболу и прогулка по городу. Ты, батя, знаешь кого-нибудь, кто так же по weekend'ам оттягивается? Думаю, вряд ли.

Хосе Линарес потихоньку оклемался. Вчера ходили на большую прогулку. Он все ныл, что устал и хочет отдохнуть и посидеть. А под конец так ему хорошо стало, что он даже перешел на легкий бег. Две недели назад он ходил-то с трудом. Tegarautiko!

Если бы я после своей передозировки попал не в реанимацию Остроумовской больницы, а в Reto, то меня бы здесь максимум за месяц, а не за полгода на ноги поставили. У меня на глазах уже несколько «живых мертвецов» превратились в «универсальных солдат», а некоторые теперь — даже в воинов Христа.

И чего это я так одухотворился? На этой неделе народ поедет в Вальядолид, но меня, естественно, не возьмут. Меня вообще из дома никуда не выпускают, даже на футбол не берут. Так что мне остается кормить свиней и встревать на очки. Именно так называли мытье туалетов в 127-й отдельной спасательной бригаде МЧС, где я тянул армейскую службу.

Алексей.

10 апр.

Вчера повесили список тех, кто едет в Вальядолид. Никаких неожиданностей: я остаюсь дома. Хотелось, конечно, попасть на большой комбиенсион, но, видать, не судьба. А большинство так сильно рвало очко, чтобы поехать туда. Вайона на этой волне неприлично распоясался. Но он всегда оправдывается одинаково, когда выходят какие-нибудь непонятки. Он просто говорит, что может делать все, что хочет, потому что ему все разрешено Богом.

Сегодня сидели перед обедом в салоне. Вайона сидит и спит. Рядом — Хосе Линарес. Хосе, как говорится, hecho polvo (никакой): с огромным трудом чувак перекумарил. Ломка прошла, но она отняла у него последние силы. И сейчас он еле живой. Финист-ясный-сокол Вайона спустил на него всех собак, и каждый теперь обязан грузить Хосе: он должен бороться и выздоравливать. На деле ему все просто треплют нервы, а его сейчас всего лишь надо успокаивать и помогать ему. К вечеру его вообще так разгоняют, что караул. У него или туберкулез, или астма: он всю ночь задыхался в кашле, а если засыпал, то во сне стонал и разговаривал.

Утром я поставил кресло на дно бассейна, посадил в него Хосе, принес ему стакан напитка из ромашки, а сам сел рядом краску со стен бассейна отбивать. Утреннее солнце не такое жаркое: Хосе оклемался, успокоился, начал разговаривать со мной, ожил, одним словом. Но приехал Вайона и сказал, что Хосе должен целый день сидеть на стуле на кухне. Со скандалом Хосе увели, и он даже расплакался.

Ну так вот: перед обедом Вайона спал, рядом сидел Хосе и, естественно, тоже спал. Вайона проснулся и давай Хосе грузить, что единственный, кому позволено спать днем, это он, Вайона. Ну не скотина? Как Хосе все это выдержит? Боюсь, надолго его не хватит.

Утром наши уехали в Вальядолид. Народу в доме стало в два раза меньше. Мы с Хуаном замесили раствор цемента и до обеда выводили стену в прачечной. Это — комната, где стоят две стиральные машины, которые стирают наши шмотки. Стены из блоков, но положены блоки голимо. Вот мы

раствором и выравниваем всякие косяки, превращаем стену в абсолютно ровную поверхность. Работа довольно нудная, и мы разбавляем ее общением.

Хуанито, оказывается, пять лет служил в Иностранном легионе, был наемником в Африке. Рассказал, как он из Марокко привозил в Испанию килограммы гашиша, пряча их в бензобаке БМП. Отъявленный был головорез раньше. А прошлой ночью безропотно убирал говно после того, как Хосе Линарес не дошел до туалета и обосрался по дороге. Хуан — его «тень», и за те 20 с лишним дней, что Хосе в центре, Хуанито с ним порядком заколебался. Только бывший легионер, я думаю, мог выдерживать так долго метаморфозы Хосе Линареса.

Сейчас, как всегда, сидим в салоне и обсуждаем ночное происшествие. Джорди сказал, что слышал, как Хосе ломился в туалет. Сам Хосе говорит, что ему не хватило всего чуть-чуть, а то бы он успел. Хуан сказал, что он истратил полбутылки аммиака, чтобы продезинфицировать ванную комнату и сбить запах после ночной атаки Хосе.

Эта неделя в Испании называется *Sehana Santa*. В городе проходят шествия. Народ одевается в костюмы типа ку-клукс-клан. Может, кого-нибудь даже линчуют. Подробностей не знаю, я все это случайно видел по телевизору в новостях. Испанцы толком не могут мне объяснить, что это за движуха у них такая на Святой неделе. Мне кажется, что это какая-то мутная традиция Пасху отмечать. Хотелось бы в городе тусануться в эти дни, но у нас праздников не бывает. Парни из *Reto*, как батарейки «Energizer», продолжают работать, работать и работать...

Я же говорил, но меня, как всегда, никто не слушал! Я говорил, что Хосе Линарес не выдержит долго. Я говорил, чтобы его оставили в покое. Но наши финисты-радикалы продолжали грузить Хосе. В конце концов ему стало так хреново, что его отправили-таки в госпиталь. Суки! Загнали чувака! Пока остальные респонсабли были в Вальядолиде, Вайона тут такую святую инквизицию устроил! Последние два дня Хосе уже ходил с трудом, а ему не разрешали садиться в кресло, только на пластиковый стул! И когда вечером все сидели на диванах и смотрели видак, Хосе сидел на своем пластиковом стуле и плакал. Вайона же при всех объяснял ему, что это не наказание, что в кресле он засыпает, а на стуле нет. А спать ему еще рано. Но время отбоя на самом деле уже наступило, и все, кто хотел, могли идти спать, только не Хосе.

Я так из-за этого всего разнервничался, что у меня голова заболела и не проходит уже второй день.

Наконец-то закончились праздники *Sehana Santa*. Мы тоже вроде как оттягивались. Ездили на пикник. Самое сильное впечатление — это то, что можно было тусоваться без майки. Вообще майки — это отдельный разговор. Обычный тэрч вроде меня может ходить только в футболке с короткими рукавами. Авторитеты уже могут носить майки с тонкими бретельками. А один дядька, которого зовут Педро и который живет с бабой, потому что и он и баба уже в *Reto* лет 10, периодически лазает везде вообще без майки. Объясняется все просто: *carne* — плоть значит. Что может произойти, если баба Педро увидит меня в одних шортах? Конечно же, ничего. Но на всякий случай.

Покатила трудовая неделя. Всю ночь ворочался, как новый, которого кумарит. Башка болела жуть! С утра такой обломанный встал с кровати! Никакого *descanso* — отдыха — от такой ночевки. Вывесили лист. Еще одна неделя дома. Другая неприятность — Вайона тоже дома. Он нас с Хуаном с самого утра загнал в бассейн краску долбить. Я Хуану говорю: «Ну, Вайона теперь дома, будем кайфовать — только держись!» Хуан вообще меня в последнее время удивляет и тут говорит: «А что, захотим, так и закайфуем!»

И мы кайфанули! До самого обеда просидели в бассейне. Жара конкретная! К обеду вылезли чуть живые. Пожрали. Оклемались. Потом только залезли обратно в бассейн, пришел Вайона и сказал, что бассейн — до

обеда, а сейчас нужно делать стенку в прачечной. И еще какой-то конус на верхушке столба, который держит ворота. Пришлось надевать кроссовки и идти мешать цемент. Но я ко всему теперь отношусь с пониманием. Мне ведь хорошо известно, что наркотики бросить трудно. Однако мы беремся до конца и побеждаем!

С утра пошел пробросить еду свиньям. А там Тайсон всю шпилит Марселину! Я и к этому отнесся с пониманием. Решил, что им сейчас не до жратвы. Налил им воды — попить и остудиться немного. Свиньи утолили жажду и продолжили свои утехы. Я остался смотреть. Такое не каждый день увидишь. Тут-то и пришел Вайона...

В общем, мне теперь к свиньям подходить запрещено. Как будто это я виноват, что Тайсон отдрючил Марселину. В конце концов, это даже хорошо: поросята будут. Просто я, видимо, оказался не в том месте и не в то время. Вайона увидел свиней и разнервничался. Он ведь уже давно в Reto, и бабы у него нет. А тут свиньи трахаются по полной программе, и русский за этим наблюдает. Теперь Вайона сам все делает у свиней: и кормит их, и чистит.

Алексей.

17 апр.

Два дня мы с Хуаном лепили по заказу Вайоны четырехгранную пирамиду на вершине столба, который держит ворота. Казалось бы, ничего особенного. Но, отец, лазить целый день вверх-вниз по стремянке вокруг столба и выравнивать каждый изгиб цемента! Конечно, большую часть работы делает Хуанито, а я при нем как реоп — так у испанцев называется подмастерье, или пешка. Честняга Хуанито мог бы со всем справиться в одиночку, но мне как-то совестно ничего не делать, когда он пашет не разгибаясь. Я приноравливаюсь и начинаю ему помогать. Albavil (стройка) — очень даже азартное занятие. И время пролетает быстро. Только к концу дня понимаешь, что устал конкретно и единственные твои желания — помыться в душе и завалиться спать. А пирамиду мы вылепили очень даже славную. Не знаю, кто и когда вылепил такую же на соседнем столбе, но наша лучше оригинала, хотя и она несовершенна. Как известно, совершенен только Иисус.

Продолжил я эту неделю как *cosinero*, или повар. Я, Чансури-баск и Нуно-португалец готовили жратву. Все бы ничего, но Нуно совершенно безумный! То он с нами не разговаривает, то хохочет и говорит, что отправляется прямоком в ад. А ведь он наркотики никогда не употреблял. Но и огненная вода — дело нешуточное. Я даже не знаю, сможет ли он реабилитироваться когда-нибудь. Он в Reto уже шестой раз.

Теперь я знаю, кого нам не хватало — болгарина! Сейчас он живет у нас в доме. И сегодня его приставили ко мне. Зовут Адриано, 23 года. По профессии акварист. Я даже не мог сразу в толк взять, чего это такое. Потом мы с ним выяснили, что это аквариумный бизнес. Рыбками, значит, торговал. В Праге подешевле покупал, в Софии подороже продавал. Здесь мы рыбок не разводим. Зато Тайсон продолжает трахать Марселину, и у болгарина есть возможность в будущем заняться поросятами.

Испанский он не понимает, по-английски говорит с трудом. Поэтому я ему говорю все по-русски, он «разумеет» и отвечает мне по-болгарски, а тут уже приходится «разуметь» мне. Но все это закончится с появлением Вайоны. Он сейчас дежурит в госпитале у Хосе Линареса. Когда вернется, наверняка запретит болгарский язык так же, как и русский. Вайона — упертый баран! Маноло — директор Reto-Севилья — был на комбиенсионе и купил специально для нас запись на кассетах Евангелия от Луки. Пацианы из русского Reto написали. Так вот, Вайона нам слушать не разрешает. На испанском, говорит, звучит красивее. Так что у нас все четко. Шаг влево, шаг вправо — побег. Прыжок на месте — попытка улететь в Моск-

ву. По выходным у просто тэрча есть право играть в настольные игры. Я подсел конкретно на шахматы. Есть у меня постоянный партнер. Зовут его Энрике. Он научился играть в шахматы, когда сидел в тюрьме. Не знаю, на что он там играл, но научился он хорошо, и выиграть мне удается редко. Я парень азартный, поначалу шахматы даже ночью снились. Прямо «Защита Лужина» поперла! Всю субботу и воскресенье мы с Энрике про-сигивали над доской. Сейчас стал спокойнее. Играю не больше двух партий подряд.

Алексей.

22 апреля.

Вайона где-то достал бочку белой краски. Теперь он целыми днями все красит. Начинает это делать в одном месте, бросает и идет в другое. Если ему что-нибудь мешает, то тут в дело приходится вступать нам с Хуаном. Трудно это — подготовить поверхность каменной стены для кисти маляра. Колочая проволока, куски засохших деревьев, растения, обладающие колючками и иголками. Мы устраняем все это, чтобы Вайона мог красить не обламываясь. В одном месте по стене некоторое время текло самое настоящее говно из канализации. Сейчас этот поток иссяк, но на стене остались кое-какие следы. С помощью шпателя и щетки мы с Хуаном провели жесткую зачистку и этого участка. Вайона, этот неутомимый выдумщик, остался доволен проделанной нами работой и тут же предложил нам новую. В другом месте вплотную к стене основательно расположилось целое семейство кактусов. Не могу сказать, что они кому-то мешали. По мне, так это вообще удивительное создание. Высотой с человеческого рост, с толстыми лепестками-лапами, покрытыми ядовитыми шипами. Сначала Вайона решил все сделать сам. С огромным трудом ему удалось отрубить с помощью электропилы несколько голов у этой гидры. После этого он потерял интерес к кактусу и отправился еще что-то красить.

Утром следующего дня он зарядил меня с Хуаном на кактусы. Хуанито недаром был в спецназе. Не задумываясь, он взял топор и пошел врукопашную. Примерно через час кровопролитной схватки, изрядно поколотый ядовитыми колючками, Хуанито начал сдавать. Я все это время грузил отрубленные лапы кактуса в тачку и отвозил в небольшой овражек. Нам, татарам, все равно: что оттаскивать, что подтаскивать.

Еще через час стало ясно: Хуанито на грани поражения и, чтобы избежать бесчестия, готов совершить харакири. Тут я преисполнился смекалки: взял здоровенную трубу, положил на землю, уперев в основание кактуса, кувалдой забил трубу в тело кактуса поглубже, потом как следует уперся и вырвал кактус с корнем. Здоровый он оказался и тяжелый, сукин сын. Хуанито и Вайона меня тут же признали. А я объяснил, что у нас в Подмоскowie этих кактусов видимо-невидимо и русские только и делают, что их целыми днями выкорчевывают. Объяснение показалось им убедительным. Дальше кактусы вырывали уже по моему методу.

Теперь я знаю, когда приходит время собирать камни. Около 4 часов дня у нас заканчивается обеденный перерыв, и мы начинаем работать. Жара стоит дикая. Вайона позвал нас с Хуаном. Вышли мы на самый солнцепек, и он нам поставил задачу сровнять небольшой холмик, собрать камни и побросать их в ложбинку. Сам Вайона пошел в тенек газон подстригать, это его любимое занятие, а мы с Хуаном на жаре остались. Начали работать. Чего просто так стоять? Работали мы молча. В какой-то момент я говорю: Хуан, жара-то какая! Хотелось просто убедиться, что не мне одному так жарко. И друг Хуанито сказал: я думаю, температура не превышает 34 градусов. Больше он не сказал ничего. И все, что нам осталось делать, — это собирать камни.

В воскресенье был снят домашний арест, и меня взяли на прогулку в город. Она всегда проходит одинаково. В течение часа мы тупо бродим по

центральному парку. Если еще раз увижу свое имя в списке едущих на прогулку, пойду к Вайоне просить, чтобы меня не брали. Два месяца ничего не видишь, а потом вдруг оказываешься в парке, где народ всюю оттягивается: выпивает, покуривает план, валяется в обнимку с бабами на траве... Не удивительно, что утром следующего дня из центра соскочили сразу трое.

Массовый исход людей привел к тому, что вершителю судеб — респонсабли — даже не знали, кого поставить работать в растро, и на один день меня зарядили в мебельный магазин. Но ко вторнику все вернулось на круги своя. Я вновь оставлен дома и исполнил *limpieza general* — генеральную уборку — туалетов. Вымыл все и вся маленькой мочалкой. Потом плавно был переправлен на кухню, где последовательно отчистил плиту, отдраил холодильник и еще кое-какие мелочи. Так же верно, как то, что жив Бог Израиля, Вайона не даст мне заскучать без дела. И я должен быть ему за это благодарен.

На этой неделе у нас будет комбиенсион. Говорят, соберется человек 300. Под это дело решили завалить Тайсона. Я первый раз принимал участие в убийстве свиньи. Мы втроем его держали, а четвертый тэрч никак не мог попасть ему ножом в сердце, тогда он умер бы быстро. Пришлось его держать минут двадцать, пока не истек кровью и не затих. Мясо приготовят и съедят во время комбиенсиона. Но мы успели все-таки побыстрому поджарить на костре и тут же сожрать несколько кусков. Марселина теперь ходит по загону одна. Как бы не затосковала! Она вроде должна разродиться. Будем ждать поросят.

Алексей.

Вайона снова достал куски карбида. Положил их в бочку с водой, и через пару дней получилась белая краска. Начал он красить, и в подмастерье к нему попал я. Мне нужно было держать здоровенную, достающую аж до третьего этажа лестницу, а Вайона по ней лазал и красил стену. Лестница широкая, держать на вытянутых руках ее трудно. На башку краска капает. Вайона говорит: держишь прямо как Самсон! Ну, ты знаешь, батя, в Библии есть такой сюжет, когда Самсон попал в подставу Далилы. Она состригла ему волосы, и он потерял свою силу. И вот когда он уже был никакой, Самсон попросил Бога вернуть ему силу и свернул два столба, которые держали крышу. Самсон при этом погиб, но убил тьму всякого подлого народа.

Вот я и говорю Вайоне, что в курсе, чем там дело кончилось у Самсона. И могу сейчас избавить наш коллектив от него, Вайоны. Он напрягся, и стену дальше красили мы молча.

Начался комбиенсион. Нашему дому было оказано доверие накрывать столы с едой для гостей, а потом убирать весь оставшийся мусор. Вся гулянка должна продлиться три дня. И обеспечивать жратвой три сотни человек — это настоящая терапевтика. Тут уже не до студий. Наши шуршат как официанты и приезжают ночью чуть живые. Судьба была ко мне благосклонна, и я избежал участия в комбиенсионе. Меня оставили дома. Сегодня суббота, работы никакой, убрали дом и сидим впятером в салоне. Я пишу письмо тебе, болгарин рисует у себя в блокноте «лейблы» трансовых проектов. Любитель электронной музыки, блин! Маноло, сорокалетний дядька, которого привезли вчера, до сих пор спит. Он родом из Севильи, так что я уверен, когда он окончательно проспится, то сразу же отсюда соскочит. На кухне сегодня — Антонио-португалец. Антон здоров без всяких докторов. Он отторчал лет двадцать и сейчас, оказавшись к 40 годам в *Reto*, совершенно счастлив. Меня он называет Джимом. Я его Биллом. Не знаю точно, что он употребляет, но глаза у него на всю жизнь остались вытарашенными. Мы в шутку говорим про него, что Антонио ничего не понимает, но зато он все видит.

Ну и респонсаль сегодня в доме! Этот Гилермо как глухарь! Он уселся на гитаре играть, и за этим занятием ему все пофигу. Но что-то мне не верится, что день может пройти так спокойно. Наверняка последуют какие-нибудь инсинуации.

Приехал из госпиталя Вайона. Ходил туда-сюда по дому. Но день сегодня нерабочий. Так что мы бездельничаем в законе, и ему к нам не подкопаться. Тогда он взял блокнот болгарина, в котором тот постоянно рисует, и увидел его веселые картинки. Типа GOA TRANCE FROM ISRAEL или PEOPLE CAN FLY. У Вайоны аж морду перекосило от этой бесовщины. Все рисунки он вырвал и порвал. Хотел еще загрузить болгарина, но тот по-испански не понимает. В итоге разговор свелся к тому, что Вайона делал страшное лицо и говорил, показывая на рисунки: «Esto no!» Болгарин виновато кивал головой.

Начался понедельник. Народу дали отдохнуть: подняли на час позже, в 8. Я проснулся и как-то голимо себя чувствую: какое-то напряжение висит в воздухе. Предчувствие меня не обмануло. Около 12-ти ушел из центра Толстяк Джорди. Как говорится, тени исчезают в полдень. Вот и моя «тень» исчезла. Он был в центре полгода. Чтобы досадить мне и показать, что я никто, его сделали моим респонсалем. Мол, вон парень в центре меньше тебя, а пользуется нашим доверием в отличие от тебя! Ну вот он и соскочил из центра, обложив матом Вайону.

Вайона мне сказал, чтобы я копал канаву для трубы. Земля здесь очень каменистая. Я даже чуть не вспотел, пока работал. Под землей я обнаружил какую-то другую трубу. Ну, думаю, и хрен с ней, и стал копать дальше. Докопал докуда надо. Пришел Вайона и давай гнать: почему, говорит, в этой канаве видна какая-то другая труба? Остался мной крайне недоволен и отправил на кухню обед готовить. И еще, сука, специально сказал Энрике-повару, что я должен помогать, но есть мне давать ничего не надо. Но с Энрике я быстро договорился и ел все, что хотел, и обед мы приготовили по моему рецепту. Да и вообще отлично провели время, такой десерт забавали из груш и йогуртов!

Вот ведь русский тэрч, куда его ни пробросят, везде может позитивное движение создать!

Алексей.

7 мая 01 г.

Джорди привели обратно. Он родом из Барселоны, но добраться успел только до Севильи. Мартин его там увидел и посадил к себе в машину. За те несколько часов, что он пробыл на улице, он только и успел, что разбить себе кулак. Говорит, что побил какого-то мужика, от дальнейших комментариев отказывается. Вот мудак! И он еще был моей «тенью»! Теперь с этим покончено. Его даже переселили спать на другую койку. Обычно респонсаль спит внизу, на втором ярусе спит его «тень». Я за девять месяцев в Reto внизу не спал ни разу. А кто только не спал на нижней, подо мной, койке! Например, человек-ящерица, или Раптор, как его называли русские. Это существо допилось до такой степени, что стало терять свой кожный покров. Раптор не стесняясь отрывал куски кожи и ел их. Главное для меня было, не посмотрев на него, запрыгнуть наверх, на свою койку. Никто не хотел с ним жить даже в одной комнате. А я к нему привык, и мы порой мило беседовали перед сном.

Помню сумасшедшего Давида. Он тоже спал на нижней койке. Иногда ночью я просыпался оттого, что кровать ходила ходуном. Давид в эти моменты или дрочил, или истерически хохотал.

Вообще, чтобы спать по ночам в Reto, нужна особая подготовка. Представь себе: комната, в ней спят 6 человек. Один храпит, другой как пернет! Третий во сне разговаривает, четвертый кумарит и ворочается с боку на бок на скрипучей кровати. Добро пожаловать в Reto!

В Бильбао к нам заехал один алкоголик. Сначала он спал в большой комнате на 12 человек. На третью ночь они не выдержали его храпа, и его пробросили в комнату поменьше, на 4 человека, чтобы не так много народу страдало. Я, естественно, оказался в этой комнате. Такого храпа я не слышал никогда. Его обладателю даже дали кличку Leon (Лев). Приспособиться спать с ним вместе было непросто: отличные легкие алкоголика, хорошая акустика в комнате. Народ из соседних комнат приходил, чтобы закрыть дверь в нашу. Заткнув уши ватой и укрывшись с головой одеялом, мне с трудом удавалось заснуть.

Сейчас меня уже не удивить никакими спецэффектами. Я легко засыпаю в любом помещении и сам храплю так, что утром приходится оправдываться перед соседями, говорить, что я вообще-то почти не спал, всегда плохо сплю.

И чтобы закончить тему. Сейчас я, как всегда, сплю на верхней полке, на нижней — НИКОГО НЕТ. Нужно самому побывать в Reto, чтобы оценить такое. Это невероятно, но факт.

У нас в Севилье несколько дней дули ветры и по небу металась облака. Было прохладно, а иногда даже шел дождик. Но теперь с этим покончено, и снова поперла жара. Я, как всегда, остаюсь невыездным за пределы дома.

Чингурри, как я и предполагал, собрался уходить и сказал об этом респонсаблям. Мне с ним тут же запретили разговаривать. Вот так! Полгода почти жили вместе, а тут раз — и нельзя общаться.

Как же мне надоели все эти квадратные правила! Вот, например, никто в Reto не может быть в одиночестве. Сидеть одному и долбить целый день стенки бассейна можно, а вот сидеть одному возле бассейна после обеда и что-нибудь писать нельзя. Трудно все-таки наркотики бросить!

В августе будет год, как я здесь. Вы меня, мягко говоря, не ждете. Значит, мне надо в этой школе придурков на второй год оставаться. Я, конечно, понимаю, что пара лет — это ничто по сравнению с la vida eterna (жизнь вечная), но тем не менее.

Алексей.

11 мая 2001.

Vueno por hada!

Судьбоносное событие — закончили отбивать краску со стенок бассейна. Костя, Мануэль, Чингури, Алехандро — это далеко не полный список тех, кто долбил краску со мной вместе. Все они ушли из центра, а я остался и закончил. Теперь бассейн стоит без воды, и неизвестно, когда его будут красить. Мне даже не верится, что работа закончена. Когда я в него заглядываю, он мне видится полем битвы. Два месяца как-никак тут бился, и даже не с краской этой, а за жизнь свою в натуре. Эту схватку я выиграл, но будут и другие.

Меня потихоньку начали выпускать в город. Ездил один раз в госпиталь к Хосе Линаресу. Он, что называется, *hecho polvo* (уделанный). В него понавтыкали каких-то трубок-дренажей для выхода жидкости и скоро будут делать операцию: грудь разрезать. Я попробовал его ободрить — возвращаясь, мол, быстрее в центр. А он мне прогнал, что, мол, готов и хочет, вот только врачи не разрешают. А на самом деле он лежит уже сорок дней, как овощ, и совсем не борется за свое здоровье.

В воскресенье я был взят на прогулку в Севилью. Старшим был Родриго, и это предопределило успех нашего мероприятия. Для начала поели пирожных и выпили кофе. Потом совершили восхождение на *Hiralda de Sevilla*. Главный собор-кафедраль. Около сорока лестничных пролетов — и ты оказываешься на самом верху, откуда видна вся Севилья. Потом походили по нижнему этажу собора, посмотрели на всякие цацки из церковной утвари. Глядя на них, Родриго сказал, что это похоже на трофеи футбольной команды «Депортиво» из Ла-Коруньи. Огромные картины с библейскими сюжетами. Скульптуры. Все очень богато.

Когда уже возвращались к машине, увидели, как один курил героин с фольги. Мы, как бывшие токсикоманы, оставались невозмутимыми, и только болгарин, который в Reto всего месяц, заметил, что у них в Болгарии нельзя это делать так просто, на улице. Но Родри ему тут же объяснил, что здесь, мол, Испания и здесь все возможно. Наркоманов тут видно сразу. Они чем промышляют? Показывают подъезжающим машинам свободные места для парковки. За это им платят 20 peset или venti duro. Так они и живут. Настрелял на дозу и пошел покупать, а на это место встает следующий.

У нас в центре недавно появился один чувак по имени Моисей. До того он 4 года жил в Reto-Пласенсия. А сейчас его перебросили к нам, в Севилью, чтобы он был поближе к своей семье. Он цыган. Эта порода людей воистину удивительна. Долгое время они в Испании продавали наркотики и зарабатывали хорошие лавэ. Но дьявол все равно оказался хитрее, и последние несколько лет цыгане уже не только продавали, но и сами плотно подсели на наркоту. Сейчас это для них настоящее бедствие. Вот и Моисей встрял с героином. Недавно хоронили цыганку, его родственницу. К ней в дом ломилась полиция, и она проглотила несколько контейнеров с наркотиками. Видимо, один из них оказался плохо запечатан, и она умерла от передозировки.

Я сопровождал Моисея. Мое появление на похоронах не осталось незамеченным. Какая-то тетка начала причитать: смотрите, мол, какое чудо — hitano rubio — цыган и блондин! Пришлось объяснять, что я простой русский тэрч, находящийся в Испании на реабилитации. До самого конца церемонии на меня косились и разглядывали больше, чем гроб с покойницей. Молодые цыганки совершенно нереальные! Вот хотя бы родная сестра Моисея, ей 17. Когда она мне начала рассказывать про Интернет в своем мобильном телефоне, я чуть не вспотел от возбуждения. Глазищи такие черные, что в них можно навсегда сгинуть!

Моисей говорит теперь, что в будущем я могу попробовать замутить с его сестрой. Вот чего мне не хватало в жизни — это жены-цыганки!

Был на похоронах один цыган, который торчит наглухо. Остальные (половина уж точно) только продают. И вот они уговаривали того, который торчит, поехать с нами в центр. А чувак такой прикольный: у него морда как у Ленни Кравитца, помесь негра с цыганкой. И он ни в какую! У меня, говорит, все нормально, но на всякий случай дайте телефон центра, может, когда-нибудь позвоню. Я вот тоже, когда торчал в Москве и когда у меня еще было, всегда всем говорил, что я в полном порядке. Цыгане на похоронах не бухают, не принято. Пьянка происходит на следующий день. Но мы по понятным причинам на нее не остались.

Утром Мартин, который в Reto уже 8 лет, сказал, чтобы я переодевался, поеду с ним в госпиталь. Мартин уже 10 лет как болеет СПИДом. Каждый месяц он ездит на собеседование к врачам. Его здоровье как шахматная партия. Он вынужден делать разные ходы: постоянно принимать лекарства, которые поддерживают его иммунную систему. Здесь это называется difenza (защита). Но это очень тяжело для печени, поэтому периодически ей надо давать отдохнуть от лекарств. Но тогда снижается защита. И вот Мартин с врачом обсуждают, какой ход делать теперь. В итоге решили попробовать попринимать какой-то новый интерферон. Вот такой расклад у него со здоровьем. Но мужик он нормальный. Прошел слух, что он будет лидером в нашем доме, а мудака Вайону отправят в другой дом.

Алексей.

Муравей, как известно, самое трудолюбивое существо. По-испански «муравей» — «hormiga». У нас есть бригада, которая постоянно что-то строит в другом доме Reto. Я все как-то в нее не попадал, а тут мне сказали, что завтра я с ними буду делать hormigon. Это, как оказалось, класть бетон на

крышу дома. Как говорится, *una passada*. Теперь я понял, почему слово «бетон» является производным от слова «муравей» — потому что мы работали как самые натуральные муравьи. Тачка с песком, лопата, ведра с цементом, которые надо было поднимать на высоту 4 м, покатаая крыша и палящее солнце! До меня в этой бригаде работали двое русских, но они в Reto недавно и через пару дней сдохли. Так что мне пришлось поднимать, так сказать, пошатнувшийся престиж России. Уперся я как следует, и отработали мы на славу. Меня довольно трудно теперь удивить какими-нибудь физическими нагрузками, но вот жара причиняет серьезное неудобство. У нас давно уже днем под +40, и говорят, что дальше будет еще круче.

В воскресенье ездили на «кампанию» в Севилью. Приехали в один из городских парков, а там манеж для конных соревнований! Идет какой-то серьезный турнир. Главные призы — два новых джипа «Crysler»! Отличный ресторан, красивые женщины и роскошные лошади (или наоборот). Я встал как вкопанный и смотрел на все это. Очень *simpatico*!

Но мы-то приехали в парк совсем не за этим. Мы приехали свою «кампанию» делать. Расставили на детской площадке пластиковые стулья, собрали фанерную сцену для кукольного театра. Тусующиеся неподалеку мамы со своими чадами расселись и стали ждать, когда начнется представление. Время было около 8 часов вечера. Закончился конный турнир, и народ стал расходиться. Некоторые влюбленные парочки повалились на траву рядом с нашим театром. Стоит жара, на бабах одежды — минимум. Я изо всех сил старался смотреть только кукольное представление, но это выходило с трудом.

В общем, очередной выход в город расстроил меня очень сильно. Ну ладно сидел бы я в тюрьме и не мог бы выйти. А то ведь я, в принципе, свободен. Чего ж я все в центре-то сижу? Чем больше я об этом думаю, тем досаднее.

Мы с Согором уже неделю красим наш дом. Начали изнутри. Он красит стены, я — двери и лестницу. Сегодня закончили второй этаж, теперь предстоит первый, а затем — снаружи. Осваиваю труд маляра. На хрен он мне нужен?

Reto провело мощную кампанию с целью пополнить свои ряды. Каждый день завозили одного-двух новых. Как правило, они уходили на следующий день. Дольше всех продержался один марокканец. Мне удалось с ним поболтать. Он два года сидел в тюрьме за продажу гашиша. Месяц назад он освободился и тут же заторчал. Четыре дня он кумарил в центре, а потом соскочил в Севилью. Народу у нас сейчас мало. Все тэрчи предпочитают *bushear la vida* (ловить удачу) на улице, а не пахать в центре в такую жару за свою реабилитацию.

Заглянул в комнату Антонио Мадрид. У него здоровенная шишка в пол-лба. Это он так сходил в туалет в нашем магазине. Дело в том, что туалет находится в той половине, где девахи из Reto одежду продают. И Антонио, видать, так от близости женщин разнервничался, что открыл дверь себе в лоб. Но ему это простительно: он отторчал лет 20 и СПИД у него уже лет 14. Только улеглись по койкам, вдруг за окном заиграла музыка, барабаны, раздался цокот копыт. Я выглянул в окно: темно, но видно, что едут какие-то повозки, на них бабы в национальной одежде. Одним словом, какая-то фиеста. Я стал пробивать наших. Мол, что за движение на местности? Как всегда, о местных религиозных праздниках они говорят неохотно. Хуанито что-то сболтнул про то, что все бухают и трахаются и это окутано неким религиозным флером. И погнал, погнал. И так разошелся, что запретил мне в окно смотреть. А то, говорит, вдруг я увижу какую-нибудь бабу, и это на ночь глядя! Я его даже слушать не стал. Он обычно молчит, но если заведет свою шарманку, то не скоро остановится.

Алексей.

Начну с самого значительного события. Ездил в Уэльву, в тамошнее Reto. Огромное у них там хозяйство. Все очень ухожено и благоустроено. Но мы из Севильи метнулись за 100 километров не за тем, чтобы все это осматривать. Мы приехали послушать студию, которую давал один из первых пришедших в Reto тэрчей. Вообще личность этого самого первого тэрча в Reto опутана мифами и легендами. Говорят, что основатель-директор Reto трижды поднимал его с улицы, а тот обворовывал его дом и соскакивал опять торчать. Но в конце концов он остался, и вот уже 16 лет, как он в Reto, и сейчас проповедует Евангелие. Нужно сказать, что хорошая, интересная студия — это большая редкость. Я как-то слышал, что слово Божье живет между людьми. И бывает, что слушаешь студию и понимаешь, что это оно и есть, и тебя увлекает. Я сомневаюсь, что этот дядя был первым в Reto, но искусством проповедовать слово Божье он за 16 лет овладел конкретно.

К нам забросили двух новых. Первый — каталонец из Барселоны. У него случаются las atakos. Он падает на пол в судорогах, а мы его держим и засовываем в рот деревянную лопатку с кухни, чтобы он себе язык не откусил. Его «тьень» постоянно ходит с этой деревянной ложкой, которая от частого употребления не совсем по назначению уже изрядно покоцана.

Второй — девятнадцатилетний мутант-болгарин, который не знает ни одного языка, кроме болгарского, и со всеми на нем разговаривает. Его подкумаривает, он нервничает, и за ним нужен глаз да глаз, а то он так и норовит чего-нибудь исполнить. Я, например, просек его попытки помыть ноги в раковине и подобрать бычок во время вечерней прогулки.

Ну и неделька выдалась! Понедельник, вторник, среда были для меня, наверное, самыми тяжелыми за последние полгода: выход на работу на улицу в команде гесадос. Изобилие баб. А плоть, как известно, требует плоти. Очень мне тяжело далось созерцать la carne. Малолетние едва одетые девки так и шныряют мимо нашего грузовика на своих скутерах-мопедах. Во время вечерней прогулки решил обсудить эту проблему с Хуаном. И он мне такой дал совет: «Представь, что они, эти бабы, без кожи, и вся похоть тут же исчезнет». Но мне-то их гораздо легче без одежды представить! А если я начну слушаться советов Хуанито, то однажды выйду из Reto, став маньяком, как Buffalo Bill в фильме «Молчание ягнят».

В команде вместе со мной Моисей-цыган и Мануэль из Севильи. Моисей — респонсаль, Мануэль — новый (всего третью неделю в центре). Ну и я, который теперь называюсь chico de tiempo, то есть еще не респонсаль, но уже ohaval, который начинает принимать решения. Моисей начал нас напрягать: все, мол, делать по команде, ходить всем вместе, вещи по лестнице таскать не по одному. Из Мануэля говно так и прет, он начал критиковать Моисея, причем в его отсутствие. Шкафы, лестницы, бабы, которых я три месяца не видел... И жара, жара. В Севилье я заметил на термометре цифру 45. Мне понадобилось целых три дня, чтобы отрегулировать весь этот бардак. Уже к четвергу дохлый Мануэль начал молча таскать холодильники, Моисей — покупать нам кока-колу и бутерброды.

В воскресенье вместо обычного собрания нас повезли на озеро. Вообще-то уже две недели, как у нас функционирует бассейн. Но открытый большой водоем — это гораздо круче. Долго плутали вдоль берега, ища безлюдное место. В результате вроде нашли его, но только расположились и успели один раз искупаться, как из кустов по соседству вылезли телки в купальниках. Повинуясь четким приказам респонсаледей, 50 человек погрузились на машины и проследовали на другое место.

К полудню солнце стало припекать изо всех сил. В час дня командование приняло решение провести geanion. Под палящим солнцем мы уселись в круг на берегу и вымученно запели alabanza. В это самое время на противоположном берегу высадилась группа молодежи. Попсовая музыка, крики испанских пацанов и визг их подружек. Все это обрушилось на нашу и без того неуверенную alabanza. Но мы все-таки выстояли и допели

ее до конца. Потом два лидера сказали одно и то же: что мы должны быть благодарны Богу за то, что мы находимся здесь и сейчас. Мне почему-то вспомнился тот момент из фильма «Doors», когда Мориссон с друзьями закинулся LSD в пустыне и их отчаянно перло на галлюцинации. Так и у нас, в Севилье, прет, когда запоешь alabanza на берегу пустынного озера при температуре +40. Во всяком случае, мой уже почти год ничем не засранный мозг оценивает все происходящее как нечто особенное. Вроде как мои личные отношения с Богом налаживаются, и респонсабли им не помеха. Они просто люди, со своими заморочками.

Когда мы возвращаемся с работы, я вижу, как на пустыре пасутся ослы. Мне особенно интересно отыскивать глазами одного. Он абсолютно белый и всегда стоит, упершись в столб от рекламного щита. Прямо как я — единственный блондин среди чернявых испанцев. Я тоже в эту жуткую жару уперся лбом в Reto и стою тут.

Наш грузовик, расписанный специальной символикой (переломленный шприц), останавливается на светофоре. За столиком кафе на тротуаре сидит мужик, перед ним стакан пива. Мы встречаемся с ним глазами. Вид у него токсичный. Он смотрит на надпись «Reto» на грузовике. Обводит рукой вокруг и говорит, что жизнь на улице говно и что раньше он тоже был в Reto. Я говорю: давай, мол, возвращайся! Но он безвольно начинает что-то мямлить: мол, потом как-нибудь. Зажигается зеленый свет, и мы едем дальше забирать из очередной квартиры старую мебель.

Кстати про осла. Иисус ведь в Иерусалим въехал именно на этом животном.

Алексей.

26 июня.

«Sur» по-испански значит «юг». Андалусия — это испанский юг, на который меня забросила судьба. Именно здесь, на ихнем «сюре», мне открылось значение слова «сюрреализм». Я не перестаю поражаться тому, что есть вокруг меня. Взять хотя бы клочки. Черный — это Адам, португалец-негр. Германия (по-испански звучит Алемания) — это Луис Майорка, который работал раньше в отелях под начальством немцев. С моей подачи Луиса называют не иначе как Алеманский. Сюрреализм во всем. Русские, говорящие друг с другом на испанском. Испанцы, которые ни с того ни с сего выдают целые предложения по-русски. И еще два болгарина, которых так и зовут Бу Uno и Бу Dos.

На этой неделе меня зарядили работать в растро. Респонсабль — Родриго, а мне в помощники дали Антонио Барселону. Помнится, я полгода назад моторы от стиральных машин разбирал с маниакальным упорством. Я, наверное, был последним, кто этим тут занимался. Теперь все людские резервы в растро брошены на борьбу с мебелью. Она прибывает ежедневно в количестве 1 — 2 грузовиков. И вот мы втроем, а точнее, вдвоем с Антонио (Родриго большую часть времени треплется с народом) предпринимаем всякие телодвижения, чтобы мебель эту по магазину распихать. Дело безнадежное. Поэтому мы не нервничаем, а просто начинаем собирать, допустим, какой-нибудь шкаф с четырьмя дверцами. Этот шедевр столярного искусства уже изрядно побит жизнью. Находя гениальные инженерные решения, с большими трудностями нам удается слепить из кучи дров нечто похожее на платяной шкаф. И вот когда мы уже почти закончили сборку, когда остается прикрутить последнюю дверь, появляется Родриго с марокканцем, нашим постоянным клиентом. Дальнейшее происходит очень быстро. Они начинают азартно торговаться. Сговариваются на 1000 цесет. И еще не остывший от аукциона марокканец начинает кулаком вышибать полки и выдергивать из шкафа ящики. Мы едва успеваем отскочить в сторону, чтоб он заодно и нас не зашиб. И тут Антонио со

своим каталонским акцентом произносит: «Еба-ать!» Не знаю уж, кто его научил, но точно не я!

Вайона притащил откуда-то новую настольную лампу в салон. Напевая *alabanza*, он ее включил. Его ударило током, и обе лампочки сгорели. Теперь до конца вечера он нейтрализован: будет разбирать и собирать лампу.

В растро по полной программе идет «объемный тетрис», о прелестях которого я уже неоднократно и подробно рассказывал. Общаемся с Антонио Барселоной. Вспоминаем прошлое, прикидываем, как у нас дальше сложится. У него брат умер от передозировки. Сестра болеет СПИДом и сидит в тюрьме. Отец и другая сестра торговали раньше наркотой, но сейчас от дел отошли. Антонио в центре третий раз. Если уйдет и встрянет мусорам, то сядет в тюрьму. Ничего особо серьезного на нем нет, но по мелочи лет на 6 набегают. Трудно ему объяснить, что Иисус — реальный и может ему помочь. Но я начинаю с ним об этом говорить. Для меня это совершенно новое. Стараюсь, подбираю слова. Раньше я только слушал. Теперь моя очередь *transmitir le fe* (передавать веру).

Алексей.

17 июля.

В растро творится *una pasada*. Пара-тройка грузовиков с мебелью приехали до обеда. Завалили весь двор этими дровами. Вот так и живем. Разгребаешь, разгребаешь всякое дерьмо целыми днями, а тебе только и скажут: «*Animo, Chaka!*» (Веселей, парень!) И навалят новую кучу. После обеда приехал здоровенный грузовик, чтобы грузить в него *chatarra* (железо). Хорошо еще, что в нем пробросили погрузочную команду из трех человек. Двое из них оказались русскими. Конечно, кого еще могут зарядить на это? Ихний старший, испанец-респонсаль, решил показать, какой он есть *chulo* (крутой). Сказал, загрузим, мол, быстро — до вечера будем отдыхать. Я стал пацанам помогать. И вот, когда уже был близок конец, во двор въехал еще один грузовик, чтобы мы его всяким остальным деревянным мусором затарили. Стоит вскользь упомянуть и о жаре, которая всегда сопутствует нам, чем бы мы ни занимались. В *Reto* подобные этому деньки называют *Bendición* (Благословение).

Есть такой фильм с Траволтой, снятый по книге Рона Хаббарда «Поле битвы земля». Полное говно. А можно было бы снять документальный фильм «Поле битвы растро». И как меня угораздило пройти кастинг!

На воскресном собрании мне довелось сидеть возле входа. Пропели первую *alabanza*, перестали хлопать в ладоши. Только я решил сосредоточиться на молитве, как слышу, в дверь кто-то ломится. Открываю глаза, вижу — заходит *chica* (девица) хоть куда! Очки с розовыми стеклами, белая блузка, высоко завязанная на животе, обтягивающие брюки и босоножки. *Vega sequente!* (Давай следующую!) И точно: за первой входит вторая, а потом еще одна. А кругом все молятся. Один я сижу и думаю: наверно, у меня совсем стало с головой плохо, если уж даже во время молитвы бабы мерещатся.

Прошло полчаса, прежде чем мне удалось успокоиться и перестать себя мучить вопросом, откуда взялись эти три блудные телки на нашем христианском собрании. Объявили наш выход. Русские и болгары должны были подготовить песню. Под аккомпанемент двух испанских гитар нестройный славянский хор затянул, что наша жизнь была пуста, пока в ней не было Христа, и теперь мы все хотим идти по жизни только с Ним. Все это было заснято на видеопленку, которая теперь будет проанализирована старшими респонсальями с целью выявить тех, кто пел не в полный голос.

А телки эти нереальные, которые приперлись к нам во время молитвы, оказались сестрами одного олуха из нашего центра. Он, видимо, забыл предупредить их, чтобы они оделись поскромнее, отправляясь с визитом к брату в христианское заведение.

Очередная, вторая по счету, неделя в Rastro. Уже в понедельник приехал здоровый, битком набитый мебелью грузовик. Выгрузили это все во дворе магазина. Я знаю, что никакие физические законы не устоят против искренней веры. Одному Богу известно, как мне удалось распахать все это по нашему переполненному Rastro. Родриго мне не помогает. Он или готовится выступать на собраниях и читает Библию, или торгуется с цыганами и марокканцами. Антонио Барселона эту неделю снова со мной. Мы с ним окончательно спелись и тянем нашу батрацкую лямку вместе. Я ради прикола называю его *madrilenio*, что для каталонца, пожалуй, самое сильное обзывательство. Попозже я немного изменил его прозвище — на *Мунитес*: это нападающий «Real Madrid». Сейчас я просто зову его Муни. Есть и еще один помощник — Бу Уно. Ну, этот бескровный мямля. Ему бы на полгода в войска МЧС: пройти духанку и стать черпаком. Он бы о наркотиках забыл навсегда. А тут, в *Reto*, его даже пробить не могут, чтобы подрастормозить. Иногда в горячке я отвечаю ему *asune*, но это лишь жалкое подобие тех славных колыбах, которые мне исполняли деды в Восточно-Сибирском региональном центре МЧС. Мы зарядили Бу в *carpintekia* — столярную, — чтобы он там наждачкой шкафы тер. От него больше все равно толку нет никакого.

Народ, заходящий в Rastro, всегда с любопытством таращится на то, как я таскаю шкафы. Заговорить со мной не решаются. А втихаря спрашивают у Родриго, кто я такой и откуда. Все принимают меня за американца. Трепач Родриго разболтал это нашим, и у меня теперь новое прозвище — *Americano*.

Без ложной скромности могу заявить, что в совершенстве овладел испанским. Даже сами местные признают, что я говорю *perfecto*. Приятно, конечно, но что толку. Надоела мне эта Испания, в Россию хочу.

В субботу увидел, что мое имя стоит в списке под надписью «*Caravan*». *Caravan* — это такой дом на колесах. В России их немного, а в Европе на них путешественники-любители так и лазают. У нас тоже есть такой караван. Мобильный офис, разрисованный значками-символами *Reto*. Мы на нем ездим по всяким гиблым местам, чтобы подтягивать тэрчей в наш центр. Сначала мы поехали в городок *San Joan*. Припарковались в каком-то голимом районе. Взяли по пачке листовок. Прогулялись. Но ярко выраженные тэрчи нам не попадались. Вернулись к каравану. Постояли немного. Подошел один наш клиент. Держа в руке потухший косяк, он стал объяснять, что у него проблем с героином нет. Сказал, что принимает метадон в таблетках и колется только кокаином. Спросил, сколько мы ему будем платить, если он поедет с нами в центр. Я дал ему листовку с нашим телефоном и сказал, что мы тут не за деньги.

Дальше мы поехали в район Севильи под названием *Poligono Norte*. Такого я в своей жизни еще не видел! Полигон — это место, где проводятся испытания. Вот только какие! Обычный жилой район. Дома — типа наших хрущоб. Каждый, кто мне попался на пути, держал в руке фольгу, закопченную от частого применения. Здесь все курят героин с фольги прямо на улице. Наш караван хорошо известен в этих местах. Тэрчи подходили, мы раздавали сок, пирожные и листовки. Худые, мрачные и почерневшие то ли от загара, то ли от грязи, одни из них жаловались на жизнь, другие уверяли, что у них все в порядке. Однако к нам в центр ехать не захотел никто.

Особенно меня потряс один. Он сидел в углу между домами. Все время, что мы там были, он вжимался в угол, чтобы выкурить очередную дозу. Прерывался он только, чтобы встать, повернуться, взять деньги и отдать пакетик с героином. В пяти метрах от него стоял здоровенный мужик, увешанный золотом. Он присматривал за тем, чтоб торговля шла без эксцессов. И было совершенно очевидно, что тот тэрч живым из этого дела никогда не выберется. Он так и будет сидеть, курить и продавать героин. А когда он помрет, то бык-барыга посадит на его место другого.

И вот я, Гилермо и Хуан стояли и смотрели на всех этих монстров, которые лазали вокруг нас с рулонами фольги. Такие они все были отчаявшиеся, безнадежно ждущие своей недалекой смерти. Встретили там Мануэля, который пробыл у нас в центре всего два месяца. У него квартира в доме, на углу которого идет все описанное выше движение. Мануэль изо всех сил держится и пока не заторчал. Но вид у него тоскливый. Подошел к нам, стал спрашивать, какие дела в центре. А мы его — нашел ли он работу и чем сейчас занимается. И по нему прямо было заметно, как он приободрился и стал набираться энергии от нас. Но мы-то уедем с караваном, а ему на этом «полигоне» жить, и не верится, что ему удастся устоять, хотя, конечно, очень хотелось бы.

Мануэль рассказал об Энрике, который пробыл у нас полгода, ушел и опять торчит наглухо. Стал опять худющий и все время ходит с какой-то цыганкой. Мы с Энрике все в шахматы играли, а теперь вон чего! Он торчит, а я все в Reto обретаюсь. Такой вот ферзевый гамбит получается.

Утром проснулись — все в тумане. По-испански: niebla. И точно — не видать ни хрена. Днем прошел десятиминутный дождь. Ничего особенного, если не сказать, что дождя у нас не было около трех месяцев и еще столько же не будет. Андалусия!

Пошли в супермаркет купить чего-нибудь для pincho. Заходим, а продавщицы меня начали разглядывать и хихикать между собой. Родриго и Антонио увидели их интерес ко мне и стали меня подкалывать. Эх, думаю, раздеться, что ли, догола, блин! Живу тут как на арене цирка.

Мне выдали майку с надписью «Centro Reto». Ходить в ней — привилегия. Когда уходишь из центра, обязан ее оставить здесь. Так что я теперь chulo — крутой!

Алексей.

30 июля 2001.

В воскресенье все пошли играть в футбол, а меня зарядили ответственным готовить ужин. Теперь я все чаще оказываюсь ответственным за что-нибудь или за кого-нибудь. Раньше был кто-то из респонсаблей сверху, а сейчас — никого. Только я и моя «тень», а то — даже две. Ужин мне выпало готовить с блатным Хосе Севильей и болгаринном Краси. Он пришел в Reto в ботинках, которые сразу же развалились. Размер у него 46, и единственная пара обуви, которую ему удалось найти, — это кеды лилового цвета. Сам Краси — высокий, пластичный и худой. Розовая Пантера — самое очевидное прозвище для него. И как только я начинаю напевать мелодию из одноименного мультфильма, Краси понимает, что я его зову, и идет ко мне. Он абсолютно неразумный ребенок, остановившийся в умственном развитии в тот момент, когда начал употреблять героин. Что болгарин Краси, что Хосе Севилья, что я — кулины известны! Начали жарить, парить, резать салат — и за ужином весь дом ел в три горла. Кто-то даже высказал идею зарядить нас на кухню на пару месяцев. Я от этих слов даже есть перестал. Оказаться респонсаблем на кухне? Нет уж, спасибо. Мне и в рекадос живетя неплохо.

Такова моя жизнь теперь. Получаю очередное задание и какого-нибудь тролля в помощники. Приходится искать в себе силы задание выполнить и сохранить при себе тролля. Делать все это изо дня в день никаких человеческих сил не хватит. Только Бог и помогает. И с ним все это даже легко.

В среду несколько счастливиц из нашего дома поедут в Вальядолид. Сегодня понедельник, и до сих пор неизвестно, кто это будет. Я надеюсь, что мое следующее письмо будет полно восторга от комбиенсиона в Вальядолиде.

Обнимаю всех.

Алексей.

2 сентября.

Ездил я в Вальядолид! Это почти 800 километров от Севильи. Выехали с утра пораньше. Обедали в Reto-Пласенсия. И к вечеру добрались до Вальядолида.

По-испански «комбенсер» — значит «убеждать». Соответственно «комбиенсион» — это «убеждение». Все действие должно было происходить в крытом комплексе, по-испански — Nave. Часть приехавших поселилась там же, в помещениях второго яруса. Мы не попали в их число, и нам выпало ночевать по соседству, на старой фабрике. Огромное пространство, разделенное на две половины. В каждой — около сотни железных кроватей или просто матрасов. Причем мне удалось попасть в ту половину, где не было стекол в окнах, но зато были 3 душевые кабины, 1 умывальник и 2 сортира. Кастилья и Леон — это тебе не Андалусия. У нас в Севилье вечная жара, а в Вальядолиде по ночам весьма прохладно. Я приехал без одеяла и под простыней чуть не околел. Потом еще это движение с душевыми и туалетом, которое заканчивалось около двух часов ночи и возобновлялось около пяти... Народу все-таки около 200 человек.

В общем, первый день комбиенсиона я встретил весьма помятым. Начались студии. Каждая по полтора-два часа. Выступали директора Reto, проповедник из Венесуэлы и прочие люди, которые живут во Христе десятки лет. И так по 6 студий в день. Я загрузил и даже начал злиться. Вот, думаю, попал! Но в какой-то момент все это количество проповедей, молитв и alabanzas вдруг перешло в качество. И под конец дня мне стало так прикольно! Полторы тысячи людей, объединенных одной идеей! Удивительные люди, которые проповедают и молятся вместе с тобой. К концу второго и на третий день я уже пошел по рядам.

Впереди всегда сидят директора, и в конце дня можно подходить к ним, делиться своими переживаниями, спрашивать совета и вместе молиться. Я подошел к Хуану Рубио. Этот испанец живет в России уже 9 лет и поднимает там Reto. Я сказал, что, мол, год уже тут и бывает очень трудно. Что хочется искать Бога, но сказать всему мирскому «нет» не могу. Такая вот борьба. Обнялись мы с ним и, молясь, попросили Бога дать сил и помощи мне.

Я — в Вальядолиде, рядом — испанец, который уже 15 лет в Reto и болен СПИДом. И он молит и просит Бога за меня! Мы с ним даже не знакомы были раньше, а он тут так искренне, от всего сердца это делает. Когда я открыл глаза и пошел через весь зал на свое место, то почувствовал словно какой-то кайф в голове. Мне даже шагалось как-то враскачку. Вот она, наверное, какая — христианская походка. Вечером следующего дня я пошел к директору Reto-Севилья, Маноло. Тоже молились с ним вместе. Маноло молился по-испански, я — по-русски. И потом опять я себя чувствовал каким-то шальным, но при этом чистым. Такой вот психоделический опыт.

Пишу все это как-то нестройно. Но, согласись, трудно бесстрастно изложить на бумаге то, что мне довелось пережить. Да, уже прошла пара дней, но память о Вальядолиде, я думаю, останется надолго. Удивительно, что все это я переживал на абсолютном чистяке! Год уж, как ничего не употребляю. Может, меня поэтому теперь так и прет? Даже не припомню, когда у меня такое в жизни было, чтобы я так долго не торчал и чувствовал себя так отлично.

Теперь вкратце о студиях, которые мне удалось услышать в Вальядолиде. Вот Хуан Рубио, например, так и сказал: Reto — это мусорная яма. Если люди хотят от чего-то избавиться, то они звонят в Reto. Мы забираем все: просроченную еду, старую одежду, мебель, железо и наркоманов с улицы. И вот во всем этом бесполезном на первый взгляд мусоре удается найти веру в Бога. Удастся, правда, не всем. А Бог — ведь он простой. И если ты хочешь, он будет с тобой. А если не хочешь, то ладно — делай, как знаешь, сам. А сам-то я что знаю? Попробовав однажды героин, я вообще больше ни на чем не заморочивался.

И вот я смотрел, слушал Хуана, других директоров Reto: ведь они все пришли туда такими же, как я. И вон они теперь какие! Им все по силам. Их не смог убить наркотик, большинство инфицировано СПИДом, а живут с ним по 15 лет. Это ли не чудо? Они подняли Reto, в которых сейчас около 8 тысяч человек в 11 странах. Они идут с Христом по жизни. Если ты христианин, то это не значит, что ты всегда счастлив и всем доволен: бывает и плохое время тоже. Но есть с кем это время пережить.

Виделся я с пацанами из Бильбао. Из 16 русских, с кем я там был, осталось всего двое: Павел, с которым мы вместе прилетели в Испанию, и еще один. У Павла целая история! Он на полгода раньше, как я уже писал, отправил из Москвы в Reto жену. Увидел он ее здесь первый раз только через год, в Вальядолиде. И она ему сказала, что не хочет в этой жизни ничего, только быть с Богом — и все. И даже письма мне не пиши, говорит. А они официально не женаты, просто жили вместе. Обычно супруги в Reto сходятся через полтора-два года. Но если ты хочешь жениться официально — то должен выстрадать это лет за 5 — 8! Павел впал в отчаяние от такой перспективы.

Я его пытался успокоить. Говорю, завидую, мол, тебе. Годы пройдут, ты станешь настоящим христианином, от сердца. А потом еще и свадьбу сыграешь со своей женщиной, тоже христианкой. Что может быть лучше! Но на самом-то деле тяжело ему будет. Буду его поддерживать письмами.

А все остальные русские из Бильбао уехали со скандалом. Настреляли чаевых за работу, ушли на улицу пьянствовать и колоться, а через несколько дней вернулись и потребовали билеты на самолет в Москву. Цель отъезда хорошо известна.

Хотел уж было отправить письмо, но потом решил посягнуть еще на одну страницу. Иеремия, 18: 3 — 4. Гончар и глина. «И я пошел в дом гончара и увидел, что он работал на кружале. Он делал из глины горшок, который вдруг развалился у него в руках, и тогда гончар снова взял эту глину и сделал из нее другой горшок. Руками он придавал горшку ту форму, которую хотел».

Иногда хочется кричать из-за того, что моя прежняя жизнь полностью сломалась. Все мои понятия, привычки и планы разбиваются вдребезги. Это больно. Но важно то, что это происходит у меня сознательно, подконтрольно, как бы в моих собственных руках. Я вижу тех, кто ломает свою жизнь окончательно, уходя из Reto на улицу еще сырым. Я сам пока остаюсь и продолжаю себя лепить заново. Благо гончарный круг не останавливается.

Я теперь сплю на нижней койке. Это дает мне право иметь свою лампу, при свете которой могу допоздна писать тебе. Так что есть некоторая гарантия, что будешь продолжать получать от меня письма.

В воскресенье никто из вас не позвонил мне по телефону. Ну, это, в общем-то, и понятно. Мое присутствие в Москве было связано с большими неприятностями. А сейчас меня нет — и все спокойно. Я далеко и в надежном месте. И вряд ли найдется кто-то из семьи, недовольный нынешним положением вещей. Даже я смирился.

Наверное, момент сейчас для вас тревожный. Мое письмо, где я объявил, что остаюсь в Испании еще, до вас пока не дошло. И вы все в ужасе оттого, что через месяц я появлюсь в Москве. А могли бы устроить фиесту уже сейчас, узнав о моем невозвращении. Зимовать точно буду здесь, а там видно будет.

Ну все, выдохся. Буду прощаться. Привет всем.

Алексей.

13 сентября 2001.



ЯН ШАНЛИ



ПОД НОГОЙ У ЦАПЛИ



Я не скрою что быть поэтом
Дело нужное и приятно
Разговаривать с целым светом
И туда ходить и обратно
А забыв что не крылья вовсе
В мир протягиваю а руки
Ненароком на ветер бросить
Вы родители мне и внуки
Разве что на мои запястья
Понадели такие цепи
Чтобы я приносил вам счастье
В города большие и степи
И дышалось вам чтоб и пелось
И хватало не только хлеба
А еще на копейку смелость
Примерять свою душу к небу



Моря я хочу не настоящего
А вон то которое у пристани
Плещется для мальчика лежащего
С говорящим музыку транзистором
У него на лето есть задание
Прочитать Тургенева и Пушкина
Ведь совсем его образование
Вместе с садом яблочным запущено
То что просто дереву то мальчику
Может оказаться непростительно
Но из указательного пальчика
Просочился свет почти растительный
И в кармане носит руку правую
Разве что раскроет над тетрадкой
Но по школе никогда с оравой
Не бежит ни с мелом и ни с тряпкою
И уже светиться стала левая
И мальчишка прямо к миру тянется
На уроках ничего не делая

Не влюбляясь в первую красавицу
 Сам себя он ощущает книгою
 Без обложки с чистыми страницами
 И Любовь в нем теплится великою
 И парит над миром голубицею

* *
 *

Я хочу чтоб меня любили
 И лелеяли прямо в душах
 По окружности в тыщи мили
 На любых островах и сушах
 И живущие кто на Висле
 И сородичи Ниагары
 Обо мне не скрывали мысли
 Не возьмишь вдруг откуда даром
 Восклицали бы каждым утром
 Наваждение мол какое —
 Просочился он в наши сутры
 Стал столешницей в аналое
 А умрет он — вот будет горе
 И покажется даже мало
 Целым миром наплакать море
 В чашу высохшего Арала

* *
 *

Не дай мне Господи однажды
 Проснуться с шилом в голове
 Или томящимся от жажды
 Иметь не Родину а две
 И переломится пусть лира
 Но главное чтоб никогда
 Не стал я гражданином мира
 С виолончелью для труда
 Меня не речью по бумажке
 Я попрошу Тебя — отдай
 Качать любой своей ромашке
 Из края в самый дальний край
 Пусть буду вроде опахала
 И чтобы на мои ветра
 Россия пела и пахала
 И проводила вечера

* *
 *

Как люблю я в зеркало смотреть
 Эти пальцы подносить к губам
 Человек я только ведь на треть
 Три четвертых кто не знаю сам
 По душе мне бабочка и снег

Три горящих в полночи окна
 И я рад что вспять сибирских рек
 Не узнала вся моя страна
 Но еще мне нравится прильнуть
 К воздуху и вот таким собой
 Говорить все про какой-то путь
 Что творится мною и со мной
 Для него я почва и зерно
 И вода в кувшине для муки
 И все это равно и равно
 Для хлебов из-под Его руки

* *
 *

Нет закона и выше правил
 Чем река огород и рыба
 Господи Ты меня оставил
 Утвердиться на ком могли бы
 Да слаба во мне что-то сметка
 Да и мощи-то всей — три капли
 Страшно мне если треснет ветка
 Вечером под ногой у цапли
 Господи почему слабее
 Меня ангелы да и то лишь
 Потому что у них на шее
 Жилку света ничем не скроешь
 Слышал я что одна фиалка
 Соразмерна со мной по силе —
 Ей сорвать себя дать не жалко
 Лишь бы только меня любили

* *
 *

Даже если б не было России
 Все равно бы грешники на свете
 Господа всем миром упросили
 Сотворить ее им на планете
 И над ней архангелов поставить
 Присмотреть за каждой церковью
 Чтобы возвышалась не на память
 А всегда стояла за душою
 Всех к ней обратившихся по вере
 Не гнала и сердцем привечала
 И не перед ними свои двери
 А за их спиною затворяла
 Где бы они прямо в мои руки
 Попадали и просили снова
 Взять их горемычных на поруки
 И замолвить перед Отче слово
 И случилось и покорным сыном
 Я стою перед Его очами
 А вокруг бескрайняя Россия
 Замерла намоленная вами

* *
*

Я к вам без всякого зазнайства
Не делая тем одолженья
Приду сквозь время и пространство
Сквозь всякой совести зазренья
Вы постарайтесь лишь в учебник
Впихнуть мое стихотворенье
И станет в тот же час лечебный
Всех проз и рифм переплетенье
Останется вам удивляться
Мол отчего любовь к России
То в негре бьется то в китайце
То попросту в собачьем сыне
Тут нет особого рецепта
И без излишнего усилия
К ней дергается мой рецептор
И руки тянутся и крылья
Ведь вас здесь тыщи огромны
Но не найти такого гада
В ком было б небо откровенно
Кто сам один из миллиарда
У вас же с небом по привычке
Одна и общая малина
Вам что прикуривать от спички
А что от молний — все едино

* *
*

Кучевые в небе облака
А под ними носятся стрижи
Если б не мои окорока
Как бы полетал я от души
Я летал бы не по сторонам
Поднимался просто вверх и вверх
Наконец-то дать моим глазам
Посмотреть на Родину за всех
И всего скорее бы не пил
Ничего конечно же не ел
Главное чтоб не хватило сил
Пересечь невидимый предел
А остановиться на черте
Той что позволяет не на страх
Даже самой пламенной мечте
В пух одеться и разбиться в прах

* *
*

Я акриды не ел но мед
Прямо пил — по усам текло
И теперь меня не берет
Никакое на свете зло

Даже кариес на зубах
 В мочеточниках валуны
 Порассыпались просто в прах
 Прямо в мелкий песок страны
 Кроме прочего у меня
 Лесть пропала и зависть с ней
 Удивляется вся родня —
 Не кидаюсь я на людей —
 Появился в моей крови
 То ли вирус а может ген
 Беззаветной такой любви
 Что семи — десяти колен

* *
 *

Ах Ты Господи Боже мой
 Хорошо что меня без крыл
 Подержал Ты над всей землей
 И в ее снега опустил
 Сколько тысяч прошло уже
 И людей и с людьми времен
 Теплотой Твоих рук в душе
 Нескончаемо напоен
 Не творю я других чудес
 Как на дно прямо моих глаз
 Я озера кладу и лес
 А вчера положил Кавказ
 В нем ведь кроме свирепых рек
 И бездонных Твоих небес
 На войну наступил человек
 И его с ней попутал бес
 Вот негромко как Ты велел
 Между ними ни вкривь ни вкось
 Я поставить пришел предел
 И живую воздвигнуть ось
 Чтобы прямо из этих рук
 Проливалась и лилась
 На все тысячи верст вокруг
 Твоя воля и Твоя власть



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АЛЕНА АНДРЕЕВА



КОЛУМБИЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Есть страны, где люди привычно находятся в атмосфере постоянных угроз не только свободе и здоровью, но и самой жизни. Каждая из них — малая планета тотального риска, где чрезвычайные ситуации уже воспринимаются как ординарные, обыденные, само собой разумеющиеся. И это — не только «государства-изгои», но и вполне благополучные в экономическом и культурном отношении страны. Одной из них является Колумбия, где зоны цивилизованности и всеохватного терроризма территориально разделяются примерно поровну уже почти полвека. И конца этому беспределу пока не видно, хотя борьба вокруг наркокриминала практически не затихает.

Своего рода художественно-публицистическим репортажем из, пожалуй, старейшей «горячей точки» нашей планеты является предлагаемое эссе. Главное в нем — передача из первых рук личных впечатлений о психологической атмосфере, окутавшей людей, волею судеб и обстоятельств втянутых в «чужие игры» наркобаронов и борющихся с ними правительств. Многие из колумбийских сюжетов, связанных с местной наркомафией и незаконными вооруженными формированиями, созвучно проблемам, стоящим сегодня перед российскими органами власти и правопорядка.

Обычным людям остается здесь надеяться на удачу, личную находчивость и... инструкцию поведения, в случае захвата террористами с целью получения выкупа или предъявления ультиматума властям. Впрочем, и в этой горькой ситуации жителей страны не покидают чувство юмора и надежда. Они часто повторяют местную поговорку: «Колумбия была бы великолепной страной, если бы только тут не было нас, колумбийцев».

Действительно, климат в стране превосходный: земля дарит урожай за урожаем, причем растет все, что угодно, любые фрукты и овощи. Даже макадамские орешки, которые теоретически нигде, кроме Австралии, не выживают. Два побережья — Тихого океана и Атлантического — с великолепными пляжами. Санта-Марта, Барранкилья, Картахена — три жемчужины побережья. Есть еще полуостров Гуахира с индейцами гуайуу и нетронутой природой. Там красоты, горбатые киты и розовые фламинго. Хочешь посмотреть сельву — прямой тебе путь в Амазонас. А захотелось снега — нет проблем, поднимайся в горы, Сьерра-Невада-де-Санта-Марта ждет тебя круглый год. Желаеть другого рода развлечения — можно слетать в Сан-Агустин, посмотреть на каменные скульптуры древней индейской культуры. Кали — город, где самые лучшие в Колумбии танцоры сальсы, латиноамериканского ритма. Медельин — город цветов и вечной весны, самый чистый и организованный город Колумбии, столица штата Антиохия. Могу продолжать и дальше. За семь лет, прожитых в этой стране, которую я люблю от всей души, удалось немало увидеть.

Еще есть, с нашей точки зрения, невероятные различия климата и температуры из-за высоты. Сколько моим друзьям в России ни рассказывала, никто

не верит. Например, в Боготе (столице) климат не меняется: что декабрь, что август, что апрель — все одно и то же. И каждый божий день во второй его половине идет дождь. Как одеваться, непонятно, поздно вечером и рано утром — холод собачий, температура может опуститься до плюс восьми. А днем — с полудня до двух примерно — солнечно и жарко, градусов 25, а то и выше. Я всегда шучу, что здесь три времени года на каждый день: утром — весна, днем — лето, вечером — осень, только зимы не хватает. Вот и видишь в шесть утра забавные, с нашей точки зрения, картинки: на автобусной остановке девушка в мини-юбке, пиджачке и босоножках, при этом на шее шарф, а на руках перчатки. Но стоит отъехать на машине километров на 80 — жара под 40 градусов. Так что народ в конце недели раз — и «на дачу», в загородный дом с бассейном и джакузи.

Казалось бы, страна — рай для туристов, и не только для них, но и для местных жителей. Но... в большинстве стран мира она внесена в списки не рекомендованных для посещения, а сами колумбийцы уезжают в Штаты или в Европу, если, конечно, средства позволяют, а позволяют они это совсем немногим.

А что у вас ассоциируется со словом Колумбия? Христофор Колумб? Смуглые длинноволосые девушки в бикини, растворимый кофе в стеклянной баночке «*Cup Colombie*», полуголый индеец с луком и стрелами? Если вы знаете больше, то наверняка вспомните экспортируемые во многие страны экзотические цветы и самые лучшие в мире изумруды. Но это все потом, я уверена, что первое зажигающееся красноватым огнем в мозгу слово — *наркодельцы*. И, может быть, еще одно — *партизаны*. А если пойти дальше, то логическое развитие идеи приведет нас к словам *терроризм*, *бомбы*, *гражданская война*, *киднеппинг* (похищения людей за выкуп) и *политические убийства*. Предлагаю свое определение для энциклопедического словаря. Колумбия — небольшая страна на севере Южной Америки с населением в 38 примерно миллионов человек, прекрасным климатом, добрыми гостеприимными людьми, уже более тридцати лет живущими, вернее, выживающими в состоянии непрекращающегося вооруженного конфликта.

Что ж, теперь пойдём по порядку. Что это еще за наркодельцы такие? Ну, это же совсем просто: наркодельцы — это люди, наживающие деньги на пагубной страсти определенной части человечества к проклятому зелью. И так уж случилось, что огромная часть этих одержимых пагубной страстью живет в США, куда и уходит львиная доля «товара», не предназначенного для местного рынка. Естественно, деньги крутятся немалые, и не только крутятся, но и уплывают из-под носа у штатовцев, потому они уже много лет с помощью экономических мер давления «помогают» правительству Колумбии, читай: заставляют его вести нескончаемую борьбу против посадок проклятого зелья по всей территории страны. И даже дают для этого средства — много зеленых бумажек и вооружение. Им-то самим по сельве со змеями и прочей мерзостью за партизанами не гоняться, месяцами в гамаках без крыши над головой не спать, сухим и, кстати, обычно холодным пайком при ежедневных многочасовых «прогулках» не питаться.

А наркодельцам очень уж не нравится, когда ни с того ни с сего их посевы коки вдруг кто-то там опрыскивает отравой с самолета, а их фабрики по переработке «сырья» в «товар» сжигают без промедления. Вот они и платят партизанам за охрану территории, которую считают своей собственностью, от продажного, по их уверениям, правительства, лижущего задницу дяде Сэму. Сердцевина этой войны, как, по моему мнению, и любой войны в настоящий момент, — презренный металл. И окончания ей не предвидится. Они бы, то есть правительство вкупе с американской помощью, может, хоть частично в этом преуспели, да вот незадача: гуляют по этой милой и приятной во всех отношениях стране злые и неприятные во всех отношениях партизаны. Причем этих партизан немерено, и они даже контролируют около 40 процентов национальной территории. При этом есть две основных партизанских группиров-

ки — так называемые элены (ЭЛН — сокращение от «Армия Национального Освобождения») и ФАРК — аббревиатура словосочетания «Революционные Вооруженные Силы Колумбии». А кроме них есть еще и третья вооруженная команда — это АУК, или «Парамилитарес», созданная в противовес *геррильес*. Кстати, если обратиться к этимологии слова, благодаря своему суффиксу «геррилья» — это «маленькая война», в отличие от просто войны — «герра».

Теперь совсем короткий экскурс в историю, чтобы было понятнее, кто против кого воюет. А главное — зачем. И при чем здесь США. Партизанское движение в Колумбии началось с убийства Хорхе Эльсера Гайтана в 1948 году. Был такой образованный и очень популярный политик, пользовавшийся любовью народа и почти что ставший президентом от партии либералов. (В Колумбии всего две партии, о которых стоит говорить, — консерваторы и либералы.)

Так вот, Гайтан пытался пробить много позитивных и необходимых реформ, разоблачал, по утверждению Большой Советской Энциклопедии, «империалистическую политику США» и, несомненно, стал бы новым президентом Колумбии. Если бы не был застрелен прямо на улице, в лучших традициях политических убийств. После этого убийства народные массы возмутились, и пошло-поехало. Подозрение в убийстве, кстати, почему-то пало на коммунистических агентов, и дипломатические отношения с СССР были прерваны на долгие двадцать лет. Однако доказать ничего не удалось. Вот и получается, что партизаны колумбийские — это, можно сказать, последний отголосок «холодной войны». Две основные группировки, то есть ЭЛН и ФАРК, были созданы в начале 60-х. Обе хотят социальных изменений в стране, обе вооружены до зубов и готовы воевать до последнего, обе финансируются с помощью захвата заложников и похищения людей, которых таскают по горам в ожидании выкупа или обменивают на своих. На этом сходство заканчивается.

ЭЛН создали католические священники — вдохновленные «теологией освобождения» после Второго Ватиканского Собора несколько испанцев, среди них Мануэль Перес, Доминго Лаин и известный колумбийский священник-партизан Камило Торрес Рестрепо. Они продолжают традицию Кубинской революции, опираются на интеллектуальные круги. ЭЛН протестует против эксплуатации и экспорта природных ресурсов Колумбии, в том числе нефти. И поэтому время от времени взрывает нефтепроводы, обстреливает нефтяные вышки, захватывает в плен иностранных инженеров, дабы напугать империалистических акул, разворовывающих многострадальную родину. При этом не важно, кто похищенный, то бишь акула он империализма или нет, главное, чтобы за него могли дорого заплатить. Официально это отрицается, но, по слухам, почти все иностранные компании ежемесячно «отстегивают» партизанам, чтобы их служащих оставили в покое. И это похоже на правду.

ЭЛН не стремится захватить власть в стране, она хочет устранить социальную несправедливость, требует более справедливого и менее коррумпированного правительства, она против, или по крайней мере заявляет, что против, торговли наркотиками и, садясь за стол переговоров, выказывает большую готовность к диалогу и меньшие требования, чем ФАРК.

ЭЛН долгие годы получала интеллектуальную, финансовую и прочую поддержку с острова Свободы, тогда как ФАРК в годы «холодной войны» холил и лелеял Советский Союз. Так что у них — советская традиция вместо кубинской. Можем сказать себе за это спасибо.

ФАРК — наиболее многочисленная партизанская группировка, которая держит в своих руках больше трети национальной территории. Создали ее не высокообразованные клирики, а крестьяне, притесняемые правительством. В конце 70-х годов, с расцветом наркобизнеса, ФАРК нашли способ увеличить свое финансирование и лучше вооружаться. Они кричат о справедливости, но на самом деле домогаются власти и мечтают сформировать собственное правительство. Около 30 тысяч вооруженных партизан, среди которых есть женщины и подростки, могут попасться вам на глаза (хоть я вам этого не пожелаю)

почти в любой части страны, кроме, может быть, провинции Амазонас и острова Сан-Андрес. Они контролируют примерно 600 областных центров из 1088 имеющихся в наличии. Недавно они получили из Иордании через Перу новую партию автоматов Калашникова — их излюбленного оружия. Еще один аналогичный груз, из Панамы, задержали таможенники.

(Когда-то, работая на буровой установке в колумбийской глубинке — а проработала я там около пяти лет, — я по глупости в присутствии полицейских, которые нас охраняли, упомянула о том, что могу с закрытыми глазами собрать или разобрать автомат Калашникова «на время», так как все мы проходили в советской школе начальную военную подготовку (НВП). Они на меня странно посмотрели и, не забывая о моем русском происхождении, решили еще раз проверить мое прошлое — наверняка подумали, что я как минимум засланная к ним партизанка.)

Превосходно организованные, информированные и вооруженные ФАРК чувствуют себя настоящими хозяевами страны и делают все, что пожелают. Они бросают бомбы, похищают, проводят социальную чистку, экспроприируют имущество, и во многих районах страны они — реальная власть. Они даже вводят собственные законы. Например, так называемый «налог на мир», который, согласно Закону 002 от ФАРК, взимается, а точнее, изымается у частных лиц или компаний с капиталом более одного миллиона долларов США. Для кого? В пользу бедных, разумеется.

Колумбия — последний оплот партизан в Латинской Америке с тех пор, как Фухимори, экс-президент Перу, покончил с «Сэндеро Люминосо». Можно сказать — пережиток социализма. Кое-кто из этих ребят, занимающих сейчас командные посты, учился на Кубе и в СССР. Кроме ЭЛН и ФАРК есть уже упоминавшиеся выше «Парамилитарес» (ПАРАС), это, так сказать, народные дружины, создаваемые на местах против партизан. Вроде бы хорошее дело: раз армия и полиция не может нас защитить, мы станем защищать себя сами. Но на деле они, вооружившись, так же, как боевики, уходят в горы.

И вот представьте себе: вы крестьянин и есть у вас, ну, скажем, коровы. В один прекрасный день приходят партизаны, коровами, говорят, делись. Не поделишься — убьют или выживут из дома, семью захватят в заложники. Отдаешь им коров. Потом приходят ПАРАС и говорят: «Ты тут коров партизанам давал? Ты их проклятый пособник, а всех пособников партизан — к стенке!» А если эта беда минует, появляется армия и спрашивает: «А не видел ли тут недавно партизан или ПАРАС?» Попробуй скажи, что видел, — и тебе конец. А скажешь — не видел, опять получается: «пособник». Так и бывает, что семья не угодившего чем-то партизанам человека под угрозой смерти внезапно срывается с места, бросает все нажитое и переезжает в более спокойный район страны. Только работу потом найти нелегко и денег взять неоткуда. И мотается по Бооте несчетное число бездомных, нищих, воров, бандитов всяких, у которых еще совсем недавно были дом, семья, дети, ходившие в школу, и даже какой-то заработок.

А уж про армию и полицию и говорить нечего, они между трех огней. К тому же они связаны жесткими и подчас несправедливыми законами. Партизаны кого-то из них замучат и убьют — ну, на то они и партизаны. А если солдат, не дай Бог, застрелит какого-то несовершеннолетнего с автоматом наперевес, так сразу крик поднимается на всю страну о правах человека и т. п. Получается, что все шишки на них падают: дескать, не можете справиться с партизанами — какие же вы военные после этого. А справиться с партизанами нелегко: местность они обычно знают лучше, патронов у них больше, везде информаторы среди запуганного населения. И необстрелянный восемнадцатилетний парнишка, которому выпало в полиции служить, легко попадает под пущенную меткой рукой пулю. Леса такие густые, что и не разглядишь, откуда эта пуля прилетела. Вот и ходи после этого по горам, ищи партизан, пока они не найдут их ищущих и не пристрелят. Специальные подразделения по борьбе с партизанами, конечно, лучше подготовлены, хотя все равно трудно

бороться против невидимого врага — кто его знает, кто партизан, а кто нет. А тот, кто знает, — молчит. Так что партизаны гордо ходят по стране, отмечают свои праздники, подкладывая бомбы на дорогах, останавливают автобусы, организуют засады, обстреливают нефтяные вышки, взрывают офисы, стреляют по приземляющимся вертолетам. Зачем? Деньги вымогают, запугивают, а то и просто приходят бросить пару гранат и пострелять, чтоб не забывали, что они здесь и многое могут.

Надо сказать, что я подружилась-таки, несмотря на «калашников», с нашими защитниками — армией и полицией, они меня даже брали с собой на стрельбища и патрулирования, конечно же, только в безопасные места и моменты. Хорошие ребята, настоящие друзья! И они многое расспрашивали и рассказывали. Для них русские — это плохо (смотри выше о ФАРК). Они искренне считают слово «коммунист» ругательным, почти что матерным, так же как и слово «атеист».

По собственному опыту знаю, что чувствуешь, находясь под обстрелом. Совсем не так приятно, как смотреть на это в кино. Темнота, лежишь, забывшись под трейлер, над головой свистят пули, туда-сюда бегают темные фигуры с автоматами, оглушающе визжит сирена, уже непонятно: то ли это пробегают партизаны, то ли защищающие тебя от них полицейские. Хочется еще больше вжаться в землю и, как только атака закончится, бежать куда глаза глядят из этой идиотской страны, где все разборки только с помощью оружия.

Но есть тут один забавный момент. К обстрелам быстро привыкаешь. Через некоторое время учишься определять по звуку, из какого оружия палят и настолько ли близко, чтобы бежать в укрытие. Уже становится лень гасить свет и выходить из офиса, когда стреляют не очень много и поодаль. Потом начинаешь ловить себя на мысли: что-то о нас забыли, если долго не нападают. И происходят такие вещи: наши играли вечером после работы в футбол возле ограждения, и вдруг начался обстрел. Все, конечно, наученные еженедельными тренировками, знают, что паниковать и срываться с места нельзя, поэтому сразу на землю. Вроде перестрелка кончилась, гильзы везде валяются, лежим дальше, ждем нового сигнала сирены, коротких, а не длинных, как вначале атаки, гудков. Звенит сирена, отбой, атака кончилась. Идем перероачивать карточки с именами на большом стенде возле столовой, чтобы можно было определить, не ранен ли кто-то или, не дай Бог, убит. Маленькое собрание. Все на месте, раненых и убитых нет. Все возвращаемся по местам, и матч продолжается. Через полчаса новая атака, и незадачливые игроки опять бросаются на землю, прямо на импровизированной спортплощадке.

Среди работающих с нами колумбийцев есть жители окрестных деревень. Они наверняка и об атаках знают заранее. Не зря же кому-то с легкостью удалось среди бела дня прорезать дыру в металлической сетке ограждения (и еще вопрос, снаружи резали или изнутри, из лагеря, чтобы сбить со следа?) и подложить под два соседних офиса две чудесные, той же ночью взорвавшиеся бомбы. Многие из местных думают, что партизаны на их стороне, что атакуют лагерь для защиты их интересов от наглых и самодовольных грингос. Как же приятно местному крестьянину с тремя классами образования, у которого и так не слишком много радостей в жизни и которого на его собственной земле криками погоняет зажавшийся инженер-гринго, видеть этого последнего испуганно забывшимся под стол в собственном офисе или пытающимся втиснуть пивной животик под трейлер!

Добавлю, что средств передвижения, позволяющих добраться до лагеря от ближайшего крупного города, всего два: автомобиль и вертолет. Автомобилем трясешься по опасной узкой горной дороге больше часа, а то и двух, рискуя быть остановленным и даже захваченным. А вертолет, который летает строго по расписанию, только в дневное время суток и при отсутствии дождя, могут в любой момент, особенно при посадке или взлете, обстрелять с земли. Отменный, надо сказать, выбор. Когда кто-то из наших полицейских или солдат уходит в увольнение, их всегда, переодев предварительно в штатское, пере-

правляют на вертолете, что считается все же менее опасным. Переодевают, чтобы, добравшись из лагеря до местного аэропорта, они в ожидании своего рейса не были узнаны и не подверглись нападению. Если солдат неожиданно серьезно заболел и нуждается в срочной эвакуации в местную больницу, например, ночью, когда нет вертолетов, на него надевают комбинезон со знаком какой-либо из работающих на вышке компаний. Если ему не повезет и на дороге его остановят, то, приняв за простого рабочего, за которого не ожидается большой выкуп, его скорее всего отпустят. Если же партизаны узнают, кто он в действительности, ему грозит смерть.

Что чувствуешь, когда тебя обстреливают с земли, а ты в вертолете, я даже не хочу описывать. Полное бессилие и ярость. Или когда видишь фотографию человека, которого лично знал, дружил и шутил с ним совсем недавно, под некрологом в газете. Или когда выходишь из лагеря, чтобы побегать вокруг него, спортом, так сказать, позаниматься, причем везде дежурят вооруженные полицейские и считается, что это относительно безопасно, а партизаны тебя похищают прямо в майке и шортах. Говорят, правда, в тот раз бегун слишком отделился от лагеря, нарушив инструкцию. А потом, после нескольких месяцев переговоров о выкупе, выбрасывают труп перед входом в лагерь.

Когда у тебя за спиной взлетают в воздух два трейлера с офисами компании, откуда ты только что вышел, это тоже невесело. Но колумбийцы только улыбаются, мы, мол, привыкшие. Ничего с тобой не случится, если не начнешь паниковать и сам лезть под пулю. В общем, они правы: за пять лет ничего со мной не случилось.

Бывали у нас и юмористические эпизоды, связанные с атаками. Вышку обслуживает много народа. Кроме колумбийцев есть англичане, американцы, французы, канадцы и прочие. Они обычно атаки переносят плохо, как нечто невероятное, кроме, конечно, тех американцев, что воевали во Вьетнаме. Так вот, был у нас один такой весьма упитанный инженер, не помню, из какой страны, но не из Колумбии, это факт. Как-то раз после атаки его недосчитались, личная карточка осталась не перевернутой. Все перепугались страшно, пошли искать. А оказалось, он во время атаки точно по инструкции укрылся под своим трейлером, не знаю уж как, и втиснулся в слишком узкую для него щель. А вылезти не смог. Застрял, бедняга. Долго вытаскивали его консервативными способами. Потом сдались, приподняли трейлер котлом экскаватора.

Мы всегда работали на месторождении вахтовым методом: две недели на буровой в Касанаре — так местность называется, а две следующие отдыхали в Боготе. Однажды возвращаюсь, как раз декабрь был, перед Рождеством. У всех отпуска, в школах каникулы. Люди гуляют по улицам, покупают подарки. Зажигают бенгальские огни, взрывают петарды и прочие хлопушки. Слышу знакомый звук, автоматически бросаюсь на землю. Забравшие в гости друзья смотрят с удивлением. Стыдливо поднимаюсь, соображая, что и упала не на землю, а на ковер, и нахожусь не в лагере, а в собственной квартире. Просто на улице кто-то отмечает Рождество, через открытое окно слышно. Условный рефлекс, как у собаки Павлова.

Кстати об ужасе легкого и быстрого привыкания; для двух поколений колумбийцев такая ситуация уже стала нормой жизни. На моих глазах поздно вечером один из рабочих, из числа местного населения, звонит домой. В офисе шумно, и он вынужден кричать, чтобы его хоть как-то услышали. Происходит примерно следующий разговор с кем-то из его детей: «Когда опять стреляли? Вчера?» — «Почему одни, где мать-то была? У свекрови? А потом вернулась? Ага». — «А вы спрятались в туалете, как я вас учил? Молодец, и братишку с собой взяла? И матрасом задвинули дверь? Все правильно». — «Убили кого? Соседа ранили? Да... Хреново». — «А как в школе дела? По какому предмету? Умница. Учись хорошо». — «Ну, вы там осторожно, и Бог вас храни. Мать твою дай теперь».

Я очень люблю Колумбию, она стала моим вторым домом; всегда чувствуешь эту боль за ее судьбу. Колумбийцы — веселые, гостеприимные люди, они

хотят жить лучше, но, по-моему, уже и сами не верят, что это возможно. У меня есть несколько сильных впечатлений, врезавшихся в память. И одно из них такое: в любой семье, с которой я сталкивалась, есть как минимум один, а то и больше, погибший — или вследствие конфликта с партизанами, или просто от рук преступников, которыми кишат крупные города (смотри выше — о тех, кто все потерял, а жить-то надо). Тебе обязательно покажут молодое лицо на фотографии и расскажут трагическую историю.

Вот и получается, что гордые колумбийцы, кому при пересечении границы на любой таможне заглядывают в зад или еще куда-нибудь, а то и отправляют на рентген в поисках проглоченного презерватива с кокаином, как-то сникают и смущаются, предъявляя свою бордовокожую паспортину, которую «берет, как ежа, как бритву обоюдоострую» внезапно очнувшийся от дремы и сразу по-особому бдительный таможенник. Сама видела, как в Шереметьеве перетряхивали багаж молодой семьи колумбийских студентов, учащихся в Москве и возвращающихся с каникул. У них был маленький ребенок, и все его детские присыпки остались рассыпанными на полу аэровокзала.

Мне бы очень хотелось внести в свой репортаж оптимистическую ноту, особенно имея в виду выдвинутый США проект ликвидации плантаций наркотиков, так называемый «План Колумбия», на который ассигновано больше миллиарда долларов. Я бы хотела заставить себя поверить, что американские Рэмбо со своим новейшим вооружением и боевыми вертолетами последних моделей наконец-то «замочат прямо в сортире» скрывающихся в горах и тропических лесах партизан, тем временем вооружающихся и готовящихся всерьез выйти на тропу войны. А потом приструнят и ПАРАС. Но, честно говоря, верится с трудом. Пока экономическая и политическая системы не претерпели никаких изменений. Пока есть прослойка, которой «нечего терять» и которой достаточно щедро платят наркобароны. Пока в стране болтается такое количество оружия, пока есть столько труднодоступных районов... А главное, пока существуют очень богатые люди, которым выгодно такое положение дел и которые твердо верят, что им все позволено, и имеют возможность доказать это всему миру за счет жизни, здоровья и спокойствия основной части населения, не могущей избежать вовлечения в конфликт и жестоко страдающей от него.

Пока все эти факторы налицо — надежды не очень-то много. Поэтому в ближайшие, кто знает, сколько еще лет почти каждый вечер на колумбийском телевидении будет мелькать лицо очередного президента страны, пожимающего руку во время ведения переговоров. И кому? Или лидеру ФАРК Мануэлю Маруланде, более известному под кличкой Тирофихо (Меткий выстрел). Или же лидеру «эленов» по кличке Габино, настоящее имя которого вылетело у меня из головы, или же Карлосу Кастаньо, лидеру ПАРАС — антипартизанских группировок. Вот так они и будут долго переговариваться, ни до чего не договорившись, потом стрелять друг в друга, похищать, бросать бомбы и вновь садиться за стол переговоров.

Колумбия... Ученый-биохимик Мануэль Элькин Патарройо изобретает искусственную вакцину против малярии, певица Шакира Мубарак дает концерты по всему миру, гонщик Хуан Пабло Монтойа врывается в «Формулу-1», статуи художника и скульптора Фернандо Ботеро украшают многие города Европы, современный писатель Альваро Мутис получает литературную премию Сервантеса... Однако на экранах и страницах появляются, как правило, вовсе не они. Слово КОКАИН большими белыми буквами будет всегда написано на лбу каждого колумбийца, как несмываемый пепельный крест на лбу семнадцати сыновей Полковника Аурелиано Буэндия из «Ста лет одиночества». А еще страна имеет все шансы прославиться как центр урбанистического терроризма на американском континенте.

Каким-то маленьким кусочком сердца, замерзшего в московских широтах и соскучившегося по колумбийскому солнцу, я все еще продолжаю ждать положительных новостей. Хочу услышать что-нибудь вроде того, что в Боготе

построили метро или что команда Колумбии по футболу победила на каком-нибудь крупном чемпионате. Всем гражданам Колумбии так хочется изменить сложившийся за многие годы негативный образ своей страны. Россия может их понять.

...Для меня Колумбия не сразу стала любимой и почти родной. Впервые попав туда в 1993 году, я три месяца прожила с нераспакованными чемоданами, вытащив из них несколько маек и шортов на первое время. Меня раздражали: громкая музыка, отсутствие книг на полках в домах моих соседей, привычка тусоваться и днем и ночью большими группами, обычно семейными, постоянно улыбающиеся люди, которые в конце недели, забыв обо всех проблемах и несчастьях, идут пить и плясать в окрестные таверны на последние деньги, не думая о том, что в понедельник не на что будет поесть. Мои русские мозги плавилась (что неудивительно при жаре в 35 градусов), когда я тщетно пыталась понять, как можно жить счастливо без чувства «ты в ответе за все на свете» и чувства вины за то, что не можешь помочь всем, в том нуждающимся. Понадобились годы, чтобы начать видеть обратную сторону монеты. Сегодня мне всего этого не хватает.

На улицах Москвы и в общественном транспорте, видя вокруг только хмурые и напряженные лица, я вспоминаю покрытый разноцветными рисунками и надписями колумбийский автобус «чива», в котором люди везут, например, живых кур или огромные связки бананов, но зато пол-автобуса улыбается, а вторая половина громко подпевает звучащей в нем на полную катушку музыке. Я также поняла, что книги — не единственный путь получения знаний, есть и другие дороги к мудрости, не всегда проходящие через университет, а вся эта постоянно окружающая тебя толпа народу, включая беременных женщин с целыми выводками детей, — это твоя семья, которая, что бы ни случилось, в трудную минуту всем скопом придет на помощь и поделится последним. Что рационализм и ответственность за все вокруг частенько ведут к ограничению свободы окружающих и нетерпимости, а постоянное преследующее тебя чувство вины «непонятно за что» может незаметно превратить тебя в вечно жалующегося и недовольного всем человеком. Я совершенно ясно поняла, что многие проблемы, на первый взгляд кажущиеся такими важными и требующими срочного решения, частенько исчезают сами собой наутро в понедельник, и вдруг откуда ни возьмись появляются или деньги на покупку еды, достаточные, чтобы дожить до вторника, или же сама еда, так сказать, в натуральном виде.

Уезжать оттуда мне не хотелось. Несмотря на партизан и экономическую нестабильность, было в «той моей жизни» что-то живое, дышащее, бултыхающееся, настоящее, натуральное, неуловимо прекрасное, естественное, как сама земля... Что поделаешь, люблю Колумбию, поэтому и продолжаю писать о ней.

Есть такая американская поговорка: «Это легче, чем отобрать конфету у ребенка». Тот, кто придумал эту фразу, вряд ли исходил из собственного опыта. Ведь вырвать уже распробованный облизанный леденец у маленького человечка с липкими пальцами практически невозможно. Или ты гоняешься за ним с ремнем по всему дому, или посулами пытаешься выманить из-под кровати. Если повезет, то после долгой борьбы таки выудишь у него обслюнявленный и пыльный остаток сладости, но обоим это будет дорого стоить. Лучше уж с самого начала не давать ребенку конфеты, как бы ни просил.

Помнил ли об этом Андрес Пастрана — предыдущий президент Колумбии, когда во время своей избирательной кампании в 1998 году обещал покончить с партизанской войной в своей стране? Вот так просто прийти, пожать руку лидеру ФАРК по кличке Тирофихо, мирно договориться с ЭЛН, уболтать АУК (третью, как помните, вооруженную силу) и покончить с сорокалетним конфликтом. В лучших традициях мультфильма «Том и Джерри» или знакомого со времен светлого детства «Ну, погоди!» очередное правительство попеременно то «мирно переговаривается», то активно атакует повстанцев. А что делать?

Даже садясь за стол переговоров, партизаны не прекращают диверсий, по-прежнему взрывая, похищая, нападая... И не видится тому конца и края.

...Что ж, вернемся в партизанскую зону, где я работала и наслушалась, насмотрелась, «начувствовала» достаточно. Нас частенько обстреливали с окрестных холмов. У меня со страху прорезался черный юмор. В мою первую атаку, которая, кстати, продолжалась ни много ни мало примерно три часа, я пошутила над полицейским, подошедшим к нам. Ну, вы представьте себе: лежишь ты, вжавшись в землю, а он тут стоит и беседует с нами с автоматом наперевес... «Отойдите, пожалуйста, — вежливо сказала я ему, — а то, если вас застрелят, вы забрызгаете кровью мой новый комбинезон». В тот первый памятный день я даже и сообразила не сразу, что нас атакуют. Никто ведь не предупреждал. Звуки первых выстрелов я приняла за звук падения бильярдного шарика на металлический пол стоявшего по соседству трейлера, где находилась комната отдыха. А полицейский, он просто был опытный, стоял себе в непростреливаемом месте, все огни были потушены, да и целились в противоположную сторону лагеря. В тот незабываемый день меня еще хватило на то, чтобы позвонить по телефону моему шефу в столицу насчет повышения зарплаты, самонадеянно заявив: «Они тут по нас стреляют, мы так не договаривались!» На что Андрес мне спокойно ответил: «А ты старайся, чтоб не попали», — и зарплату так и не повысил.

Потом уже и мы научились различать, когда стреляют «близко», а когда «не близко». Поэтому, как затихнет, кого-то посылали в офис за кока-колой. Мы садились между трейлерами спина к спине и спорили, сколько продлится атака. Вдруг звуки очередей раздавались намного ближе — тогда, бросив споры и бутылки, мы там же, где были, вжимались в землю и пережидали.

Партизаны иногда обманывали. Только прогудит прерывистый сигнал отбоя, сходишь перевернуть карточку с твоим именем и названием компании на площадке для собраний (в знак того, что жив и здоров), придешь к себе в комнату, влезешь под душ, скинешь грязный от валяния в пыли комбинезон и, едва намылившись, услышишь новые выстрелы, а за ними и противный звук сирены. А это значит, надо выходить и опять забиваться под трейлер. Обидно ужасно.

Черным юмором не одна я там отличалась. Кто-то обратил внимание на странное совпадение — два раза подряд в ночь моего приезда приходили партизаны. На третий раз кто-то сказал в столовой: «Наверняка геррильеросам нужна Аленка, она же русская — значит, коммунистка. Заберут они ее в горы, и будет она там им читать лекции по марксизму и учить русскому языку. Давайте, если опять начнут, выведем ее за ворота лагеря и оставим там. Может, тогда они от нас отстанут». Меня как-то не вдохновила такая перспектива...

Пастрана не первый и не последний президент, кому не удалось разрешить партизанскую проблему. Он, однако, творчески подошел к ее решению, выделив партизанам в конце 1998 года хороший ломоть национальной территории с тем, чтобы там они спокойно могли вести с ним, Пастраной, мирные переговоры. Представьте себе обжитое пространство в 42 тысячи квадратных километров или возьмите какую-нибудь небольшую страну, размером со Швейцарию или два Сальвадора, — вот о таком куске земли мы и говорим. Чтобы с повстанцами было сподручнее договариваться, он удалил оттуда национальные войска, оставив милейших партизан наедине с местным населением и, вероятно, ожидая, что такой беспрецедентный акт доброй воли со стороны официальной власти в пользу «неофициальной» создаст благоприятные условия для прекращения гражданской войны. На выделенной территории могли собираться представители различных международных и местных организаций, которые тоже желали внести свой вклад в общее дело. Вот они и собирались с большим или меньшим успехом все это время. Садились за столы переговоров. Пожимали друг другу руки. Даже самонадеянно улыбались. Подписывали различные документы с добрыми намерениями, выступали по телевидению, соперничая в популярности с бесконечными мексиканскими телесериалами.

И когда 20 февраля 2002 года, после особенно наглого похищения бойцами ФАРК либерального конгрессиста Хорхе Эдуардо Хечена (вместе с самолетом, в котором тот куда-то летел в компании других пассажиров), президент резко передумал и отменил затянувшееся перемирие, «совершенно неожиданно» выяснилось, что все эти годы партизаны проводили переговоры «без отрыва от производства». На так щедро выделенной им правительством территории они держали в ожидании выплаты респекта (выкупа) тех, кого продолжали похищать, производили и продавали наркотики, планировали будущие операции, закупали и складывали оружие и повышали собственную боеспособность, тренируя бойцов и обучая их в числе прочего мастерить пластиковые бомбы в домашних условиях и правильно обращаться с динамитом. Сегодня они умеют создавать взрывные устройства даже на базе такого легкодоступного сырья, как удобрение и дизельное топливо.

И эти самоделки прекрасно работают. Несколько лет назад две такие незаметно для охраны средь бела дня подсунули под наши офисы, а незадолго до полуночи того же дня их благополучно активировали, и компьютеры, стулья, столы, документы взлетели на воздух вместе с двумя сотрудниками, находящимися внутри. Работа на нефтяной скважине продолжается двадцать четыре часа в сутки, как раз около полуночи происходит «смена караула», ночная вахта сменяет дневную, а это требует одновременного присутствия большого количества персонала, на что, вероятно, и рассчитывали те, кто взрывал. После чего возле нового офиса круглые сутки в жару и в дождь сменяли друг друга одетые в пятнистую униформу солдаты с автоматами «УЗИ» наперевес («калашниковы» — те у партизан), обеспечивающие нашу безопасность... А тем временем законно расположившиеся в «переговорной зоне» ФАРК, конечно же, не забывали о том, что халява не может длиться вечно, и, думая о будущем, развивали собственные СМИ. Имеется у них, кстати, и вполне приличный интернет-сайт. ФАРК усваивают новые тактику и стратегию, перенимая дружественный опыт аналогичных им организаций: ирландской ИРА, испанской ЭТА, помогают им и бывшие никарагуанские контра, и сальвадорские повстанцы. И Бог знает, кто еще.

Впрочем, сами партизаны сегодня уже далеко не те, что раньше. Коммунистически настроенные барбудос (бородачи), мечтающие о лучшем обществе и всеобщей справедливости для начала в одной отдельно взятой Колумбии, но так, чтобы потом и на всем остальном континенте, как хотел великий Симон Боливар, давно отошли в прошлое.

Даже народ, тот гипотетический колумбийский крестьянин или рабочий, за неотъемлемые права которого теоретически борются партизаны, уже несколько не поддерживает их, если верить последним опросам общественного мнения. За это в основном надо благодарить ФАРК, которые прославились если не на весь мир, то по крайней мере на всю Латинскую Америку жестокостью и неразборчивостью. Видимо, почувствовав, что исторически их время подходит к концу, ФАРК вконец распоясались. «Мирные» переговоры с партизанами, или повстанцами, или с ФАРК — зовите как хотите эти 18 тысяч бойцов под ружьем — наконец-то закончились. Вопрос — надолго ли?

Предшественником Андреса Пастраны на посту президента был либерал Эрнесто Сампер, герой громкого скандала, связанного с тем, что в его избирательную кампанию вложили немало средств наркодельцы. Чем и как он, интересно, потом им долги отдавал... Словом, на следующий срок все дружно проголосовали за кандидата от консерваторов в надежде на то, что уж он-то и наведет долгожданный порядок в стране.

В августе 2002 года президентское место занял Альваро Урибе. Новый глава государства выступает как независимый кандидат, то есть — ни либерал, ни консерватор. Похоже, народ уже устал и от тех, и от других. Альваро Урибе выступил за жесткую линию в отношении незаконных вооруженных формирований, и его поддерживают во многом благодаря этому. Только вот охраняют слабо... В субботу 13 апреля 2002 года бронированная машина едва позволила

ему сохранить жизнь в покушении, где погибли четыре человека и еще шестеро были тяжело ранены.

ФАРК умудрились похитить другого кандидата в президенты страны, на этот раз женщину — Ингрид Бетанкур, которая, несмотря на предупреждение полиции, поехала в выделенную Пастраной «переговорную» зону на автомобиле и была вынуждена вести прямо из плена предвыборную кампанию в ожидании своего освобождения. За нее, впрочем, все равно почти никто голосовать не собирался.

Такого рода похищения требуют хорошей подготовки. Обычно за находящейся на прицеле жертвой в течение недель ведется наблюдение. Все рассчитывается по минутам, учитываются привычки, маршруты, наличие или отсутствие охраны. Будущая жертва обычно ничего не подозревает. Просто в один не очень прекрасный день человек выходит за ворота и исчезает. На несколько месяцев или навсегда. Так захватили Клода, французского инженера, с которым мы работали. Стараясь оставаться в форме и следить за здоровьем, как это делают многие европейцы, он каждый день пробегал трусцой свои положенные десять километров. Я и Карлос, еще один инженер, часто бегали вместе с ним, озабоченные обилием скармливаемой нам еды и отсутствием адекватной физической нагрузки. Однажды, когда нас с Карлосом в лагере не было, Клод просто не пришел в назначенный час на работу. Территория маленькая, потеряться негде, хватились его быстро. Оказалось — ушел бегать и не вернулся. Вернулось только его тело: через несколько месяцев его сбросили перед воротами с проезжавшей мимо на большой скорости машины. Остается только гадать, почему погиб Клод. Попытался бежать? Не выдержал нервного напряжения? Судмедэксперт сказал, что Клод скончался от сердечного приступа. Согласитесь, несколько странно для сорокалетнего мужчины, привыкшего бегать в хорошем темпе по десять километров в день.

Похищать кого попало никто не станет. Партизаны хорошо информированы и отлично знают, кто на какую компанию и в какой должности работает и соответственно «кто сколько стоит». Бывает, что к захваченным относятся нормально, даже иногда дают позвонить родственникам по мобильнику, чтобы те, кому платить, убедились, что похищенный пока жив и здоров. Просто ничего не знаешь, чего ожидать.

...Как-то раз ехали мы ранним утром в аэропорт с водителем, он, кстати, был из соседней с нашим лагерем деревни, жил неподалеку со своей семьей. По колумбийским законам, нефтяные компании обязаны принимать на работу некоторое регламентированное количество уроженцев местности, в которой работают. А впереди у реки завязалась перестрелка между войсками и партизанами. Остановили нас, не доезжая реки, какие-то вооруженные ребята в полевой форме, мы сначала думали — полиция, проводили на поляну, там уже и другие люди вокруг сидели, прочитали нам лекцию о социальном неравенстве и своей героической борьбе за свободу колумбийского народа, раздали программки, угостили теплым пивом и через несколько часов... отпустили. Правда, не всех сразу, а по двое-трое. А чего, спрашивается, возиться, если все равно за нас не заплатят. И ничего ужасного с нами не случилось, кроме не особо приятной прогулки под прицелом. Водитель сказал, нам просто повезло, я думаю, сыграло роль и то, что он был местный. А в следующий приезд мне пришлось подарить водителю завалившуюся в моей квартире в Боготе матрешку, чтобы никому не проболтался о нашей с ним «прогулке». Я ведь могла и работу потерять, так как персонал компании обязан не ездить по дороге, а пользоваться исключительно вертолетом, который условно считается более безопасным видом транспорта. Однако после того, как нас мирно отпустили, я как-то сразу расслабилась и продолжала при случае ездить на машине...

Похищение общественных деятелей — намного выгоднее, их всегда можно попытаться обменять на «своих». Это стало настолько привычным, что в декабре прошлого года уже и закон соответствующий приняли. Такой закон позволяет кандидатам на политические посты быть избранными несмотря на то,

что они находятся в плену. Шестеро из избранных в 1998 году членов Конгресса уже убиты партизанами. Тем временем в уличных разговорах часто звучат окутанные дымкой тайны имена — Негро Антонио, Рамбо, Граноблес, Пабло Кататумбо, Пистолас, Уго и прочие. Самые известные «борцы за свободу» (похитители людей) становятся частью национального фольклора, о них поют, их помнят. Именно из-за них многим колумбийским семьям, состоятельным и не очень, пришлось второпях собирать чемоданы и, бросив все, отправляться в далекие края на неопределенный срок.

Вообще у лидеров незаконных вооруженных формирований есть чем достойно украсить свой послужной список за последние годы. Кроме обычных терактов с взлетающими на воздух посреди улицы автомобилями, политических чисток в сельской местности и периодических взрывов нефтепроводов туда можно включить и своеобразные «рекорды». Вот, например, Эльвира Кортес, пятидесятипятилетняя жительница одного из пригородов Боготы. Она отказалась заплатить 15 миллионов песо выкупа, примерно 7500 долларов, не захотела или, может, не смогла, потому как взять было неоткуда. Тогда террористы 16 мая 2000 года надели ей на шею «кольце». Квадратный ошейник из четырех кусков пластика с динамитом внутри. Все бесконечные часы, пока полиция пыталась дезактивировать бомбу, женщина ждала и молилась, молилась и ждала... В самый последний момент, когда, казалось, все уже позади, ошейник все-таки взорвался, убив жертву, сотрудника полиции, пытавшегося ей помочь, и ранив еще троих полицейских.

Можно вспомнить и восьмидесятидвухлетнего Хесуса Очоа, которого похищали четыре раза. По количеству похищений Колумбия на первом месте в мире — 3 тысячи жертв в год. Все чаще среди схваченных и убитых оказываются женщины, старики, дети, родственники военных, богатые предприниматели или члены их семей, а также случайные жертвы. Среди удерживаемых в плену — 87 несовершеннолетних. Очень выгодно похищать иностранцев. Не русских, конечно, за нас много не заплатят, а, к примеру, британских нефтяников или американских орнитологов. Всего с 1996 года было похищено около 270 иностранцев 49 национальностей. Если «рескате» не выплачен, похищенному могут просто пустить пулю в затылок с короткого расстояния и там же на месте и бросить. Хотя это может произойти и после оплаты выкупа.

Не знаю, жив ли сейчас (так как прогнозы врачей не оставляли надежды) двенадцатилетний мальчик по имени Андрес Фелипе Перес. Его отца, офицера колумбийской армии, уже два года держат в плену. Самого же Андреса врачи после нескольких месяцев в больнице отправили домой, так как метастазы уже распространились настолько, что помочь ему медицина не может. Когда умирающий ребенок, в кепке, скрывающей отсутствие выпавших после химиотерапии волос, по телевидению просил Мануэля Маруланду отпустить папу попрощаться с ним перед смертью, все, буквально все, ожидали, что отца Андреса и его крошечной сестры, родившейся уже после пленения родителя, отпустят. Но нет, представители ФАРК вежливо ответили, что раз уж ни медицина, ни сам Господь Бог не в силах помочь мальчику, то чего ждать от них, простых смертных. Этот комментарий, однако, дорого им обошелся. Возмущенные письма тысяч людей со всего мира день за днем публиковались в газете «Тьемпо». Привожу самые характерные выдержки:

«И вас перед смертью будут преследовать, как собак-талибов, которых вы ничем не лучше!»; «Проклятые дружки Пастраны!»; «Когда-то и я верил в ваши идеалы, но теперь...»; «Господин Маруланда, если вы действительно хотите помочь стране — сдохните! А мы устроим праздник»; «Не могу поверить, что идеалы Камилло Торреса и Че Гевары создали то отвратительное чудовище, в которое вы, господа из ФАРК, превратились...»; «Господин Маруланда, мне бы хотелось узнать, где и когда умерла ваша совесть? Будьте революционером и отмените смертный приговор, который вы вынесли моей стране»; «Мы понимали ваше недовольство несправедливостью и коррумпированным правительством, но вы еще хуже! Вы не видите, что вас уже никто не поддержива-

ет?»; «Мы должны требовать не освобождения отца Андреса, пусть лучше они освободят всех похищенных!». Были и те, кто взывал к религиозным чувствам повстанцев и молил их сжалиться над ребенком, но преобладали все же письма, агрессивные по тону. Интересно, что экс-президенту Пастране в них доставалось не намного меньше, чем лидеру ФАРК Мануэлю Маруланде.

Есть и другие примеры, их слишком много. В настоящее время около 60 городов Колумбии не имеют электроэнергии, многие мосты и трубопроводы взорваны. Партизаны осваивают новые технологии. Теперь для похищений в городах они нанимают банды уголовников, те захватывают жертву, а потом передают представителям ФАРК, которые ведут все переговоры о выкупе. «Посредники» получают, как водится, свою долю — 15 — 30 процентов стоимости освобождения. Вообще любое партизанское подразделение должно выполнить своеобразный план по сбору средств. Например, в 1997 году каждый «френте» должен был передать своему «блоку», более крупному подразделению, по 15 тысяч песо, чтобы набрать 105 тысяч (это примерно 52 тысячи долларов), как я их называю, «партийных взносов». Только платят их они не из своего кармана...

С момента прекращения мирных переговоров тактика и стратегия партизан значительно изменились. Если раньше они в основном пытались контролировать поселки и дороги вдали от крупных городов, время от времени совершая налеты на армейские формирования и нефтяные вышки, то теперь они решили сеять страх в городах. За неделю 4 покушения. 19 погибших и десятки раненых. В традиционный сценарий с автомобилем-бомбой, который оставляется в людном месте в центре города и неожиданно взрывается, вносятся новые вариации.

Предпоследней был «труп-бомба». На проезжей дороге с весьма активным автомобильным и пешим движением припаркован грузовичок. Стоит он там и стоит, пока кто-то не обращает на брошенный транспорт внимание. Вызывают полицейских, они заглядывают внутрь и обнаруживают там труп человека, убитого все теми же ФАРК крестьянина... и труп этот начинен взрывчаткой. Значит, уже невозможно оцепить участок дороги, отогнать любопытных подалеже и просто-напросто взорвать старенький автомобиль. И полицейские из католической страны пытаются разминировать начиненный взрывчаткой труп. За этим занятием они и погибают...

Последней (на момент написания очерка) была «лошадь-бомба». Ситуация похожа на предыдущую, только лошадь живая и обвешана цилиндрами со взрывчаткой. Местных запуганных крестьянских мальчишек, двух братьев тринадцати и пятнадцати лет, заставляют подогнать лошадь поближе к расположению военной части, но взрыв происходит несколько раньше, чем задумано. Трое убитых и трое раненых. Даже животные уже не вне подозрений.

Вопрос: что дальше? Прогнозы делать сложно. Много зависит и от политиков, и от уровня подготовки вооруженных сил Колумбии, который по-разному оценивается экспертами, и от помощи США... У меня лично прогноз только один, и основывается он не на вышеперечисленном. Самое важное, чему я научилась в Колумбии, — это не сдаваться, никогда не останавливаться, падать, но подниматься снова и продолжать двигаться вперед — бегом, шагом или даже ползком, но вперед. И ни при каких обстоятельствах ни за что ни шагу назад, даже для разгона... Не доверяя политикам, я, может быть, и наивно верю в обычных людей — людей, которые просто хотят жить спокойно.

Когда я работала в лагере под пулями, мне было страшно. Возвращаясь домой на вертолете, я каждый раз улыбалась. Опять обошлось. Когда кого-то убивали, было тяжело и хотелось бросить все и не возвращаться. А теперь, хотя прошло уже несколько лет, мне так всего этого не хватает. Кажется, что все интересное уже позади. Что теперь вся моя последующая жизнь будет пресной, скучной и размеренной. Что никогда больше со мной не произойдет ничего непредсказуемого, что я не почувствую этот выброс адреналина, одномоментный страх и тревогу, сменяющиеся невероятным вкусом к жизни, лю-

бовью к ней, ощущением собственной хрупкости и эфемерности. Когда всей кожей, всем телом, всем своим существом чувствуешь простые вещи и невероятно ими наслаждаешься. Солнце, которое рано утром светит в глаза и заставляет щуриться, когда ты бежишь куда-то. Сладкая боль во всех мускулах тела после двухчасовой тренировки в спортзале. Ветер в лицо, когда едешь на роликах. Вкус купленного прямо на улице горячего пирожка с сыром в мороз. Я счастлива, что я жива, что у меня все на месте, что мое тело подчиняется мне почти беспрекословно, что моя память меня редко подводит, что я могу бегать, смотреть, слышать и говорить. Я не строю долгосрочные планы на будущее, не горюю о прошлом. И хотя я все помню, даже то, о чем и вспоминать-то не хочется, я не зацикливаюсь на этом. Я просто живу. Каждый следующий день как по-настоящему новый. Потому что я уже сама немножко колумбийка после стольких лет, и, что бы ни происходило вокруг, если наступила пятница — я иду танцевать и болтать с друзьями, проблемы подождут и до понедельника!

ПРИЛОЖЕНИЕ. Выдержки из буклета под названием «Как выжить при похищении», издание компании «Бритиш петролеум» (у меня сохранился экземпляр). На первой страничке пометка: «Предназначено только для персонала BP Exploration (Колумбия)».

«Большинство похищений в Колумбии спланированы и исполнены профессионально. В основном они происходят вне дома или офиса... Все попытки характеризуются длительным предварительным наблюдением за объектом... Момент захвата предоставляет жертве наилучший шанс побега. Пока длится неразбериха, могут возникнуть возможности скрыться. Если вы решили убежать, действуйте быстро и решительно и только при условии, что у вас есть очень хорошие шансы на успех. Если к вам в руки попало огнестрельное оружие и вы собираетесь его использовать, важно, чтобы у вас были необходимые познания в области обращения с этим оружием. Провалившаяся попытка застрелить некоторых из нападающих скорее всего кончится последующим умертвлением жертвы. Попытка побега также увеличивает шансы ранения, а раненая жертва похищения вряд ли хорошо перенесет его... С места похищения вас удалят с помощью физического воздействия (например, заткнув рот кляпом и засунув в багажник автомобиля), при этом атмосфера будет накаленной. Следуйте инструкциям, не проявляйте активности, это уменьшит риск физической агрессии...

Похищение в полевых условиях скорее всего повлечет за собой длительный период передвижения по джунглям. Ментальный стресс при этом невысок, но физические условия особенно тяжелы для „западного человека“. Существует высокая вероятность заболевания тропическими болезнями, такими, как малярия, тиф или дизентерия...

Личный контакт с похитителями будет тесным, что резко повышает возможность появления „Стокгольмского синдрома“... Было зарегистрировано несколько случаев, когда отношения между жертвой и похитителем развивались таким образом, что жертва пыталась защитить своего похитителя. Первый случай произошел, когда налетчики захватили несколько заложников во время ограбления банка. Под конец заложники окружили налетчиков и проводили их за пределы банка, защищая их таким образом от полиции...

Самое широко известное из печати происшествие такого рода — похищение Патти Херст, когда она после нескольких месяцев, проведенных с похитителями, сама участвовала в нападениях на банки вместе с ними.

„Стокгольмский синдром“ имеет место быть по нескольким непростым причинам: например, восхищение кем-либо, сражающимся против существующей власти, — но считается, что это неосознанная реакция человека, повышающая, как ему кажется, шансы выжить. Проявления „Стокгольмского синдрома“ очень опасны и могут серьезно увеличить риск для жизни жертвы, особенно в момент ее освобождения...

Поэтому: **НЕ ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШЕГО ПОХИТИТЕЛЯ.**

Похищение в городе повлечет за собой заключение в „народной тюрьме”, маленькой камере без окон, с примитивными санитарными условиями, а то и без них. Ментальный стресс в этом случае высок, тогда как физический минимален. Возможности побега или тесного общения с похитителями тоже малы... Приемы для уменьшения стресса во время похищения: 1) Тщательно планируйте свое время, составьте расписание и выполняйте его день за днем. Сидя в „народной тюрьме”, вы не будете знать, день сейчас или ночь, поэтому, возможно, вам придется ориентироваться по трехразовому питанию... 2) Улучшайте окружающую обстановку. Если есть возможность, попросите ваших похитителей об этом... 3) Составьте личные правила поведения для себя. Например: выживание, но не ценой унижения, и т. п. ...

Момент освобождения — это вторая самая рискованная фаза похищения. Если освобождение тщательно спланировано, жертва скорее всего будет брошена в незнакомом месте. Первым действием жертвы должна стать попытка связаться с местными властями, за которой должна последовать доставка жертвы в безопасное место... Если же вас освобождают в результате применения силы, то жертву могут спутать с похитителями, и риск физического воздействия высок... В этом случае советуем лечь лицом вниз, расставив руки в стороны, разжав кулаки, показывая отсутствие оружия, чтобы власти поняли, что вы не представляете угрозы. Громко повторяйте свое имя, чтобы вас могли опознать. Если же вас не опознали и приняли за похитителя, не пытайтесь оказывать сопротивление, так как в этом случае можно ожидать грубого обращения со стороны ваших освободителей...»

Главная же мысль этого крошечного буклета выделена жирными буквами на последней странице: **«Независимо от варианта похищения и условий содержания НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ».**



О П Ы Т Ы

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ

*

НОЧНОЙ ДОЗОР

Из цикла «Сатана в шкафу»

Из письма П. Я. Чаадаеву

Вважаемый Петр Яковлевич!

Вы, очевидно, не получите этих писем.

Но ничего. Наша почта работает столь беззаботно, справедливо полагая большинство из писем пустой тратой бумаги, что и отосланные куда-нибудь поближе, А. П. Чехову или О. Э. Мандельштаму, эти тексты все равно затерялись бы. Они затерялись бы и отправленные в Калугу.

Ведь дело не в том, Петр Яковлевич, кому мы адресуемся. Дело в том, что мы все-таки находим, кому адресоваться. И это удивительно. Напиши я, допустим, А. С. Пушкину, — так мучился бы, страдал из-за того, что отнимаю у человека время. А Вам, Петр Яковлевич, писать очень удобно. Вы человек пристальный, несуетливый. Поистине человек, потративший жизнь на размышления, — мудрый человек! Ведь все остальные удовольствия можно исполнить и не будучи человеком. А размышлять... Да! Это замечательно!..

...Мы с Вами родились в стране, напоминающей одиночку. За границу выехать или не разрешают, или денег нет. И поневоле нам приходится заниматься философией. До очень странных вещей додумываешься, ей-Богу, полностью отрицая научное знание! Ибо научное знание, понятое буквально и продолженное в жизнь, привело доверчивую Россию к ее двадцатому веку. То есть западный человек (или тот же японец) наукой пользуется как подсобным механизмом, а русский в полном восторге закрыл глаза, заткнул уши и очнулся в овраге: израненный, нищий и злой.

Вы, Петр Яковлевич, не видели всех этих ужасов. Но предупреждали о них. Может быть, немного резко, но ведь — любя! Любя эту несчастную землю, страдая за нее. Как это было не похоже на записных оптимистов, говорливых патриотов! Самых высоких рангов.

Вас сочли сумасшедшим. Вернее, признали им. Надели дурацкий колпак. Не считая Ваши письма даже за вольнодумство. Такова была беспечность, помноженная на глупость. Такова была эйфория после Двенадцатого года. Скоро русский критицизм развернул эту беспечность, помноженную на глупость, на сто восемьдесят градусов, и началась удивительнейшая из охот — охота на царей.

Но и этого Вы уже, слава Богу, не увидели...

...Писать Вам, Петр Яковлевич, стало возможным лишь в настоящее время: откатилась ядовитая волна от страны, народ со стоном пробуждается, и обо-

Образцов Александр Алексеевич — прозаик, эссеист, драматург, поэт. Родился в 1944 году в г. Свободный Амурской области. Стихи печатались в Нью-Йорке и Франкфурте. Пьесы шли в Тбилиси, Цюрихе, США, Кёльне, Риге, Петербурге. Премия Довлатова за рассказы — в феврале 2003 года.

значился перевес хороших лиц на улицах над подлыми, злыми. Кажется, гадина ослабила челюсти, которыми удушала Родину.

До свидания, Петр Яковлевич, хотя это и прозвучит сквознячком.

Александр Образцов.

Нужна ли народу литература?

Мой первый рассказ появился двадцать пять лет назад в журнале «Аврора», и коллега, слесарь Иван Жуков, спросил меня:

— Ну что? Когда мы будем твою брехню обмывать?

Я сомневаюсь в том, что он читал рассказ. И его право, если читал, выражаться столь критически. Но в его словах (я запомнил их) мне все отчетливее видится отношение народа к литературе. И дело не в том, что какие-то люди за семьдесят лет настолько скомпрометировали современную литературу и себя, что отмыться уже вряд ли удастся.

Бог с ними и с их литературой.

Важно другое: они скомпрометировали *всю* литературу, *все* искусство, *всю* культуру. Они измазали даже Гомера, потому что «социально-исторические корни» и «классовое расслоение» ахейцев и троянцев исследовались их нечистыми руками.

Тогда возникает вопрос: зачем народу литература? Является ли она для него жизненно важной? Может ли народ существовать без Данте, Тютчева, Фолкнера?

Да, может. Народ доказал, что он может существовать без религии, без литературы, без нравственности — на одном голом энтузиазме. Надо ли ужасаться падению народа после Семнадцатого года, надо ли задавать гамлетовские вопросы?

Это сколько угодно, если есть желание.

Меня же восхищает духовное здоровье народа. И я полон желаний и дальше изучать энтузиазм народа, позволяющий ему без религии, культуры, экономики и прочих приспособлений чувствовать себя бодрым и готовым к борьбе.

Завет умер

Если представить жизнь деревом, то странным выглядит писательский итог последних веков: они как будто выращивали на одной-единственной ветке с десятков громадных листьев. Скучное обязательное писание романов, поэм и пьес превращало их существование в муку. Непонятное чувство вины, неисполненного долга до самой смерти нависало над ними.

И нам они генетически передали свой зловещий завет. И мы тоскуем по громадному, в 300 — 500 страниц, густому, вязкому, зловонному, классицистическому (завязка—развязка—эпилог), филологизированному кирпичу.

Очень большой шаг к прекращению самоистязания (сами того не желая) сделали Набоков, а вслед за ним Бродский. Они покорно работали с изощреннейшими языковыми и смысловыми ситуациями, загоняя их в тупиковые, мертвые штреки. Впечатление от их мастерства всегда оглушающее и гнетущее: дальше пути нет. Пути остались наверху, в легких предпочтениях минуты.

Отрывок, строка, пьеска, пьеса, рассказ, стихотворение, фэй — так много всего каждый день и так плотно — не втиснуть лезвия между строк, два слова не расцепить. Такая свобода выбора: иду куда хочу. Такая свобода средств: работаю простейшим инструментом, меняя наклон. Еще Гоголь, смещая, расслабляя строй, добивался колоссальных давлений. Так ступенчатое сокращение и расслабление мышц змеи, гепарда, спрута создают эффект молнии. Но не топот бешеного слона, не заколод догоняемой антилопы. Единственное движение цапли, склеывающей добычу. А не триста поваров, готовящих на одного царственного язвенника.

Книги

Покупаешь, покупаешь, а кто читать будет? Годами стоят в шкафу, на стеллажах книги по истории, книги по искусству, книги писателей и поэтов. Сотни, даже тысячи. Кто будет читать, если каждый день газеты, газеты, газеты. Но только представишь себе, что книг нет... Как это? Как будто сорвался с проволоки, уже привычный к балансу. Как будто обнищал вконец. Почему?.. А потому, что, покупая книги, собираешь свою семью. Выбираешь родственников и знакомых. Они стоят молча по полкам, наполняя тебя своими неизвестными, но несомненными достоинствами. Разве они не научились ждать, написанные две тысячи лет назад? В прошлом веке? В бездонной тьме тридцатых годов? Они заполняют воздух квартиры распирающими их событиями. Недочитанный «Чевенгур». Тщательный собиратель времени Флобер. Бесконечно читаемый с любой страницы Чехов. Тацит. Кальдерон (до второй страницы). Ивлин Во. Кафка (уже скучный). Варлам Шаламов. Мандельштам, всеми своими словами родной. Наступает пристальный день, осенью, только что гремели трубы отопления — и уже тепло, уютно, ветер bestолково носит косяки мокрого снега за синеем окном, а в руки ложится невзрачный первый том Лермонтова за 1957 год, и первое же «Когда волнуется желтеющая нива...» наполняет сердце таким уже мало знакомым чувством умиления и покоя, что оно просит печали и горечи. Почему? Как сказано: «сила жаждет, и только печаль утоляет сердца». И дальше, по волнам немыслимых русских шедевров, через 1839, 1840, 1841 годы, до смерти: «И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... Но в мире новом друг друга они не узнали». Неужели и они были так же суетливы, вспылчивы, поверхностны, как мы? Да, так же. Летит уже нешуточный снег в конце сентября, качается седьмой этаж, торгуют люди. Книги стоят смиренно, во веки веков.

«Нива»

Что такое «Нива» для России? Это без всякого преувеличения такой же символ устойчивого духовного и экономического изобилия, как Нижегородская ярмарка, как балеты Чайковского, как романы Толстого: все это, в тысячи раз растиражированное, ложилось на семейные этажерки, столики гимназисток, в конторки инженеров в те баснословные года, с 1870-го по 1917-й, когда от богатства, подъема, сытости, всемирного признания Россию вдруг швырнуло в пропасть.

И мы, бледные, изможденные злобой и нетерпимостью потомки, не умеющие избавиться от вцепившейся в нас ядовитой крысы ненависти, — кажется, чувствуем уже, как страшные челюсти отпускают нас... Еще немного — и мы, пожалуй, сможем, пристроившись на краешке садовой скамейки, заглянуть в прошлое своей страны, где все живы, улыбаются, где смеются дети в панамках и бородатые родители до поздней ночи режутся в карты... Нет, слезы застилают картину... неужели мы не узнаем уже такого покоя?.. Чем мы так провинились перед Господом?

«Нива». Семья. Мир.

Ночь светла

Война рассеяла могилы солдат вдали от дома. Если у нее есть какой-то высший смысл, то могилы защитников Отечества должны почитаться наравне с храмами.

Но у войны нет высшего смысла. Со страхом и отвращением глядят в нее только что воевавшие народы. Равнодушные дети не помнят ни имен, ни дат. Одни только официальные органы культивируют воспоминания о ней, смутно предполагая истинный смысл памяти о войне.

А истинный смысл памяти темен, грозен и могуч. Он появляется, когда уходит боль потерь, и через полстолетия как бы с вершины холма мы видим их, бесконечной лентой спускающихся в багровый, гремящий ад войны. Они идут добровольно, как ополченцы. Они идут по повесткам. Они идут принудительно, со смертной тоской в глазах. Но они все прошли свой путь и не свернули. А потому они равны друг другу. И этот отлив людей вслед за приливом мирных лет указывает нам на тайный, высший смысл жизни вообще.

Сегодня уже нет необходимости отыскивать виновников поражений и творцов побед. Совершенно очевидно то, что гитлеровское командование не допустило на протяжении войны ни одной сколько-нибудь заметной ошибки. Так же очевидно, что в первые два года советское командование приняло лишь несколько верных решений. И что же? Результат всем известен. Тогда возникает вопрос: какой запас прочности был у Советского Союза перед Второй мировой войной, если он мог позволить себе страшные «котлы» Белосток и Киева, Вязьмы и Мясного Бора, Керчи и Барвенкова? И второй вопрос: как могли ученики Клаузевица и Мольтке не просчитать русского запаса прочности? Какие силы остановили немцев в Стрельне, на расстоянии пушечного выстрела до Кремля и в двухстах метрах от Волги в Сталинграде?

Лев Толстой в «Войне и мире» описывал Наполеона авантюристом и неумным человеком, а столкновение народов в той европейской войне неким столкновением биомасс по законам перетекания и взаимного давления.

Однако существуют вещи, не объяснимые разумом.

Уже в 1612 году, в период самой нелепой и головоломной смуты, стало ясно, почему Россия в новое время непобедима.

Если наложить двуглавого орла на карту страны, то одна голова — Петербург — европейская, другая — Москва — азиатская, одно крыло в Восточной Европе, второе в Сибири, а хребтом России является православно-исламский Урал. А ведь план Барбаросса даже не предусматривал полного захвата Урала. Не говоря уже о плане Наполеона или королевича Владислава. То есть, пока Россия жива хотя бы одной своей частью, все силы частей отторгнутых тут же переливаются в свободную часть. И силы этой свободной части мгновенно утраиваются, она сжимается в пружину, и следует неотвратимое: захват Вены и Берлина, ошеломляющий разгром Квантунской армии и господство над полумиром.

Только этим можно объяснить и необъяснимое восстановление в 1942 году промышленного потенциала СССР на малонаселенном востоке страны. И выпуск лучших в мире средних танков «Т-34». И производство штурмовиков «Ил-2». И традиционно мощную и точную русскую артиллерию. И искусство воевать, постигаемое крестьянскими детьми на всех уровнях — от полковой разведки до Генштаба. И страстную, неотвратимую манеру ведения боя, когда существует уже одно только упоение смертью. И ласковые, тихие песни в землянках — вот это самое необъяснимое! Может быть, тихое пение истомило бодрую и горластую немецкую армию, лишило ее воли.

В Книге памяти Приморского района Петербурга есть удивительное совпадение реального и метафорического рядов. Здесь самая многочисленная фамилия *Смирновых* почти вся пропала без вести в 1941 — 1942 годах. А пропасть без вести означало тогда или легкую смерть в бою, или смерть мучительную в плену. Закончился «смирный» русский человек в 1942 году, дальше воевали Бойцовой, Громы, Морозовы, Беспощадные и Неизвестные.

Дальше воевали женщины-солдаты. Их было необычно много в действующей армии. И необычно много их погибло.

Необычно много погибло евреев. Очень многие из погибших евреев были политруками и младшими командирами. Необычно много погибло мордвы. Очень многие из погибших мордвинков были рядовыми. Необычно много погибало и всех остальных. Молодые испанцы гибли за свою новую родину. Немцы, четверо, стали Героями Советского Союза.

Это была война поэтов, композиторов, художников. «И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую», — писал фронтовой поэт. А неизвестный поэт написал в плену самые, может быть, сильные строки во всей русской литературе:

Я еще вернусь к тебе, Россия,
 Чтоб услышать шум твоих лесов,
 Чтоб увидеть реки голубые,
 Чтоб идти тропой моих отцов.

Такое поэтическое, мягкое восприятие невиданной в истории бойни также было необъяснимым, и именно оно позволяло выжить. Невозможно избавиться от мысли, даже от физического ощущения присутствия здесь, среди нас, образов покинувших землю людей. И если пристально, тихо вслушаться в себя самого, то можно явственно различить по отношению к ним прежде всего чувство долга. Оно не имеет рациональных объяснений. Но имеет вполне осязаемое опять-таки чисто физически чувство удовлетворения, просветления, когда долг памяти бывает исполнен. По отношению к умершим родственникам долг исполняется почти на уровне инстинкта. А общество доказывает право на свое существование именно осознанной необходимостью исполнения своих обязательств перед погибшими за Отечество. Здесь нет и не может быть никаких исключений — ни национальных, ни идеологических. Поэтому любые, самые малые и непосредственные движения души сообща со всеми создают для страны неоценимые богатства.

Наш город в центре и в старых районах почти не изменился в этом столетии. И наши улицы, набережные, дома помнят всех тех, кто жил здесь, смеялся, пел песни. Еще совсем недавно триста двадцать тысяч молодых людей ходили Невским, на трамваях проносились Охтой, засыпали в белые ночи с окнами, открытыми на Фонтанку. Потом в несколько дней они пришли на призывные пункты, получили обмундирование и оружие, сели на поезда и уехали из города, чтобы никогда сюда не вернуться. Все они погибли. Все. До одного.

Сегодня они собрались вместе, впервые, под одной обложкой Книги памяти. При жизни они и представить себе не могли, что их может объединить. Их объединила гибель на поле боя за Родину.

Принято думать, что погибших чтут и помнят их дети. Но если они есть, дети. А если нет? Кому передали свой опыт жертвенной гибели ребята 1923 года рождения, которых осталось в живых после войны только три процента?

Как ни печально, именно «молодые, необученные», призванные в первые месяцы и брошенные в громадные дыры разрывов стратегической обороны на почти поголовную гибель, — именно они своею безымянностью и ребяческим непониманием близкой смерти дают памяти о войне самую высокую и чистую крепость спирта. Именно их, нецелованных и в жизни ни с кем не дравшихся мамкиных сынков, выискивает глаз из списка погибших и смаргивает внезапно подступившие слезы — кто их вспомнит?..

Может быть, Книга памяти — это возможность для погибших в войну все-таки выжить? Может быть, чей-то взгляд на строчки коротенькой жизни — это рука, выхватывающая человека из небытия? А иначе зачем людям литература, красивые здания, фотографии, женские улыбки на полустанках, поляны одуванчиков, муравьиные процессии на дне окопа, песня «Ночь коротка, спят облака...», далекий гул танковых моторов, от которого останавливается кровь, и последнее письмо из дома в нагрудном кармане?..

Ночь памяти светла.

Сирота

Атеизм приобретает смысл только в том случае, если Бог существует. Если Бога нет, то ни атеизма, ни смысла также не существует. Атеисты, если отбросить из их числа подлинных зверей, — глубоко несчастные люди, полные си-

роты. Подлинные же звери — это те, кто примазывается у любой идее, позволяющей им жрать, пить, рвать — садистически.

Только ли неверие в Бога укрепляет атеистов в их горе? Видимо, нет. Это тот тип героических, пафосных людей, который так любим со времен непослушного Каина *человечеством*. Человечество в данном случае — это молчаливая толпа, наблюдающая перебранку заведомо сильного (Бога) и заведомо слабого (атеиста) и — вполне готовая исполнять любые пожелания сильного — душой на стороне слабого.

Когда Розанов говорит о неполноте сотворения мира, об ошибке Отца, которую тот заметил слишком поздно, это и есть голос сироты, желающего верить в то, что родители живы и разыскивают его. Как это ни издевательски звучит.

Хотя, в сущности, весь атеизм стоит именно на сиротстве, на страхе смерти. Страдания человека больше умственные, чем физические. Физически я могу ощущать счастье бытия в тарелке каши и смене погоды. Но если смерть — благо? Где тогда оказываются обиды атеистов? Если смерть — это финишная лента, за которой победителей ждет ликующая толпа друзей? А сейчас они страстно болеют за тебя — потерпи, ну? еще немного!

Но если жизнь для меня — изумительна, если я наслаждаюсь даже ее неполнотой, скудостью, если не хочу терять ее, не хочу *иной* жизни (а эта безусловно конечна)? Кто же я, как не сирота?

Встреченным и забытым

Разве они умирают? Они живут так же, как жили. Только без меня. И я для них как будто умер. Даже не представить — неужели они живут без меня?

Я почти никого не встречаю из тех, с кем когда-то разговаривал, пил вино, целовался, давал деньги в долг, выслушивал, снова говорил... Неужели они живут сами по себе? Без меня?

Пока связан с ними дрянными отношениями, пока они знают мой адрес, всегда можно ждать их прихода.

А знакомые в поездах, на вокзалах, в столовых, в пивных, на юге, на рыбалке, в Сибири, на Кубани, в Пикалево, в США, на Кубе, в городе Балее, в тайге под Братском, в Москве, в селе Белоногово, во многих домах в Петербурге — тоже живы? Мне их не найти. И их лица стерлись. В памяти остались моментальные фотографии. Как будто видишь их боковым зрением и никак не рассмотреть детали.

То вдруг выплывает рыжая челка без лица, лицо смазано. То чей-то сапог в гармошку. Длинный пролет цеха и человек в брезентовой робе с монтажным поясом. Кто он?

А стоит начать вспоминать вечером, лежа в постели, просто — вспоминать, напрягать память, — и словно льдины, меняю одна другую, сталкиваясь, рассыпаясь, наползают какие-то дома, деревья, дети, женщины, старики, военные, собаки, стулья, реки, одуванчики...

Ах, как дорого я дал бы за один только фильм о детстве! Как жадно, тщательно я смотрел бы его снова и снова, раз за разом!

Но нет. Одни фотографии, и то боковым зрением, на миллионную долю секунды.

Правила поведения для олигарха

Когда мне говорят: олигарх достоин уважения за то, то он такой умный, я в ответ рассказываю о своем понимании начала рынка. Вначале возникают различные беспорядки и энтузиазм, а затем неотвратимо народ бросается грабить магазины. Да, олигарх оказывается умнее всех — он берет кассу и не разменивается на мешки с сахаром. Однако надо помнить, что в грабежах участвуют не всегда самые умные и уж наверняка не самые приличные люди. Так с какой стати мне, человеку с чистой (надеюсь) совестью, выступать в защиту

олигарха, попавшего в беду? Почему олигарх не создает в обществе благоприятный для себя климат, а вопит только тогда, когда его бросают на нары? Мне кажется, потому, что он не знает ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЛИГАРХА, которые я предоставляю ему совершенно бесплатно для того хотя бы, чтобы и он понял: дарить всегда приятнее, чем отнимать. Первое правило поведения для олигарха: никому не говори о том, что ты олигарх. Второе: если информация все же просочилась, делай вид, что деньги жгут тебе руки, что ты хочешь от них избавиться (спонсорство, раздача прохожим, строительство храмов). Если тебе это недоступно, то третьим — и основным — правилом поведения для олигарха является пластическая операция и приобретение двойников.

Итак, жизнь олигархов отвратительна, а существование бесцельно. Поэтому они совершенно не задумываются о высшем, заводят молоденьких жен и рвутся в парламент. Бездумное поведение олигархов стало причиной того, что вместо любви и обожания народа за реализацию его вековой мечты — сказки «По шучьему велению» — их явно ненавидит все тот же народ и тайно — все без исключения подчиненные. Таков суровый смысл недостаточного воспитания олигархов. Но как совместить страсть к накоплению и жажду расточительства? Как добиться народной любви и одновременно этот же народ потихоньку доить? Для подобной высоты (а это четвертое, и последнее, правило) олигарху необходимо научиться спать на гвоздях. Некоторые, как известно, получают от этого удовольствие.

Комментарии к «Дон Кихоту»

Почему раз за разом мы обращаемся к текстам, которым около пятисот лет, и каждый раз находим там что-то неизвестное и созвучное нашему сегодняшнему дню? Больше того, иногда кажется, что Гамлет или Дон Кихот станут понятны только в будущем. Но это неправда. Каждое истинное художественное произведение содержит в себе тайну, понять которую невозможно, потому что художественное не объяснить рациональным. К ней, к этой тайне, можно только приблизиться.

Казалось бы, какое нам дело сегодня до сумасшедшего из Ламанчи? До его забавного путешествия к Дульсинее вместе с полоумным Санчо? До его сражений с ветряными мельницами, которые вошли в поговорки и только там им место? При чем тут Россия начала третьего тысячелетия — нищая, злая страна, не сознающая своего поражения?

При том. Величие Сервантеса в его точности. Расстановка этих трех фигур — Дон Кихота, Санчо Пансы и Дульсинеи — настолько универсальна для современной цивилизации, что производит впечатление окончательной. Здесь есть несколько психологических узлов, основных для европейской традиции и не чуждых традиции восточной.

Прежде всего это узел — интеллигенция и народ. В «Дон Кихоте» он ставится впервые в том современном смысле, который мы в него вкладываем. Именно русский путь здесь совершенно очевидно ложится в ткань романа. Когда интеллигенция в лице идадьго и народ в лице Санчо, как две не смешиваемые субстанции — масло и вода, — вдруг в одном порыве скачут вдаль для того, чтобы облагодетельствовать все человечество, разве это не напоминает нам нашу историю двух последних веков? Почему идадьго, книжный человек, должен сражаться с мельницами? Почему крестьянин Санчо должен скакать у стремена, если он давно сложился как обыватель и семьянин? Нет ответа.

Ответом может быть только результат «героического» похода. Но разве губернаторство Санчо не пародирует ленинскую кухарку, управляющую государством? Разве обычная трудовая жизнь, которой жила Испания во времена Сервантеса, не производит впечатления какой-то пошлости и приземленности, когда по ней скачут два романтических безумца? Если бы история могла хоть как-то учить последующие поколения, то вряд ли Россия повторила бы путь Дон Кихота в его не бутафорском, а кровавом варианте.

Вторая русская параллель роману — это отношение Дон Кихота к Дульси-нее. Причем Дон Кихоту совершенно не важно, как относится к нему Дульси-нея и даже какова сама Дульси-нея. Ему необычайно важен лишь сам образ, ради которого он идет на подвиги. Этот сложный путь обоготворения женщи-ны, начинающийся в раннем христианстве с образа Богоматери и продолжаю-щийся в католицизме испанского типа, варварски преломленный в рыцарской традиции и, по существу, изжитый в современном западном обществе, нашел свое полнейшее развитие далеко на востоке, в России. Этот душный путь слу-жения Прекрасной Даме, парадоксальным образом начатый совершенно зем-ным Пушкиным, пародийно продолженный Тургеневым и достигший у Досто-евского своего апофеоза в князе Мышкине, затем закрепился в философских схемах Владимира Соловьева и истаял в воздухе у Блока все в той же Прекрас-ной Даме. Таким образом, сложная фигура обожествления женщины началась на Востоке, на Восток вернулась и здесь же умерла. Сегодня в России мы ви-дим как бы реакцию на ненормальность обожествления. Разделись все, кто только посмел это сделать. Как будто люди тайно и безрезультатно вождели и вдруг распоясались. Как будто страна стряхнула всю свою историю как на-липшее тесто с пальцев и встала в позу недоросля.

И здесь мы подходим к третьему психологическому узлу испанца, изготов-ленному как будто специально для России. В отличие от первых двух тупиков-ных, он выводит ситуацию в бытовую сферу. Это узел, соединяющий Санчо Пансу и Дульси-нею. Кажется, что Санчо даже не подозревает о страстях, сжи-гающих господина. Он, этот Ваня, Ганс, Жак, по детской и неотвязной стра-сти простых людей к путешествиям увлечен сказочным сюжетом перемены уча-сти, не более. Предки Санчо жили так однообразно, и сам он жил ровно, раз-меренно, протяжно — и вдруг такая метаморфоза! рыцарь в латах и с копьем и рядом с ним столь же грозный Санчо! Есть от чего повредиться рассудком. Не так ли в Красной Армии времен Гражданской войны появлялись неграмотные комдивы с широкими простодушными физиономиями? И разве их «Гренада», которую они хотели освободить для местных крестьян, так уж далека от Ла-манчи? А Дульси-нея не могла стать комсомолкой, которой дан приказ «в дру-гую сторону»? Не могла. Потому что Сервантес сумел удержаться от романти-ческих восторгов русских народных демократов и железной рукой «снизил» до нормы не только Санчо, но и Дульси-нею. Эта парочка обывателей, может быть, и бледна по сравнению с идеологическим безумцем и почти не связана друг с другом по сюжету, но как она приросла к жизни! Это две рабочие ло-шадки, везущие цирковой шарабан романа. В них нет ни претензий, ни позы. В них будущее. А Дон Кихот... Есть странные звуки в ночах Мурсии и Новой Кастилии, когда человеческое сердце ответно вздрагивает на их темный зов. И кажется на миг, что зов этот светел и горяч. Но снова невнятица ночи, снова гордыня, снова тщета.

«Шумит, гремит Гвадалквивир...»

Лев Толстой идет за плугом. Чехов лечит крестьян. Флобер оторвался от рукописи и слушает в Круассе, как стучит дождь по крыше.

«Дело надо делать, господа!»

ВЛАДИМИР ХОЛКИН

*

«КОЛОБОК»: СМЕРТЬ ПОЭТА

Русские сказки, надиктованные домашностью и бытом, от века тянули в пробирающую дрожью полынью судьбы. В истории Колобка, созданного из остатков, из пыли, из последних, впрочем, праздных усилий, — проговаривается непреклонная вера в обреченность лукавых игр с нею — с судьбой.

Вкратце петлистое путешествие Колобка — это история бегства. Бегства от судьбы, полное радостного желания ее обойти, перехитрить, объехать на кривой. Вот эта история.

Старик от праздности чувств предлагает старухе испечь Колобок. Старуха вначале отнекивается, обинуясь и скудостью запасов, и пустотой коробов. Но неугомонный старик настаивает: «А ты по сусекам помети, по коробу поскреби».

Стало быть, происхождения Колобок досужего и случайного. Он возникает и рождается не как итог дельного замысла, а как плод невзначай родившегося в стариковой голове праздного, затейного помысла. Пустяка, взбредшего на ум. Пустяка именно шального, ибо старику вполне достоверно вняты что «изобилие» домашних закромов, что хозяйская сметка бывалой стряпухи. Но вот закавыка. Помысел, столь случайно, шало и легковесно сказавшийся, начинает отраднo и увесисто воплощаться. Прямо под рукой оказывается не только мука, но и сметана, и масло, и даже дрова. Здесь впервые исподволь возникает мотив угодности героя судьбе. Это она, расположенная к нему судьба, подсовывает и дрова, и масло, и сметану. Такое нежданно, но своевременно и уместно полное подспорье — это не только добрые знаки, судьбой по-домашнему и свойски подаваемые старикам. Это и первый зов вольной волюшки для будущего глазастого и певучего непоседы.

И вот Колобок сотворен: ладно катан, спело испечен и на окошке «стужон». Отсюда, с подоконника, в виду огромного Божьего света, и начинается — сначала самостоянье и самолежанье, да вдруг... и самодвиженье Колобка: «Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился».

В этом «вдруг» многие важные повязаны нити и в узел сведены многие значительные начала и концы. Сказочное это «вдруг» дребезжит колокольчиком — посулом судьбы. «Вдруг и покатился» — это пока вполне безобидная, а в предчувствии радости нечаянных возможностей и безоглядно шалая проба самостоятельного движения в нетерпеливом споре с предначертанным покоем. Покоем покорности и ожидания исчезновения. А «покатился» — значит, бежал. Бежал от извне данной и со стороны провозглашенной — в житейски благодушном почине старика — судьбы к судьбе, звонко и ликующе прозвучавшей, протрубившей изнутри, в себе самом. К судьбе беглеца, искателя путешествий, бродяги. И не возникают, и не встречаются в радостно ладные, первоначальные прыжки его ни догадки, ни сомнения, ни препинания опаски. Только чистый восторг от движения как такового.

Восторг будто смакуется оттого, что выслежено движение подробно, начинаясь и длясь перечнем вполне обиходным: «...с окна на лавку, с лавки на

Холкин Владимир Игоревич — театральнoй режиссер. Родился в 1946 году. Окончил Ленинградский институт культуры. Публиковал статьи в журналах «Русская литература», «Звезда», «Нева». Деконструкция «Колобка» — из цикла эссе «Русские народные сказки».

пол, по полу к двери, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца во двор, со двора за ворота... дальше и дальше». Длится эта череда так долго для того, чтобы завершиться главным, уже поверх быта сказанным словом: «дальше и дальше». В Колобковом этом скоке — и удача, и удалство: вот на чем он кроме сметаны «мешон».

Обыденные, дотошно перечисляемые подробности его нисхождения в жизнь отнюдь не напрасно так длинны (если держать перед глазами все, малое совсем, поле сказки). Это — постепенные ступени судьбы. Не случайно прыжки и качение Колобка начинаются сверху вниз — с кущего подоконника в густоту дня и дороги: в гущу жизни. Их (этих ступеней) счисленный, зримый перечень завершается разлитым в неведомой своей безбрежности и философски глубоким «дальше и дальше». То есть дальше неизвестность, дальше «видно во все стороны света». Но «дальше и дальше» — это еще и подначка судьбы, ее дразнящий вызов. Оно, это «дальше и дальше», и вызывает очевидную легкость свободного, по собственной воле, движения. Движения, из которого уже исключено — на окне бывшее еще возможным — «вспять».

Так удачно, весело и бесповоротно завершается прыжок — приступ к воле и движению по пути-дороге. «Катится Колобок по дороге». Приметим себе, что катится он не по лесной тропинке, не меж деревьев и кустов, не по кочкам болотным и буреломам непроходимым, а по накатанной, добротной, верно-надежной дороге. Вот на этой-то самой гладкой и весело-безопасной дороге напоминает ему о себе впервые та, иная — «извне другая» — судьба.

Встреча с Зайцем и изумляет, и веселит, но и приметно уверяет Колобка в твердости очерка собственной «самости». Судьба сподобила ему заманчивый, завораживающий, но и предостерегающе-опасный гостинец: дар самовыражения, порыв к творчеству. В ответ на плотноядно-несложную угрозу Зайца Колобок вдруг раздражается песней. Песней — жизнеописанием своего «я», изначально угодного судьбе, а потому удачливого и удалого. Замечательно, что предваряет он свой залиvistый, вдохновенно-поэтический монолог отважным предложением: «Не ешь меня, косой Зайчик! Я тебе песенку спою». В этой незамысловатой и прозрачной убежденности, что песенка (поэзия) очевидно предпочтительнее еды (сытости), так и сквозит, так и слышится подтвержденная легкой удачей бегства и гладью свободного бега самоуверенно простая радость нашего жизнелюбца.

Песенка, впервые спетая Зайцу, — это не только добытая опасностью формула спасения. Это своевременно и уместно рождающаяся импровизация — смелый обманный ход игрока; игрока, здесь и сейчас играющего с судьбой и стремящегося судьбу обойти, с нею разминуться. Причем не коварно обмануть и не грубо прекословить, а именно разойтись по-хорошему. Встреча с Зайцем — первый пробный шар судьбы и первый же успех резвящегося на нечаянной воле, всюю играющего песнопевца. Веры в себя, в возможность «объехать судьбу» на кривой бахвальства — веры этой прибыло. Но главное, прибыло веры в спасительность песни. И это оказывается важней остального.

А дорога длится, стелется ровной скатертью, дорога стремительная, мягкая, нестрашная. Яркие цветы по обочинам, трава зеленая, высокая. Лес, птицами и листьями полный. Хорошо! И вдруг... «навстречу ему Волк». Новое обличье внешней (пока еще внешней!) судьбы. Однако вот удача — Волк слово в слово, со слышной похожестью в тоне, явно торопит заячью скороговорку: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» Однако, хоть и в свирепом обличье, слово звучит вполне узнаваемо, а потому почти не пугает, врасплох не застает. Ни бросаться наутек, ни даже сочинять во спасение уже ничего не надо: Колобок заговорен от съедения-гибели. Заговор о том, как создан и победно испытан: «Я по коробу скребен...» И дальше, совсем уверенно: «Я от дедушки ушел...»

Действенность однажды под знаком беды найденной, а там и добротной, словно печь, сложеной песни — действенность эта, в доброй своей службе Колобку, безотказна. Полный уверенного достоинства, гордый легкостью, с которой он обходит судьбу, наш вольно странствующий певец спешит дальше.

Тут стоит, правда, заметить, что Колобкова уверенность в себе, такая вначале стойкая, начинает исподволь превращаться в самоуверенность, а обнадежившая вдруг поэтическая удача — в поспешно опрометчивую и слегка заносчивую убежденность во всемогуществе слова.

При встрече с медведем он уже не предлагает, несмело об этом вопрошая, песенку спеть. Он ее не спросясь поет. Поет, предваряя замечательной в своей психологической (это в простейшей-то, принято думать, сказке) достоверности, лихой усмешкой: «Где тебе, косолапому, съесть меня!»

Здесь уместно бы остановиться и нам, и Колобку. Но Колобку такую возможность сюжет не оставляет, хотя ему этот привал ох как нужен. Ему бы и впрямь сейчас, после ладной победы, оглянуться — насторожиться-удивиться — и легкости бегства, и непринужденности беглого стихотворства, особенно при этом же изумившись «избежности» судьбы. Но не остановился, но «и опять укатился». А мы, пока он катится, отступим на обочину рассуждений.

Поразительно, как в столь коротком времени разворачивается столь долгое и обширное пространство. Пространство отмеренной судьбой дороги и пространство летящих с подорожной испытующей судьбы ее обличий и подстановок. Но в этом сжатом до неотменимости события и поступка сказочном времени удивляет не только точность скупых на слова разговоров. Удивляет постепенное усовершенствование нашего героя, поступательность его созревания; его, так сказать, стремительно зреющие плоды успеха. Ибо он по всем приметам созрел, поспел для судьбы. Знаки его обоснованно и победно растущей беспечности схоже легки, но подспудно всякий раз осуществляются не просто. Потому что все они суть выражения роста, вернее, прорастания уверенности в себе и в благе своей удачи. Однажды впопыхах, в испуге и в... озарении найденное спасительное слово колдовски предстает годным многожды.

Событийные знаки чувства выстраиваются, как и положено в сказке, линейно, но сюжетно щедро, поместительно и без лишнего тонко. В сказке целостно соблюдены и устройство, и устав композиции. Отчетливая в ясной своей простоте, подробная завязка, в которой стройным порядком укоренены и спор стариков о сотворении Колобка, и его новоиспеченный облик, и его спорный, творческий побег. Далее следует переход, а точнее, «перескок-перекат» к основным событиям сказки, где простодушно, но и хитро явлен характер героя: его черты и свойства. Жизнерадостное любование собственной явью, решительная готовность к поступку, самоуверенное упорство и творческая воля к жизни, заносчивая наивность и — что особенно важно — вера в хранящую песенку. И упоение вольным бегом. Упоение, в котором немалую роль играет идиллическое, почти идеальное согласие-совпадение ровной дороги и благосклонной судьбы.

Широкое (в узких пределах текста) преддверье сказки полнится домашним обиходом, сама косность которого никак не предвещает ни превращения обреченного Колобка в беглеца, ни опасных его встреч, ни рокового исхода.

В этом еще одна, в поэтике этой сказки живущая, ее особенность. Ведь зачин, преддверье, дан здесь по-семейному будничным. Ведь затея приготовления Колобка возникает не из нужды, а из примнившегося старику смака; возникает как утеха в скуке. В этом зачине неспроста убраны, скрыты, утаены любые знаки будущего преображения. Рождение Колобка не предопределено, не обязательно — оно переменное. Это игры и приманки судьбы.

Сведя и внезапно столкнув между собой два плана — бытовой и волшебный, намеренно не подготовив нас к такому их резкому сближению, сказка неожиданно сворачивает с пути описания стариковского житья-бытья. Единственно сложным, смыслообразующим героем сказки становится Колобок. Сюжет оставляет сыгравших свою композиционную роль стариков. Страдательный, пассивный залог существования героя и грамматически, и по существу превращается в залог действительный и активный. Колобок не только создан, он сотворился, ожил. Он движется, разговаривает, поет, и, главное, он отмечен смысленностью самобытного поведения. Он способен к свободному

путешествию, уверенный в его спасительности для себя и угодности согласной с ним судьбе, надвое покамест не разделившейся.

Центральная часть этой искусной сказочной композиции держится последовательным соединением трех логически и семантически вполне подобных эпизодов. Но внешняя их похожесть на самом деле не так уж проста. Дело в том, что напряжение бега и ухищрений сочинительства не возрастает от встречи с Зайцем к встрече с Медведем, а, наоборот, ослабляется, падает и (после ослепительно дерзкой удачи поединка с Медведем) сходит почти на нет.

Здесь отметим редкую в сказках ритмическую своеобычность: не закручивание тугой пружины внутреннего сюжета, а, напротив, очевидное ее ослабление. Нисхождение ритма от предельно напряженного состояния смертельной опасности в поединке с Зайцем к почти беззаботной победе над тугодумом Медведем. И кажется, что обратная эта направленность напряжения — то есть ослабление страха в дорожных встречах Колобка — парадоксальна не только внешне. Она порождена соотношением подлинного лица судьбы и личинами тех ряженных, которыми она являет себя перед беглецом, искушая его доступностью придумок и уловок. Но и сама судьба предстает — пусть не надолго, пусть на миг — смущенной. Она сначала не на шутку обеспокоена бесчинной Колобковой отвагой и, спохватившись, утверждает его в победной силе находчивого слова. И добивается искомого — порядком ослабляет его взыскательность к самому себе. Ибо, наделив его самоуверенностью и бахвальством, судьба лишает победителя двух важных чувств: опасливости и сомнения. Именно полная утрата этих чувств и решает его гибель в конце сказки.

Свое реальное присутствие судьба заявляет строго, последовательно и сообразно правилам игры. Но порядок этот спутан одной сюжетной странностью. Дело в том, что насколько обоснован тем самым «вдруг» переход из домашней заурядности в мир ожившей дороги, настолько же дразнит своей нелепостью переход к «лисей» части сказки. Переход к короткой повести о завершении бегства, бега, пути и собственно жизни нашего занесшегося в своем вольнолюбии героя. Переход с узорчатой ткани хитроумных, но вместе и честных певческих побед; переход с цветной скатерти-дорожки на черную, скорбного блеска, поверхность носа кумы Лисы — последнего ряженого судьбы. Той судьбы, что не обходима, не избегаема и не объезжаема «на кривой».

Конец-венец сюжетного столкновения противоречив как прием, неожиданно нарушающий игру удач и песен героя сказки, но безусловно естественно и достоверен как исход. Исход в печальную бесспорность и добытую опытом ясность «афоризма житейской мудрости»: от судьбы не уйдешь.

Отдохнув на обочине широкой дороги, по которой пока еще продолжает катиться наш успешливый, потерявший всякую осторожность, самоуверенный и удачливый беглец (беглец, заметим себе, уже превратившийся в ветреного гуляку), поспешим ему вслед.

Встреча его с Лисой предрешена. Судьба, притворно скинувшись напоследок плутовкой и укрепив на своем лице маску, завершающую праздник искушения, выказывает Колобку свое не притворное, а истинное восхищение. Приглядимся и прислушаемся прилежно-внимательно к скромному в своем достоинстве окончательному монологу судьбы. Это и вправду монолог, разделенный надвое вдохновенной песней уже глуховатого к знакам новых встреч Колобка. Монолог этот замешен на поощрении и испытании. Поощрении тем более откровенном, что судьба-Лиса все знает наперед, и испытании тем более прикровенном, что она действительно Колобку дивится. И оттого так утонченно почительна. «„Здравствуй, Колобок. Какой ты хорошенький!“ А Колобок запел».

Тут остановим сказочный говор еще раз. Спросим: отчего Колобок принимается вдруг, без нужды, распевать удалую, себе величальную «песню»? Поет, не видя опасности, не замечая и даже не слыша ее. Более того, поет в ответ на радушно приветствие и признательную похвалу. Ведь первые, такие неприличные, такие не похожие на грубости Зайца, Волка и Медведя приветственные слова Лисы ни оснований, ни повода для дерзкого, боевитого самохвальства не дают. Нет, Колобок отвечает явно невпопад, будто не слыша, а только

видя Лису. Казалось бы, остановиться ему сейчас. Передохнуть и перемолвиться словечком-другим с доброжелательной умницей Лисой, заодно посетовав на неугомонные аппетиты иных-прочих. Искать и найти у нее сочувствия радостям и восторгам, сопутствующим ему в вольном беге и свободном песнопении. Все это было бы так своевременно сейчас, в ответ на неожиданное: «Здравствуй, Колобок. Какой ты хорошенький!»

Но здесь ударение на другом слове, на ином смысле. Здесь дело идет о «свободном песнопении» и спаянной с ним уверенности в спасительном волшебстве песни как таковой. Прослушав ее, судьба в лисьей маске поощряет певца еще одним, последним, испытанием. Испытанием-отзывом: «Какая славная песенка!» Содержателен здесь не знак одобрения, а сама этого отзыва новизна и, в череде других встреч, ошеломляющая непривычность.

А ведь Колобок искушен: бегство его, благодаря добытому и уже освоенному опыту, превратилось (для него по крайней мере) в *свободное* романтическое путешествие. Путешествие тем более ценное, что своими «победно пройденными вехами» оно крепко удостоверяет свойство и умение слагать стихи как способность хранить и уберечь жизнь от беды. Так выясняется, что наш вольный поэт одарен сложнее — разговорчивей, душевно пестрее и находчивей, — чем первоначально представлялось судьбе. Поэтому сначала она, не особенно даже ухищряясь, ловит Колобка снастью вполне испытанной — сетью возрастающих в своей величине и свирепости масок, незатейливо-грубым устрашением. Способ этот насколько сказочен, настолько же, в простоте своей домашней, и привычен. Судьба не слишком озабочена хотя бы видимым разнообразием поведения зверей — Зайца, Волка и Медведя (строже говоря, их масок, эмблем). Но весь этот выводок не очень обескураживает шалого от «вольного ветра» беглеца. Оторопел он по первости, да и то лишь на миг, встретив Зайца. Однако своевременно вспыхнувшее вдохновение выручило, а песнопение положило начало чувству надежности и надежды.

Зато озадачена и неспокойна, обернувшись Лисой, судьба. Импровизация беглеца вынуждает ее прибегнуть к тонкому, почти изысканному для скромного пространства сказки многословию и стилистической сложности. Лиса не только выслушала Колобково произведение, но и в самых доброжелательных словах его похвалила. И лишь смиренно просит снизойти к ее немощи и, дабы она смогла песенку как следует расслышать, спеть ее повторно и совсем коротке. Колобок же — этот беглец, поэт и смельчак, — тоже не расслышав (на свою беду — действительно не расслышав!), не углядев, не почуяв в этой просьбе незнакомого прежде знака судьбы-дороги, — оказывается в ловушке.

Но в ней оказывается уже не простак. Ведь восторженно-поэтическое простодушие нашего «путешествующего в прекрасном» вынужденно в этом путешествии усложняется и суровее. Колобок оказался не столь однотонным простецом, каким дотоле числила его судьба. Везучее бесстрашие этого вольного сочинителя, ветрено-порывистое, мятежное отношение его к предназначенной покорности заставляет судьбу расшевелить иные свои возможности. Поступки судьбы тоже, сообразно возросшей неожиданности поступков нашего героя, заметно усложняются. И только дополнив свою жесткую назидательность видимостью теплоты к беглому страннику, судьба разворачивает его и сталкивает нос к носу с собственной красноречивой реальностью. На манок тонкого, изящного понимания Колобок-песнопевец откликается. Откликается, отзывается, но и окончательно глохнет к голосу судьбы. Платит же он за эту глухоту полностью, безвозвратно и с лихвой — свою жизнь.

Такая обыкновенная — хоть и сказочная — история. Печально ёрничая и слезно дурачась, все случившееся в сквозном, стремительном и кратком мире сказки с ее одаренным, но незадачливым героем так и подмывает назвать: «Гибель поэта». Или уж совсем торжественно: «Поэт и судьба».

Великий Новгород.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ



У АСТАФЬЕВА

Дорогой Дима! Я с 4-го числа в деревне. Погода у нас ужасная. До сих пор холодно, идет снег, дождь, кругом сыро, непроглядно, — такая погода — большой стимул для нашей работы, одиночество и плохая погода много помогли русской литературе, и Болдинская Великая осень была не у одного Пушкина.

Я заработался до колик в сердце. И Марья моя Семеновна тяжело заболела, надо бы в город подаваться, а она не велит: «Чем ты мне поможешь-то? Работай!..»

19-го собирается приехать, дочери исполняется 45 лет, так надо провести ее на кладбище. Не знаю, как она выдержит и дату эту, и кладбище. Ну ничего, как Бог...

Конечно, был бы ты рядом, кое-что в материале почистили бы и поправили, а так попрошу тебя к фамилиям Гроссмана и прочих добавить: Василь Быков, Константин Воробьев, Иван Акулов, Юрий Гончаров, Евгений Носов, не ссорь меня с моими друзьями живыми и мертвыми.

Вася мне один раз звонил, сказал, что отобрали у него пистолеты в Домодедове, и все. Или он стесняется, или телефона здешнего не знает, но адрес-то известен же. Сообщаю тебе деревенский телефон — 2-70-55 (через Дивногорск Красноярского края) и желаю всего хорошего.

Адрес мой здешний — 663081, Красноярский край, Дивногорский р-н, село Овсянка, ул. Щетинкина, 26.

Поклон твоей супруге, поцелуй девочек.

Р. С. Осталось у меня для второго, очень емкого и трудного, захода 150 страниц, пройду, отдохнуть стану, надеюсь, к той поре и у нас весна наступит — который год нет весны, вот чего мы с природой понаделали, и немудрено — в Сибири сто с лишним водохранилищ, из них 19 самые, конечно, в мире великие и самые ему нужные, особенно нам, около них замерзающим, от простуд и гниющих легких погибающим...

Обнимаю — Виктор Петрович.

16 мая 1993 г.

с. Овсянка.

Это письмо осталось единственным, полученным мной от Виктора Петровича. Продолжения не было. Свела жизнь на несколько дней и развела.

Прошло всего десять лет, но о некоторых деталях не сразу и вспомнишь. Какой материал мы должны были «почистить и поправить»?.. Очевидно, для вологодской газеты «Русский Север». Интервью для «Комсомольской правды», за которым я и приехал в Красноярск в апреле 1993-го, к тому времени уже вышло. Сыпали вопросы на Виктора Петровича мы вдвоем — я и тогдашний собственный корреспондент «Комсомолки» по Красноярскому краю, мой товарищ еще со студенческих лет Василий Нелюбин. Разговор шел о войне, об астафьевском романе, который тогда еще был в работе. Записали мы несколько кассет, двое суток расшифровывали, перепечатывали, клеили-монтировали. Получилось страниц двадцать — не так уж и много.

Астафьев относился к Васе по-отцовски нежно, любил его и интервью свое приехал вычитывать домой к Нелюбиным. Вася по такому случаю налепил, наготовил пельменей, никого не допуская к плите, в том числе и свою жену. Виктор Петрович достал очки, взял текст, закрылся в комнате. Проходит полчаса, час — не выходит. Пельмени стынут. Когда миновало часа полтора, стали уже волноваться не за пельмени, а за старика — все ли в порядке? Заглянули осторожно — сидит правит, на нас рукой машет. Через два часа вышел, утирая платком пот со лба: «Ну, умучили вы меня...» Потом глянули и приуныли — по новой все надо перепечатывать. На каждой странице вьется, ползет по полям убористая правка.

Еще сутки молотили по очереди на машинке. На другой день Вася улетел в Москву, увез в редакцию текст. Обратного он должен был привезти из столицы газовый пистолет для Виктора Петровича — вот откуда устрашающее упоминание о пистолетах в письме. Время тогда наступило самое разбойное, да еще и не свыклись, как сейчас, с уголовщиной. Чувство незащитности унижало и непривычно саднило душу. Даже такие бывалые люди, как Виктор Петрович и Марья Семеновна, жили в ежеминутном опасении за внуков, которых им одним на старости лет пришлось поднимать на ноги. И вот Виктор Петрович искренне обрадовался, когда мы пообещали ему привезти газовое оружие для самообороны. Наивно думалось, что такой пугач выручит в случае чего на темной улице.

Вася улетел, а я остался в Красноярске дожидаться рейса на Волгоград, куда мне тогда следовало отбыть по распоряжению редакции. Самолет летал раз в неделю. Нашелся повод еще два дня подряд бывать у Астафьевых в Академгородке. От тех дней, к счастью, осталась дневниковая запись, и нет нужды мучительно припоминать, что и как было.

«...Ехал к Астафьевым через весь город, так долго — край света какой-то. Стоял на одной остановке, на другой, пересаживался. И везде видел трубы, торчащие из земли, там погреба для картошки. Будто под землю ушел целый народ... Особенно эти землянки с трубами поразили у роддома, где я ждал автобуса. Роддом большой, красивый, но, видно, пустой — никто не входит, не выходит, и в окнах никого...

Знакомый уже двор, подъезд. Почтовые ящики почти все на замках висят, только у Астафьевых нет замка.

После наших деловых разговоров Виктор Петрович садится у телевизора, там мексиканский сериал. Приглашает меня сесть рядом. Сегодня он тих, грустен. Просит кланяться Вологде. „Но все-таки хорошо, что мы переехали. Марья Семеновна не хотела, но я настоял. Три-четыре раза в жизни надо настоять...” Виктор Петрович невозмутимо смотрит на мексиканцев. Иногда мы молчим, и это вовсе не тягостно, но я ищу повод откланяться, пора и честь знать.

Входит седенькая, светленькая Марья Семеновна и сразу к окошку: „Где Поля-то? Пора бы...” Поля, внучка, ушла во двор. Тут и я засобирился, вызвался найти и позвать Полю. Пока Виктор Петрович подписывал книги, прикрутил голову лежавшей на пианино Барби, не могу видеть безголовых кукол.

Вышли в коридор. Виктор Петрович подает руку, я жму, а она, рука его, мужицкая, израненная, коряво пишущая мучительные строки — слабая, почти невесомая, я даже испугался. С виду-то он очень еще крепок, только на „брюхо” жалуется. Говорит, в Овсянке будет легче... Спускался по лестнице, когда Марья Семеновна окликнула: „Позвони, как доберешься... И Полю, Полю кликни...”

На дворе, возле горки, нашел Полю. Дед с бабушкой, говорю, зовут... Поглядела недоверчиво, но побежала к дому. Во дворах жгут прошлогодние листья. Ветер тянет дым к реке, за которой лесозавод, а выше — такое хорошее тихое небо. Дым мешается по цвету с тем последним снегом, что остается на горах, на просеках, меж желтоватых сосен. На остановке — кирпичный

домик, где абонементы продают, над дверью надпись масляной краской: „Нет диктатуре”.

Автобус тяжело развернулся, посигналил кому-то в сумерки. Прижав к себе пакет с книжками, я побежал к автобусу, к двум заморгавшим красным огонькам...»

Тогда, в 1993-м, Виктор Петрович сказал нам с Васей: «Вот закончу роман о войне — и возьмусь за сказку. Давно меня просят написать что-нибудь для детей. Напишу про собачку...» Мы, глядя на него, изработавшегося, обрадовались: вот это другое дело, Виктор Петрович, и правда — напишите сказку, а мы дочкам своим прочитаем. А то все про войну да про окопы... На том и расстались.



КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



ХРИСТОС И МАШИНА ВРЕМЕНИ

Три с лишним года Акунин твердит в самых разных интервью, что он беллетрист, а не писатель. Что пишет не для себя, а для читателя. Он никогда не употребляет таких слов, как «вдохновенье», «озаренье», он говорит «работа». У него нет «творческих планов» — есть «проекты» и «стратегия». Он признается, что «проект Акунин» не только литературный, но и «бизнес-проект». Наверное, если б он произнес: «Мое творчество», — ему бы тут же врезали: коммерческая литература. Но он *позиционирует* себя как беллетрист, создающий «высококачественный продукт» для тех, кто хочет от литературы сюжета и развлекательности, но брезгует книгами в кровавых обложках. А его подозревают в том, что ему мало быть успешным, знаменитым, популярным сочинителем элегантных запутанных историй — он хочет быть кем-то еще. Кем?

Когда в июле 2001 года Андрей Немзер в статье, посвященной двум романам фандоринского проекта, объявил, что душой Акунина владеет «одна, но пламенная страсть» — заверить «культурное сообщество», что не перевелись еще Великие Писатели Земли Русской и он — один из них, «учитель жизни, пророк, спаситель заблудших, решающий задачу претворения „жалкого лепета наивных предтеч“ (всей этой „великой литературы“) в светоносное слово истины», многим показалось: эх куда его занесло.

Как желчно заметил Александр Агеев: «Зря, зря Акунин помянул когда-то нехорошим словом „Пашку Немцера с Архангельского подворья“. Не надо обидчивых критиков провоцировать».

Теперь Немзер, кажется, имеет право торжествовать. В романе «Пелагия и красный петух» наконец проявились те претензии, которые критик по некоторым признакам обнаружил загодя. Все-таки свою версию евангельских событий писатель предлагает: «Евангелие от Пелагии». Не было никакого воскресения Христа, да и не распинали его вовсе, распяли другого, ошибочка вышла. И Иуда никого не предавал, а, напротив, — спрятал бродячего проповедника в пещере Масличной горы, завалил ее камнями, не подозревая, что это своего рода машина времени, «Особенная Пещера», из которой человек, разбуженный в рассветный час криком красного петуха, может быть выброшен в другую эпоху. Так и случилось: перенес петух бродячего проповедника из древнего Иерусалима в уральскую пещеру, из одного тысячелетия в другое, прямоком в Россию эпохи Александра III, где над пришельцем потешаются, хотя и здесь заводятся у него преданные ученики. Вот и Пелагия туда же. Бросилась за ним из России в Палестину, плыла на пароходе, колесила по пустыне, была сама на волосок от смерти, нашла его наконец, расспросила. Все сомневается: верить ей или не верить, что оборванец в грязном балахоне, перепоясанном синей тряпкой, шатавшийся по России и добравшийся до Иерусалима, мужик Мануйла, плохо говорящий по-русски и пытающийся завязать беседу возле Стены Плача на неправильном иврите, блаженный, юродивый, обладающий загадочной властью над людьми, — это и есть сам Эммануил-Иисус?

А вот обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победин поверил сразу и, подобно Великому инквизитору у Достоевского, поинтересовался: «Зачем ты пришел мне мешать?» Не задал бы он этого вопроса простому бро-

даже, не стал бы марать руки о какого-то сумасшедшего сектанта, обратившего нескольких мужиков в ветхозаветную веру, которую ни один иудаист не признает своей.

Да ведь и Пелагия уверовала и в конце концов сама Евангелие сочинила — так и называется последняя глава романа.

Андрей Немзер немедленно откликнулся насмешливой рецензией под назидательным заголовком «Совсем не благая весть», в конце которой серьезно отчеканил: «Евангелие есть Евангелие, Благая Весть. Весть „от Пелагии“, „от Митрофания“, „от Бориса“, „от Григория“, да хоть „от Михаила“ или даже „от Льва“ — не благая. В конечном счете это всегда злая ложь от того, кого Булгаков назвал Воландом».

Не слишком ли сильно? Акунин с его детективом как орудие Сатаны? Впрочем, и Немзер, похоже, посчитал, что «слишком сильно», и предпочел смягчить приговор, допустив возможность другой точки зрения, согласно которой автор проекта «Борис Акунин» «просто в игрушки играет» (в великие писатели рвется, деньги зарабатывает, гусей дразнит), а «судить литератора за сказки — глупо и пошло».

Зато никакой амбивалентности оценок мы не обнаружим в редакционной статье православного обозрения «Радонеж» (<http://www.radrad.ru>), где последний роман «выдающегося славянского сказителя Чхартишвили» осуждается наравне с кощунственной выставкой в Центре Сахарова и «окультистскими баснями» о потаенных годах Иисуса, которым посвятил четыре вечера Первый телеканал. При неспособности писателя «творить», — иронизирует автор, — остается обезьянничать. «Начав с остроумного (как почему-то кажется сказителю) перевирания Чехова и Шекспира, почему ж не закончить перевиранием Евангелия. И куда уж тут недотыкам из сахаровского Центра. Если один из них в свое время „распялся“, написав на спине „я не Сын Божий“, то мастер ретродетектива уже не стесняется вложить эти слова в уста Самому Сыну» («Сколько дивизий у Гарри Поттера? И сколько у нас?» — «Радонеж», 2003, № 2.)

Надо сказать, что эту несколько тяжеловесную статью достаточно активно обсуждали на форуме «Радонежа», и тут мнения православных посетителей сайта разделились. Одни напоминали о том, что и Булгаков с его «Евангелием от Сатаны» дерзко перекраивает Священное Писание, однако возбуждает интерес к религии и многих привел в лоно Церкви, и призывали к терпимости, другие замечали, что зуд к дурной копии Благой Вести поощрять не следует, тем более что «люди посерьезнее Чхартишвили... на этом горели». Третьи же сурово одергивали православных либералов: «Ваша ирония по поводу праведного гнева в сторону некоторых чертишвилей, дерзающих порочить святое, просто неуместна».

Что касается газетной критики, в инструментарии которой отсутствуют такие понятия, как *святотатство* и *кощунство*, то она констатировала мутации, происшедшие в акунинском проекте, разойдясь, как и положено, в их оценке. «Это лучшая книга Акунина за последние несколько лет: легкая, умная, захватывающая, с неожиданным и лихим финалом», — предваряет «Комсомольская правда» обширную беседу с Борисом Акуниным. «Радоваться не совсем удачному тексту — свинство. Напротив, восславим этого петуха — точнее, неправдоподобный, конфузный, не лезущий ни в какие ворота финал со вторым пришествием», — предлагает доброжелательный Лев Данилкин в «Афише», прежде находивший повод восславить Акунина отнюдь не из-за сострадания к «надорванному горлу» писателя, давшему петуха (в вокальном смысле.) А вот Сергей Кузнецов в «Русском Журнале», много раз сочувственно и обстоятельно писавший об Акунине, предсказывает споры вокруг романа: «Люди с трепетным отношением к христианству, очевидно, заклеят роман как святотатственный или сатанинский — текст Андрея Немзера тому прекрасный пример, — люди более спокойные будут указывать на жанровую путаницу, а простые читатели будут покупать, покупать и покупать».

Продать сейчас любую книгу Акунина нехитро — бренд раскрученный, хотя в звездном статусе кумира есть своя опасность. Любовь публики переменчива. За игру с Евангелием его, конечно, разлюбят далеко не все. А вот игр с полюбившимся жанром могут и не простить. Впрочем, игры ли это? Намеренная коррекция жанра, неудачные эксперименты или случайные просчеты?

Классическая для детектива ситуация — замкнутое пространство, в котором происходит убийство (поезд, пароход, дом, отрезанный от внешнего мира). Убийца — рядом. Кто он?

Монахиня Пелагия, возвращаясь на пароходе из Петербурга в родной Заволжск, ненароком сунула свой любопытный носик в окно чужой каюты посмотреть на сектантского проповедника, а тот конечно же — мертв. Очень неприятной смертью помер: раскроили череп столь жутким ударом, что глазные яблоки из глазниц повыкатились. Автор предусмотрительно сообщает, что доморощенный проповедник, собратья которого ходят в шутовских хламидах с синей полосой посредине, многим пассажирам корабля поперек горла. Для истово православных он вероотступник, не верит во Христа, проповедует какой-то иудаизм, для иудаистов — клоун базарный, подосланный попами, чтобы выставить веру иудов в комическом виде, для социалистов-сионистов и вовсе агент охраны. Наконец, при шарлатане находилась «казна» — деньги секты. Сколько мотивов убийства, сколько подозреваемых...

Поклонник детективов Акунина уже ждет, что шустрая Пелагия займется сбором вещественных доказательств и их анализом. Правда, о Шерлоке Холмсе она не ведаёт (хотя обер-прокурор Священного Синода Константин Победин ее с *Ширлоком* Холмсом в гневе сравнивает — не подобает, мол, монахини сыском заниматься), но дедуктивным методом раскрытия преступлений вполне владеет. Владела, во всяком случае, в предыдущих книгах Акунина из серии «Провинциальный детектив», когда расследовала жестокое убийство, похожее на ритуальное жертвоприношение («Пелагия и белый бульдог»), и странные проделки привидения в облике Черного монаха («Пелагия и Черный монах»).

Акунин по-прежнему перемигивается с читателем, который способен оценить игру слов «прокуратор» и «прокурор» и то, что слово «халява» на иврите означает раздачу молока для бедных, улыбнется осуществленной утопии политкорректности, прочитав про то, как филантроп Джордж Сайрус отстраивает Содом для гомосексуалистов, дабы и у них было свое государство (лесбиянкам же полагается Гоморра), оценит фамилию Шефаревич, которой награжден неколебимый в своей вере иудейский раввин, и будет искать с коллегами-акуннистами глубокий смысл в том, почему писатель одел в шорты юную социалистку-сионистку на полвека раньше, чем остальные женщины их надели.

Но само преступление и его хитроумная разгадка, кажется, перестают занимать писателя.

Ну в самом деле — встретила Пелагия, прогуливаясь по палубе парохода, усатого господина, который глупо над ней подшутил — вытащил свое левое око, так что монашка вскрикнула от ужаса, прежде чем сообразила, что у него стеклянный глаз. «Проказник сухо хохотнул, довольный эффектом. Глумливым скрипучим голосом сказал: „Экая фря. А еще монашка”». И этого оказалось достаточно, чтобы Пелагия, спустя короткое время обнаружившая труп, именно неприятного господина заподозрила в жестоком убийстве. Мало того — высказала свои подозрения «большущему начальнику, Сергею Сергеевичу Долинину», разъезжавшему по губернии с «важной инспекционной поездкой», — услышав о преступлении, он поднялся на борт парохода, чтобы лично возглавить расследование.

И что ж вы думаете — оказалась права. Именно одноглазый пассажир, глумливо продемонстрировавший монашке свое увечье, незадолго перед тем разможил голову незадачливому проповеднику и цинично задрал рубашку на мертвом теле. Вот по этой глумливой повадке Пелагия его и угадала. Право же, можно было бы господину сочинителю ну хоть какую-нибудь улику сы-

щице подбросить. Да и наемный убийца тоже хорош: вместо того чтобы тихо раствориться в тумане, окутавшем палубу, юркнуть в свою каюту, сует свой стеклянный глаз под нос случайной монашке, внимание к себе зря привлекает.

После такого прокола незадачливого киллера заказчикам надо его в шею гнать — а ему поручают убить Пелагию, которую он столь глупо сам же навел на собственный след. Понятно, что пока волноваться за героиню не стоит — не может она умереть в начале романа.

Но какой смысл убийце монахиню попусту пугать, волчьим хвостом из чащи леса помахать, рычать со странным причмокиванием, «как-то глумливо, не по-звериному», если задача его, как выясняется потом, — тихо и без шума «убрать» Пелагию? Например, засыпать вход в пещеру, в которую сунулась не в меру любопытная монашка? (Это удалось, да вот незадача — Пелагия другой выход нашла, красный петух помог.) И как согласуется с этой задачей второе покушение на монахиню, когда одноглазый монстр, нарочно наследив своими приметными ботинками по белоснежным песчаным дорожкам архиерейского сада (а Пелагия еще раньше их след срисовала), ждет, когда монашка клянет на наживку и побежит по оставленному следу к забору? Тут-то он ее хватить — и в сарай, голову особой гирькой на пружине проламывать. Что, подобную смерть можно будет объяснить естественными причинами? Да и как убийца может рассчитывать, что именно Пелагия первая заметит следы? А заметив — кинется по следу, не рассуждая и не сообразив позвать людей в подмогу? Что-то уж очень глупо ведет себя киллер. Впрочем, и Пелагия неумно. Г-н сочинитель постоянно подчеркивает недюжинные дедуктивные способности Пелагии. Вот, увидев в поздний час неожиданный след на дорожке архиерейского сада, она соображает, что это человек пришлый: «У духовной особы шаг уже, ибо стеснен рясой, — следуктировала Пелагия». Что б ей «следуктировать» куда более простую вещь: если след затейливого сапога убийцы, который покушался на нее, так нарочито оставлен на песке — стоит ли спешить по следу? Не заманивают ли ее в ловушку? Читатель первым делом об этом подумал, а пронизательной сыщице и на ум не пришло. «Что может означать внезапное появление Волчьего Хвоста на архиерейском подворье — об этом сейчас и не думала» — такой вот фразой пытается снять рассказчик возникшие неувязки, сам же ставя под сомнение декларируемую пронизательность героини.

Если про сюжет занимательного детектива говорят, что он «лихо закручен», то про сюжетные стыки нового акунинского романа я бы сказала, что они повсюду «недовинчены».

Очередной виток приключений помогает длить повествование и делать его напряженным, но разрушает ранее культивируемый автором миф о способности героини к сыску. Пронизательная монахиня то и дело попадает впросак по собственной недалекости, хотя и выходит из каждой перделки с помощью случая и сюжетов мировой литературы. Одноглазому убийце-циклопу втыкает в единственный глаз спицу, как Одиссей Полифему. От смертельного яда, коварно нанесенного следующим убийцей на маленький гвоздик, торчащий около дверного замка, ее спасает преданный Матвей Бенционович Бердичевский, высосавший яд из ранки. Да так удачно сделавший это, что ни он, ни монашка даже недомогания не почувствовали.

Наемные убийцы и коварные заказчики преступлений ведут себя крайне опрометчиво и нелепо. Плести интригу бульварного приключенческого романа подобным способом можно, но хваленая «стильность» акунинских детективов предполагает интеллектуальный поединок сыщика и преступника, логическую мотивировку каждого преступления и отсутствие всяких парадоксов в отношениях причины и следствия.

Здесь же все эти правила нарушаются. Ну, возьмем то, что движет интригу романа, — охоту на Пелагию. Согласно писаным и неписаным правилам детектива, для подобной охоты должна быть веская причина. Конечно, скромная монахиня не сама по себе мешает кому-то. К концу романа выяснится,

что симпатичный и умный чиновник Сергей Долинин, прибывший на пароход вовсе не для того, чтобы расследовать убийство, а чтобы удостовериться в смерти жертвы, принял решение убрать Пелагию как опасную свидетельницу, даром что успел влюбить в нее. Однако сколько-нибудь опасной для далеко идущих планов Долинина Пелагия стала после того, как петербургский следователь привлек ее к дознанию, и после того, как настойчиво уговаривал сопровождать тело убитого в дальний завожский уезд, дабы сельчане могли его опознать. То есть изначально у Долинина не было никаких резонов убивать Пелагию, а стало быть, вся это линия романа висит на тоненькой нитке.

Автор что? — не видит немотивированности главного сюжетного хода? Не может измыслить причину посущественней? Или ему наплевать на несвязанные концы интриги, на отсутствие мотивов преступления, которое должно быть двигателем сюжета, на глупые промахи сыщицы, своими поступками опровергающей постулат о ее прозорливости, так что рубрика «провинциальный детектив» не столько обозначает жанр повествования, сколько маскирует его?

Вообще при чтении романа слишком часто кажется, что Акунин проводит эксперимент по созданию жанрового коктейля, словно желая выяснить, можно ли, скажем, читателю подсунуть красного петуха как проводника по времени, проглотит он его с серьезным видом или выплюнет и расхохочется? Можно ли героя, позаимствованного из прошлого века, скромного прокурора Матвея Бенционовича Бердичевского, отправить в мир комиксов? А откуда еще мог взяться злодей-женоненавистник граф Чернокуцкий, с его замком Шварцвинкель, с набором препарированных голов, бальзамированных трупов и коллекции из укромных частей женского тела? Из готического романа, как думает сам Матвей Бенционович, подъезжая к замку, окруженному рвом с темной водой? Нет, в готическом романе мрачный обитатель замка может делить его с привидениями, но не с гаремом плечистых слуг в средневековых костюмах, снабженных гигантскими гильфиками. Из комиксов и маскарадные перевоплощения Матвея Бенционовича с перекраской волос (герой, выдавая себя за другого, проникает в логово шайки злодеев), и непереносимое разоблачение, и столь же обязательное чудесное избавление, с перестрелкой, с унижением противника, прыжками через ров, торжеством над графом и его могучими, но трусливыми слугами. Да и обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победин, даром что говорит словами героя Поэмы о Великом инквизиторе, все же больше смахивает на злодея из тех же комиксов, где зло и добро, свет и тьма хоть и персонифицированы, но существуют в гипертрофированном виде.

В прошлых книгах серии монахиню отличал, подобно честертоновскому патеру Брауну, завидный здравый смысл и аналитический ум. В мире Пелагии было место вере, но не было места суеверию, и если по монастырю шастает привидение в виде огромного черного монаха, вряд ли оно, справедливо полагала сыщица в рясе, имеет сверхъестественную природу.

В своем эссе «Как пишется детективный рассказ» Честертон утверждал, что достоинство детективного сюжета заключается в простоте, а не сложности. «Загадка может показаться сложной, в действительности же она должна быть простой... История должна основываться на истине, и, хотя в ней и содержится изрядная доля опиума, она не должна восприниматься как фантастическое видение наркомана».

Конечно, с тех пор простые и ясные истории, вроде тех, что рассказывали Эдгар По, Честертон, Конан Дойл или Агата Кристи, ушли в прошлое. Но ведь и Акунин пишет (писал, точнее) ретродетективы, за что и приглянулся читателю, и в стилизованный мир его романов честертоновские правила возвращаются вместе с конными экипажами, сюртуками, статскими советниками, буквой «ъ» в конце слов, а также паровозами и телеграфной связью, как тогдашними неоспоримыми достижениями прогресса.

Машине времени в этом мире нет места. Она залетела из другого жанра — тоже массового, тоже занимательного, — из фантастики XX века, где конст-

рукция удивительного аппарата уже столько раз менялась, что давно перестала работать.

Для своего второго пришествия Христос не нуждается в атрибутах современной фантастики — в виде ли уэллсовского продукта научно-технического прогресса, в виде ли таинственных пещер в придачу с красным петухом, описанных выдуманным средневековым немецким мистиком. А где есть место фантастике как современному массовому жанру — там нет места вере. Вот почему мне кажется, что говорить о кощунстве в романе Акунина неуместно. В его эвклидовом мире параллельные прямые не пересекаются.

И еще одно. Хочет того Акунин или нет, его бродячий проповедник сопрягается не с Христом Евангелия, но с Христом современного масскульта. Вот, скажем, молодой бард Тимур Шаов, которого почитатели называют то современным Галичем, то современным Высоцким, в чьих песнях можно найти не меньше примеров интертекстуальности, чем в романах Акунина, сочиняет песню «О народной любви»:

В наш город въехал странный хиппи на хромом ишаке.
Носили вербу, в небе ни облачка.
Он говорил нам о любви на арамейском языке,
А все решили: косит под дурачка.
Ему сказали: «Братан, твои идеи смешны,
И для любви у нас программа своя:
Идет перформанс под названием „Возрождение страны.
Часть вторая. Патетическая”».

Ну и так далее. Странный хиппи смотрит программу «Время», читает «Коммерсантъ», ужасается всему и поет битлов — мол, «all you need is love». А ему отвечают: «Какая „love”, чувак, щас „all you need is money”». Тут что, тоже кощунство? Или вечная молодежная протестная песня, использующая расхожую метафору нестяжательства?

Не буду гадать, почему Акунин решил избавиться от Пелагии, соединив заодно фантастику с детективом. Может, увидел, что серия себя исчерпала, что есть риск собственные находки превратить в клише. Может, ему вообще жанр надоел и он ищет способ выскочить из него.

Может, как предположил Андрей Немзер, и в самом деле в великие писатели хочет или просто «гусей дразнит». Гусям надо быть умнее и не гоготать попусту, а в великие писатели, создав неудачный детектив, не попадешь. Скорее наоборот: так можно лишиться и званий остроумного беллетриста, тонкого стилизатора, кумира читающей публики.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ДИЛОГИЯ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Из «Литературной коллекции»

Дилогию Гроссмана «За правое дело» и «Жизнь и судьба» я уже отчасти рассматривал, но в серии «Приёмы эпоса»¹, то есть в основном по формальным признакам жанра. Там — за рамками осталась собственно содержательная часть Диалогии. Рассматриваю её здесь. Для своего времени первая часть Диалогии значила очень много.

На примере Василия Гроссмана выпукло изобразился тот путь, который столь многие из нас одолевали мучительным ползком в советское время. Путь не только через цепкие тернии внешней цензуры, но и сквозь собственную советскую замутнённость.

Последние романы Гроссмана в их сравнении являют этот удел.

«За правое дело»

В последний сталинский год, 1952, даже в последние месяцы Сталина, напечатан был в «Новом мире» объёмный военный роман Василия Гроссмана «За правое дело»² — плод работы семи лет (с 1943), на основе обильных корреспондентских впечатлений автора в Сталинграде. (И ещё три года роман буксовал в редакции и дорабатывался.)

Через 40 лет читаешь его с пригнетённым чувством. Понимаешь: ещё жив был Сталин и *ничего* не изменилось ни в советской жизни, ни в советском сознании. (А от друга Гроссмана, Семёна Липкина, узнаёшь³: и в таком-то виде не хотели печатать, проводили через секретариат СП, и заставили добавить публицистическую хвалебную главу о Сталине, и над Штрумом поставили русского академика Чепыжина.) Однако живые чувства потомков не желают такое помнить: литература — должна быть литература, хоть и через 40 лет, хоть и через 80, напечатано — так напечатано. И при образе Гроссмана, каким он предстаёт сегодня, многие места обидно коробят.

Открываешь — так и посыпало: «Рабочий и крестьянин стали управителями жизни», «впервые в истории России рабочие — хозяева заводов и доменных печей», «партия напутствовала сыновей своих словами правды»; «пусть друзья завидуют ему: он русский коммунист»; и даже прямо из катехизиса: «учение Маркса непобедимо потому, что оно верно»; и «трудовое советское братство», и «наши дети, я думаю, самые лучшие в мире»; «честная кузница трудовой советской демократии», «партия, партия наша дышит, живёт во всём этом». И даже в лучшей сцене — в бою на сталинградском вокзале: «Не сомневайтесь, у нас все в отделении коммунисты».

© А. Солженицын.

¹ «Новый мир», 1999, № 1.

² «Новый мир», 1952, № 7 — 10.

³ Липкин Семён. Сталинград Василия Гроссмана. Мичиган, «Ардис», 1986.

«Ведомая Сталиным Россия прынула на столетие вперёд» — каналы, новые моря... (*Каналы!* — знаем, чего они стоили. О том — *нельзя сказать?* так не надо хоть этих декларативных вставок.) — Чепыжин вставлен так вставлен: несколько подряд газетно-публицистических мёртвых страниц. «Какие кровные душевные связи объединяют науку с жизнью народа» (в СССР как раз наоборот: полное отъединение); «я верю в могучую жизнетворющую силу большевиков»; «вопрос создания коммунистического общества — это залог дальнейшего существования людей на Земле». (Ну, и у Штрума же: «вера в счастливое и свободное будущее его родины»; «силы надо черпать в неразрывной связи с душой народа», — это московский-то физик? бросьте лясы точить.)

А уж Сталин-то, Сталин! Жалкая речь его 3 июля 1941 приведена в романе почти полностью, но для укрепления её хлипкого хребта — наворочены куски декламации от автора. «В этой убеждённости была вера в силу народной воли». И вот «после сталинской речи Штрум уже не переживал душевного смятения; с могучей простотой Сталин выразил народную веру в правое дело». И 7 ноября «тысячи, что стояли в строю на Красной площади, знали, о чём думал сегодня Сталин». (Как бы не так...) И «люди, вчитываясь в строки его приказов, восклицали: „И я так думал, и я так хочу!“» И по ходу романа многие то и дело всё ссылаются на светило Сталина. Он «держал в памяти работу заводов и рудников, и все дивизии, и корпуса, и тысячелетнюю судьбу народа». «Люди ещё не знали, а Сталин уже знал о превосходстве советской силы» (после сокрушительного отступления 1942 года...).

А ещё же болтается по роману эта светлая личность — подпольщик царского времени Мостовской. Символ! — эстафета поколений. Оказывается, Мостовской в своей сибирской когда-то ссылке читал вслух тамошнему мальчику «Коммунистический Манифест» и тем тронул мальчика *до слёз* (случай уникальный!), — и вот из мальчика вырос незаменимый и любимый автором политрук Крымов. В настоящее время Мостовской живёт в лучшем партийном доме, на партийном снабжении, читает лекции по философии и всерьёз готовится вести в Сталинграде под немцами подпольную работу (и Гроссман тоже об этом — всерьёз). Но выступает перед нами Мостовской просто-таки дундуком на котурнах. Занимаясь, видимо, и все советские 25 лет той же политграмотой, он пережил «неутомимое счастье работы в годы создания Советской республики» и в «годы великого советского строительства». За домашним пирогом в гостях он, без юмора к себе, поучительно повторяет всем известное: как Сталин рассказывал в речи миф об Антее.

Исказительный советский пафос просачивает книгу не только по горячим политическим точкам, но и по социальным, и по бытовым. — И партизанство как сплошной народный порыв (а не — центрально организованная операция). Добровольцы «считали, что нет выше звания, чем звание рядового бойца», и «жадно усваивали опыт войны». — В заводских цехах вдохновение: «Нет, невозможно нас победить!» На кого из рабочих ни глянь — «горят глаза», и даже в полутьме особенно. В мартеновском цехе замученные допелегу рабочие испытывают «счастье вдохновения борющихся за свободу» и особенно вдохновлены рассказом Мостовского о встрече с Лениным (часть II, гл. 7—8). Из всех сил автор ищет и выдувает поэзию в никому не нужном ночном митинге шахтёров (II—51) — уговаривать их крепче работать. (Пригоднее место ругнуть и проклятый царский режим; советский-то — лакированно безупречен.) И рядом (II—48) типичное погоняльное совещание, с якобы вложенным в него (мнимым) разумом: сломать чёткий график работ ради хаотического «перевыполнения», и при этом, конечно, простой рабочий оказывается готовней к зову партии, чем начальник шахты (отрицательный), и при этом всё остальное начальство — трогательно-милое. — И колхозному активисту Вавилону «всегда хотелось, чтобы жизнь человека была просторна, светла, как это небо. И ведь не зря работал он и миллионы таких. Жизнь шла в гору», его с женой «многолетний тяжёлый труд не согнул, а расправил», «его судьба слилась с судьбой страны; судьба колхоза и судьба огромных каменных городов

были едины» (только вторые грабили первый), «то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы», — поэзия газетных строк! (Лишь в самом конце мимоходом: случилось, бабы «пахали на коровах и на себе». Да ещё: какой-то недобитый кулак ждёт прихода немцев.) — А как восхитительны ведущие коммунисты! Вот могучий райкомовец Пряхин, по заслугам, без замедления возвышенный в обком: «Партия посылает на трудную работу — большевик!» А как человечески чуток парторг ЦК на Сталгресе! И — несравненный секретарь обкома. А который отрицательный руководитель (Сухов, больше его и не слышим), — «ЦК жестоко раскритиковал методы работы» его. — А уж стиль работы наркомов — ну, образцово-спокойный, несмотря на всю напряжённость обстановки. А какое деловое совещание директоров заводов с замнаркомом! (I—53, умильный советский лубок, все — энтузиасты, не бюрократы, и давления на них — не видно.) Есть и ещё другие совещания на верхах, много их. (И на каждом описываются наружности участников, которых мы никогда больше не увидим.)

Но ещё больше, чем продекламировано, — в романе сокрыто, утаено. Во всех довоенных воспоминаниях (а их немало) — *истинной* советской жизни, непомерно тяжкой и с залиvistыми чёрными пятнами, не увидишь. Академик Чепыжин ничьих исчезновений не вспоминает и сам, видимо, никогда не опасался ареста: «простое чувство, я хочу, чтобы общество было устроено свободно и справедливо». У полковника Новикова вся семья погибла, и у других потери, — и все погибли от естественных причин или от немцев, никто — от НКВД. Вот единственный Даренский (то-то он такой нервный): на него был «донос» в 1937 какого-то злопыхателя, но никто, конечно, его не сажал, а разобрались за несколько лет — и восстановили (III—6). Вдруг, в тесном Сталинграде, открывается целёхонькая дивизия «внутренних войск» (НКВД), — «мощная, полнокровного состава», — да как же она до сих пор сохранилась? Откуда она и для чего? Как будто ввели её в бой? — но тут же исчезает (знать: вывели, сберегли). И в колхозе же ничего чёрного не было: ни пустых трудовых, ни принудиловки, ни корысти начальства, а вот — «машинерия», свои местные «молодые возвращались агрономами, врачами, механиками», и даже один вышел в генералы. Какие-то старик-старуха что-то проворчали про 30-й год (I—60) — так о них автор недоброжелательно.

Итак, война. Какой-то благородный профессор добровольно ушёл в ополчение, — но ни слова: ни как коварно набирали в то ополчение, ни — как бессмысленно погубили. — А «в чём причины отступления» нашего? Так «Сталин назвал их», — и они верхоглядно повторяются (I—48). Общее описание первого года войны полно глубоких сокрытий: ни одного из знаменитых «котлов»-окружений, ни позорных провалов под Керчью и Харьковом. Крымов попадает в Москву как раз накануне паники 16 октября — какой выход у автора? Крымов заболел на три недели, ничего не видел, ничего не знает, — только сразу Сталин на параде. Нельзя назвать генерала Власова как одного из спасителей Москвы, ну, не перечисляй совсем, — нет, перечисляет, но без Власова. — А самое важное, чего нет в этом военном романе: самодурства и жестокости, начиная от Сталина и вниз по генеральской сети, посылания других на смерть без смысла, и ежечасного дёрганья-погонянья младших старшими, и нет заградотрядов, и смазано — о *чём же* сталинский приказ № 227? и только какое-то «штрафное отделение» при роте Ковалёва, впрочем, на равных условиях с ротой, да однажды трибунальщик подкладывает командарму Чуйкову завизировать приговор офицерам, отведшим свои штабы назад, — наверно же, расстрел? но об этом мы не узнаём. А всё-всё-всё несказанное задёрнуто такой кумачовой занавеской: «Если историки захотят понять перелом войны — пусть предвстят глаза солдата под волжским обрывом». Если бы только!

Да, пока Гроссман 7 лет с долгими усилиями выстраивал свою эпическую громадину в соответствии с цензурными «допусками», и ещё потом 2 года вместе с редакцией и головкой СП доводил точней к этим допускам, — а молодые прошли вперёд с малыми повестями: Виктор Некрасов с «Окопами Ста-

линграда», куда непринуждённой говорящими о войне, да и «Двое в степи» Казакевича уже и покажутся, в сравнении, смелыми.

Разумеется, сколько-нибудь полную правду напечатать в 1952 Гроссман не мог. Но если правду знаешь — зачем хотеть печататься без неё? Выкручивают? — но у автора оставался же путь: отказаться и не печатать. Либо сразу пиши — в стол, когда-нибудь люди прочтут.

Но насколько сам Гроссман правду понимал или разрешил себе понять?

Идея, которая ведёт Гроссмана в построении этой книги, — «великие связи, которые определяли жизнь страны» под главенством большевиков, «самое сердце идеи советского единства». И, мне кажется, Гроссман искренно сам убедил себя в этом, — а без этой уверенности такого романа и не написать бы. Во многих эпизодах, сюжетах у него вышли в высокие чины из самых простых низов, подчёркивается их «пролетарское» происхождение, социальные верхи сохраняют и сегодня родственные связи с низами. И нищая крестьянка уверенно говорит о своём малом сыне: «При советской власти он у меня в большие люди выйдет». И — не в тех всех декламационных цитатах, приведенных выше, а вот в этой теории органически единого, сплочённого советского народа — и заложена главная неправда книги.

Я думаю — тут и ключ к пониманию автора. Его Мария Шапошникова «знала в себе счастливое волнение, когда жизнь сливалась с её представлением об идеале», автор же чуть-чуть подсмеивается над ней, — а и сам таков. Усвоенному идеальному представлению он с напряжением следует через всю книгу — и только это дало ему осуществить то, что мы видим: вершину «соцреализма», каким он свыше задан, — самый старательный, добросовестный соцреалистический роман, какой только удался советской литературе.

Я так понимаю: во всех лжах этого романа — нет цинизма. Гроссман годами трудился над ним и верил, что в *вышем* (а не примитивном частном) понимании — смысл событий именно таков, а не то уродливое, жестокое, нескладное, что так часто происходит в советской жизни. (Тому должно было сильно помочь, что, как пишет Липкин, сын меньшевика Гроссман долгое время был марксистом и свободен от религиозных представлений. После скорой за тем смерти Сталина Гроссман что-то выбрасывал, от чего-то книгу облегчал, — но это не может касаться нашего тут разбора: мы рассматриваем книгу такой, как она предназначалась читателям при Сталине, какой появилась впервые в свет и оставалась бы, если б Сталин не умер тотчас. Да она — по прямой линии продолжала всё то влияние на мозги воюющих, какое Гроссман вёл в войну через «Красную звезду».) И получилось — безпогрешное выполнение того, чего от советского писателя и ждут верховные заказчики. Кроме навязанной войны, проклятых немцев и их бомбёжек — жизнь ни в чём к человеку не груба и не безжалостна. Испытываешь над книгой тоску по полноте правды, а — нет её, только малые раздробышки. От сокрытия стольких болячек и язв советской жизни — мера народного горя далеко-далеко не явлена. Горе распахнуто там, где оно не запрещено: вот — горечь эвакуации, вот — детский дом, сироты, всё — от проклятого немца.

К тому же — и «умные» диалоги если не пропагандны (большей частью), то вымученны; если философствование — то скользит по поверхностному слою жизни. Вот едет Штрум в поезде, пытается что-то охватить мыслью — а мыслей-то и нет. Да ни у кого в романе нет и личных *убеждений*, кроме общеобязательных для советского человека. Как же писать такое большое полотно — и без собственных авторских идей, а только — на общепринятых и на казённых? Да ни одной и военной серьёзной проблемы не обсуждено; а где, кажется, вот коснётся научной, что-то из физики, — нет, только всё рядом, а сути — нет. И промышленного производства — слишком много, лучше бы меньше да внятней по содержанию.

Военную тему — а она в книге и составляет костяк, Гроссман знает: на уровне штабов, разъяснительно; и — топографически подробно по Сталингра-

ду. Главы, обобщающие военную ситуацию (напр., I—21, I—43, III—1), превосходят по значению и нередко вытесняют собой частные боевые случаи. (Но об *истинном* катастрофическом ходе войны 1941 и 1942 Гроссман не только не может промолвить из-за цензуры — он и действительно понимает ли замысел, размах немецких операций и ход военных действий? От этого, на фоне Истории, обзоры его не выглядят объёмно.) В обзорных главах, увы, Гроссман и злоупотребляет фразами из военных сводок, язык — вместо непринуждённого или литературного — начинает походить на переложение официального, вроде: «немецкие атаки были отражены», «яростная контратака остановила немцев», «войска Красной Армии проявили железную стойкость». Но в этих же главах он чётко передаёт необходимые для читателя расположение сил и даже (целиком словесно!) карту местности (Сталинград, очень хорошо). Близость к штабной ознакомленности затягивает автора излагать войну как ведущуюся по умной стратегии. Но он старательно вырабатывает и *своё* восприятие войны (как свежо: в леса «войска несут с собой машинное дыхание города», а в город «вносят ощущение простора полей, лесов») и очень добросовестно выполняет прорехи своего личного опыта на основе многих встреч и наблюдений в военной обстановке. — Вся сюжетная возня с комиссаром Крымовым оказалась для книги насквозь проигрышной. Когда-то успел «взрывать» царскую армию, затем — немалый коминтерновец. (Тянет Гроссмана на этот Коминтерн, и Кольчугин же у него возвысился до Коминтерна.) 40-дневный выход Крымова из киевского окружения — в бесплотных общих словах, и невыносимо фальшиво, как он перед своим отрядом поднял партбилет над головой: «Клянусь вам партией Ленина—Сталина, мы пробьёмся!» (И очень уж легко, без допросов, приняли их из окружения.) Как военные газетные очерки Гроссмана в общем виде, и эти главы несут в себе такие фразочки: «И те, кто пробирались из окружений, не расплылись, а собранные железной волей Верховного Главкомандующего, опять становились в строй». Но сам Крымов что-то никак не станет в строй: второй год войны всё гуляет одиночкой по полям и областям и едет в Москву — искать штаб Юго-Западного фронта? Комиссаром противотанковой бригады мы его тоже не видим — вот, бессмысленно едет на легковушке через бомбимую переправу в отрыве от своей бригады, что-то «разведывать» в степи, — это не дело комиссара (но Гроссману было так сюжетно удобнее обыграть переправу вместо крупного боевого смятения). Узнаём готовой фразой, что Крымов «всегда подолгу разговаривал с красноармейцами, проводил часы в беседах с бойцами», но даже полстранички живого диалога не видим, а как только он услышал малое колебание в одном солдатском голосе, сразу — оттяжку: «Вы раздумали советскую родину защищать?» — а это известно чем пахнет. Наконец от этой полезной работы Крымова «отзывают в политуправление фронта», — теперь он в тылу готовит доклады о международном положении и вот, крайне необходимый красноармейцам, переправляется через Волгу в страдательный Сталинград (конец романа).

Хочется искать спрятанную иронию в тираде комиссара дивизии: «Нацеливайте политсостав на политработу в наступательном бою», а те затем «проводили беседы о фактах героизма» — однако нет зацепки услышать иронию. (Впрочем: ещё ж в каждой роте политруки, но когда уж доходит до настоящего боя — Гроссман их нам не рисует.)

Великолепная глава — описание первой бомбёжки Сталинграда — полноценна сама в себе (она и печаталась в газетах отдельно). — Единственный конкретный полевой бой — северней Сталинграда 5 сентября, где батарея Толи, это достаточно живо. — И весьма хороша сплетка глав о растянутом бое батальона за сталинградский вокзал (III, 37—45). Хорошо видны многие детали, подбитие танка из бронебойки, абзацы об осколках, минах, бомбо-снарядное давление на солдатскую душу, «закон сопротивления духовных материалов», смерть ротного Конанькина; и полуигривый пассаж, как бы в развитие толстовского капитана Тушина: «немцы бежали косо, рассыпчато. Казалось, они лишь мнимо бежали вперёд и действительной их целью было бежать на-

зад, а не вперёд; их кто-то сзади выталкивал, и они бежали, чтоб освободиться от этого невидимого, а оторвавшись, начинали юлить». Это — и не просто фантазия, это ведь верно и по существу, — и эту бы верность да обратить и на наших бы окружённых бойцов, когда были перебиты все до одного командиры. Конечно, они окружены вплотную, это сплачивает к безнадёжной обороне, у них как будто не остаётся выхода, но это же не может не пробудить и мыслей о сдаче в плен? Однако разве может быть такая мысль у железных советских красноармейцев, да даже и штрафников? — они все стали выше себя, и даже освободились от человеческих недостатков, у кого такие замечались ранее. И даже прямо от автора: они «не захотели бы отступить», сиречь — хотели погибнуть. Всё же этот бой, от которого не осталось живых свидетелей для рассказа, и значит, во многом воображённый автором, — хорошая удача. Он нарастает как античная трагедия, когда должны погибнуть все. И «светящиеся кровью очереди» трассирующие, и «чёрные слёзы» на лице Вавилова.

А вот попадая в блиндаж командарма Чуйкова — ждёшь чего-то исторически важного. Но Чуйков натянут авторским умозрением, характера нет, а разговор его с членом Военного совета, то бишь комиссаром армии, сползает в то, сколько человек в партию вступили под боями. Комдив Родимцев сразу покинут, а очень его не хватает: ведь это он послал в наступление на гибель и не поддержал окружённых. (Да ведь тупых жестоких начальников у Гроссмана почти и нет: все — добрые да осмысленные, и никто не трясётся за свою шкуру перед высшими.) О том, что наших людей губят, и губят без смысла и без счёта, — в этой книге не прочтёшь. Наблюдал автор много, да, и немало черт фронтовой психологии передаёт правильно, — но ни разу фронт или бой не увиден глазом безвыходного народного горя. Потонула рядом баржа с солдатами, перегруженными гранатами и патронами, значит — все на дно, а мы — мимо, с теми, кто пристал к берегу, под узкую полоску разбитых зданий и почти уже сданного города, — и вдруг: «тысячи сразу ощутили, что теперь в их солдатские руки попадает ключ от родной земли», — да вздор, совсем не это они ощутили. И уж как умильно-бесстрастны сапёры переправ под обстрелом. Редко разрешены совсем естественные чувства: офицерам связи при штабе фронта, с опасностью снующим через Волгу, не забывать о пайке; или армейскому продотделу утопать в благах, — но это совсем мельком, без осуждения и без задержки мысли на том.

Ещё запомнятся: пейзаж разбомбленного города ночью; пешая переброска войска по левому берегу Волги в свете пролетающих автомобильных фар, в том свете и беженцы, ночующие в степи, да «трепещущая голубая колоннада прожекторов». И как раненые передвигают свои «руки-ноги, точно ценные, не им принадлежащие предметы». Вот тут — пронзает боль войны.

Если понимать эту войну как народную, то тема русской народности должна была бы занять в книге заметное место. Но этого — никак нет. Вавилов введен в начале и в конце как единственный символ того, но в жизни он дышал колхозом, а в смертную минуту думает: «там — что, там — сон», — вполне по-советски, атеистично. И ни у кого в этой книге не проявилась хоть толика веры в Бога, если не считать крестящихся в бомбоубежище старух. Ну, ещё: увядшие ветви маскировки вокруг паровых труб — «словно на Троицу».

Удался лишь один яркий прорыв народного характера, вместе и с народной приниженностью. Старшие офицеры в лунную ночь переправляются на моторке через Волгу (III—54, 55). Опасно, как пройдёт? Беспокойный подполковник протягивает на редкость спокойному мотористу, кому переправа за-обычай, портсигар: «Закуривай, герой. С какого года?» Моторист взял папиросу и усмехнулся: «Не всё равно, с какого?» И правда: переправились благополучно, выскочили — и даже забыли проститься с мотористом. Вот здесь — оскалилась правда. А вместо неё — несколько раз высказаны крайне неуклюжие похвалы: «самый великодушный народ в мире» (I—46); «то были добрые и умные глаза русского рабочего»; «ни с чем не сравнимый смех русского человека»; да на конгрессе Коминтерна «милые русские лица». Постоянная тема

«единства советского народа» никак не заменяет русской темы, столь важной для этой войны.

Не менее русской (да и всякой другой истинно-важной стороны советской жизни) подавлена в романе и еврейская тема — но это, как мы читаем у Липкина, да легко и догадаться, было вынужденным. Гроссман — горел еврейской темой, особенно после еврейской Катастрофы, даже «помешался на еврейской теме», как вспоминает Наталья Роскина. Ещё на Нюрнбергском процессе распространялась его брошюра «Треблинский ад», сразу после войны он был инициатор и составитель «Чёрной книги». А вот, всего несколько лет спустя, заставляет себя молчать, да как? Почти наглухо. Он всё время держит еврейское горе в памяти, но припоказывает его крайне осторожно — всё то же старание увидеть свой роман в печати во что бы то ни стало. Узнаём, что где-то от чего-то умерла неизвестная нам Ида Семёновна, мать Серёжи. Смерть у немцев другой еврейской матери — Штрума, дана не в полный звук, не в полное сотрясение для сына, а — притушёванно, и с интервалами; упомянуто, что сын получил от неё предсмертное письмо — но оно не разъясняется нам. Прямо, воочию, показана только доктор Софья Левинтон, дружественно-карикатурная и с хорошей душой, да физик Штрум — любимый герой автора, даже и alter ego, но, вероятно именно потому, — довольно бесплотный, неощутимый. Рельефней выставлена еврейская тема лишь на немецком фоне: в кабинете Гитлера как план уничтожения, а на фотографии эсэсовца — как процессия евреев, бредущая в это уничтожение.

Немецкая тема как иносказательный полигон для темы советской использовалась не одним Гроссманом (из наиболее известных: журналист и переводчик Лев Гинзбург, кинорежиссёр Михаил Ромм). Понятно: и вполне безопасно, и можно что-то, что-то общее выразить. Так у Гроссмана в мертво-публицистическом монологе Чепыжина высказана мысль: естественное перемещение злых — наверх, а добрых — вниз. (Но — сознавал ли Гроссман, что это и о советском мире? По всему объёму романа — не выищешь тому доказательства.) По скудным попыткам обрисовать немецкий тыл или армию — безвыходность жизни, слежка, опасность проговориться, чьё-то безмолвное одиночество, как у Шмидта, — ещё видней, какие пласты жизни даже не тронуты на советской стороне. Вообще же описание немецкой стороны очень бледно. Сам Гитлер напряжённо сконструирован по фотографиям и чьим-то воспоминаниям — но картонно, без внутренней пружины. (Открытие: «плямкал губами во сне», — так, может, и Сталин плямкал?) Картонна и сцена с Гиммлером. Картонны и немецкие генералы, ничего собственно германского в них нет, и ничего индивидуального. Картонны и солдаты, и младшие офицеры, — они сделаны по штампам советских газет. Вся эта затея — обрисовывать германскую сторону — в общем свелась к сатирической манере, к обличительной публицистике. В этом духе — и неправдоподобная сцена, о которой «достоверно» рассказали Крымову, будто немецкий танкист ни с того ни с сего, без всякой цели, направил танк на колонну русских женщин и детей, давить их. Если в военном романе автор хочет сколько-нибудь рельефно изобразить противника, то это надо делать с элементарным солдатским уважением.

И казалось бы: написав вот такой добросовестный советский роман, поднявшись на такую вершину соцреализма и прославив Сталина — мог ли Гроссман ждать — и за что же? — удара от Сталина? Липкин пишет: Гроссман уверенно ждал себе Сталинской премии ещё за «Степана Кольчугина», ортодоксального (но не получил). А уж теперь-то?! Да в Союзе писателей прошло и восторженное обсуждение «Правого дела», уже возгласили его и «советским „Войной и миром“», и «энциклопедией советской жизни». И вдруг?? — по самому, кажется, добротному соцреалистическому роману пришёлся сокрушительный удар: статья (долдона Бубеннова) в «Правде», 13 февраля 1953. Да уж советская зубодробительная критика разве не найдёт, по чему ударить? Разумеется: «идейная слабость романа», «внеисторические реакционные взгляды», «извращённое толкование фашизма», «ни одного яркого живого образа комму-

ниста», «галерея мелких людей», нет ни одного «крупного, яркого типичного героя Сталинграда», который «поразил бы читателей богатством и красками своих чувств», вместо этого «мотивы обречённости и жертвенности в эпизодах боёв», а «где картины массового трудового героизма рабочих?» (как не замечает ни сталинградских заводов, ни уральских шахт). Похвалено только... изображение немецкой армии (именно за то, что оно карикатурно, по принятому шаблону...). А вот что: «ничем не примечательному Штруму» зачем отданы все рассуждения «вместо мыслей подлинных представителей народа»? (Уж тут — намёк на еврейство, для февраля 1953 — весьма серьёзный. Видно, в месяцы «дела врачей» Сталину с руки было ударить по автору-еврею?) Удары продолжались и дальше: Шагинян в «Известиях» и верный барбос Фадеев. И — пришлось каяться Твардовскому за то, что напечатал в своём журнале. И — пришлось каяться Гроссману, не обминул и он. Да в эти недели он поставил подпись и под воззванием видных евреев, осуждавших «врачей-отравителей»⁴... Как пишет Липкин, ожидал и сам ареста. А Сталин возьми — и умри. И как теперь всем обернуться?

Для большой литературы уже и никакой переделкой спасти эту книгу нельзя. Сегодня — никто не станет её читать всерьёз. Повествование её в большой мере вялое (в первых двух частях); почти нет волнующих сцен, кроме названного боя за сталинградский вокзал, а выше того — безыскусственной, сердечной, ничем не просоветченной встречи майора Берёзкина с женой; увы, нет и лексической свежести. Однако, несмотря на всё это, книга имеет значительные достоинства и не сотрётся из литературы своей эпохи. Той войной — дышит она, спору нет. И в ней есть отличные пейзажи. Меткие и тонкие наблюдения — материальные и психологические. И большая работа над разнообразием наружностей столь многих персонажей. (Подробно обо всём этом — в «Приёмах эпопей».)

Можно себе представить, какое жгучее и быстрое раскаяние прогвоздило Гроссмана! Вот он согласился на эту постыдную подпись под письмом о врачах — а тут и Сталин сгинул, и развеялись «отравители». И остался роман «За правое дело», уже невыносимый самому автору натяжками и казённой ложью, — а ведь его из литературы и памяти людей не убрать?! (Пишет Липкин: в библиотеках за романом стояли очереди, был общественный восторг — так тем хуже, значит, входило в людское сознание, наслаивалось в нём.)

А замысел 2-го тома дилогии — у Гроссмана и тогда уже был, да кажется уже и начат, параллельно двухлетним усилиям «пробить» в печать 1-й. И теперь один только был исход для художественной совести: не отречься от 1-го тома (что и в хрущёвское время было бы губительно) — а во 2-м успеть нагнать и правду, да и ту малую хрущёвскую гласность, когда скрытые в 1-м язвы советской жизни выступили — нет, ещё не в печать, но в сознание людей и в их разговоры между собой.

Второй том будет писаться 8 лет, окончен будет в 1960 году — и, так никому и не известный, захвачен гебистами в 1961, — а впервые полностью опубликован только на Западе в 1980 (экземпляр, спасённый С. И. Липкиным). Так что вошёл он совсем в другую эпоху, с большим опозданием.

«Жизнь и судьба»

Как разительно исчезли все советские заклинания и формулы, перебранные выше! — и никто же не скажет, что это — от авторского прозрения в 50 лет? А чего Гроссман и вправду не знал и не чувствовал до 1953 — 1956, то он успел настичь в последние годы работы над 2-м томом и теперь уже со страстью это всё упущенное вонзал в ткань романа.

Теперь мы узнаём, что не только в гитлеровской Германии, но и у нас: взаимная подозрительность людей друг ко другу; стоит людям поговорить за

⁴ Источник: «Вестник архива Президента Российской Федерации», 1997, № 1.

стаканом чая — вот уже и подозрение. Да оказывается: советские люди живут и в ужасающей жилищной тесноте (шофёр открывает это благополучному Штруму), а в прописочном отделе милиции — гнёт и тирания. И какая непочтительность к святыням: «в засаленный боевой листок» боец может запросто завернуть кусок колбасы. А вот добросовестный директор Сталгрэса простоял на смертном посту всю осаду Сталинграда, ушёл за Волгу уже в день удавшегося нашего прорыва — и все заслуги его под хвост, и сломали ему карьеру. (И прежде кристально положительный секретарь обкома Пряхин теперь отшатывается от пострадавшего.) Оказывается: и советские генералы могут быть вовсе и не блистательны достижениями, даже и в Сталинграде (III ч., гл. 7), — а поди-ка бы такое напиши при Сталине! Да даже осмеливается командир корпуса разговаривать со своим комиссаром о посадках 1937! (I—51). Вообще, теперь дерзает автор поднять глаза на неприкасаемую Номенклатуру — а видно, уж много думал о ней и на душе сильно накопело. С большой иронией показывает шайку одного из украинских обкомов партии, эвакуированного в Уфу (I—52, впрочем, как бы и корит их за низкое деревенское происхождение и заботливую любовь к собственным детям). А вот каковы, оказывается, жёны ответственных работников: в удобствах эвакуируемые волжским пароходом, они возмущённо протестуют против посадки на палубы того парохода ещё и отряда военных, едущих к бою. А молодые офицеры на расквартировках слышат прямо-таки откровенные воспоминания жителей «о сплошной коллективизации». И в деревне: «сколько ни работай, всё равно хлеб отберут». А эвакуированные, с голоду, воруют колхозное. Да вот и до самого Штрума добралась «Анкета анкет» — и как же справедливо он размышляет над ней о её липкости и когтистости. А вот и комиссара госпиталя «жучат», что он «недостаточно боролся с неверием в победу среди части раненых, с вражескими вылазками среди отсталой части раненых, враждебно настроенных к колхозному строю», — ах, где ж это было раньше? ах, сколько же правды стоит ещё *позади* этого! И сами-то похороны госпитальные — жестоко равнодушные. Но если гробы закапывает *трудбательон* — то *из кого он набран?* — не упомянуто.

Сам Гроссман — помнит ли, каков он был в I-м томе? Теперь? — теперь он берётся упрекнуть Твардовского: «чем объяснить, что поэт, крестьянин от рождения, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства?»

И собственно русская тема сравнительно с I-м томом — во 2-м ещё отодвинута. Под конец книги благожелательно отмечено, что «девушки-сезонницы, работницы в тяжёлых цехах» — и в пыли, и в грязи «сохраняют сильную упрямую красоту, с которой тяжёлая жизнь ничего не может поделаться». Так же к финалу отнесен возврат с фронта майора Берёзкина — ну, и русский развёрнутый пейзаж. Вот, пожалуй, и всё; остальное — иного знака. Завистник Штрума по институту, обнимая другого такого же: «А всё же самое главное, что мы с вами русские люди. Единственную весьма верную реплику о приниженности русских в собственной стране, что «во имя дружбы народов всегда мы жертвуем русскими людьми», Гроссман вставляет лукавому и хамоватому партийному бонзе Гетманову — из того нового (послекоминтерновского) поколения партийных выдвиженцев, кто «любили в себе своё русское нутро и по-русски говорили неправильно», сила их «в хитрости». (Как будто у интернационального поколения коммунистов хитрости было меньше, ой-ой!)

С какого-то (позднего) момента Гроссман — да не он же один! — вывел для себя моральную тождественность немецкого национал-социализма и советского коммунизма. И честно стремится дать новообретенный вывод как один из высших в своей книге. Но вынужден для того замаскироваться (впрочем, для советской публичности всё равно крайняя смелость) изложить эту тождественность в придуманном ночном разговоре oberштурмбаннфюрера Лисса с арестантом коминтерновцем Мостовским: «Мы смотрим в зеркало. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас?» Вот, вас «победим, останемся без вас, одни против чужого мира», «наша победа — это ваша победа». И застав-

ляет Мостовского ужаснуться: неужели в этой «полной змеиного яда» речи — содержится какая-то правда? Но нет, конечно (для безопасности самого автора?): «наваждение длилось несколько секунд», «мысль обратилась в пыль».

А в какой-то момент Гроссман и от себя прямо называет берлинское восстание 1953 и венгерское 1956, однако не сами по себе, а в ряду с варшавским гетто и Трешлиной и лишь как материал для теоретического вывода о стремлении человека к свободе. А дальше это стремление всё прорывается: вот и Штрум в 1942, правда в частном разговоре с доверенным академиком Чепыжиным, — но прямо подковыривает Сталина (III—25): «вот Хозяин всё крепил дружбу с немцами». Да Штрум, оказывается, мы и предположить того не могли, — уже годами с негодованием следит за чрезмерными славословиями Сталину. Так он *давно* всё понимает? нам это прежде не было сообщено. Вот и политически запачканный Даренский, публично заступаясь за пленного немца, кричит полковнику при солдатах: «мерзавец» (очень неправдоподобно). Четверо малоознакомленных интеллигентов в тылу, в Казани, в 1942 же — пространно обсуждают расправы 1937 года, называя знаменитые заклётые имена (I—64). И ещё не раз обобщённо — обо всей затерроренной атмосфере 1937 (III—5, II—26). И даже бабушка Шапошникова, политически совершенно нейтральная весь I-й том, занятая только работой и семьёй, теперь вспоминает и «традиции народовольческой семьи» своей, и 1937, и коллективизацию, и даже голод 1921. Тем безогляднее и внучка её, ещё школьница, ведёт политические разговоры со своим ухажёром-лейтенантом и даже напевает магаданскую песню эков. Теперь встретим и упоминание о голоде 1932—33.

А вот уже — шагаем и к последнему: в разгар Сталинградской битвы раскручивание политического «дела» на одного из высших героев — Грекова (вот это — советская действительность, да!) и даже к общему заключению автора о сталинградском торжестве, что и после него «молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался» (III—17). Такое, правда, и в 1960 давалось не каждому. Жаль, что высказано это безо всякой связи с общим текстом, каким-то беглым вклиниванием, и — увы, не развито в книге более никак. И ещё к самому концу книги, отлично: «Сталин говорил: „братья и сёстры...“ А когда немцев разбили — директору коттедж, без доклада не входить, а братья и сёстры в землянки» (III—60).

Но и во 2-м томе встретится иногда от автора то «всемирная реакция» (II—32), то вполне казённое: «дух советских войск был необычайно высок» (III—8); и прочтём довольно торжественную похвалу Сталину, что он ещё 3 июля 1941 «первым понял тайну перевоплощения войны» в нашу победу (III—56). И в возвышенном тоне восхищения думает Штрум о Сталине (III—42) после сталинского телефонного звонка, — таких строк тоже не напишешь без авторского к ним сочувствия. И несомненно с таким же соучастием автор разделяет романтическое любование Крымова нелепым торжественным заседанием 6 ноября 1942 в Сталинграде — «в нём было что-то напомилавшее революционные праздники старой России». Да и взволнованные воспоминания Крымова о смерти Ленина тоже выявляют авторское соучастие (II—39). Сам Гроссман несомненно сохраняет веру в Ленина. И свои прямые симпатии к Бухарину не пытается скрыть.

Таков — предел, которого Гроссман перейти не может.

И это же всё писалось — в расчёте (наивном) на публикацию в СССР. (Не оттого ли вклиняется и неубедительное: «Великий Сталин! Возможно, человек железной воли — самый безвольный из всех. Раб времени и обстоятельств».) Так что если «склочники» — то из райпрофсовета, а что-нибудь прямо в лоб коммунистической власти? — да Боже упаси. О генерале Власове — одно презрительное упоминание комкора Новикова (но ясно, что оно — и авторское, ибо кто в московской интеллигенции что-нибудь понимал о власовском движении даже и к 1960?). А дальше ещё неприкасаемое — один раз робчайшая догадка: «на что уж Ленин был умный, и тот не понял», — но сказано опять же этим отчаянным и обречённым Грековым (I—61). Да ещё маячит к концу

тома, как монумент, несокрушимый меньшевик (венок автора памяти своего отца?) Дрелинг, вечный зэк.

Да после 1955—56 он уже был много слышан о лагерях, то была пора «возвращений» из ГУЛага, — и теперь автор эпопеи, уже хотя б из добросовестности, если не соображений композиции, пытается посылно охватить и зарешётчатый мир. Теперь — глазам пассажиров вольного поезда открывается и эшелон с заключёнными (II—25). Теперь — отваживается автор и сам шагнуть в зону, описать её изнутри по приметам из рассказов вернувшихся. Для того выныривает глухо провалившийся в I-м томе Абарчук, первый муж Людмилы Штрум, впрочем, коммунист-ортодокс, и в компанию к нему ещё сознательный коммунист Неумолимов, и ещё Абрам Рубин, из института Красной Профессуры (на льготном придурочьем посту фельдшера неправдоподобно приbedняется: «я низшая каста, неприкасаемый»), и ещё бывший чекист Магар, якобы тронутый поздним раскаянием об одном загубленном раскулаченном, и ещё другие интеллигенты — такие-то и возвращались тогда в московские круги. Автор старается реально изобразить лагерное утро (I—39, есть детали верные, есть неверные). В нескольких главах уплотнённо иллюстрирует наглость блатных (только зачем же власть уголовных над политическими Гроссман называет «новаторством национал-социализма»? — нет уж, от большевиков, ещё с 1918, не отбирайте!), а учёный демократ неправдоподобно отказывается встать при вертухайском обходе. Эти несколько подряд лагерных глав проходят как в сером тумане: будто похоже, а — деланно. Но за такую попытку не упрекнёшь автора: ведь он с не меньшей смелостью берётся описать и лагерь военнопленных в Германии — и по требованиям эпопеи и для более настойчивой цели: сопоставить наконец коммунизм с нацизмом. Верно поднимается он и до другого обобщения: что советский лагерь и советская воля отвечают «законам симметрии». (Видимо, Гроссмана как бы шатало в понимании будущности своей книги: он же писал её для советской публичности! — а заодно с тем хотелось быть и до конца правдивым.) Вместе со своим персонажем Крымовым вступает Гроссман и в Большую Лубянку, тоже собранную по рассказам. (Естественны и здесь некоторые ошибки в реалиях и в атмосфере: то подследственный сидит прямо через стол от следователя и его бумаг; то, измученный бессонницей, не жалеет ночи на захватывающий разговор с сокамерником, да и надзиратели, странно, не мешают им в этом.) Несколько раз пишет (ошибочно для 1942): «МГБ» вместо «НКВД»; а ужасающей 501-й стройке приписывает только 10 тысяч жертв...

Вероятно, с такими же поправками надо воспринимать и несколько глав о немецком концлагере. Что там действовало коммунистическое подполье — да, это подтверждается свидетелями. Невозможная в лагерях советских, такая организация иногда создавалась и держалась в немецких благодаря общей национальной спайке против немецких охранников, да и близорукости последних. Однако Гроссман преувеличивает, что размах подполья был сквозь все лагерь, чуть не на всю Германию, что проносили с завода в жилую зону детали гранат и автоматов (это — ещё могло быть), а «в блоках вели сборку» (это уже фантазия). Но что несомненно: да, иные коммунисты втирались в доверие к немецкой охране, устраивали своих в придурки, — и могли неугодных себе, то есть антикоммунистов, отправлять на расправу или в штрафные лагеря (как у Гроссмана и отправляют в Бухенвальд народного вожака Ершова).

Теперь-то — гораздо свободнее Гроссман и в военной теме; теперь прочтём и такое, о чём и помыслить нельзя было в I-м томе. Как командир танкового корпуса Новиков самовольно (и рискуя всей карьерой и орденами) на 8 минут задерживает атаку, назначенную командующим фронта, — чтобы лучше успели подавить огневые средства противника и не было бы больших потерь у наших. (И характерно: Новикова-брата, введенного в I-й том исключительно для иллюстрации самоотверженного социалистического труда, теперь автор совсем забывает, тот как провалился, в серьёзной книге он уже не нужен.) Теперь к прежней легендарности командарма Чуйкова — добавляется и

ярая зависть его к другим генералам и мертвецкое пьянство, до провала в польню. И командир роты всю водку, полученную на бойцов, тратит на собственные именины. И своя авиация бомбит своих. И шлюет пехоту на неподдавленные пулемёты. И уже не читаем тех пафосных фраз о великом народном единстве. (Нет, кое-что осталось.)

Но реальность сталинградских боёв восприимчивый, наблюдательный Гроссман даже из корреспондентской должности ухватил достаточно. Бои в «доме Грекова» очень честно, со всей боевой действительностью описаны, как и сам Греков. Чётко видит автор и знает сталинградские боевые обстоятельства, лица, а уж атмосферу всех штабов — тем более достоверно. Заканчивая обзор военного Сталинграда, Гроссман пишет: «Его душой была свобода». Впрямь ли автор так думает или внушает себе, как хотелось бы думать? Нет, душой Сталинграда было: «за родную землю!»

Как мы видим из романа, как мы знаем и от свидетелей, и по другим публикациям автора — Гроссман был острее заножён еврейской проблемой, положением евреев в СССР, а уж тем более к этому добавились жгучая боль, гнёт и ужас от уничтожения евреев по немецкую сторону фронта. Но в 1-м томе он цепенел перед советской цензурой да и внутренне ещё не осмелел оторваться от советского мышления — и мы видели, до какой же принижённой степени подавлена в 1-м томе еврейская тема, и уж, во всяком случае, ни штриха какой-либо еврейской стеснённости или неудовольствия в СССР.

Переход к свободе выражения дался Гроссману, как мы видели, нелегко, нецельно, без уравниваемости по всему объёму книги. Это же — и в еврейской проблеме. Вот евреям-сотрудникам института мешают вернуться с другими из эвакуации в Москву — реакция Штрума вполне в советской традиции: «Слава Богу, живём не в царской России». И тут — не наивность Штрума, автор последовательно проводит, что до войны ни духа, ни слуха какого-либо недоброжелательства или особого отношения к евреям в СССР не было. Сам Штрум «никогда не думал» о своём еврействе, «никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей», «никогда мать не говорила с ним об этом — ни в детстве, ни в годы студенчества»; об этом «его заставил думать фашизм». А где же тот «злостный антисемитизм», который так энергично подавлялся в СССР первые 15 советских лет? И мать Штрума: «забытое за годы советской власти, что я еврейка», «я никогда не чувствовала себя еврейкой». От настойчивой повторности теряется убедительность. И откуда же что взялось? Пришли немцы — соседка во дворе: «слава Богу, жидам конец»; а на собрании горожан при немцах «сколько клеветы на евреев было» — откуда ж это вдруг всё провалось? и как оно держалось в стране, где все забыли о еврействе?

Если в 1-м томе почти не назывались еврейские фамилии — во 2-м мы встречаем их чаще. Вот штабной парикмахер Рубинчик играет на скрипке в Сталинграде, в родимцевском штабе. Там же — боевой капитан Мовшович, командир сапёрного батальона. Военврач доктор Майзель, хирург высшего класса, самоотверженный до такой степени, что ведёт трудную операцию при начале собственного приступа стенокардии. Неназванный по имени тихий ребёнок, хилый сын еврея-фабриканта, умерший когда-то в прошлом. Уже упомянуты выше несколько евреев в сегодняшнем советском лагере. (Абарчук — бывший большой начальник на голодоморном кузбасском строительстве, но коммунистическое прошлое его подано мягко, да и сегодняшняя завидная в лагере должность инструментального кладовщика не объяснена.) И если в самой семье Шапошниковых в 1-м томе было смутно затушёвано полуеврейское происхождение двух внуков — Серёжи и Толи, то о третьей внучке Наде во 2-м томе — и без связи с действием, и без необходимости — подчёркнуто: «Ну, ни капли нашей славянской крови в ней нет. Совершенно иудейская девица». — Для упрочения своего взгляда, что национальный признак не имеет реального влияния, Гроссман не раз подчёркнуто противопоставляет одного еврея другому по их позициям. «Господин Шапиро — представитель агентства „Юнайтед Пресс“ — задавал на конференциях каверзные вопросы начальнику

Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому». Между Абарчуком и Рубиным — измышленное раздражение. Высокомерный, жестокий и корыстный комиссар авиаполка Берман не защищает, а даже публично клеймит несправедливо обиженного храброго лётчика Короля. И когда Штрума начинают травить в его институте — лукавый и толстозадый Гуревич предаёт его, на собрании развенчивает его научные успехи и намекает на «национальную нетерпимость» Штрума. Этот рассчитанный приём расстановки персонажей уже принимает характер растрavy автором своего большого места. Незнакомые молодые люди увидели Штрума на вокзале ждущим поезда в Москву — тотчас: «Абрам из эвакуации возвращается», «спешит Абрам получить медаль за оборону Москвы».

Толстовцу Иконникову автор придаёт такой ход чувств. «Гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи» — и число тогдашних жертв не подорвало его религиозной веры; проповедовал он Евангелие и во время всеобщей коллективизации, наблюдая массовые жертвы, да ведь тоже и «коллективизация шла во имя добра». Но когда он увидел «казнь двадцати тысяч евреев... — в этот день [он] понял, что Бог не мог допустить подобное, и... стало очевидно, что его нет».

Теперь наконец Гроссман может позволить себе открыты нам содержание предсмертного письма матери Штрума, которое передано сыну в 1-м томе, но лишь смутно упомянуто, что оно принесло горечь: в 1952 году автор не решился отдать его в публикацию. Теперь оно занимает большую главу (I—18) и с глубинным душевным чувством передаёт пережитое матерью в захваченном немцами украинском городе, разочарование в соседях, рядом с которыми жили годами; бытовые подробности изъятия местных евреев в загон искусственного временного гетто; жизнь там, разнообразные типы и психология захваченных евреев; и самоподготовление к неумолимой смерти. Письмо написано со скупым драматизмом, без трагических восклицаний — и очень выразительно. Вот гонят евреев по мостовой, а на тротуарах стоит глазееющая толпа; те — одеты по-летнему, а евреи, взявшие вещи в запас, — «в пальто, в шапках, женщины в тёплых платках», «мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи».

Гроссман берётся описать и уничтожение механизированное, центральное, и прослеживая его от замысла; автор напряжённо сдержан, ни выкрика, ни рывка: оберштурмбаннфюрер Лисс деловито осматривает строящийся комбинат, и это идёт в технических терминах, мы не упреждаем, что комбинат назначен для массового уничтожения людей. Срывается голос автора только на «сюрпризе» Эйхману и Лиссу: им предлагают в будущей газовой камере (это вставлено искусственно, в растравку) — столик с вином и закусками, и автор комментирует это как «милую выдумку». На вопрос же, о каком количестве евреев идёт речь, цифра не названа, автор тактично уклоняется, и только «Лисс, поражённый, спросил: — Миллионов?» — чувство меры художника.

Вместе с доктором Софьей Левинтон, захваченной в немецкий плен ещё в 1-м томе, автор теперь втягивает читателя в густеющий поток обречённых к уничтожению евреев. Сперва — это отражение в мозгу обезумевшего бухгалтера Розенберга массовых сожжений еврейских трупов. И ещё другое сумасшествие — недорастрелянной девушки, выбравшейся из общей могилы. При описании глубины страданий и бессвязных надежд, и наивных последних бытовых забот обречённых людей — Гроссман старается удерживаться в пределах бесстрастного натурализма. Все эти описания требуют недюжинной работы авторского воображения — представить, чего никто не видел и не испытал из живущих, не от кого было собирать достоверные показания, а надо вообразить эти детали — оброненный детский кубик или куколку бабочки в спичечной коробке. Автор в ряде глав старается быть как можно более фактичным, а то и будничным, избегая взрыва чувств и у себя, и у персонажей, затягиваемых принудительным механическим движением. Он представляет нам комбинат

уничтожения — обобщённый, не называя его именем «Освенцим». Всплеск эмоций разрешает себе только при отзыве на *музыку*, сопровождающую колонну обречённых и диковинные потрясения от неё в душах. Это — очень сильно. И сразу вплотную — о чёрно-рыжей гнилой охимиченной воде, которая остатки уничтоженных смывает в мировой океан. И вот — последние чувства людей (у старой девы Левинтон вспыхивает материнское чувство к чужому малышу, и, чтобы быть с ним рядом, она отказывается выйти на спасительный вызов «кто тут хирург?»), даже и — душевный подъём гибели. И дальше, дальше автор вживается в каждую деталь: обманного «предбанника», стрижки женщин для сбора их волос, чьё-то остроумие на грани смерти, «мускульная сила плавно изгибающегося бетона, втягивавшего в себя человеческий поток», «какое-то полусонное скольжение», всё плотней, всё сжатее в камере, «всё короче шажки людей», «гипнотический бетонный ритм», закруживающий толпу, — и газовая смерть, темнящая глаза и сознание. (И на том бы — оборвать. Но автор, атеист, даёт вослед рассуждение, что смерть есть «переход из мира свободы в царство рабства» и «Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть», — это воспринимается как обидный срыв с душевной высоты, достигнутой предыдущими страницами.)

По сравнению с этой могучей самоубеждающей сценой массового уничтожения — слабо стоит в романе отдельная глава (II—32) отвлечённого рассуждения об антисемитизме: о его разнородностях, о его содержании и сведение всех причин его — к бездарности завистников. Рассуждение сбивчивое, не опёртое на историю и далёкое от исчерпания темы. Наряду с рядом верных замечаний — ткань этой главы весьма неравнозначна.

А сюжетно еврейская проблема в романе больше строится вокруг физика Штрума. В I-м томе автор не давал себе смелости развернуть образ, теперь он на это решается — и главная линия тесно переплетена с еврейским происхождением Штрума. Теперь, с опозданием, мы узнаём о тошном ему «вечном комплексе неполноценности», который он испытывает в советской обстановке: «входишь в зал заседаний — первый ряд свободен, но я не решаюсь сесть, иду на камчатку». Тут — и сотрясающее действие на него предсмертного письма матери.

О самой сути научного открытия Штрума автор, по законам художественного текста, разумеется, не сообщает нам, и не должен. А поэтическая глава (I—17) о физике вообще — хороша. Весьма правдоподобно описывается момент угадки зерна новой теории — момент, когда Штрум был занят совсем другими разговорами и заботами. Эту мысль «казалось, не он породил, она поднялась просто, легко, как белый водяной цветок из спокойной тьмы озера». В нарочито неточных выражениях открытие Штрума поднято как эпохальное (это — хорошо изъяснено: «рухнуло тяготение, масса, время, двоятся пространство, не имеющее бытия, а один лишь магнетический смысл»), «классическая теория сама стала лишь частным случаем в разработанном Штрумом новом широком решении», институтские сотрудники прямо ставят Штрума вслед за Бором и Планком. От Чепыжина, практичнее того, узнаём, что теория Штрума пригодится в разработке ядерных процессов.

Чтобы жизненно уравновесить величие открытия, Гроссман, с верным художественным тактом, начинает копать в личных недостатках Штрума, кое-кто из коллег-физиков считает его недобрый, насмешливым, надменным. Гроссман снижает его и внешне: «чесался и выпячивал губу», «шизофренически накуксится», «шаркающая походка», «неряха», любит дразнить домашних, близких, груб и несправедлив к пасынку; а однажды «в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к жене, подняв кулак, готовый ударить». Зато у него «жёсткая, смелая прямота» и «вдохновение». Иногда автор отмечает самолюбивость Штрума, часто — его раздражительность, и довольно мелкую, вот и на жену. «Мучительное раздражение охватило Штрума», «томительное, из глубины души идущее раздражение». (Через Штрума автор как бы разряжается и от тех напряжений, которые сам

испытал в стеснениях многих лет.) «Штрума сердили разговоры на житейские темы, а ночью, когда не мог уснуть, думал о прикреплении к московскому распределителю». Воротясь из эвакуации в свою просторную, благоустроенную московскую квартиру, с небрежением замечает, что шофёра, поднесшего их багаж, «видимо всерьёз занимал жилищный вопрос». А получив желанный привилегированный «продовольственный пакет», терзается, что и сотруднику меньшего калибра дали не меньший: «Удивительно у нас умеют оскорблять людей».

Каковы его политические взгляды? (Двоюродный брат его отбыл лагерный срок и отправлен в ссылку.) «До войны у Штрума не возникали особо острые сомнения» (по 1-му тому припомним, что — и во время войны не возникали). Например, он тогда верил диким обвинениям против знаменитого профессора Плетнёва — о, из «молитвенного отношения к русскому печатному слову», — это о «Правде»... и даже в 1937 году?.. (В другом месте: «Вспомнился 1937 год, когда почти ежедневно назывались фамилии арестованных минувшей ночью...») Ещё в одном месте читаем, что Штрум даже «охал по поводу страданий раскулаченных в период коллективизации», что уж и вовсе непредставимо. Вот что Достоевскому «скорей „Дневник писателя” не надо было писать» — в это его мнение верится. К концу эвакуации, в кругу институтских сотрудников, Штрума вдруг прорывает, что в науке для него не авторитеты — «заведующий отделом науки ЦК» Жданов «и даже...». Тут «ждали, что он произнесёт имя Сталина», но он благоразумно только «махнул рукой». Да, впрочем, уже домашним: «все мои разговоры... дуля в кармане».

Не всё это у Гроссмана увязано (может быть, и не успел он доработать книгу до последнего штриха) — а важней, что ведёт-то он своего героя к тяжкому и решительному испытанию. И вот оно подступило — в 1943 вместо бы ожидаемого 1948 — 49, анахронизм, но это дозволенный для автора приём, ибо он камуфляжно переносит сюда уже собственное такое же тяжкое испытание 1953 года. Разумеется, в 1943 физическое открытие, сулящее ядерное применение, мог ожидать только почёт и успех, а никак не гонение, возникшее у коллег без приказа сверху, и даже обнаруживших в открытии «дух иудаизма», — но так надо автору: воспроизвести обстановку уже конца 40-х годов. (В черед немыслимых по хронологии забеганий Гроссман уже называет и расстрел Антифашистского Еврейского комитета, и «дело врачей», 1952.)

И — навалилось. «Холодок страха коснулся Штрума, того, что всегда тайно жил в сердце, страха перед гневом государства». Тут же наносится удар и по его второстепенным сотрудникам-евреям. Сперва, ещё не оценив глубины опасности, Штрум берётся высказать директору института дерзости — хотя перед другим академиком, Шишаковым, «пирамидальным буйволом», робеет, «как местечковый еврей перед кавалерийским полковником». Удар приходится тем больней, что постигает вместо ожидаемой Сталинской премии. Штрум оказывается очень отзывчив на вспыхнувшую травлю и, не в последнюю очередь, на все бытовые последствия её — лишение дачи, закрытого распределителя и возможные квартирные стеснения. Ещё даже раньше, чем ему подсказывают коллеги, Штрум по инерции советского гражданина сам догадывается: «написать бы покаянное письмо, ведь все пишут в таких ситуациях». Дальше его чувства и поступки чередуются с большой психологической верностью, и описаны находчиво. Он пытается развеяться в разговоре с Чепыжиным (старуха-прислуга Чепыжина при том целует Штрума в плечо: напутствует на казнь?). А Чепыжин вместо подбодрений сразу пускается в изложение путаной, атеистически бредовой, смешанной научно-социальной своей гипотезы: как человечество свободной эволюцией превзойдёт Бога. (Чепыжин был искусственно изобретен и впихнут в 1-й том, такой же он дутый и в этой придуманной сцене.) Но независимо от пустоты излагаемой гипотезы — психологически очень верно поведение Штрума, приехавшего ведь за духовным подкреплением. Он полунеслышит эту тягомотину, тоскливо думает про себя: «мне не до философии, ведь меня посадить могут», ещё продолжает думать:

так идти ли ему каяться или нет? а вывод вслух: «наукой должны заниматься в наше время люди великой души, пророки, святые», «где мне взять веру, силу, стойкость, — быстро проговорил он, и в голосе его послышался еврейский акцент». Жалко себя. Уходит, и на лестнице «слёзы текли по его щекам». А уже скоро идти на решающий Учёный совет. Читает и перечитывает своё возможное покаянное заявление. Начинает партию в шахматы — и тут же рассеянно покидает её, очень живо всё, и соседние с тем реплики. Вот уже «воровски оглядываясь, с жалкими местечковыми ужимками торопливо повязывает галстук», торопится успеть на покаяние — и находит силы оттолкнуть этот шаг, снимает и галстук, и пиджак, — он не пойдёт.

А дальше его гнетут страхи — и незнание, кто же выступал против него, и что говорили, и что теперь с ним сделают? Теперь, в окостенении, он по нескольку дней не выходит из дома, — ему перестали звонить по телефону, его предали и те, на чью поддержку он надеялся, — а бытовые стеснения уже и душат: уже «боялся управдома и девицы из карточного бюро», отнимут излишки жилой площади, член-корреспондентскую зарплату, — продавать вещи? и даже, в последнем отчаянии, «часто думал о том, что пойдёт в военкомат, откажется от брони Академии и попросится красноармейцем на фронт»... А тут ещё и арест свояка, бывшего мужа сестры жены, не грозит ли тем, что и Штрума арестуют? Как всякий благополучный человек: ещё и не сильно его потрянули, ощущает же он как последний край существования.

А дальше — вполне советский оборот: магический доброжелательный звонок Сталина к Штруму — и сразу всё сказочно переменилось, и сотрудники кидаются к Штруму заискивать. Так учёный — победил и устоял? Редчайший пример стойкости в советское время?

Не тут-то было, Гроссман безошибочно ведёт: а теперь следующее, не менее страшное искушение — от ласковых объятий. Хотя Штрум упреждающе и оправдывает себя, что он — не такой же, как помилованные лагерники, тут же всё простившие и проклявшие своих прежних сомучиков. Но вот уже опасается бросить на себя тень женой сестры, хлопчущей об арестованном муже, его раздражает и жена, зато весьма приятно стало благоволение начальства и «попадание в какие-то особые списки». «Самым удивительным было то», что от людей, «ещё недавно полных к нему презрения и подозрительности», он теперь «естественно воспринимал их дружеские чувства». Даже с удивлением ощутил: «администраторы и партийные деятели... неожиданно эти люди открылись Штруму с другой, человеческой стороны». И при таком-то его благодушном состоянии это новоласковое начальство предлагает ему подписать гнуснейшее сов-патриотическое письмо в «Нью-Йорк таймс». И Штрум не находит силы и выверта, как отказаться, — и безвольно подписывает. «Какое-то тёмное тошное чувство покорности», «бессилия, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни».

Таким поворотом сюжета — Гроссман казнит сам себя за свою покорную подпись января 1953 по «делу врачей». (Даже, для буквальности, чтобы осталось «дело врачей», — анахронистически вкрапляет сюда тех давно уничтоженных профессоров Плетнёва и Левина.) Вот кажется: теперь напечатает 2-й том — и раскаяние произнесено публично.

Да только вместо того — гебисты пришли и конфисковали рукопись...



Р Е Ш Е Н И Я . О Ъ З О Р Ы

ГДЕ ВАША УЛЫБКА?

Юрий Малецкий. Физиология духа. Роман в письмах. — «Континент», № 113 (2002, № 3).

Писатель Юрий Малецкий производит впечатление тотального маргинала. Он выпал из контекста. Живет неведомо где. В Неметчине. Пишет неведомо о чем, даром что по-русски. Сложно, непонятно, не о том... Вероятно, *не о том*, если критики говорят о Малецком нехотя (да что там, уже лет пять как довольно дружно молчат о нем; исключение — добрый сетевой отклик Сергея Костырко на рассказ «Копченое пиво»). Провинциал, добровольный изгой, «чересчур» замысловатый сочинитель.

Малограмотно, но определенно выразился бойкий рецензент газеты «Алфавит»: «Малецкий — еще один известный в узких кругах писатель, чье имя скажет читателю столь же мало, сколько его произведения». Возразим: произведения Малецкого могут сказать очень немало. Для чего, правда, нужно дать себе труд внедриться в эту прозу. А тут есть загвоздка. Дело в том, что Малецкий — последовательный, бескомпромиссный аналитик. Он бесконечно дробит и разделяет, усложняет и дифференцирует, идет снаружи внутрь, ничего в жизни не оставляя простым и целым.

Ради этого писатель принес максимум жертв. В прозе Малецкого нет ни быта, ни социума. Глаз практически не задействован. Отсутствует самодостаточная плоть мироздания. Почти нет событийной эмпирики. Иной раз уже даже отсутствует живая спонтанная речь; она заменяется письменным отчетом персонажа. Нет вообще ничего наружно-вещественного, материализующего жизнь духа.

Мир у Малецкого сведен в фокус, герметично замкнут тем, что происходит у персонажей внутри, тем, чем живет душа, — и в той степени, в какой душа сумела сказать, проговориться, воплотиться в слове. Но степень эта очень высока. Герои Малецкого принадлежат к той не весьма распространенной сегодня разновидности человеческого рода, которая отличается способностью не только много пережить, но очень подробно осознать пережитое, а затем и очень полно выразить свой личностный опыт. В нем, в этом опыте, есть нечто сугубо индивидуальное. Но есть — что немаловажно — и нечто универсальное, записанное на скрижалях. Такого даже очень много. Не зря же его новый роман назван с претензией, почти как философский трактат, — «Физиология духа».

Юрий Малецкий написал очень странную книгу. Многие книги чем-то да странны. Но есть ведь и мера странностям. А тут — нечто сверхмерное и потому необычайное. И до того необычайное, что если и замечен его роман критиками, то, насколько я могу судить, — дружно проигнорирован. А между тем книга эта далеко не лишняя. К тому же роман о любви. О встрече, о мужчине и женщине, о браке. О невозможности любви. О равно мучительных неизбежности и невозможности. (И еще где-то в сухом остатке — об одиночестве.)

Писатель не скрывает своих ориентиров, они названы в тексте: «Крейцера соната», «Идиот». Затем, наверно, еще «Шум и ярость» и Джойс. Когда один из персонажей противопоставляет «неотложную» «Крейцерову сонату» «совершенно необязательной» «Анне Карениной», в этом угадывается участие и авторского голоса: «...не лень семьсот страниц рассказывать про всякие вещи, которых уже сто лет как нет, да и не надо, вроде ручного сенокоса или скачек... зачем? Зачем нам знать, как сено косили? Любит кто грозу в начале мая или в конце октября, мне какое дело? Книга должна быть такая, чтобы людям глаза открыть на то, чем они всегда живут (а не видят), что всегда при них (а не знают), даже когда все сено скошено»...

Эта любовная история так или иначе тематически срифмовалась в литературном контексте прошлого года с недавним этюдом-опытом Марины Вишневецкой. Но Вишневецкая получила за свою скромную, но вкусную вещь две престижных премии. А Малецкий... При том, что по изощренной остроте наблюдений, по глу-

бине анализа человеческих чувств роман Малецкого и опыт Вишневецкой нельзя и рядом поставить. Малецкий — философ потаенных душевных движений, внедрившийся в душу современного человека так глубоко, что оторопь берет. Вишневецкая — яркая рассказчица, идущая от случая и не особенно претендующая на самостоятельное выявление хоть каких-то там закономерностей бытия. Но красивый случай нам милее, чем философские сложности. (Вот и я — прочитал опыт Вишневецкой залпом, а роман Малецкого освоил только в несколько заходов, месяца эдак за полтора...)

«Физиология духа» — роман в письмах, разложенный на несколько голосов, поочередно исповедующихся или рассуждающих о своем-чужом жизненном опыте. Задыхаясь, воодушевляясь, трепыхаясь, как карась на сковороде. Все внимание автора сосредоточено на этом аналитическом многоугольнике, включившем в себя мужчину и женщину, взрослого сына этого мужчины и двух психоаналитиков (тоже давно связанных между собой мужчиной и женщиной).

Роман-исследование, роман — докторская диссертация о ресурсах и возможностях любви, о ее изнурительно-мучительной реальности и парадоксии. Сгущенная, отжатая, сконцентрированная проза. Одна логика накладывается на другую, закипает спор, а в итоге выговоренные с последней прямой, выраженные до конца позиции не уничтожают друг друга, но создают в читательском сознании диалогическое пространство. Возникает некий полисмысл, не чуждый даже некоторой амбивалентности, но отнюдь не релятивный. Просто начинаешь думать о том, что один человек — будь ты хоть ума палата — не в состоянии постичь все тайны и загадки человеческого бытия. Отдельные суждения и позиции — как рифмы. Они, однако, не складываются в строгий порядок в жизни. Даже двое — ну никак не рифмуются, тем более не совпадают, как две платоновские половинки. Внятно построенная строфа возникает разве только в художественном пространстве. И больше того: личностный опыт принципиально не свести в универсальную бытийную формулу на плоскости здешнего бытия. Для этого нужен выход в иную реальность, или взгляд *оттуда*.

Собственно, на это намекает и сам автор. Смысловый итог его романа близок к отточию. Полная правда не дана никому. Что-то даже химерическое есть в голове и у самых отъявленных носителей здравого смысла и глубоких мыслей. Оказывается, например, что один из героев придумал для себя коллизию своей жизни. (Впрочем, не буду входить в чрезмерные подробности, у Малецкого здесь есть момент интриги, есть тщательно выпестованный элемент неожиданности, придающий повествованию и сюжетную остроту. Читатель оценит этот кунштюк.)

Есть такое широко распространенное мнение, что всякий анализ разоблачителен. Что постигать человека — означает его всячески развенчивать. Раскручивать, разоблачать, приводить к простым и понятным инстинктам. А-ля Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин. (В нашей литкритике инструментарий такого рода в последнее время вконец изгваздан и затуплен Львом Пироговым.) Малецкий раскрывает своих героев со всей подноготной, хотя настагает их и не врасплох. Да они у него и сами с усами, расскажут о себе то, что иной предпочел бы утаить, а другой просто не осознает. Но эффект этой аналитической прозы, как ни странно, вовсе не разоблачителен. Из знакомства с обстоятельствами и перипетиями сложного, противоречивого опыта, в которые ты волей-неволей вынужден вникнуть, вызревает впечатление человеческой значительности, возникает эмпатическая реакция сочувствия и соучастия. Причем поочередно к каждому новому повествователю-аналитику. Причем не упраздняя чувства симпатии к тем, с кем свел тебя автор прежде, пусть и насквозь они просвечены рентгеном.

У меня появляется предчувствие, что на известной глубине духовного общения уже невозможно судить персонажа. Можно только соучаствовать в его жизни. И Малецкий — из тех писателей, которые обеспечивают эту глубину. Быть может, и наивно об этом говорить, но все-таки скажу: такая проза имеет воспитательную силу. Не в смысле азбуки морали. А в смысле интенсивности существования, которая дается нам в ощущениях. К тому же герои Малецкого обладают такой в современной литературе редкостью, как религиозный опыт, и этот опыт также тщатель-

но пережит, просвечен, свободен от неопитской детской наивности (той, кстати, какой в свой черед впечатлила героиня титулованной прозы Вишневецкой).

Время героев Малецкого — это, что ни говорите, возраст зрелости. Совершеннолетнее время. Персонажи представляют современный тип рефлексивного, требовательного, взыскательного и взыскующего сознания, навсегда выведенного из равновесия, из шор-пут патриархальной традиции.

Счастья на планете Малецкого ни у кого нет — и не будет. Любовь возможна через невозможность. Параллельные кривые не сливаются, но перекрещиваются. Гармония не приживается в нашем падшем мире. Где ваша улыбка, что была вчерась?.. В романе есть такое рассуждение о русских: «Другие народы пусть каждый показывает по-своему, как надо жить; а мы вовсе — не как не надо. Мы вообще *о другом*: всею своею Не-путевостью мы говорим: этот путь только для жизни на земле. А нам чего на этой вонючей земле делать-то?.. Человек — это кто создан, чтобы жить в раю. И мы, таким образом, люди в наиболее полном смысле слова. Нам хочется в рай сильнее других.. Мы потому все и делаем якобы во вред себе, что не земля нам дом. Это есть наш основной инстинкт, а не в койку, не эрос как танатос, а танатос как эрос...»

Но есть драматическая полнота бытия и есть способность сопереживания. Есть, наконец, сегодня написанные вполне насыщенные книги. Уже немало.

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.

*

ЧИЖИК-ПЫЖИК И ПОВЕРТОН

Феликс Светов. Чижик-пыжик. Роман. Рассказы. М., «Эксмо-Пресс», 2002, 384 стр.

Наверное, немалый для отечественного прозаика соблазн существовал еще в недавние годы, когда ни писатели, ни читатели не боялись больших литературных объемов, — написать роман «о главном», скалькировав у Достоевского и горячечные исповеди, и сбивчивые многостраничные диалоги и монологи, и лихорадочно убыстряющуюся пружину сюжета. Лет тридцать назад такие романы наводняли самиздатскую Москву: огромные кипы бледной машинописи — казалось, зрение потеряешь, читая. Ан нет — шли они нарасхват, передавались из рук в руки и имели своих горячих адептов. Тогда больше всего, четыре, а то и пять, написал их, кажется, Феликс Светов, известный новомирский критик, ставший вдруг горячим православным неопитом, истово обличавшим столичные интеллигентские, точнее, «образованские» язвы. Слово «образованщина» с легкой, точней, тяжелой руки Солженицына только-только вошло в те дни в оборот. Злые языки язвили тогда, что писать столь яростные и одновременно религиозные сочинения заставляет Светова супруга его, тоже неопитка, женщина яркая, волевая и властная. Сам же Светов в своем написанном незадолго до кончины замечательном рассказе «Повертон», целомудренно — как и в других поздних своих вещах — работая на занижение прежнего чрезмерного пафоса, объяснил дело просто. Был у него королевский пудель Март (и я благодаря этому рассказу вдруг прекрасно вспомнил световского пуделя, лаявшего и всею своей тяжестью наваливавшегося мне на грудь, когда я входил к Светову в маленькую прихожую). Так вот, рассказывает писатель: «Я был у этого пуделя кем-то вроде лакея, он знал, что может сделать со мной все, что захочет, а потому будил только меня в семь утра, и я послушно выходил с ним во всякую погоду... Многие годы зимой мы оставались с ним вдвоем, жили за городом, ему я и обязан своими длинными романами. Встанешь в семь утра, пробежишься по снегу, не в постель же забираться досыпать, затопишь печку, сядишься за стол. А он спит на тахте до обеда». Поздний Светов по отношению к своему доарестному творчеству ироничен и безжалостен разом: мол, все это продукция «писателя-графомана». Но вот Александр Солженицын о световском романе «Отверзи ми двери» (1975) пишет: «Эта книга в своей напряженной густоте совмещает вопросы метафизические, богословские, исторические ретроспекции, реальный со-

ветский быт 70-х годов, психологические метания столичного образованного круга и острые политические и нравственные проблемы тех лет». Такая многоспектральная характеристика достойна, пожалуй, романов Федора Достоевского...

Не помню, как назывался следующий роман Светова, где уже и сам Христос приходит к патриарху Сергию, то бишь Великому инквизитору, в сталинскую Москву, но только однажды этот роман переночевал в гебухе по моей вине. Сажу в тесной сторожке Антиохийского подворья и чуть ли не при свече вечером читаю его. Поднимаю глаза — идут! Сразу понял: чешут ко мне через двор четыре гэбиста. Заметался — а куда денешь? Ну, затолкал под стол. Повезли на Лубянку; один вместо меня остался за сторожа. Нудный разговор, а в голове одно: найдут — не найдут? Вот уже и отпускают, вдруг главного допросчика, Сергея Владимировича, вызывают из комнаты. Возвращается.

— Юрий Михайлович, а вы, оказывается, с нами не откровенны.

Ясно. Нашли. Поехали опять на Антиохийское.

— Только учтите, завтра утром я должен вернуть роман автору, и отсрочка невозможна.

В семь утра мне его вернули. Я сразу к Светову, все ему рассказал, перебиваемый лаем Марта. Онемел Феликс. Так мы тогда и жили...

«Помню, — усмехается Светов в „Чижике-пыжике”, — я написал Солженицыну в Вермонт, была у меня в ту пору переписка с классиком в связи с публикацией моего романа на Западе. Вы восемь лет оттянули в лагерях, написал я ему, а я семнадцать просидел в ЦДЛе, удивительно, мол, что живым остался... Надеюсь, он понял мой нехитрый покаянный юмор и не обиделся».

Я познакомился с Феликсом, когда он из цедээловского шалмана перебрался пить водку и говорить о *главном* на диссидентские кухни — как раз на одной из таких кухонь у историка Вадима Борисова (соратника Светова по замечательному тогдашнему самиздатскому сборнику «Из-под глыб») мы и подружились.

Так что я читал новую посмертную книгу Светова не просто как случайный читатель. В ней — хоть мне после тех кухонных посиделок не выпало и сотой доли испытаний, пережитых писателем, — есть частица и моей жизни тоже. «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего», — определил Пастернак. И я, пусть младший, но современник Светова, читая его роман и рассказы, очень чувствовал эту ее... дымящую, неостывшую.

Страницы, посвященные тюремным, пересыльным и ссыльным воспоминаниям в ней, все-таки особенно сильные.

«И я не заметил — как, каким образом? — в этот ад, рукотворный, руками, делом, разумом человека созданный, уже закосневший, ставший мерзостным бытом и постыдной жизнью, в этот ад стала проникать струя *света*... Любовь хлынула неведомо откуда и затопила коридоры, камеры, смрадные отстойники, дикие сюжеты и судьбы, и — ожили, заулыбались, заблестели слезами, умом, юмором мертвые глаза, оскаленные морды: убийцы, насильники, хапуги, вертухаи; кровавые статьи, страшные нелепые судьбы, исковерканные жизни... Я увидел несчастных людей — слабых, запутавшихся, во власти неудач и страстей, со своей бедой и непобедимым страданием, без помощи, без защиты, наедине с собой в этой безысходной загаженной куче... И все это связывалось, оборачивалось чем-то до слез щемящим и радостным».

В больших романах у Светова присутствуют взвинченность, экзальтация. А вот здесь — накал подлинный, не литературный, не умозрительный. Года два назад мы повздорили: в горячем возмущении Светова смертной казнью мне примстилось головное общее место. Но теперь, прочитав вышецитированное, каюсь: человек с *таким* опытом, с *таким* ненапускным героизмом — выстрадал свою жалость, а не зачерпнул ее из либеральной кормушки.

Да и вообще с тюремным опытом не поспоришь, даже если и хочется опровергнуть, к примеру, такое вот утверждение: на омской пересылке открылось Светову (в связи с тем, что тюрьма была старая, «екатерининская») «самое любопытное, что все это не вчера сооружено — ад на земле и не за восемьдесят последних лет обустроено. Веками складывалось, а потому связано и завязано с глубинным строем всей нашей жизни». Вот тебе раз. Автор религиозных русских романов, участ-

ник почвенного сборника «Из-под глыб» утверждает «глубинную», оказывается, порочность отечественной истории. И каково было тут декабристам — «чистые лица, высокие лбы, бесстрашные глаза, тонкие пальцы». Можно было бы напомнить, конечно, Светову, что в этих «высоких лбах» вынашивалась мысль о физическом уничтожении царской династии, а низкосводчатые темницы — отнюдь не единственное и вовсе не специфическое достояние русской истории. Но излишне спорить с тем, кто вынес с мужеством и редким достоинством тюремное испытание.

...И сколько в этой книге лиризма, сколько естественной натуральной и впрямь русской путаницы. Да и советской тоже. Вот у Достоевского все споры — за чаем. А у новейших писателей — у Кормера, Максимова, Светова — всегда за водкой, ладно, если за пивом. Герои, «русские мальчики», у этих писателей чаще всего пребывают в алкогольной или похмельной ажитации. Такое впечатление, что руки им, говорливым, девать некуда, как только открывать, разливать, закуривать. Зримая примета, судя по прозе, отнюдь не «глубинного строя нашей жизни» — новейшего.

«Бедный чижик», — резюмировала лирическая героиня Светова поездку свою с автором в Петроград. Мнится, что и впрямь и он, и его сверстники, и мы, следовавшие в культуре за ними, — вот такие «бедные чижики», бедные, но и счастливые особым счастьем парения над рутинным укладом. Своей сутью, биографией, своим творчеством принадлежал Светов к литераторам, искавшим несоцреалистические живые пути литературы на излете советской власти. И в девяностые годы в новых условиях писатель не забурел, не стал служителем мутной, на глазах превратившейся из красной в желтую конъюнктуры. Но остался живым и непосредственным человеком. В его последней книге — все то же «щемящее и радостное что-то», что почувствовал он даже в тюремной камере.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

ЧТО СОДЕРЖИТ ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА?

Василий Ковалев. Форма жизни. СПб., «Центр информационной культуры», 2002, 48 стр.
Денис Датешидзе. ...другое время... СПб., «Центр информационной культуры», 2003, 59 стр.

Характерная особенность мироощущения нового поколения петербургских поэтов — настойчивые поиски некоей стабильной жизненной формы, позволяющей осуществить самоидентификацию. Название книги двадцатичетырехлетнего Василия Ковалева — «Форма жизни» — прямо намекает на подобное стремление. Здесь двойной смысл: во-первых, автор пытается проанализировать, кто он есть, обозреть причудливые «наросты» и «изгибы» своей души, опознать среди всех известных форм свою и, во-вторых, почувствовав, осознав подспудную аморфность всякого существования, хочет как-то оформиться, отлиться во что-то.

Сквозной образ книги — морская стихия, «ломающаяся тоскливо на причал» («Видишь ли, как бледно-голубое...»), стихия, которой сообщены все «качества и свойства жизни», но не придана конечная форма. И отсюда, с одной стороны, величайшая ее таинственная подвижность, а с другой — амебообразность, понимаемая, впрочем, не как чисто отрицательная характеристика. Ведь до тех пор, пока не стал чем-то определенным, ты потенциально предназначен ко всему.

Не зная, кто он, человек тем не менее хочет быть *самим собой* — вот главный лейтмотив книги. Парадокс в том, что *быть* собой нельзя не меняться, и тогда соблазнительной кажется морская уловка:

...измениться, но не беспокоя
тяжкие подводные слои,
раствориться пеною морскою,
в голубой рассыпаться пыли.

Заинтересованность своей неявностью, неявленностью выказывает романтическую подоплеку этой поэзии. В ней есть лирический герой, присутствующий как

объект художественного исследования, как главная проблема поэтической системы Василия Ковалева. Интересно, однако, что тут этот известный еще с XIX века двойник автора претерпевает в высшей степени выразительную метаморфозу. Перед нами не лермонтовская демоническая личность, не поэт-артист Блока, не есенинский увядающий юноша, не разочарованный интеллигент Бродского. Герой Ковалева — человек, как бы не отбрасывающий тени, странно несамостоятельный, растворяющийся в каждом своем жизненном впечатлении, в каждом своем взгляде, все время перетекающий и, увы, никогда не могущий совпасть ни с одной из принимаемых им форм. Тут просится цитата, как будто бы опровергающая только что высказанное суждение, заканчивающаяся некой декларацией бесстрашия и всепрятия:

И теперь, ни жалости, ни скуки
не стыдясь, с неявною тоской
превращаться в голоса и звуки,
в жаркий воздух, в грохот городской
мне не страшно, смерти нет, разлуки
нет, — лишь блики, крики чаек над рекой.

Но оттого и зафиксировано это состояние растворенности и покоя, что в остальное время никак слиться с миром не удастся. Почему? Потому что мешает стоящая на страже рефлексия, ужас перед «ловушкой» бытия, призывающего к ответственности. Если ты есть — то уже *есть*, уже обладаешь набором свойств, уже включен в неразрывную цепь существования, занимаешь в ней определенное место, обуславливаешь некие казуальные связи и, следовательно, ты — виноват. Как и назначено созданию греховному, тварному.

Впрочем, современное сознание прежде всего боится чувства вины. Отсюда парадокс. Личность, как и положено в романтизме, остается главной, высшей ценностью. Однако теперь она не только не стоит в центре мироздания, но оказывается предельно маргинализованной, даже как бы вовсе отсутствующей. И вот к этой пустоте, в которой нет-нет да и почудится некое таинственное мерцание, и приковано внимание автора:

...я воздух... и как будто
растворен в себе самом, я глух,
нем, неразличим, — из ниоткуда
звук к звуку, радующим слух, —
в никуда...

Не правда ли, выразительное самоотрицание! Или все же самоутверждение, как и положено индивидуалистическому сознанию, рассматривающему мир исключительно через «прицел» своей самости? Самоутверждение от противного несмотря ни на что, невзирая на затрудненность идентификации, вопреки тому, что утверждать-то вроде и нечего.

Не случайно, как только автор обращается к теме поэзии, в орбиту его внимания попадают стихотворцы второстепенные, работавшие и работающие на той зыбкой границе, которая отделяет истинное творчество от графомании: «Я знаю, что делать тому, кто сходит с ума...», «Доверишь судить о стихах своих двум или трем...», «Что жалчей вторичного... вторичных...». Последнее стихотворение заканчивается строфой:

Пусть не будет публики, оркестра,
реплик одобрительных, — лишь с места
раздаются — глубже, глуше, тише —
восьмистишия, четверостишия...

Это творчество и жизнь, протекающие *вне всякой публичности*. А значит, как бы не существующие.

И тут я люблю себя на странном ощущении. Приглядитесь, ведь все приведенные мною цитаты, иллюстрируя высказанные ранее соображения, одновременно подспудно их опровергают. Говорим о романтизме этих стихов, имея в виду заво-

рожденность автора тайной собственной личности, но тут же обнаруживаем, что от самого-то себя он как раз смертельно устал. Констатируем боязнь принять ответственность за собственную определенность, но ведь одновременно угадываем стремление *быть, стать*, присутствующее в каждом из этих стихотворений: «радостно и страшно быть собой» («Над большой крышей то и дело...»). Кроме того, нельзя отрицать, что позиция выбирающего, уверенного в своем праве выбирать, — амбивалентна. Свобода воли — источник греха, именно благодаря ей «поднимается во весь рост / форма, преобладающая над содержанием...» («Последняя элегия»). И на самом деле, не оформиться боится человек, а формализоваться (*форма жизни* для него, так сказать, рискует стать *жизнью формы*). И страх его обоснован, потому что ему не хватает жизненной силы, не хватает витальности: «...лень, хандра, / неумение жить счастливо, / может, и не желание (до конца разобраться трудно)».

Это правда, которую человек знает за собой и, зная, стремится быть честным. Но кроме *правды* есть еще и *истина*. Замечательно, что ее предполагающееся присутствие многое определяет в «Форме жизни», делает эти молодые, даже наивные в юношеской занятости собой стихи неожиданно глубокими. Поэт не дает заморочить, обмануть себя поверхностной правдой, он ищет за *формальной* фактологией тот самый, еще пушкинский, «возвышающий обман», который только и может быть основанием художественной и жизненной достоверности. Тут есть, конечно, опасность впадения в беспочвенную мечтательность. Но у Ковалева она компенсирована некой трагической серьезностью мироощущения, не позволяющей расслабляться, по крайней мере в стихах:

Как курица собирает по крупнице корм,
так и я иду от правды к истине.
Я понял: обладание — лишь одна из форм
утраты...

В том-то и дело, что реальность, в частности реальность твоей души, до крайности противоречива, и зачастую человек просто не успевает сопрячь, соотнести эти противоречия. Вот его и «размазывает» по всему спектру психологических состояний, когда, например, одновременно и любишь — и любви своей не соответствуешь, не можешь жить без другого — и вынести его не в состоянии:

И тревожно шепчется с морем море —
в предзакатный час холодна
их вода, непрочны объятья, в споре
поднимают пену со дна,
замирают — только чернее вскоре
ночь, отпрянут — вовсе черна...

Но заметим, перед нами не просто слепое блуждание сознания в неразрешимых противоречиях. Если поддаться им, «ночь» воистину станет «вовсе черна», и поэт никогда не упускает этого обстоятельства из виду.

Тем самым пустота, о которой мы говорили, пустота, в которую вытеснен современный, оставшийся без внятных ценностных ориентиров человек, внутренне, так сказать, не пуста. Сейчас физика, говорят, начинает трактовать вакуум как одно из скрытых состояний материи. Не происходит ли и в поэзии чего-то похожего, когда космический вакуум индивидуалистического сознания, дошедшего к началу XXI века до состояния полной «вырожденности», оказывается лишь «нулевой» формой жизни и настойчиво требует преодоления? Причем переход из вечной потенциальности к актуальному, насыщенному смыслами бытию, так сказать, скачок (воспользуемся терминологией физики) с основного на возбужденный уровень, достигается лишь благодаря кинетической энергии души, только в этом своем порыве и принимающей окончательную, содержательную форму.

Хочется надеяться, что Василий Ковалев догадывается об этом.

Столь же рефлексивна и столь же маниакально сосредоточена на проблеме *оформленности* жизни поэзия Дениса Датешидзе. В его книге все время присутствует

интеллектуальное напряжение. Автор думает, и, более того, знает о том, что думает, и даже, может быть, знает, что знает, что знает... И знает, что значит такое знание.

Рефлексия, глубокая, сгущенная почти до предела, — вот, пожалуй, главная черта этой поэтики. И здесь же главная ее загадка, главное противоречие. Сознание, привыкшее все время задаваться вопросом: «а правда ли?», неизбежно должно оставлять руины от жизненных впечатлений, разрушать мир, в пределе вести к релятивизму. Однако в книге Дениса Датешидзе «...другое время...» подобной интеллектуальной катастрофы не происходит, смысл не подвергается развенчанию, может быть, потому, что автор не считает постоянство своей духовной настойчивости достаточным основанием для скепсиса даже в том случае, если она, эта настойчивость, ведет к неутешительным, горьким выводам. Вот только все время хочется свободы, которую автор опять же ищет в разрешении проблемы формы, в том, чтобы быть чем угодно, но только не тем, кем ты предстаешь в своей социальной и биологической обусловленности:

...То же самое служит плену,
Что — защите. По всем приметам
Надо просто пройти сквозь стену,
Не ломая стены при этом.
Эти мысли... годы... И нет им
Оправданья! — Куда их дену?

Быть бы — воздухом, хлебом, светом!..

(«Одиночества плыли краски...»)

Характерная черта: как и в стихах Василия Ковалева, здесь постоянный источник тревоги связан с важнейшим для индивидуалистического сознания представлением о свободе воли личности, якобы только и придающей человеку целостность и суверенность. Внезапно оказывается, что нас обманули: свобода выбора — никакая не свобода, она детерминирована самой *формой выбора*, тогда как мы зачастую совсем не хотим выбирать:

Видимо, мне никогда не найти покоя,
Не разорваться, — не выбраться из бедлама
К благополучному быту тех пар, где двое
«Созданы друг для друга» (как хлеб и «Рама»), —
Сколько бы лет под девизом «одно — другое
Не исключает» ни пробовал жить прямо.

Каждому требуется гармоническое совпадение с миром, другими людьми — в любви, в общении, в жизнедеятельности. А выбирать или жертвовать приходится тогда, когда такого совпадения нет. Но мы всегда чувствуем ложность ситуации выбора, возникающей просто потому, что человек дважды отделен от целостности бытия. Во-первых, будучи духовными, мы выпали из природы, которая только душевно-телесна (этот прискорбный факт Библия описывает в метафоре грехопадения). Во-вторых, к исходу второго тысячелетия развитие индивидуалистического сознания привело к полной и окончательной релятивизации ценностных представлений. Тем самым прежний духовный и социальный космос стал хаосом отдельных стремлений и воли. В этих условиях тоскующая по недоступной соборности, обремененная собой личность настойчиво пытается от себя же освободиться, отождествиться с первым попавшимся на глаза объектом. Вот откуда странные признания поэта:

— То что-то связывать, то снова выскользнуть...
И ни чужою, ни родною
Мне душу не назвать ничью и не сказать
Того, что хочется, — «Будь мною!»

Так сколько же висеть над стилой пустотой?
Вот расплескаться бы — вселиться! —
Стать мальчиком вон тем... и девушкой вон той...
Вбирая все слова, все лица...

В отличие от Василия Ковалева, боязливо отстраняющегося от любых предлагаемых ему жизнью конечных форм, Денис Датешидзе стремится отлиться в каждую, он с болезненной настойчивостью желает, *не выбирая*, быть одновременно всем. Эти позиции лишь на первый взгляд выглядят противоположными. На самом же деле в их основе тотальная усталость от загнанности в ограничивающее тебя своеволие, когда ты все время вынужден выбирать. Но беда в том, что *выбор невыбора*, к которому склоняются оба молодых поэта, по сути, тоже *выбор*, причем едва ли не худший из возможных. Не случайно в книге «...другое время...» практически отсутствуют стихи о любви. И это при том, что автор буквально заиклен на темах всеобщего разделения, слияния.

Дело в том, что любовь иерархична, избирательна. Ее первотолчок — не ужас перед собственной неприкаянной самостью, а благодарность и изумление. Нельзя любить всех и вся. В попытке такого предельного отождествления чудится конечное обнуление пустотой. Мы уже наблюдали, как отказ от себя незаметно соскальзывал к извращенному самоутверждению. В том-то и видится тупик индивидуализма, что для него жизнь начинает переходить в смерть:

И жизнесмерть — в одном лице.
И — стылый блеск воды...
И блядства грация в венце
Либида-лебеды...

И тянет глянцева гладь
Истаять в эту статью —
Где станет нечем обладать
И нечего отдать.

(«Томится плоть, разделена...»)

Опять перед нами знаковый мотив пустоты...

Преодоление индивидуалистического сознания, дошедшего в своем развитии до самоотрицания, непосредственно связано с отказом от свободы выбора, ощущаемой современным человеком как бремя. Бремя, не дающее быть действительно свободным. Но такой отказ не может состояться в рамках прежней индивидуалистической установки. *Свою* волю не преодолеть по *своей* воле. А как? Но вот это *как*, по сути дела упирающееся в вопрос о вере, при всей объективности несводимо к каким-то единообразным рецептам. Может быть, книги стихов Василия Ковалева и Дениса Датешидзе и получились такими взволнованными, сумрачными, даже трагичными, что своего *как* они пока еще не обнаружили.

Алексей МАШЕВСКИЙ.

С.-Петербург.

*

КОНЕЦ КОНЦА ИСТОРИИ, ИЛИ ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА

Джон Грей. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности. Перевод с английского под общей редакцией Г. В. Каменской. М., «Праксис», 2003, 368 стр. («Новая наука политики»).

Историософия, футурология, глобальная политология пользуются у нас читательским спросом, по крайней мере с 80-х годов. Но вряд ли справедливо делать из этого вывод о массовой склонности к объективному критическому анализу мировых процессов. Причина популярности новых масштабных учений часто та же, что и литературы совсем иного рода: хеппи-энд. «Вот, вы шли до сих пор *дорогою к рабству*. Я покажу вам иной путь: измените направление на противоположное — и вы непременно выйдете к благоденствию и свободе». Дело не только в некоторой примитивности восторжествовавшей у нас фетишизации свободного

рынка, существеннее другой вопрос: точно ли, что благоденствие и свобода всегда, с железной неизбежностью, воцаряются на его просторах?

Очевидна связь «между невиданным доселе уровнем преступности и... рыночными мерами, которые явились грубым попранием интересов сложившихся общностей и привычных ценностей». Только самообман не позволяет увидеть связь между экономическими переменами и ростом многочисленных проявлений нищеты, различных групп бедности, огульно и бездушно объединенных рыночниками в броскую, но вводящую в глубокое заблуждение категорию «низшие слои населения». Хорошо знакомые слова. Но на сей раз их написал известный оксфордский политолог, характеризующий нередко как один из лучших теоретиков современности, — Джон Грей.

Название и подзаголовок его книги точно отражают содержание. «Поминки» — это предполагает, конечно, смерть Просвещения; но одновременно и некоторую тоску, ностальгию по покойному. (Трудно представить себе, допустим, книгу с названием «Поминки по коммунизму»: для одних всепобеждающее учение продолжает пребывать вечно живым, другие же вовсе не склонны к поминальным тостам.) Оценивающий «Проект Просвещения» резко отрицательно, убежденный в его скором окончательном крахе, автор книги видит и положительные его черты: их хорошо бы сохранить — если только это еще возможно. И что же поделаешь, если соотношение позитива и негатива «проекта» оказывается, в итоге многостороннего анализа, обескураживающим, чем-то вроде 1:100?

«Проект Просвещения» был ясно сформулирован французскими энциклопедистами и англосаксонскими теоретиками — духовными «отцами основателями» США. Он содержит набор принципов, предписывающих наилучший строй и наилучшие с точки зрения идеала институты для всего человечества. Вот основные положения «проекта». Все человечество стремится как к своей заветной цели к единой, рационалистической и космополитической цивилизации. Это стремление пока тормозят религиозные, культурные, национальные предрассудки. Но вскоре они отомрут. Высшая ценность человека — разум, и он вот-вот до конца поймет эту очевидную истину; «трагедия и тайна будут изгнаны из человеческой жизни». Произойдет культурное выравнивание, все общества на Земле «отбросят традиционную приверженность сверхъестественным силам из-за потребности в рациональных, научных и экспериментальных методах мышления, предполагаемых современной индустриальной экономикой... Произойдет постепенная конвергенция ценностей на основе „наших ценностей“, либеральных». Этому светлому будущему надлежит способствовать — ломкой традиционных отношений и внедрением новых прежде всего в базисной, экономической сфере.

Какие же экономические отношения являются наилучшими? В ответе на этот вопрос варианты «проекта» разошлись. Утопия казармы четверть тысячелетия противостояла утопии свободы, вначале как греза, потом — как воплотившаяся реальность. Но в конце 80-х годов прошлого века противостояние завершилось: «рынок» одержал над «планом» полную и заслуженную победу. И перед обществами встали новые вызовы и угрозы. Миновала еще четверть века, все мы стоим перед пропастью, но все еще не готовы это осознать.

В попытках определить эти вызовы и угрозы, ответить на них и состоит книга, все сказанное выше составляет лишь ее отправной пункт. Он может показаться и сомнительным, и не новым: проклятия в адрес Просвещения — общее место консервативного мышления, ну а «кризис Запада» — где она, та пропасть? Положим, читаем мы о ней часто; но разве не остаются США и страны Европы свободными, могущественными и процветающими?

Не задерживаясь на тезисах о Просвещении как таковом, Грей начинает изложение с 80-х годов прошлого века, с того времени, когда один из названных вариантов «проекта» уступил неограниченное поле деятельности другому.

До этого, напоминает Грей, западный и коммунистический варианты жили, по большому счету, в единении и согласии. Западный утопизм был в этом сожителстве абсолютно последователен: он стремился преобразовать утопию-конкурента на свой, правильный, манер — и одновременно поддерживал ее против неправильных (не утопических, а органических) сил. С этой точки зрения ненависть многих

американских теоретиков к русскому национализму — не иррациональная «руссофобия», а неприятие своих подлинных идейных врагов. Автор приводит многочисленные подтверждения этих внешне парадоксальных мыслей: так, напоминает он, в конце XX века социализм как интеллектуальное течение существовал только в США — цитадели либеральной версии «проекта». Причем в американской политической мысли социализм не противоречит либерализму, а практически сливается с ним.

Все это делает понятным восторженное отношение Запада к утопии «перестройки» коммунизма. Скажем, «в ежегоднике „Этика“ за 1992 год разношерстная команда западных ученых с важностью обсуждает различные аспекты рыночного социализма — концепцию, выставленную на всеобщее посмешище в переходных обществах посткоммунистического мира, где она и возникла несколько десятилетий назад. Лучше бы участники дискуссии в журнале „Этика“ обсудили перспективы реставрации монархии в России — тему менее анахроничную и, возможно, представляющую определенный интерес для тех, чьих судеб она касается».

Но вот коммунизм окончательно рухнул — под неодобрительно-настороженным взором западной интеллектуальной элиты. Причина настороженности понятна: силой, сокрушившей тоталитаризм, оказались национальные движения, в первую очередь — русский национализм. («Русский национализм», в терминологии Грея, — это стремление россиян продолжить свою историю и политическую культуру: ту их линию, которая, начиная с освобождения крестьян, была линией свободы.)

Как западное политическое мышление анализирует сегодняшний расклад мировых сил? В одной из глав книги Грей подробно останавливается на фундаментальном «Справочнике по современной политической философии». Вот принципы, положенные авторами в его основу. «Национализм... не рассматривается в „Справочнике“ на том основании, что его вряд ли можно считать сколько-нибудь влиятельной системой взглядов... Также и другие идеологии — такие, как теизм, монархизм, фашизм, — не упомянуты потому, что... в современном мире они играют, скорее, маргинальную роль». Таким образом, «Справочник» помимо воли авторов «содержит сведения о влиятельной англо-американской юриспруденции, позволяющей разрешать все политические вопросы путем апелляции к единственному фундаментальному праву — праву подразумевать не то, что сказано», — саркастически комментирует Грей.

Могут ли подобные взгляды как-либо определять жизнь прагматичных и разумных западных обществ? Разумеется, нет, пишет Грей. Однако «крах любой политической модели, принимаемой англо-американской интеллигенцией, почти не сказывается на политическом доверии, которым она, интеллигенция, пользуется в своей стране, — оно и без того ничтожно мало». Но с конца 80-х годов эта интеллигенция нашла новые «рынки сбыта». *Неолиберальная модель, постоянно корректируемая реальностью в самих западных странах, навязывается либерально-социалистическими теоретиками России и Восточной Европе. Навязывается в своем утопическом варианте — без всяких корректив.*

Для серьезной критики какой-либо системы нужна позитивная база: если система не работает, то — по сравнению с чем? Какие фундаментальные ценности не обеспечены ею, каким она прямо противоречит? По Грею, социально-экономическая система должна наилучшим образом соответствовать требованиям «универсального минимума нравственных принципов». Без такого соответствия она не может считаться удовлетворительной и не может быть жизнеспособной. В чем же прежде всего этот универсальный минимум состоит? Он прост: безопасность, стабильность, достаток. В него входят как приверженность традиционным ценностям, так и склонность к развитию. В христианском мире (в него автор безоговорочно включает Россию и Восточную Европу) к этому минимуму относится и личная, индивидуальная свобода.

Есть «европейские» ценности, которым автор в некоторых местах книги придает и всемирный характер: свобода, гражданское общество, рынок. Но вот в чем дело: реализация универсальных ценностей возможна лишь в рамках конкретной культуры — данного этноса, данной страны. Это основной тезис книги, и автор многосторонне и убедительно доказывает его. Так, базу гражданского общества в

Японии и других дальневосточных странах составляют не атомарно-индивидуалистические, а семейные принципы: реальной «единицей измерения» становится не изолированная личность, а семейный коллектив. Далее, развитый, конкурентоспособный на мировой арене японский рынок никогда не был «свободным» в том смысле, который вкладывает в это слово либеральный «проект»: традиционно огромная степень японского государственного патернализма непредставима в Европе и вовсе немислима в США. Да и немецкий «ордолиберализм» имеет мало общего с «всемирно»-либеральной идеологией. (Грей приводит любопытный факт: социально-рыночное хозяйство ФРГ строилось Эрхардом *вопреки* настоятельным рекомендациям оккупационных властей.)

Почему же всему миру усиленно навязывается сегодня либеральный «проект»? И как соотносится этот вариант с ценностями вышеупомянутого минимального набора?

Грей подробно разбирает этот вопрос. По отношению к традиционным ценностям «перманентная революция, воплощенная в нерегулируемых рыночных процессах», выступает в роли «маоизма правого толка». «Преобразование всей национальной жизни по убогой модели договора и рынка» ведет, согласно Грею, к катастрофе все страны, включая Великобританию. Лишь в США неолиберальная модель *вписывается в традицию* — а потому и удачно работает в этой стране. Далее, либеральный «проект», в отличие от социально-рыночной модели, порождает постоянную тревогу и нестабильность, в том числе и у среднего класса. Традиционные буржуазные добродетели, например преданность фирме-работодателю, в условиях хронической нестабильности оказываются дискредитированными, теряют смысл. Таким образом, даже если «усредненный» доход члена рыночного общества быстро растет, еще быстрее разрушаются при этом социальные связи.

Есть, однако, ценности, которые считаются неразрывно связанными с либеральным «проектом»: процветание, развитие, свобода. И ценности эти, как заявляет Идеология, для современного человека важнее традиционных — чем и объясняется успех неолиберализма. Такова часто схема рассуждений — схема, по Грею, полностью противоречащая фактам.

В конце 80-х годов, пишет автор, люди ведущих западных стран мирились с наступлением «проекта» на консервативные ценности. В эти годы «проект» обеспечивал быстрое экономическое развитие, что открывало новые перспективы и сулило большие возможности в будущем. В такой (и только в такой!) ситуации люди могут на время забыть о традициях и о прошлом. Да и сами традиционные связи не были еще уничтожены, а удачная охранительная риторика Тэтчер и других консерваторов, переключившихся в либералы, способствовала их успехам на выборах.

Но темпы экономического роста не могли не замедлиться. (Среди многих причин этого Грей выделяет одну безусловную: неизбежное истощение беспощадно эксплуатируемой окружающей среды. Быстрый рост доходов либо сохранение природы — в этом вопросе третьего не дано.) И хрупкое равновесие тут же нарушилось. Общество с ужасом взирает на разрушение своих исторических и культурных основ. Скрыть это разрушение риторики уже не в силах. Следствием стала окончательная смерть неоконсерватизма во всей Западной Европе (кроме, может быть, Италии). Люди тоскуют по стабильности и защищенности — и к власти приходят социалисты. Тоскуют по прошлому, по устоям, по прочному укладу — и популярность правых экстремистов угрожающе растет. Либерализм покончил с консервативными ценностями, отдал их на откуп — левым и «правым».

Так обстоит дело с процветанием и развитием. «Прогресс есть движение ради движения», — приводит Грей откровенно нигилистическую декларацию «неоконсерватора» Хайека. Но не лучше обстоит дело и со свободой: фетишизация права и *радикального равенства* (этот термин Грея мы объясним ниже) уничтожают ее.

Рассуждения автора о гибели западной свободы — одна из парадоксальных на первый взгляд линий книги. Схематически ее можно воспроизвести следующим образом.

В идеологию Просвещения была изначально заложена мина замедленного действия: базируясь на *христианских* принципах, теоретики равенства и свободы пола-

гали свои идеалы *общечеловеческими*. Это противоречие еще недавно могло показаться абстрактным, не имеющим практического значения. С другой стороны, полное забвение христианских начал — тоже дело лишь недавнего прошлого.

Изменение ситуации в наши дни Грей показывает, в частности, в главе «Толерантность: постлиберальная перспектива»¹. Толерантность — это терпимость к личности тех, кто нарушает общепринятые нормы. Таким образом, перед нами типичная *постхристианская* добродетель. Сегодня уже и речи нет о том, чтобы настаивать на соблюдении хотя бы основных норм, как это было в христианском мире. Однако толерантность все же предполагает наличие общепринятых (в данном обществе — христианских) норм. Кроме того, она обращена к личности, что ни в каком обществе, кроме христианского, невозможно. Яркий пример толерантности — подчеркнутое равноправие гомосексуалов при приеме на работу или учебу.

Но толерантность вступила в непримиримое противоречие с либеральным приматом свободы как таковой — забывшей о своем происхождении и уже отвергающей как пережиток приоритетность христианской культуры и морали. Доктрина всеобщего радикального равенства, быстро побеждающая в западных обществах, приходит на смену толерантности, делает ее далее невозможной. Речь идет уже о полном равенстве, в частности, сексуальных ориентаций. Однако быстро вбить в сознание людей столь противоестественные понятия все же трудно, и вот всевозможным меньшинствам даются уже *приоритетные* права. Принцип *групповых* прав уничтожает права *личности*, он все более грубо выступает в форме дискриминации, расовой и сексуальной. В обстановке разнузданной политкорректности мало кто решается напомнить, что белый гетеросексуал тоже человек. А упоминания о христианском характере европейской морали, о христианской культуре как доминанте — восторжествовавшим «проектом» и вовсе поставлены под запрет.

Автор «Поминок...» дает ясные объяснения многим сторонам евро-американской жизни, которые мы часто воспринимаем лишь как грустные парадоксы. Так, орудием разрушения западной цивилизации Грей считает и фетишизацию права. Обращение к праву как к высшей, безоговорочно авторитетной инстанции, пишет автор, чисто английская традиция. И потому в Великобритании принцип безусловного верховенства закона эффективен и сегодня: структура английского общества не изменилась кардинально, тысячелетняя традиция и невеликость территории способствуют его духовной консолидации. Но либеральное мышление совершило свою обычную ошибку: оно объявило примат правового подхода универсальным, всеобщим принципом. И вот «всеобщий принцип» не работает... уже в США. Ни один из раздирающих американское общество конфликтов не был хотя бы смягчен решением Верховного суда. Английская модель не срабатывает: формально-правовой подход повелевает считать конфликт разрешенным очередной поправкой к Конституции — а напряженность в обществе растет. Парадоксальным образом этот подход исключает поиск столь прославляемого на Западе *компромисса* между различными точками зрения, различными слоями общества. Вместо компромисса одна из равноправных с точки зрения фундаментальных принципов позиций объявляется имеющей силу закона. Все это ведет «к политизации закона и к превращению судебных учреждений в арену политической борьбы. Конечным результатом этого процесса является не столько перевод политической жизни в практику правовых дискуссий, сколько разрушение самой политической жизни».

Грей приводит примеры. Проблема абортотв частично решена в европейских странах — путем законодательно закрепленного компромисса между различными точками зрения. В США попытались найти абсолютное, в области *конституционного* права, решение вопроса. И в итоге проблема все больше грозит гражданскому миру в стране.

«Правовому либерализму» Грей противопоставляет либерализм политический: бесполезно заглушать политическую жизнь «безусловными» правовыми решения-

¹ Терминология Грея отличается от принятой в нашей литературе. И, по-видимому, не только в нашей: извратив основные понятия классического либерализма, неолиберализм продолжает эксплуатировать их. Так, по Грею, обстоит дело и с принятым идеологами мультикультурализма на вооружение понятием толерантности.

ми. Нужно искать компромиссы между общественными группами и закреплять их в текущем (а значит, подлежащем изменению при изменении общественных условий) законодательстве.

Казалось бы, перспективный путь. Но... искать компромисс можно лишь на основе базовых ценностей данной культуры. А признание этого факта — уже полная ревизия «проекта»: как при этом быть с радикальным равенством всех форм жизни? Можно временно примирить разные точки зрения на аборт, пишет Грей. А как примирить принцип неприменения силы к оппоненту в споре с принципом, согласно которому силовое решение есть благо? То есть примирить, конечно, можно — ясно признав право и обязанность христианского государства всей своей мощью христианские принципы защищать. Но что при таком подходе останется от плюралистического мировоззрения?

Так неолиберальная идеология заводит постхристианский мир в тупики. Или все-таки — в лабиринты, из которых еще возможно найти выход?

Как быть с постхристианским миром? На это Джон Грей, исходя из своей концепции, и не должен давать ответа. Ибо он предлагает насаждать минимальные базовые ценности на ствол *своей*, традиционной, культуры. Поэтому «рецепты» Грея сдержанны и осторожны. Но при этом представляют острый интерес. Главным образом из-за незаикленности автора: он ищет истину, никакому мировоззрению он на корню не присягал. Россия — европейская страна, — но сегодня ей надо приглядываться и к Азии. Нет, не к Китаю — к Японии: японские условия, начиная с позапрошлого века, нам близки. А из европейских моделей особо надо изучить немецкую. По разным причинам, в частности, из-за восторжествовавшего в ФРГ национального примирения и согласия. Из которого, заметим, нацистская номенклатура оказалась историей исключена...

Несмотря на усилия описанных Греем культуртрегеров либерализм в России отжил свое. Сокрушив коммунистическую экономику, он заслужил этим вечную благодарность россиян. Но нельзя вечно жить с кувалдой в руке. «Россия пойдет третьим путем», — так можно с уверенностью сказать, приняв за систему отсчета две сомнительные координаты «социализма — либерализма». Каким окажется этот путь — уведет ли он нас в степи и улусы или ляжет все-таки по европейскому континенту? Кажется, последнее предопределено всей нашей докатастрофной историей; но густой туман постсоветских представлений — помеха на этом пути. «Выбор России не может не оказаться антилиберальным и антиевропейским», — так ничтоже сумняшеся сопрягают сегодня многие.

Книга оксфордского политолога — неплохое противоядие против подобных опасных отождествлений.

Валерий СЕНДЕРОВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА*

+7

Игорь Караулов. Перепад напряжения. Сборник стихов. СПб., «Амфора», «Геликон Плюс», 2003, 101 стр.

Разобрав в прошлом выпуске прозаическую серию «Амфоры» — цикл «Из книг Макса Фрая», — обратимся к стихотворной: поэтических серий, в которых издавались бы ныне живущие и сравнительно молодые, в России сейчас — раз и обчелся. Правда, «современниками» дело не ограничится: в серии вышла книга стихов киевского русскоязычного поэта Игоря Юркова (1902 — 1929), ныне совер-

* Как описать состояние современного человека, обреченного на муки выбора в книжном магазине? Книг полно, а читать нечего: полная метафора всей нынешней жизни. Вот

шенно забытого. В ближайшее время предполагается издать томики Пушкина и Некрасова, составленные и прокомментированные современными поэтами. Но прочие книги — сборники Игоря Караулова (Москва), Александра Кабанова (Киев) и Ольги Родионовой (сейчас в США, Нью-Джерси) — представлены поэтами, которым от тридцати до сорока.

Караулову тридцать шесть, и его книга пока, по-моему, лучшая. Это поэт со своей интонацией — и с тайной. Составители серии провозгласили (в том числе на презентации, имевшей быть в мае) установку на линейный, традиционный, внятный стих — надо же когда-нибудь напомнить читателю, что есть литература и помимо «Вавилона», да, собственно, в «Вавилоне» она и не ночевала... Но Караулов как раз не слишком внятен. Его понимаешь не буквально, а может, и неправильно — кто ж знает, что он имел в виду; отзывается на звук и веришь звуку. У него очень свободное дыхание, естественная речь — и неотпускающая, вечная подспудная горечь; при этом, конечно, он часто, но легко, впроброс, упоминает парольные цитаты и ключевые слова. Стихи чрезвычайно культурные и ничуть не вторичные при этом: интонация сниженная, местами разговорная. Ощущение конца эпохи и конца жизни; странная смесь желчности и благодарности. «Жизнь просто пройдет по Остоженке, / до Обыденского угла, / и цветочница в тертой кожанке / не подскажет, где та прошла. / Эта жизнь пройдет незамеченной / мимо нищего, и мента, / и печальной гулящей женщины / с сигареткой в изломе рта. / Я же, взглядом минуя вывески / и шатучих лесов настил, / подивлюсь, как Илья Обыденский / паруса свои распустил, / как бушприта его сияние / достигает надземных вод, / как в зарницах ликуют здания, / и не жалко, что жизнь пройдет».

При этом Караулов вовсе не чуждается политических реалий и социальных диагнозов — но как-то у него все это переплавлено, биографически оплачено, а потому и не декларативно. «Поколение дворников и сторожей / до отвала наелось своих миражей, / отмело, отплясало, отпело. / А мы — поколение ежей и ужей, / мы любим конкретное дело. / Что ж, дивись, приживальщик прокуренных нор, / как ловка моя вилка и нож мой остер, / как, припомнив былую породу, / в бокале, и в венах, и в ванне — на спор! — / портвейн превращается в воду».

Сравнивать его не с кем — он пока в своей генерации один. Надо бы хоть двух-трех, чтобы по-настоящему держать уровень. Но так, как Караулов, работать с реальностью никто не рвется — всем страшно писать про себя: заглянешь, а там ничего хорошего.

Алексей Иванов. Географ глобус пропил. Роман. М., «Вагриус», 2003, 450 стр.

Лично я начинаю уважать писателя, когда он способен произвести на свет как минимум две книги, не похожие друг на друга. Или хоть написанные на разном материале. Это не значит, что я люблю эклектику. Пусть автора интересуют одни и те же проблемы, пусть он даже приемами пользуется фирменными. Но пусть его книги отличаются друг от друга несколько больше, чем сочинения Людмилы Петрушевской, или Олега Павлова, или Алексея Варламова, или Андрея Левкина, или даже Юрия Буйды, вполне мною уважаемого.

Вот сейчас, похоже, у нас такой человек завелся. Это Алексей Иванов из Перми, только что выпустивший «Чердынь — княгиню гор» (она же — «Сердце Пармы»; громоздкий пассионарный исторический роман о завоевании Сибири, похожий на фэнтези, полный непонятных слов) и неприятную, но очень веселую

что, оказывается, имел в виду Горбачев, произнося свое знаменитое: «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет».

Откроешь бытовой роман — вязкая, сказовая проза бывших сценаристов или так и не состоявшихся подранков перестройки, кое-как начинавших в начале восьмидесятых, да так и подрубленных внезапными переменами. Здесь же многотомные семейные саги, писанные языком патологически суконным: «„Неужели он может так уверенно лгать?“ — в ужасе подумала Марья Степановна, вытирая руки о передник». Про всякое муракоэлю молчу.

Хочется фиксироваться на исключениях. Но уже сегодня десяти исключений не набирается.

книжку «Географ глобус пропил». Про молодого преподавателя и множество его причуд.

Это книжка точная — преподавал, знаю, — добрая, что почти невероятно, когда речь идет о русской провинции, а главное — герои в ней живые. Они разговаривают не так, как хочется автору, а так, как им положено по возрасту, темпераменту и социальному статусу. Всех видно. И самое прекрасное, что нет тут высокомерного псевдосочувствия: вот, мол, какая серая и нудная эта провинциальная постсоветская жизнь... И надрыва нету: вот, мол, до чего нас довели... По материалу вроде бы местами похоже на недавних «Гопников» Козлова, по интонации местами — на Геласимова, но именно после «Географа» становится понятно, что и Козлов, и Геласимов — типичные подделки. Один имитирует бездушие, другой — душевность. А Иванов просто пишет о себе, упоминая те самые мелочи, те трогательные и постыдные душевные движения, которых не придумаешь. Слова «интеллигент» в романе Иванова нет вообще. А между тем именно о судьбе, состоянии и менталитете современного русского интеллигента и написана его милая книга, в меру циничная, в меру сентиментальная, как студенческие песенки. Немножко похоже на «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Бел Кауфман — там ведь тоже о том, как учитель умудрился влюбить и подчинить непокорный класс, не прибегая при этом к тоталитарным технологиям типа крапивинских или щетининских. И еще: Иванов ни перед кем не выпендривается, простите за ненаучную терминологию. Пишет для себя и для таких, как он. Не жонглирует именами, а цитаты расходует экономно. Пример стиля: «Какая древняя земля, какая дремучая история, какая неиссякаемая сила... А на что я эту силу потратил? Я уже скоро лысым стану, можно и бабки подбивать. И вот стою я под этими созвездиями с пустыми руками, с дырявыми карманами... Дай Бог мне никого не иметь залогом своего счастья».

Иванову — тридцать четыре. Кажется, пришел очень хороший писатель. Нормальный.

Геннадий Головин. Жизнь иначе. Повести и рассказы. М., «Андреевский флаг», 2003, 650 стр.

Последняя прижизненная книга Геннадия Головина, умершего в апреле этого года шестидесяти трех лет от роду. Почему-то его числили в почвенниках (их в основном и издает «Андреевский флаг»), а он был настолько вне всяких разделений и классификаций, что критика не знала, как с ним быть, и чаще всего замалчивала. Был он из тех неотразимо обаятельных, своеобразных, рано сформировавшихся писателей, о которых не сразу и вспоминаешь, когда начинаешь перечислять любимцев; что-то было в нем общее с Константином Воробьевым, тоже не оцененным при жизни, но обретшим верную аудиторию. Головин тоже писал как бы для одного себя. В меру иронично, тихо, непритязательно. Все его сочинения мало похожи друг на друга — очень уж разный материал: вот повесть о том, как герой ехал на похороны матери («Чужая сторона»), о том, какая безнадежно чужая у нас страна вокруг и никому ни до кого дела нет. А вот «Приговор исполнительного комитета» — нервная, рваная повесть о терроре, о начале века. Тут же и «Паранормальный Фарафонтон» — не то памфлет, не то сказка (самое слабое сочинение Головина, но и оно на фоне современных потуг в этом жанре выглядит шедевром). И вместе с тем автор вполне узнаваем, при всем разнообразии подвластных ему интонаций и ритмов: это на редкость обаятельный мужик, в глубине души уязвленный, хитроватый, независимый. Такой, на мой взгляд, и должна быть настоящая русская проза — вне всех стангов, вне деклараций, разнообразная, богатая, гибкая, с двойным дном. Не сказать, чтобы Головин безупречен, — иногда многословен, иногда остроумие его натужно, иногда действие буксует... но несомненно одно: сочиняя, он всегда решает собственные, а не чужие, не навязанные задачи. И наслаждается процессом. Думаю, в нашей литературе он был единственным наследником шукшинской традиции (к которой иногда без оснований пристегивают Пьецуха — писателя совсем другого, щедринского склада). Головин многое на свете любил и многому радовался — собакам, водке, яблокам, анекдотам, собственному словесному дару. Пока он был рядом — его можно было не замечать; когда он ушел — сразу обозначилась ничем не заполнимая пустота.

Татьяна Москвина. Похвала плохому шоколаду. Сборник статей. СПб., «Лимбус-Пресс», 2003, 320 стр.

А это читать не скучно. Потому что не проза. Впрочем, как показано выше, и проза бывает интересной, когда автору интересен он сам. Москвина — еще один пример такого самодостаточного критика, которому есть что сказать, который самоуверен без самовлюбленности, дерзит без хамства, полемизирует без запала... Очень петербургское явление. Пожалуй, ее избранным эссе самое место в серии «Инстанция вкуса». Оказывается, в талантливом человеке и субъективизм приятен. Москвина — в некотором смысле образец кинокритика (ну, еще бы я помянул в этом ряду Елену Стишову, Наталью Сиривлю — хотя читать интересно и Манцова, и Маслову, и Горелова): тут и образованность, и остроумие, и знание контекста, но главное — честность перед собой. То есть если Москвина не любит Михалкова, а он вдруг снял хорошее кино — она так и напишет: хорошее. И себе не даст погрязнуть в вульгарном социологизме, и других, замеченных в классовой ненависти к барину, поставит на место. А если Москвина любит Сокурова, а он вдруг снял пошлость или глупость, — она скажет, не сомневайтесь. Но хлестко обозначить ошибку или провал художника — для нее не самоцель: она (не знаю, сознательно ли) руководствуется тем же принципом, что и Аннинский. Лев Александрович сказал как-то: «Мне интересно не качество фильма или книги, а состояние художника» (было это, кажется, на встрече со студентами МГУ). Идеальная, по-моему, стратегия для критика — и самая уважительная.

Но не только в этом дело. А еще и в том, что Москвина отлично понимает главную современную дихотомию, главный выбор — Афины и Спарту, дом и государство. И не тешит себя иллюзией, что можно построить сильное государство, не разрушив частную жизнь множества его граждан. Мне-то кажется, что эта дихотомия устарела, что в отсутствие государства и дом распадается, что Москвина потому и не верит в михалковскую, скажем, утопию, что не готова принять афинскую Спарту или спартакие Афины... Во всяком случае, я благодарен Москвиной уже за то, что биографически, кланово, идеологически принадлежит к «клану Сокурова» (или «клану Германа»), она готова всерьез, честно и уважительно говорить о клане Михалкова. А еще я люблю ее за то, что она не желает принимать постмодернистского уравнивания всего со всем — не смешивает элитарную культуру с массовой, политику с искусством, шоу-бизнес с творчеством. И называет себя интеллектуальным боевиком. Привет бойцу от бойца.

Михаил Веллер. Долина идолов. СПб., «Пароль», 2003, 350 стр.

Тоже боец, настоящий, проверенный. Книга его вышла одновременно с лимоновскими «Священными монстрами», но Веллер, конечно, куда провокативней. Потому что в задачу Лимонова как бы изначально входит эпатаж, а Веллер все время профессорски серьезен. И потому заявление Лимонова о том, что Пушкин — поэт для календарей, вызывает приступы бешенства разве что у П. Басинского, у которого, впрочем, это стало уже каким-то перманентным состоянием. Смотри, городской, однако, чтоб он кого не укусил. А Веллер пишет себе, что главное достоинство «Онегина» — это свобода болтать о пустяках, а больше во всей этой энциклопедии русской жизни нет никакого особенного содержания. И ничего, все сходит с рук.

Причем я против такого подхода ничего не имею — надо иногда к идолам подходить с молотком; тем более, что Веллер действует скорее по методике Синявского — говорит комплименты, но «сниженные». Можно сказать, что Пушкин всеобъемлющ, — а можно сказать: «Содержание Пушкина — пустота», и будет примерно одно и то же. В конце концов, прекрасная болтовня — это и есть образец высокого и бесполезного искусства. Веллер-философ иногда вызывает у меня сомнения и несогласия, Веллер-политолог («Кассандра») выглядит подчас прагматиком столь циничным, что страшно делается, — а вот Веллер-критик нравится мне почти так же, как одноименный беллетрист. Чувствуется питерский филфак. Чувствуется бешеное раздражение от множества дутых репутаций. Читается лучше, чем любая семейная и тем более криминальная сага. Что у Веллера есть —

так это интонация. Даже скорей артикуляция. Убедительная, победительная, все по пунктам. Афористичность, иногда несколько казарменная, но оттого не менее обаятельная. И ведь бьет по движущимся мишеням, по реальным опасностям: возникла мода на Кара-Мурзу — он его рраз! И уличил в десятках подтасовок и неточностей. Генералы стали писать мемуары — и Веллер уже не как литературный критик, а как военный историк прохаживается по ним, и не позавидуешь Трошеву... А с каким старомодным пылом защищает он своих любимцев — Лондона, Киплинга, О. Генри! Нет, нет, не уговаривайте. Хороший литератор и благородный человек.

Вячеслав Рыбаков. «На будущий год — в Москве!» Роман, публицистические статьи. М., АСТ, 2003, 420 стр.

Рыбаков в последнее время был более известен как Хольм ван Зайчик (которого придумал и осуществил в соавторстве с Игорем Алимовым). Но продолжает он сочинять и собственные романы — уже в традиционном своем качестве хорошего петербургского фантаста; черт его знает, как отнестись к этому его новому роману. Иногда мне кажется, что две публицистические статьи, к нему приложенные, даже как-то более художественны... Но если серьезный писатель вроде Рыбакова, писатель настоящий, изобретательный, автор поэтичнейших романов во всей русской фантастике, вдруг начинает вместо романов писать памфлеты и трактаты о крахе русской цивилизации, то ведь не просто же так он это делает. Это значит, что совсем уж его допекло. Когда-то давно, в пародийной повести «Прощание славянки с мечтой», Рыбаков декларировал свое отвращение к имперскому социализму и постимперскому капитализму — отвращение одинаково яростное и выраженное без всяких экивоков. Новая антиутопия весьма показательна: затевая ван Зайчика, автор сообщал, что утопия обществу необходима. Вечно предвидеть в будущем один распад и деградацию — значит отказываться от исторического усилия. Все-таки роман «На будущий год — в Москве!» получился несколько более убедительным сочинением, чем «Евразийская симфония» с ее гармоничным синтетическим западно-восточным пространством. На этом западно-восточном диване Рыбакову никак не усидеть. Любопытно, что два самых мрачных его гротеска — «Не успеть» (о ранних девяностых) и новый роман — заканчиваются одинаково: улетанием в никуда. В повести «Не успеть» герой уносился на внезапно выросших крыльях — это была такая болезнь, метафора то ли смерти, то ли вознесения; в новой книге герои улетают на реконструированном ими советском «Буране» — последнем чуде космической индустрии. Непонятно, впрочем, взлетят ли.

Многое в этом романе очень точно и смешно — не без фельетонности, конечно, но такова ведь и установка. Во многом узнается другой Рыбаков — еще один профессиональный историк, социолог, синолог, отлично понимающий мотивы и этапы взаимного поглощения цивилизаций и культур. О том, как запрещают упоминать Великую Отечественную, о том, как выгоняют из школы за просмотр советского фильма, о том, как растлевают местную культуру, упраздняют науку и армию, он пишет с настоящей, а не выдуманной, не имитируемой болью (и это, на мой взгляд, радикально отличает его от почвенников: почвенники-то культуры по-настоящему никогда не любили и защищают ее для проформы, а у питерского интеллигента Рыбакова на глазах дело всей его жизни гибнет!). Эта книга нарочно написана в плакатной, грубой, лобовой технике. Она — простая. Наверное, от боли только и можно — кричать. В общем, это в любом случае событие... но до чего горько мне видеть, что плоское время и Рыбакова сплющило, заставив вместо романа писать плакат!

Юлия Латынина. Промзона. М., «Эксмо», 2003, 503 стр.

А вот это уже социальная сатира нового типа, за которой, я думаю, будущее. Меня всегда раздражала латынинская дотошность: заговорим, бывало, на «Прессклубе» о социальных проблемах, о макроэкономике и прочем, — а тут Латынина с копанием в мелочах: кто-то кому-то перепродал такой-то АМК, ГОК, КПП (абб-

релиатуры нагромоздил произвольные, как понимаете). И ну копать, ну копать в том, кто кого купил... Здесь ее занудство переходит в новое качество, и рождается блистательный, полновесный социальный гротеск. То, к чему близко подошла «Охота на изюбря», да так и не подошла: надо было уж совсем отворачиваться от этой мерзости, совсем новый уровень обобщения выбрать — и нарисовать наконец четкий, исчерпывающий портрет страны, в которой все ужасно глупо. Покупать глупо, продавать, убивать, спекулировать... Даже у Шедрина не всегда случалась сатира столь едкая — и ведь все это на голубом глазу, в нейтральной интонации традиционного экономического романа, жанра, в котором у нас одна Латынина и работает. Вот нормальный путь серьезного писателя — изучить материал до такой степени, чтобы он стал вызывать отторжение, смертную тоску и желание поскорее с ним расплесться. «Промзона» — памятник русскому капитализму, русской борьбе за власть и русской экономической журналистике. Все эти вещи друг друга стоят. Главное же — из этой книги совершенно ясно, что правду искать бесполезно. Правых нет. И сама идея разоблачений блистательно разоблачается. Никогда прежде — ни в фэнтези, ни в детективах — бешено трудолюбивая Латынина не позволяла себе такой откровенности. «Промзона» — это, в сущности, крик: задобали! В русской прозе этот роман — примерно то же, что в русском кинематографе — «Магнитные бури» Абдрашитова и Миндадзе. Притчу просто так не сочинишь — ее сначала надо прожить; притчу пишет не тот, кто не знает деталей, а тот, у кого они уже вот где.

-3

Стивен Кинг. Почти как бьюик. Роман. М., АСТ, 2003, 350 стр.

С этим тоже чего-то не то стало. Я всегда считал его одним из крупнейших американских писателей, и многие еще хорошие американисты — Андрей Шемякин, например, — печатно возмущались снобизмом штатовских интеллектуалов, не желавших признавать за Кингом права называться серьезным романистом. Сказочник, да, халтурил много, да, — но сколько фабул изобрел и сколько диагнозов обществу поставил! Да, «Противостояние» — не ахти, но ведь были и «Воспламеняющая взглядом», и «Мертвая зона», и «Мизери»! Нынешнего Кинга читать скучно, и это самое страшное, что может случиться с описывателем самого страшного. Иногда еще просыпается некое подобие прежнего таланта — в «Черном доме» есть страницы восхитительные, напоминающие ранние кинговские рассказы с их иррациональным и вместе бытовым ужасом; но «Ловец снов» — это уж полный провал, а несчастный этот «Бьюик» — беспардонный перепев себя самого. Издан в серьезной серии — «Бестселлер» — и ни в малой степени ей не соответствует. Не представляю страну, в которой такой роман мог бы стать бестселлером, если б не фамилия автора. Намешано всего понемножку — главным образом из «Кристины». Видно, как автор уныло гонит строкаж, как растягивает посредственный рассказ в плохой роман, как старается быть прежним Стивеном Кингом, королем, — и как не может сделать страшно даже тогда, когда, по сюжету, вполне могло бы быть жутко. То ли он перетрудился, то ли слишком тяжело перенес инцидент 1999 года, когда на него наехал грузовик... Не сужу Кинга — более того, считаю эту книгу показательной. Один человек не может писать так много — самоповтор неизбежен, не следует себя насиловать. Сорок кинговских романов написаны на пять-шесть сюжетов. Горько смотреть на то, как хороший писатель компрометирует себя; трудно нам будет теперь отмазывать его перед снобами.

Юрий Поляков. Возвращение блудного мужа. Роман, повесть. М., «Молодая гвардия», 2002, 520 стр.

Ну что я, собственно, о Полякове... У нас же как-никак серьезный разговор... Но проблема у него та же самая — только у Кинга было кое-что за душой, потому его и хватило на сорок книг, пусть неровных, а у Полякова за душой... но есть один странный крен — он любит писать про любовь, про эотику; вот и последняя

его повесть — «Подземный художник» («Нева», 2002, № 11) — об этом. Получается невыносимый коктейль из фельетона про «новых русских» и глянцевого журнала про них же, и все это как-то нехорошо лоснится, и все исполнено такой сальности, такой пошлятины в духе «Моей семьи»... Ну нельзя же, честное слово, так компрометировать патриотическую идею и государственничество, не должен *государственник и патриот* писать такую чухню! В новую книгу вошли два сочинения — относительно новая повесть, по которой томик и назван, и относительно старый роман «Замыслил я побег», которому куда больше подошло бы название «Усталый раб». И вот ведь что бывает с писателем, не способным к элементарной работе над собой: в ранних сочинениях Полякова — например, в «Апофегее» — случались живые герои, остроумные словечки, точные реалии. Иногда удавались, страшно сказать, даже какие-то психологизмы — особенно когда речь шла о душевных метаниях юных карьеристов. Написав три повести, Поляков не остановился и пошел вразнос. Уже «Парижская любовь Кости Гуманкова» поражала шаблонностью и бульварностью, а начиная с «Козленка в молоке» из автора такое поперло, что какая там, к чертовой матери, защита духовности и приличий! Лучше пять заборов исписать матом, чем одну страницу — эротикой и публицистикой такого уровня.

Александр Белов. Бригада. Бои без правил. Бригада. Битва за масть. М., «Олма-Пресс экслибрис», 2003, 350 стр.

На сей раз «Бригада» настоящая — а то еще до выхода этого киноромана успела появиться подделка некоего автора, претендующего на то, чтобы считаться тем самым Беловым... Что-то вроде «Саги, рассказанной сыну», с эпиграфами из Библии, с ласковым общением героев — в прошлом школьных друзей, а ныне воров в законе... Коля, Саша... Но «Бригада» настоящая по-своему даже мерзей, поскольку нет в ней и той подлинности, какая была в фильме. Тот сериал был сделан недурно — Безруков по-настоящему вошел в роль, даже в интервью его появились откровенно блатные интонации. Тоже про духовность любит поговорить, про Пушкина, Есенина... Нет, не то чтобы роль искалечила молодого артиста — артист попался подходящий, вот роль и вытасила из него заветную сущность. Но, господа, каково же про все это читать! Литература — это ж вам не кино, тут амбивалентности не бывает. Тут авторы горячо, искренне любят своих молодых, ярких героев, сочувствуют им, любят. Писано все это еще сравнительно приличным слогом, без особенной суконности, хотя и с тем же нудным многословием, всегда отличающим людей, которым нечего сказать. Губчатая ткань текста, уродливо разросшаяся, вроде как в сочинении Блоцкого о Путине...

Зачем я анализирую этот роман, качества и жанра вполне определенного? Да ведь Мураками ничуть не лучше, во-первых... а во-вторых, по продажам первые два тома «Бригады» в Москве лидировали весь май. Надо же, в конце концов, знать, что читает народ. Дело не в том, что в этой книге обеляются (от слова «Белов») главные персонажи девяностых. Не в том даже дело, что авторы громоздят фантастические ляпы на каждом шагу — в девяносто третьем году, во время штурма Белого дома, все уже по мобильникам общаются... Дело в ином — в убийственной бездарности текста, в полной драматургической беспомощности фабулы, которая, стоило отделить ее от обаятельных исполнителей и бесхитростной, но крепкой режиссуры, стала разваливаться под руками. И ведь «Бригада» — это действительно лучший русский сериал и лучший роман по нему, без дураков. Не верите? Почитайте остальные.

Все, никакой больше коммерческой литературы. В следующем обзоре буду писать исключительно про элитарное.

¹ Ну уж чухню?! (Реплика А. В.)

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

К ЧЕМУ СПОСОБНО ТЕЛО

(СЮЖЕТ) «Муж замечает, что отныне жена засыпает в несколько иной позе. Раньше сворачивалась в клубочек, словно кого-то (его?) опасаясь. Теперь же раскидывает в стороны руки, точно манифестируя свободу и независимость. Муж делает вывод, что с некоторых пор жена изменяет.

Далее возможны любые варианты, дальнейшее не столь уж существенно. Но вот эту *внимательную* фазу в нашем кино не делает никто. Никто даже не имеет ее в виду. Все наши картины воспроизводят заимствованный набор визуальных клише, уворованные, чужие, давно списанные в голливудский архив аттракционы.

Иногда зрителю демонстрируют позы совокупления, но даже это снимают немело и *невнимательно*».

(ДУХОВКА) Вышеприведенный отрывок появился в киножурнале два с половиной года назад. «У тебя хватило ума разбазаривать сюжеты такого уровня?! — сочувственно пеняли мне друзья и знакомые. — Украдут!»

«Конечно, не украдут, — с неподдельной тоской оборонялся автор. — Все равно никто из наших не знает, что делать с этим дальше. Они даже не мыслят в этом направлении».

Ныне, по долгу службы в еженедельной газете, я в течение четырех месяцев отсматривал прокатную текучку. Лучшие западные картины работают именно с телесностью, а не с пресловутой «духовкой». В нынешней России искусство кино благополучно кончилось. Грамотная Россия — читает.

«Следует ознакомиться с романом Мишеля Уэльбека „Платформа“! Я, например, уже сделал это!» — поймал меня на платформе метро «Коломенское» знакомый пылливый, довольный собою кинокритик. Другой, телережиссер, словил моего однокурсника-сценариста: «Немедленно читай Уэльбека и Бегбедера! Где тот Вергилий, который проведет меня по лабиринтам высокой культуры?»

Какая-то патологическая дурь. Господи, за что?!

(ВУДИ АЛЛЕН) С редким единодушием литераторы «опускают» Аллена-кинематографиста, превознося его хилую, его средненькую прозу. Я же, напротив, полагаю, что Вуди Аллен — всего-навсего гениальный актер и блестящий постановщик. Ровно то же самое с Василием Шукшиным. Неразрешимый спор. Давайте хотя бы осознавать его корпоративную специфику!

(ПОДороГА) Как я внедрял в массы лучшую русскую книжку 90-х годов. Всякий раз, посещая подземный магазинчик «Ad Marginem», прикупал очередной сиреневый томик «Выражение и смысл» (М., 1995). За четыре года, по неизменной цене 19 рублей 80 копеек, приобрел, подарил знакомым и малознакомым людям, не иначе, половину залежавшегося тиража.

До конца дочитали только семеро. Оценили по достоинству, страшно сказать, трое. Моя беззаветная любовь к Валерию Подороге сошла на нет, едва он сочувственно описал картину Алексея Германа «Хрусталеv, машину!». Впрочем, имеет все права.

(НИЦШЕ, ПОДороГА) Где бы я ни открыл эту сиреневую книжицу сейчас, попадаю в тему. Скажем, страница 173: «Человеческое тело, в котором снова оживает и воплощается как самое отдаленное, так и самое ближайшее прошлое всего органического развития, через которое как бы бесшумно протекает огромный поток, далеко разливаясь за его пределы, — это и есть идея более поразительная, чем старая „душа“».

Или страница 183: «Конечно, сколько ни повторять по разным поводам слово „тело“, оно от этого не станет более ясным, тем более что понятие тела в своей долгой терминологической истории до сих пор остается верным старому партнеру-противнику — духу».

И наконец, применительно к особому рода текстам: «...читающий признает телесный ритм читаемого. Читаем мы и не мы, читает наше тело. Вот для кого сверкает смысл. И, чтобы читать, нам приходится, хотим мы этого или нет, изменяться в тех возможных пределах, которые устанавливает телесная стратегия текста, используя при этом известные ресурсы воображения и мимезиса».

Механизм чтения, который описывает Подорога, полезно соотнести с механизмом соинтонирования зрителя. Подлинное содержание фильма считает «наше тело». Которое мы соотносим с телом протагониста. Тексты категории «уэльбек» считаются несколько иначе.

(ТОДОРОВСКИЙ-МЛАДШИЙ) В картине «Любовник» (2002) он рассказал историю двух немолодых мужчин (актеры Олег Янковский и Сергей Гармаш), долгие годы деливших одну и ту же женщину. Персонаж Янковского — непосвященный муж, персонаж Гармаша — тайный любовник. Впрочем, к началу картины женщина уже мертва. Теперь эти двое таскаются друг за другом, выясняют отношения, ревнуют, ругаются. Типа «богатый внутренний мир». Так поняла картину постсоветская интеллигенция, по преимуществу — сообщество «читателей». Нормальный «зритель» (который видел всех уэльбеков и бегбедеров в гробу, который в крайнем случае пролистал, одоблив, Хелен Филдинг и Валерия Подорогу) считает иное. Вот что: два потасканных мужичка, шансов адаптироваться заново никаких, несмелое гомосексуальное влечение, нужны друг другу все больше и больше, когда-нибудь непременно переспят.

А впрочем, и без того трутся телами! Представляете, два массивных мужских человека заполняют рамку кадра на протяжении часа сорока. Иногда появляется мальчик, сынок, теперь уже неизвестно чей. Не важно, о чем все они говорят, не важно! «Интеллигентские сопли» считаются лишь немногочисленными нашими: местечковая «совковая» стратегия. По-настоящему важно, какого рода антропологией заполняет кадр режиссер. Какую биологию, какие социально-психологические типы соотносит.

Еще важно понимать, что я не люблю отечественных грамотных, всех этих беззаветных «читателей» и «писателей», единственно потому, что они отравляют воздух. До сих пор держат под контролем индустрию речи, нелепо информируют, неправильно ориентируют и кинематографистов, и потребителей. Блокируют правильные сюжеты, конкурентоспособное кино. Конечно, мы все равно это скovyрем. Но мучительно жалко бесцельно прожитых лет, украденных нелепыми, жалкими людьми, не понимающими в кино ничего.

(ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ) Этот вульгарный вариант — произвол расейских прокатчиков, бескрылых фантазеров из ящика. В оригинале гениальный британский сериал зовется «SMACK THE PONY». Неленивые и любопытные имели шанс посмотреть на одном из отечественных телеканалов. В этом сериале сделано многое из того, о чем я мечтал еще в 90-е, в чем совершенно уверен теперь.

Скажем, предельно телесный эпизод: две дамы перед зеркалом занимаются прической, каждая своей, соревнуются. Собственно, все! Собственно, вся наррация! «Женщины бессмысленно соперничают, обрабатывая внешность, акцентируя поверхность», — это, пожалуй, вся «литература», которую можно вытащить из этого и аналогичных эпизодов. «Читатель» скривит губу, «зритель» *приглядится* к человеческому, рассмеется, поаплодирует. Восхищенно вспомнит наутро, пересмотрит на видео, заметит новое и даже переосмыслит. Как это пересказать? Никак, только *пересмотреть*.

«SMACK THE PONY» — образцово-показательный тест.

(ЭЙРАМДЖАН) Картины этого мастера малобюджетного трэша очень нравятся зрителям, зато с чувством нескрываемого презрения встречаются грамотной публикой. На мой взгляд, у Анатолия Эйрамджана много достоинств, но здесь и сейчас я акцентирую одно.

Итак, Эйрамджан работает с группой молодых актеров, из тех, кому, видимо, от 50 до 60: Панкратов-Черный, Державин, Полищук, Щербаков, Кокшенов,

Татьяна Васильева, иные. Все они воплощают антропологическую норму тех зрителей, что выросли и воспитались при «совке». Уже пятнадцать лет эту публику унижают глянцевым западным стандартом, манекенщицами, силиконом, ногами из ушей. Между тем, как не трудно догадаться, у этой публики тоже есть чувство собственного достоинства, и она закономерно не хочет смотреть «Зеркало», «Хрусталева», американский глянец. Эйрамджан предлагает им мир, населенный исключительно близкими, теплыми, потрепанными ровесниками. Вот почему у Эйрамджана, кстати, достойного сочинителя в жанре «бульварная драма», самый высокий рейтинг и миллионы поклонников. «Бабник», «Ночной визит», «День святого Валентина» — попросту *хорошее кино!* А кто, кроме Эйрамджана, регулярно выдает сегодня «попросту хорошее кино»? Прежде чем ответить, сто раз подумаешь.

Впрочем, «читатели» со мной ни за что не согласятся. «ЭЙРАМДЖАН» — тоже тест.

(ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА) В этом фильме интересную реплику отпускает старенький Антони Куин: «Разве на мне написано, что я плохой парень?!» О да! Всегда, на любом *настоящем* киноактере — написано! Тело подлинного актера априори предьявляет весь нарративный диапазон, все мыслимые истории и повороты сюжета, в которых ему имеет смысл участвовать.

(МОТОРИКА) Абсолютный шедевр прошлого года: драма француза Гаспара Ноэ «Необратимость» с Венсаном Касселем и Моникой Беллучи. Участник Канна-2002. Фильм, от которого стошнило бессмысленных московских гедонистов. Мне, во всяком случае, довелось прочесть несколько на редкость высокомерных рецензий. Настолько же высокомерных, насколько бестолковых. Дескать, не поняли и не станем разбираться! Это и не удивительно — механизм смыслообразования здесь иной, не привычный для наших «читателей». Фильм настолько значителен, что заслуживает отдельной статьи, на этот раз акцентирую лишь один аспект.

Итак, история рассказана наоборот: от последствий к причине. Вначале — страшная месть, убийство в ночном гомосексуальном клубе, где двое молодых людей нормальной ориентации учинили самосуд. Гаспар Ноэ отматывает назад, и постепенно становится ясен мотив: один из гомосексуалистов грязно надругался над красавицей, подружкой мстителей. Знаменитая сцена в подземном переходе: десять минут насилия *в реальном времени*. На заплыванном асфальте. Перед немигающим значком кинокамеры. Разбираясь с обезумевшей красавицей, точно с мужичиной, гомосексуалист предстает не столько деклассированным подонком, сколько незаурядным производителем речи: без устали выдает идеологические формулы вроде «будешь знать, грязная буржуазная тварь!».

Уже в следующем эпизоде Гаспар Ноэ *как бы* подтверждает предположения «читателей», воспринимающих кинотекст лишь в параметрах идеологии и наррации. Он предлагает нам предшествующие события: пошлейшая буржуазная вечеринка, едва ли не свальный грех, отвратительные тусовочные парни.

Отматывает еще: мы видим, как героиня Моника Беллучи не желает подчиняться, транслирует мужскую психологию и волю к власти. Усмехается в глаза любовнику (Венсан Кассель): «Разве меня выбрал ты? Всегда выбирает женщина!» Гениальный французский тест, выявляющий «читателей», этих двойных агентов и провокаторов. Именно «читатель» вопит: «Да ведь это заурядная причинно-следственная агитка! Все ясно: антибуржуазная, антифеминистская штучка!»

Ничего не ясно. Это неверная, мягко говоря, «недостаточная» стратегия восприятия. Она предписывает оценить вышеизложенный эпизод из «Женских шалостей» (перед зеркалом, с прическами) так: «Все бабы — дуры!» Так работает мысль (одна-единственная) в голове идеолога, «читателя». Но подобная идея еще более порочна, чем идея мирового коммунизма. Разве, к примеру, эти «дуры» одновременно не хороши, не обаятельны, не *безупречны*?! Разве созерцание их бессмысленного состязания не является самодостаточным наслаждением?! Конечно, так. Формулы «Все бабы — дуры!» в лексиконе внимательного «зрителя» попросту нет.

Что происходит у Гаспара Ноэ? Вот что: Ноэ опровергает идеологию и сопутствующую идеологии речь — антропологией. Поверяет социальное измерение —

человеческим телом. «Необратимость» манифестирует идею подлинного кинематографа, ограниченного сферой видимого, *поверхностью*. Знаменитая сцена изнасилования на полу подземного перехода — парадоксальна, ибо *позитивна*. Вопреки «здравому смыслу». Именно поэтому зрителю предписано смотреть ее так долго и с такого близкого расстояния. Возмущение или тошнота — ханжество. Или вы приходите в зрительный зал не для того, чтобы подглядывать?!

Конечно, вы можете ограничить свои впечатления формулой «Эта сука наказана за строптивый нрав». Тем самым обнаружите именно свою *ограниченность*, и только. Гаспар Ноэ актуализирует первичное, восстанавливая гендерную идентичность. Разбирая современный социальный мир на первоэлементы, *показывает* человеку его подлинную природу, естественный порядок вещей. На большее кино вряд ли способно.

Кино — искусство антропологической моторики. Насильник-гомосексуалист предпочитал травестирированный секс, женское в мужском теле. Героиня Моника Беллучи, напротив, культивировала мужскую психологию. Эти, по Гаспару Ноэ, социальные аномалии опровергаются просто, в рамках тривиального киноязыка, посредством заурядной моторики полового акта! На заплыванном полу подземного перехода мужское и женское тела обретают идентичность. Мужчина снова воплощает оформленную активность и агрессивное начало. Женщина воплощает пассивное начало, пластичность без границ. Достаточно для того, чтобы кино состоялось. Наглядная и доходчивая простота подобного построения доступна единственно кинематографу!

Повторюсь, не следует банализировать выдающуюся работу Гаспара Ноэ на основании того, что по ее поводу не получается сказать много кружевных, «умных слов». Не следует не критически распространять на сферу кино — филологическую стратегию, акцентируя психологию и тому подобные «невидимые» субстанции. В кино и психология, и социология даются в качестве приложения к человеческому телу.

(КОШМАР) Одна популярная писательница написала про недавнюю картину Алексея Германа «Хрусталева, машину!», дескать, «это, не иначе, мой сны». Господи помилуй, ну как писательницу не пожалеть!

В «Хрусталева» осуществлена операция, обратная той, которую осуществил Гаспар Ноэ. Герман, фильмы которого у нас отчего-то принято считать квинтэссенцией кинематографа, использует человеческую телесность как инструмент для идеологических спекуляций. Ключевая сцена его опуса — гомосексуальное изнасилование бравого медицинского генерала рецидивистами по наущению советских властей.

Идентифицируя Советскую Власть в качестве криминальной, Герман возгоняет индивидуальные биологические тела уголовников до непредставимой на экране, *визуально невозможной* стадии — стадии безличной, абстрактной социальной агрессии. Глубокое противоречие: все эти наглядные, придвинутые к самому объективу слюнявые рожи и потные тела никак, вопреки надеждам разоблачителя Германа, не слипаются в «тело власти», в криминальное государство, в преступного левиафана. Потому что кино — не литература, не живопись (да и Герман, по правде говоря, не Гойя и не Кафка!). Антропология в кино сильнее всего. Предъявленная зрению моторика *конкретного* полового акта отменяет даже самые смелые амбиции расейского постановщика. Грязная групповуха так и остается у него грязной групповухой, не больше и не меньше.

Гаспар Ноэ организует свою картину так, чтобы центральный, самый сильный, эпизод сработал, обрел сверхбиологическое измерение. Добросовестный «читатель» Алексей Герман вознамерился превзойти биологию усилием воли, навязав телу социально-политическое измерение. Однако книги, подобные «Архипелагу ГУЛАГ», экранизировать невозможно.

(ВУДИ АЛЛЕН-2) Поразительная картина Вуди Аллена «Голливудский финал» (2002)! Персонаж Аллена, потрепанный женщинами, траченный жизнью режиссер, слепнет на нервной почве в самый неподходящий момент: на площадке! Скрывая слепоту от продюсера, съемочной группы и журналистов, прибегает к услугам по-

водыря, китайского юноши-переводчика, первоначально осуществлявшего общение режиссера с оператором, тоже китайцем. Этот случайный узкоглазый паренек становится фактическим режиссером картины! По окончании съемочного периода зрение к режиссеру-невротiku возвращается.

Гениальная метафора! Вот так они и работают: *вслепую*. Тут приходит писатель(-ница) и узнает свои сновидения. Прихожу античитатель, я, хватаюсь за голову (спасибо, не за пистолет!). В бывшей «самой читающей стране» писатель(-ница) все еще авторитетнее. По инерции. Ненадолго.

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

«МУРКА» ДЛЯ БОГА

Хороњко-оркестр, «Страшные песни», *Снегири/Ш12*, 2002

Однажды, давным-давно, с моим другом, уже тогда поэтом, а теперь и довольно известным литературным критиком, мы стояли, молодые и мало чем обремененные, в пивной неподалеку от Белорусского вокзала, возле бывшего ресторана «Якорь» — место считалось значимым и, как принято выражаться теперь, «альтернативным»: в пивной (а главным образом около, во дворе) собиралась и весело проводила время, наполняя пивом большие черные от сажи туристские каны, самая отморозенная часть московских каэспэшников. Дело было зимой, стояли мы уже долго, запивали — из-под полы, разумеется — советское мочеобразное кислое пиво с отчетливым привкусом не то соды, не то стирального порошка водочкой, может быть, портвейном, и, хотя нас уже порядком штормило, беседовали, конечно, о литературе, о Пастернаке, положим. Вдруг на наш столик накинута, словно косматый медведь, здоровенный детина в распахнутом кожухе. Нависнув над моим другом, он блаженно пропел: «Па-а-д крышей дома-а своего-о...» Доверительно спросил: «Здорово, правда?!» И тут, единственный раз в жизни, я стал свидетелем акта гражданского мужества. Мой друг, не отличавшийся и в трезвом виде особыми бойцовскими качествами, гордо вскинул голову, мизинцем поправил очки на носу и ответил снизу вверх с брезгливой миной:

— А по-моему — омерзительно.

Все-таки эстрада советского периода сильно отличалась от того, что теперь называется поп-музыкой. Дело не во вкусе и качестве: и там и там есть место взлетам и падениям, а нынешняя российская поп-музыка уже подтягивается понемногу к мировым стандартам. Просто поп предполагает совершенно пассивное восприятие. По большому счету он оставляет слушателя свободным, не претендует на сколько-нибудь значительное место ни в его сердце, ни в его памяти — коротенькие шлягерные рефрены вроде память не слишком обременяют, а больше из поп-песен редко кто что запоминает. И в истории, рассказанной выше, никак бы не получилось, даже смешав времена, заменить советский суперхит на каких-нибудь «зайчиков» от Киркорова или «шелкунчиков» от Бориса Моисеева. Попса, конечно, стяжала народную любовь, но глубин русской души не тронула. Эти пространства, где раньше располагалась «крыша дома своего» или, получше пример, «надежда — мой компас земной» (кстати, что сие значит — «земной компас?»), теперь принадлежат совсем другим текстам, попевкам и персонажам.

Родоначальником жанра со странно непатриотичным и появившимся лишь в последние годы самоназванием «русский шансон» следует, по всей видимости, считать Аркадия Северного, который в конце шестидесятих годов стал исполнять в ансамблевом сопровождении ресторанного толка репертуар, именуемый в просторечии «блатными» песнями. Нужно отметить, что такого рода сочетание репертуара и аккомпанемента выдуманно было не самим Северным, тут сыграл свою роль

продюсер (впрочем, тогда и слова-то такого не знали), имя его известно, и с самого начала имел место момент коммерции — на распространении магнитофонных пленок с записями артиста удавалось, судя по всему, неплохо заработать. (Вообще подпольное продюсерство вроде бы таких зажатых советских времен — предмет для особого исследования, никем, насколько я знаю, пока не проведенного. Почему, например, одни годами устраивали полулегальные выступления исполнителей, ну никоим образом в советский официоз не вписывающихся, — и другие, причем чаще сами исполнители, быстро попадали за решетку, и с «экономической» именно формулировкой вины — за организацию «левых» концертов. В чем была разница между ними? В том, что одни стучали, а другие нет?) Полтора десятилетия соперничать на избранной стезе Северному было не с кем. Но в первой половине восьмидесятых жанр начинает расцветать. Записи Александра Розенбаума с его «Гоп-стопом» и прочей одесско-воровской тематикой, словно бы отсылающей к рассказам Бабеля, и знаменитый магнитоальбом Александра Новикова (впоследствии как раз и отправленного властями в места, не столь отдаленные) расходятся путем магнитофонного копирования невероятно широко — здесь поспорить с ними способны разве что Окуджава и Высоцкий. На мой взгляд, уровень этих ранних представителей жанра по сравнению с мейнстримом нынешнего шансона даже слишком высок, да и оригинальность, первородство нельзя не учитывать. Ближе к делу стоял уже откровенно кабацкий, с соответствующей мерой пошлости, усатый эмигрант Вилли Токарев. Однако заграничное, полузапрещенное, эмигрантское (даже сама тема — вспомним так себе песню про «поручика Голицына») большинством принималось без разбора, производило впечатление глотка какого-то иного воздуха, свободы, вызывало экзистенциальный трепет, — и мне доводилось наблюдать, как песни Токарева насчет «в шумном ресторане девочки что надо» радостно потребляли вполне рафинированные интеллигенты.

Русский шансон возрастает не в пустоте и не в одиночестве. В те же восьмидесятые переживает свой, пожалуй, наиболее креативный период и ориентированный на слово отечественный рок, и свое акме — авторская песня, еще соблюдающая жанровую гитарную девственность и не заигрывающая с попсово-шансонными инструментальными вставками. Казалось бы, шансону как третьему противопоставившему себя официальной советской эстраде течению на роду было написано собрать все, чем другие два не занимались: уличные, хулиганские песни, то, что много позже высокоумные критики удачно назовут катакомбной эстрадой, алкогольные романсы — и соответственно оригинальное авторское творчество в том же духе. Однако этого не произошло или произошло далеко не сразу. В этой обойме, конечно, не могла не присутствовать и тюремная, и воровская тематика — тем более, что не переводятся сочинители, которых уголовный драматизм-романтизм неизменно вдохновляет. Но лишь пресловутой российской особенной статью можно объяснить доминирующее положение уголовной тематики в жанре. Как только в перестройку ослабили запреты и цензура и по всей стране как грибы стали множиться ларьки звукозаписи, на их полках плотными рядами выстроились кассеты с песнями про долгие срока, недождавшихся подруг, веселую воровскую жизнь, протекающую если не за решеткой, так в ресторане, мстительных следователей и т. п. — с большим количеством унылого уголовного жаргона, порой и с матерком. Едва успев народиться, русский шансон непробиваемо закоснел — и оставался таким долгие годы, да во многом остается и сегодня.

При этом пропагандисты жанра активно борются за то, чтобы шансон считали тем, чем он не является, и не прочь провести по его разряду все, что хоть как-то в строку ложится, особенно если имена громкие, и жизнь яркая, и аура соответствующая. Популярное «Радио Шансон» уже давно пускает под этим ярлыком в эфир то современных цыган, то бардов, благо все они теперь записывают с тем или иным расширенным сопровождением, то откровенную и совершенно стандартную попсню. Но посмотрим любопытный интернет-сайт «Легенды русского шансона» (<http://shanson.narod.ru>), мнение которого, судя по громкому названию, следует признавать авторитетным. (Впрочем, если остались еще на белом свете люди, которым не по душе рассматривать порнографические картинки, я как раз им этот сайт не рекомендую, ибо давно уже экрану моего компьютера не случилось быть

столь густо усеянным баннерами, предлагающими посмотреть видео эстрадных певчих в ванной и в туалете, а неосторожный или неточный клик мыши на любой странице сайта отправляет в долгое путешествие по объявлениям проституток-индивидуалок любых возрастов: от шестнадцати до шестидесяти, недорого, шестьсот рублей в час, причем от возраста такса не зависит. Забавно, что большинство индивидуалок в текстовой части своих объявлений пишут, что жаждают главным образом общения духовного, — и вот так, косвенно, образовался отличный указатель именно на ту «духовность» и ту «поэтичность», которые русским шансоном заботливо пестуются.) В качестве «легенд» на сайте заявлено три десятка имен, среди которых мы неожиданно встречаем Высоцкого, Галича, Юрия Визбора, Окуджаву, исполнителей бардовской песни, уже довольно близких к эстраде: братьев Мишуков и Олега Митяева, большого интеллектуала от авторской песни Михаила Щербакова, а также Андрея Макаревича и Александра Градского. Без патриарха Вертинского тоже, разумеется, не обошлось. Ну так вот, все это вранье: никто из перечисленных людей к тематике и стилистике, по которым, во всяком случае до самого последнего времени, шансон и определяется, не имеет никакого отношения. Ну да, ранний Высоцкий писал блатные песни, притягивали его сильные характеры и острые ситуации — и многие из этих песен очень удачные, даже значительные. Но ведь это всегда — имитация, хотя и не обязательно пародийная (хотя пародийная, я считаю, выходила у него лучше). Да и время было другое — сочинять на подобную тему в шестидесятые совсем не то же самое, что сейчас, тут мощный импульс противодействия давлению системы. В конце концов, достаточно сравнить хотя бы дебютную «Татуировку» с одним из последних хитов Михаила Шуфутинского, где присутствует тот же предмет, — чтобы зияющая пропасть сделалась очевидной безо всякого специального анализа: это просто разные миры. Кстати, и аранжировки, сделанные для заграничных пластинок Высоцкого, где он пел под ансамбль, резко отличаются от «нормативного» шансонного звучания. Про Галича и Окуджаву нечего и говорить. Откроем раздел биографий и прочтем душераздирающую историю жизни аутентичной «легенды»: как провинциальный юноша рыдал над телом своей любимой, случайно застреленной при бандитской разборке, а затем, надолго оказавшись волею злодея прокурора за решеткой (само собой, за малую провинность, а то и вовсе ни за что, обвиненный облыжно), медленно, в муках приходил к осознанию своего поэтического призвания (особенно любопытно переключиться потом в раздел «Тексты песен» и ознакомиться с тем, как это призвание ныне реализуется). Можно вообразить себе, чтобы Окуджаву, или Макаревич, или даже насквозь вроде бы шансонный Розенбаум согласились с такого рода мусором хоть как-то солидаризоваться?

С моей точки зрения, хуже русского шансона нет вообще ничего. Поп-музыка позволяет хотя бы развлекаться культурологическими штудиями и отслеживать изменения в массовом сознании (или, пожалуйста, в коллективном бессознательном) — как порой блистательно делает это Татьяна Чередниченко. Из русского шансона вывод сделать можно один-единственный и раз навсегда: о патологической склонности русских к маргинальному и преступному образу жизни, так что вариант судьбы, при котором тюрьма остается за кадром, выглядит каким-то неполноценным. Больше нигде в мире подобного позорища не существует. Аполлогеты шансона — из тех, что поэрудированнее, — любят называть параллели, например, в рок-музыке, вспоминают Тома Уэйтса или Леонарда Коэна, а также американские блюзы и, разумеется, французских шансонье. Ну, про блюзы, с их абсолютно уникальной поэтикой, как и об идущем от культуры тонкого переживания французском шансоне, в этой связи лучше помолчать. У Коэна, считающегося одним из лучших поэтов рок-эпохи, общего с шансоном разве то, что сходным тембром голоса и сходными интонациями в меланхолических песнях обладает Михаил Шуфутинский. В рок-музыке, да, имеет место, и в последнее время бойко набирает обороты, эдакое разудалое направление, для которого никак не подберу названия: веселые песни без всякого второго дна про выпивку, драки, похмелье и неизвестных девушек, обнаруженных с утра под боком в кровати. Бывают востребованы и тюремные песни. Но важно, что персонаж здесь, да чаще всего и сам певец — либо припанкованный нонконформист, либо откровенный изгой, а никак

не сытый дядька в дорогом пиджаке, всем своим видом демонстрирующий, что место его отнюдь не на краю общества, а, напротив, в самом его центре, а то и просто в элите и что воспеваемый образ жизни в конце концов обеспечивает всеобщее уважение и ресторанный счастье.

Но и это было бы ничего, если бы русский шансон существовал где-то на своем пространстве, имел хоть какие-то рамки — ну, есть желающие это потреблять, так и флаг им в руки. Однако ситуация прямо противоположная. Как-то уже не подразумевается, что есть люди, которые потреблять этого как раз не желают. Для которых про бандитов, путан, стрелки, разборки, бабки, третью ходочку, дочь прокурора, таганскую тюрьму и владимирский централ — *не* интересно. Ни в каком виде. Ни под каким соусом. Надоело. Обрыдло. Не надо. Которые еще пытаются внутренне спорить с чаадаевским постулатом, что у России нет и не может быть истории. Нет, нас уже не принимают в расчет — кто обязан, кому мы нужны? Я не покупаю пластинки «Крестового туза» (есть такой музыкальный деятель среди «легенд»), не слушаю Славу Медяника или Михаила Круга. У меня нет радиоприемника, а был бы — я бы точно не настраивал его на волну «Радио Шансон». Но русский шансон преследует меня повсюду, где бы я ни оказался. Он несетя из магнитолы у водителя маршрутного такси — и попробуй попроси его выключить! Из радиоточки в кабинете зубного врача. Из двухкассетника на прилавке у продавщиц, торгующих в «Детском мире» ползунками для младенцев. Что они там слушают, эти продавщицы? Зачем? Какое им дело до владимирского централа и бандитской «души нараспашку» и отдают ли они себе отчет, что дела им до этого нет и быть не должно — или у них просто не хватает воображения представить на месте персонажа этих песен собственных сыновей? Тут пора прозвучать голосу грозному и величественному: ага, пугает интеллигентешку подлинная народность; но не вам, господа «культурные», судить-оценивать то, что трогает струны истинно русской души. И тогда, конечно, остается только шляпу надвинуть поглубже, спрятать лицо в воротник и мелко, подлым шажком, семенить в сторону, противоположную направлению движения революционных матросов: сыграть роль, положенную по советскому канону в художественных полотнах на сюжет «Взятие Зимнего». Потому как народность — штука серьезная. Плавали, знаем. Сокровенные глубины, все такое... Ну трогает — ничего не поделаешь. Да и не удивительно, что трогает, коли страна у нас — от тюрьмы не зарекайся. Только вот одна неприятная мысль никак меня не оставляет. Если эту сокровенную сущность свою народ способен отлить в строки «А белый лебедь на пруду качает падшую (может быть, „павшую“, точно не помню. — М. Б.) звезду» (М. Танич и группа «Лесоповал» — одни из самых популярных исполнителей русского шансона) — вдруг он просто не нужен, не годен ни на что, такой народ? Взвешенный на весах, будет найден слишком легким?

Однако именно необычайная популярность шансона косвенно послужила и причиной его какого-никакого обновления и очеловечивания. Нет, от Асмоловых, Таничей, Крестовых тузов и им подобных нам никогда не избавиться — рассчитывать на это глупо. Однако потихоньку начинает появляться что-то еще, некий род песенного и музыкального творчества, также позиционирующий себя именно в качестве шансона, занимает какие-то новые стилистические и смысловые пространства. К середине девяностых совсем деградировала отечественная рок-музыка, и многие музыканты почуяли: чтобы удержаться на плаву, надо быть ближе к широкому народным массам. Отмашку дал Гарик Сукачев, пропев в первой, если не ошибаюсь, новогодней программе «Старые песни о главном» ностальгическую разудалую «Я милого узнаю по походке». С тех пор исполнение такого рода материала — его стилистические определения я перечислял выше: катакомбная эстрада и т. д. — стало для Сукачева фирменной «фишкой», и по крайней мере на телеэкране он появляется почти исключительно с этим репертуаром. Разумеется, здесь и вкуса побольше, чем у «легенд», и аранжировки посерьезнее, и про злодеев прокуроров сам Сукачев не сочиняет, а песни подбирает даже с благородной по-своему исторической патиной. Сам утонченный мистический Гребенщиков пробовал было попеть про «Чубчик кучерявый», но, слава Богу, вовремя сообразил, что получается барахло. Сегодня такой шансон-рок, такая манера исполнения, словно бы с разодранной на груди рубахой, — пожалуй, вообще наиболее востребованное в отечественной рок-музыке направление, вполне вписавшееся и в соответствующую ми-

ровую волну. А самые модные из этих залихватских ребят — группа «Ленинград», отличающаяся изрядным количеством ненормативной лексики в песнях (хотя и не уникальным — отечественный панк-рок знавал команды, у которых даже в названии не было ни единого слова нормативного); на зияющие высоты славы группу вознес главным образом мэв Москвы Лужков, запретивший своим указом проведение концертов «Ленинграда» в столице — порой даже трудно поверить, что кому-то могут делать такую рекламу совершенно бесплатно! Кстати, лидер «Ленинграда», Сергей Шнуров, выпустил диск уже чисто шансонного и сильно смахивающего на «легенд», но вроде бы подлинного уличного и т. п. материала. Альбом вышел на фирме «Мистерия звука» в серии «Не легенды русского шансона» — на дисках этой серии всякие культовые персонажи отечественного рок-андерграунда поднимают соответствующие, шансонные, субкультурные пласти. Однако никакого нового шага здесь нет, напротив, это работа на примитивизацию, и всего-то, собственно, интереса, что махровый «блатняк» исполняется не жиганом каким-нибудь в кепке и с хопцом в зубах, а продвинутыми культурологами или филологами вроде человека, известного в тусовке как Псой Короленко. Круто же! Культурная провокация! Вялая получается провокация, такой, по-моему, сегодня даже школьников не испугаешь — куда удивительнее нынче выглядит что угодно, но сделанное абсолютно всерьез, из кровной заинтересованности.

И все-таки существует одна звукозаписывающая фирма (обычно, когда ведут речь о фирме, о «лейбле», как это называется на музыкальном профессиональном жаргоне, подразумевают не только производственную или коммерческую сторону, но и стилистическую, и круг музыкантов, чьи работы фирма выпускает), где с шансоном творят что-то действительно небывалое.

Лидер московской группы «Мегаполис» Олег Нестеров, музыкант со вкусом и вообще нормальный человек, вовсе не похожий на поп-звезду, тоже не упустил из виду многовеликие потенции, содержащиеся в шансоне благодаря всеохватной народной к нему любви. Однако подошел к делу нестандартным для русских продюсеров образом — то есть попробовал не опустить планку и сделать «попроше» и «понароднее», дабы «пилл хавал» вообще не разжевывая, а, напротив, зацепить внимание публики любимым и достаточно привычным для нее материалом, однако на уровне, присущем уже человеку, а не «братку». Нестеров довольно давно создал небольшую собственную фирму «Снегири», где выходили альбомы исполнителей поп-рока не первой линии по частоте появления на телеэкране, однако из лучших на собственно музыкальный счет. В прошлом году возникло подразделение «Снегирей» под названием «Ш2», стилистическая направленность которого была обозначена как «шансон с человеческим лицом». И верно: первые же выпуски «Ш2» продемонстрировали новое течение в современной русской музыке, и генетически явно связанное с шансоном и, очевидно, весьма далекое от шансона что «легенд», что «не-легенд». Вообще здесь, кажется, концептуально стараются держаться в стороне и от гитарно-баянной, на весь размах руки, стилистики в духе Сукачева, и, конечно, от уныло-примитивных ресторанных синтезаторов. Заметен интерес фирмы к аранжировкам джазового толка и к декадентскому кабаре.

Альбом группы «Хоронько-оркестр» — по имени ее лидера, певца, аранжировщика и автора концепции (последнее качество на обложке альбома указано специально) Дмитрия Хоронько — вещь, конечно, совершенно не рядовая. Для меня, честно говоря, эти люди явились вообще как будто из ниоткуда — я представления не имел, что кто-то в России делает подобное на традиционно шансонном материале. Только задним числом уже я разузнал, что есть еще несколько исполнителей, групп, работающих в схожем ключе, — но Хоронько, пожалуй, никому из них не переплюнуть. Шесть песен на альбоме представлены как народные, среди них — «Мурка» (но с текстом аутентичным и не похожим на тот, к которому все привыкли; кстати, в тех же liner-notes на альбоме указан некий консультант: генерал-майор Иванов Т. С. — и вот сколько я ни пытаюсь, не могу придумать со стороны генерал-майора никакой иной полезной музыкантам консультации, кроме как по «подлинным» «Муркиным» словам), «Шумел камыш», «Живет моя красotka...» и (здесь тоже слова поглубже, чем в «каноническом» варианте) «Мой костер в тумане светит», другие менее знамениты, но тоже — отличный хулиганский репертуар для хулиганов откуда-нибудь из советского кинофильма пятидесятых. Три песни Вергинского

(одна пересочиненная — на музыку самого Хоронько), и две — сочинения самого лидера, одна на собственный текст, другая — на слова Олега Григорьева, создателя известного каждому школьнику тихо качающего ботами электрика Петрова. Общее впечатление странное, двойственное: и чувствуется несомненная любовь к материалу (особенно к Вертинскому), и очевидно проведенное на высочайшем уровне пародирование, почти издевательство, не любитель я как бы молодежного жаргона, но тут слово само просится на язык — тотального стёба. Это кабаре, утрированно-над-рывное, задышающееся. И оно бы приелось за пять минут — когда бы не удивительные музыкальные события, сопровождающие такую истероидную подачу. Состав «Хоронько-оркестра», если исключить более-менее современную электрогитару, напоминает ансамбль с танцплощадки конца пятидесятых: кларнет, саксофон, аккордеон, фортепиано, бас, барабаны. И по звучанию аранжировки отсылают к эстраднему джазу тех времен. Даже техника звукозаписи выбрана характерная для джаза пятидесятых — так называемая MS-технология: «Хоронько-оркестр» несколько дней писался в студии вживую на один микрофон, затем выбирались и монтировались лучшие фрагменты. Только вот ритмы, темпы, музыкальные размеры меняются едва ли не всякие несколько тактов — подобную усложненность найдешь разве что у высоколобых исполнителей арт-рока в начале семидесятых. И всякий раз неожиданный выбор ритмических схем для той или иной песни — и чем более песня знакома, даже затерта, тем выбор неожиданнее: скажем, «Живет моя красота...» превратилась в бешеную самбу. Но и это еще не все. Вся музыкальная ткань здесь буквально насквозь прошита многочисленными цитатами.

И цитаты наводят на мысль: а ведь эти вроде бы так хорошо знакомые и близкие сердцу слушателя песняки у «Хоронько-оркестра» абсолютно никому не адресованы. У них вообще нет целевой группы. Нормальный потребитель шансона здесь просто ничего не поймет, а скорее всего еще и обидится: какие-то клоуны замарали сокровенное (собственно, так и происходило на концертах «Хоронько-оркестра» в «приличных» московских клубах, из тех, куда заглядывают и бандюганы, и не слишком неформальная молодежь, и банковские клерки — в общем, самая широкая публика). О том, что из цитатного слоя любитель шансона вообще ничего не распознает, нечего и говорить. Продвинутая молодежь, конечно, в значительной степени разберется, что к чему, оценит градус стёба, узнает поступь оккупантов из Седьмой Шостаковича, гитарный рифф из рок-оперы «Jesus Christ Superstar» и даже, наверное, знаменитые пять четвертей Дэйва Брубэка. Но вряд ли вычленил фрагменты, например, из гитарных соло Джанго Рейнхардта тридцатых годов. Наконец, весьма образованная джазовая аудитория выловит почти все — но наверняка не воспримет в целом концепцию, поскольку никакой такой пользы, никакой новой крови собственно джазу как жанру она доставить, сообщить, конечно, не способна. И кто, в таком случае, остается, чтобы принять в полной мере осязаемое в музыке «Хоронько-оркестра» послание? Один Бог? То есть музыкант Дмитрий Хоронько со товарищи поет «Мурку» для Бога? Покрутив это соображение в голове, я установил, что чувств моих оно не оскорбляет. Почему бы и нет? Чистому — все чисто.

Я проглядел то, что написал, и вижу, что цели, подобающей такой заметке, так и не достиг, не нашел слов, чтобы сколько-нибудь адекватно изобразить, очертить этот невероятный фонтанирующий коллаж джаза половины всех существующих стилей, всяческих фокстротов, шейков, румб, самб и что там есть еще, залихватских «о-па!», криков, мяуканий, вдруг чистейших «ангельских» пропевов в духе нежных «Свингл сингера», пения скэтом на какие-то безумные слоги, музыки старых танцплощадок и бог весть чего другого. Вероятно, это и есть подходящий случай, причем в моих опытах едва ли первый, когда стоит вспомнить афоризм Фрэнка Заппы: рассказывать музыку — все равно что танцевать архитектуру. И если я пытаюсь вернуться к нормальному положению — положению слушателя, который не обязан музыку анализировать и вообще о ней говорить, а просто ищет с ней контакта и разбирается, ложится ли она ему на душу или остается ненужной, посторонней, — я понимаю, что альбом «Хоронько-оркестра» вряд ли вошел бы в число моих любимых, часто попадающих в чрево проигрывателя дисков. Все же музыка здесь слишком эксцентрична, да и чувство меры иногда подводит: кричащих интонаций, театрализованного надрыва чуть больше необходимого — хотя это

заметнее на концерте, чем в записи. Но я должен признать, что «Хоронько-оркестр» обходится с музыкой именно так, как, я считаю, с ней и следует сегодня обходиться, играет со многими актуальными моментами, рискует с непредсказуемым результатом, что, по-моему, единственно пристойно любому настоящему художнику — по крайней мере художнику, ориентированному не на углубление, а на прорыв. И никак не могу решить: тот факт, что наиболее, может быть, яркое и уж точно самое оригинальное движение в отечественной нефилармонической музыке происходит на краю, пускай и на очень далеком краю, такой застойной (чтобы не сказать — отстойной) и заболоченной нивы, как русский шансон, — это удивительно или закономерно?

И напоследок: на альбоме есть настоящий шедевр. Песня Хоронько на слова Григорьева с простым названием «В камере». Это шансон, вывернутый наизнанку и действительно показавший человеческую сторону. Здесь, казалось бы, все от шансона — одного названия достаточно. И вместе с тем — ничего. Вместо примитивных гармонических схем шансона — вроде бы тоже несложные, но изящно, совсем по-босса-новски скользящие аккорды. Вместо плоских и пошлых штампов шансонной поэзии — странная, скошенная, почти абсурдистская и поразительно проникновенная лирика. Пожалуй, это самая лиричная песня вообще из всех, какие я способен вспомнить за последние годы, и цепкая притом: стоит прослушать один раз до конца — уже из головы не выгонишь. Добью сейчас эти строчки, выйду к ночному ларьку, дождусь кого-нибудь в очках. «Один человек в локонах, другой человек лысый. Здорово, правда?» И пускай попробует возразить.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ КОНРАДОВОЙ

О графомании в Сети

Не первый год, составляя WWW-обозрения, я, скажем так, благоразумно обходил (ну разве только чуть трогая) одну из основных для нашего литературного Интернета тем — тему литературной графомании. Сознательно игнорируя тем самым ОСНОВНОЙ массив интернет-сочинений. Потому как единственное определение, которое я мог бы дать этому явлению, выглядит так: графомания — это нечто, похожее — иногда очень даже похожее, до неразличимости похожее — на литературу и тем не менее литературой не являющееся. С подобным теоретическим багажом затрагивать глобальную тему бессмысленно. Но, с другой стороны, явление существует и ждет своего исследователя. И мы рады, что появилась возможность обратиться к специалисту, способному говорить на эту тему предметно. Автором WWW-обозрения в этом номере стала молодой филолог Наталья Конрадова, взявшаяся определить некоторые черты самого феномена интернет-графомании, а также продемонстрировать ее проявления собственно в текстах. Надеемся, что эта статья заинтересует не только широкого читателя, но и специалистов-филологов, накопивших собственный материал для продолжения этого разговора.

Сергей Костырко.

Могучей дланью графомана
Терзаю я бумаги лист,
Как он был бел, невинен, чист,
Как тундры гладь после бурана.

Игорь.

Если проблема графомании существует столько же, сколько сама литература, но вряд ли существовала раньше, то интернет-литературе дождаться появления интернет-технологий было не обязательно. FIDO унаследовала черты множе-

ства разных по форме коммуникативных систем — Фидо, локальных сетей радиолобителей, КСП и т. п., не говоря уже о непосредственных предшественниках — поколениях непрофессиональных литераторов, воспитанных в ЛИТО и других институтах литературной субкультуры. С этой точки зрения русский литературный Интернет можно рассматривать как механически сложившуюся совокупность разнородных просторов Сети. Но гораздо естественнее взгляд на него как на явление достаточно цельное — как на вполне сложившуюся специфическую субкультуру, в которой есть свои иерархия, тематика, язык, имена, «контингент», «общность интересов» и т. п. Специфика же, например, в том, что одинаково важными компонентами являются здесь и собственно тексты, и обсуждения (их авторов, литературного процесса в целом или вообще не связанных с литературой проблем), причем иногда обсуждения бывают значительно информативнее, чем тексты.

«Рулинет» — самовоспроизводящаяся и во многом самодостаточная система, предоставляющая возможность наблюдать полный литературный цикл. Проще всего сделать это на примере «интимных» жанров, где цикличность очевидна, да и цикл короток: личные переживания по поводу знакомства и общения в чате приводят к написанию, скажем, любовного рассказа, который затем публикуется на сайте (например, «Проза.ру»), получает отзывы и место в рейтинге и снова обсуждается в чате. Цикл этот вполне может обогатиться за счет критических или даже теоретических статей про интернет-литературу, к чему я, например, вторгаясь сейчас в виртуальное пространство на правах «включенного наблюдателя», тоже прилагаю некоторые усилия. Авторы, модераторы сайтов (они же часто критики и конкурсное жюри) и одинокие теоретики плавают в наваристом бульоне под названием «Русский литературный Интернет», изредка появляясь на других информационных полях (бумажные СМИ, сборники произведений и, если повезет, телевидение). Кстати, именно поэтому единственным источником библиографии для академического исследования Интернета является сам Интернет.

Интернет-литература предполагает свои технологии написания текстов, рожденные новыми возможностями, начиная с владения компьютерными и сетевыми навыками и заканчивая умением создавать гипертексты и другие формы интернет-письма. Новые технологии уже сами по себе стимулируют или даже предопределяют порождение текста: не будь в распоряжении части интернет-авторов компьютера и доступа в Интернет, у некоторых из них не возникло бы и самой мысли о писательстве. Поэтому от обычного литературного сообщества интернет-литературная субкультура отличается прежде всего плотной технологической зависимостью. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в компьютерном дизайне на заре его существования, создателями которого были не столько художники, сколько специалисты в компьютерных технологиях (и до сих пор веб-дизайнерами часто становятся заядлые интернетчики, а вовсе не художники).

Сегодня, в условиях массовой и стихийной ликвидации компьютерной безграмотности, чтобы стать интернет-литератором, достаточно овладеть минимальными компьютерными умениями. Уже сама технология становится объектом творческой рефлексии: *«Внимательно глядяваясь в окошко синего чата и купаясь в волнах его авамариновой нежности, я барабанила по клавиатуре усталыми пальцами...»* и т. п.

С массовым распространением Интернета и появлением феномена интернет-литературы немедленно — и вполне закономерно — возникли радужные надежды на реализацию постмодернистской программы демократизации художественного пространства, уничтожение критериев «высокого» искусства и внутренних социальных иерархий. Но опыт показал, что потеря конкретных ценностных ориентиров пугает, и очень скоро склонность к иерархизации и «забиванию колышков» в определениях хорошего и дурного вкуса стали доминирующими в дискуссиях и форумах, организациях литературных сайтов и конкурсов. Хорошим маркером этой ситуации выступает тема графомании.

При попытке определить «графоманию» или «графомана» мы оказываемся перед проблемой определения сферы литературы вообще; формулируя критерии собственно графомании, немедленно касаемся критериев «настоящей литературы». И вправду, что еще, кроме «болезненного пристрастия к сочинительству», может по-

будить и писателя, и графомана, и литературную «звезду», и литературного «аутсайдера» создавать свои произведения? Неопределенность понятия графомании оставляет ей роль «нехорошего слова» во взаимных обвинениях авторов интернет-пространства или, наоборот, функцию символа «демократических свобод». В последнем случае авторы, занимаясь нарочито апологией графомании, подтверждают тем самым болезненность проблемы.

В российском литературном Интернете слово «графоман» стало вдруг необыкновенно популярным. С этой популярностью связаны уже и собственно интернетовские сюжеты. Скажем, соседство этого понятия с именем Льва Толстого (по итогам поисков в «Рамблере», это сочетание встречается всего в четыре раза реже, чем сама «графомания!»). Словесная игра с «графами» и «графоманами» существовала и до Интернета (достаточно вспомнить «народную» песню: *«Толстой был тоже графоманом, / У графа мания была — / Он целый день писал романы, / Забросив прочие дела»*). Тему оживила давно уже «висящая» статья Святослава Логинова о «графах и графоманах», автоматически подняв рейтинг этой темы и повлияв на самооценку непрофессиональных авторов¹. В статье Логинова эффектно демонстрируется полная, как кажется автору, недееспособность Льва Николаевича в качестве мастера художественного слова. Реакция последовала незамедлительно, и сейчас в интернет-пространстве можно встретить противоположные высказывания: «Между прочим, Лев Толстой (будучи гениальным писателем) страдал графоманией...»; «Если это графомания, тогда ради чего люди перечитывают произведения Л. Толстого по многу раз за свою жизнь?» и т. п., — среди которых и обвинения в графомании самого Логинова.

Очевидно было и до Логинова, что в процессе критического осмысления школьной классики граф Толстой будет первым, чьи стилистические способности подвергнутся пересмотру. Здесь я опираюсь не на собственные оценки, а на «индекс упоминаний» нашего героя в «серьезных» научных или «несерьезных» публицистических текстах на заданную тему. Вот что пишет Светлана Бойм: «В широком смысле определение Нордау может относиться к большому количеству писателей, многие из которых — от Бальзака до Толстого — не могли жить и дня без строчки и исписали огромное количество страниц, что само по себе не совсем нормально»; вот как обходится с графьями Михаил Визель: «Сразу оговорюсь, что ничего уничтожительного в слово „графоман” я не вкладываю: это просто человек, получающий удовольствие от процесса писания, и граф Толстой ничем не отличается в этом смысле от графа Хвостова. Отличаются только результаты их деятельности, но это уже второй вопрос»; и наконец, шутки ради, вот что «думает» о проблемах прозы Толстого (речь идет о фразе из романа «Анна Каренина») холодная и рассудительная программа проверки стилистики: «Предложение, трудное для восприятия. В нем 9 местоимений и относительных местоимений. Попробуйте выразиться иначе».

Однако сами «графоманы» относятся к грамматическим и стилистическим ошибкам немного иначе, явно предпочитая «искренность», «душевность» и «энергию» формальному профессионализму: «Просто и сильно. Как молитва»; «Написано хлестко, уверенно. Фразы вырваны из состояния души, момента истории. Как наброски чужой боли» и т. п.

Миф о «литературоцентризме» отечественной культуры легко опрокидывается данными социологов², но продолжает питать литературную среду: традиционно высокий авторитет писательства активно притягивает самостоятельных авторов к местам, подобным гестбукам и чатам. Феномен этот занимает все больше информационного пространства, с одной стороны, впитывая и репродуцируя культурные образцы, с другой — активно заявляя о себе уже не только в Сети. То, что называется «масштабом явления», больше не позволяет механически рассекать литературное творчество на литературу и графоманию. Вероятно, чтобы «обозреть» графома-

¹ Выражение «непрофессиональные авторы» — это моя вполне ханжеская попытка замены термина «графоман», признанного выше «неработающим».

² Большой процент публики не читает вообще, примерно такое же количество читает детективы, тонкий слой культурных «консерваторов» читает классику, и гораздо меньше читают современную отечественную и зарубежную литературу.

нию, нужно смотреть на нее значительно шире, чем просто на «недолитературу», не узкофилологически. Элементарный социологический закон гласит: чем больше текстов порождает сообщество, тем проще вывести общие правила и закономерности их построения. Именно с этой точки зрения и следует, видимо, подходить к столь разнообразным на первый взгляд проявлениям индивидуального литературного творчества тысяч людей.

Для начала представим, что литературное произведение — дом, возведенный по определенной строительной технологии. Нас в данном случае интересуют графоманские кирпичные дома, открывающие взгляду саму технологию, структуру и тип материала. Кирпичи — это такие «уплотнения», которые перемещаются из одного текста в другой; изымаются из устойчивых жанров и используются в графоманских текстах; они производятся по единой технологии и легко узнаваемы. Проще говоря — клише. Если присмотреться внимательнее, можно обнаружить, что не все кирпичики имеют единую природу: они могут отличаться по цвету, фактуре или размеру в зависимости от породы глины, которая используется. А количество «глиняных пород» не бесконечно — пальцем одной руки хватит, чтобы перечислить основные.

Прежде всего, чтобы делать модную литературу, необходимо владеть современными литературными приемами. Правда, все, что происходило в литературе после 80-х годов, пока еще не стало стройматериалом и потому, как правило, графоманами игнорируется, как это бывает и в архитектуре, где «провинциальные» стили могут отставать от «столичных» на несколько десятков лет. Зато обнаруживается обилие западного модернизма (Борхес, Маркес, Джойс, Миллер, Кафка) и постмодернистской «брутальной» поэтики (в хит-параде уверенно лидирует Пелевин). В отдельное пространство стоит выделить мистические и фантастические жанры — их популярность очевидна. Можно продолжить перечисление литературных ориентаций, но мне кажется, плодотворнее сосредоточиться на, так сказать, мейнстриме интернет-графомании.

Ввиду весьма низкой литературной образованности массовый графоман лишен возможности следовать литературной моде, и ему остается полагаться на более близкий ему материал — русскую и советскую классику из круга школьной программы. Эта литература давно растворилась в «общих местах», превратилась в фразеологию, неотличима от «скрепляющего раствора», поэтому вычленить ее из потока иногда не просто. Тем не менее самые добротные и гладкие кирпичи привычного цвета сделаны по «отцовским» технологиям:

«Ах, наше беззаботное, милое детство. Как, на удивление, быстро и незаметно ты проходишь, подводя нас за руку к порогу нашей юности... Мы стояли на развилке дороги жизни, полные радости и надежд на светлое будущее...»

Или:

«Мимо пробегали вереницы домов, едва прикрытые молодой зеленью аллей. Солнечные блики, весело играя, отражались в стеклах...»

Чем «наивнее» графомания, тем скуднее ее запас литературных аллюзий и образцов. В ней концентрируется лишь наиболее удобное для воспроизводства — давно сложившееся, «упакованное». Именно поэтому в поисках регулярных законов, которые управляют литературным творчеством «начинающих писателей», логично обращаться к простым формам письма. А в них доминирует сентиментально-любовный жанр — самый массовый и формульный. Пожалуй, это базовый жанр для писательства вообще, если вспомнить о юношеской лирике, которую лишь малая часть авторов покидает, чтобы обнарядить себя в «большой» литературе.

В этом контексте поиски «кирпичей» сразу приводят к собственно «формульной» литературе — «карманным романам»³, которые иногда благодаря се-

³ Сведем здесь к этому определению (pocket books) все «многообразие» жанров массовой коммерческой литературы.

рийности и массовости относят не к литературе, а к средствам массовой информации и коммуникации. Присутствие такой литературы как самого очевидного и навязчивого любовного дискурса в графоманских произведениях дано непосредственным и явным образом. Кажется, достаточно обратиться к любовной тематике, чтобы сразу начать писать дамский роман импортного типа. Интернет-авторы действительно используют его наиболее клишированные приемы: здесь часто «крадут спокойствие», «дарят счастье», ощущают «нежность манящих губ», «тонут в страстном поцелуе» и т. п. В наибольшей степени это касается описаний:

«Она была в изящном темно-зеленом костюме, который очень шел ей. Приталенный жакет и узкая короткая юбка подчеркивали красивую фигуру и стройные ноги в дымчатого цвета чулках и модных туфельках. Умело подкрашенная, с красиво уложенными волосами, она выглядела неотразимо».

Или:

«...шелковистые, черные, как вороново крыло, волосы, словно ручейки, струящиеся по плечам, от них исходит тонкий аромат жасмина, и этот сладкий запах дурманит, сводит с ума... Длинные темные ресницы порхают, словно бабочки, отбрасывая тень на нежные щеки».

Однако подсознательная ориентация на поэтику «карманного романа» вовсе не приводит к ее точной репродукции, законы жанра не срабатывают, хотя автор этого очень хочет: почти любая попытка создать «кондиционный» любовный роман заканчивается неудачей. Под «говорящими» именами-никами («Бегущая в ночи», «Дикарка» и другие) авторы вывешивают на серверах свободной публикации свои тексты о «несчастной любви», «боли», «усталости» и «слезах». Эти «формулы» явно берут начало в других жанрах — для этих кирпичей существует иная глина.

Вряд ли неудачи в создании произведения жанра массовых романов связаны лишь с литературной неумелостью авторов. Скорее это происходит благодаря совершенной неадекватности гляцевых любовных сюжетов другим, более естественным и прочным, основаниям любовной литературы. Относительно недавно в поле внимания филологов и фольклористов попала «наивная литература» — тот род письменности, у авторов которого отсутствуют не только претензии на создание литературного произведения, но и на письменный язык вообще (тем более язык литературный). Собственно художественных текстов среди наивной литературы почти нет. Все они относятся к жанру «девичьих рассказов», переписываемых друг у друга девушками старших классов, и повествуют о первых опытах любовных отношений. «Девичья» литература не менее клиширована, чем массовый любовный роман, но основным отличием, кроме вполне понятной бедности лексики и грамматических нарушений, является обязательность трагической концовки («их похоронили в одной могиле» — вот одна из формул финала):

«Он очень ее любил, но сделал это ради того, чтобы его не считали трусом. Как выразились его друзья, с которыми он поспорил, что в эту ночь он станет мужем этой девушки. На ее могиле, все обдумав, он решил. Он пошел на крутой обрыв реки, бросился вниз на камни и разбился».

Сегодняшние исследователи взаимоотношений западного и отечественного любовного романа отмечают, что повторить полностью западный вариант отечественному автору, даже профессиональному, не удается практически никогда. Девичий же рассказ «всплывает» в графоманских текстах значительно чаще, возможно, потому, что он в свою очередь тесно связан с романтической и сентиментальной литературой первой трети XIX века.

Именно тогда, в момент становления новых (светских, гражданских, эстетических — каких угодно) функций литературы, зафиксировался образ литера-

турности как таковой. Поэтому основные традиционные, привычные, массовые представления о литературе связаны с писательской практикой конца XVIII — начала XIX века. Это и романтический характер художественных приемов («любовь — кровь» и «розы — морозы» тоже оттуда!); и доминанта поэзии (в этом смысле проза воспринимается как падчерица поэзии, неполноценность которой можно компенсировать усиленными «поэтизмами»); и ориентация на Трагическое как единственно возможное Возвышенное; наконец, это такое понимание литературности, которое находится в оппозиции к «жизненности». Никакие «критические реализмы», гражданская поэзия и социальное проектирование в литературе второй половины XIX века уже не смогли изменить того основания массового писательства, которое выражается формулой: «красиво о Высоком».

И если такое представление о писательстве изначально было в центре отечественной литературной теории и практики, то, по ходу возникновения новых литературных установок, оно устаревает, перемещается из центра на периферию, растворяется в «народной» литературе. В относительно чистом виде это представление можно увидеть сегодня, скажем, в упомянутых «девичьих рассказах», где на основе нет больше никаких литературных «наслоений». Их коллективный автор в процессе трансляции «правдивых историй» воссоздает структуры, стоявшие когда-то у основания литературы.

И интернет-графоманы при попытке создать текст, например, о любви автоматически следуют шаблонам «девичьих рассказов», изредка прерывая их описаниями в стиле «карманных романов». Статистика дает здесь интересные результаты: в графоманских текстах в несколько раз чаще, чем в любовных романах (не говоря уже о других беллетристических текстах), встречаются слова, связанные с возвышенными, поэтизированными эмоциями («боль», «одиночество», «душа», «слезы», «волнение», «взор» и т. п.) и с общими категориями, обычными для философского дискурса («жизнь», «правда», «мир», «вечный», «будущее» и т. п.).

Если стимулом к написанию являются личные переживания и обиды и стремление «экспорттировать» их в интернет-сообщество (дальше — всем), то происходит это формульно-безлично, благодаря чему графоманский текст идеально вписывается в ряд других графоманских текстов и служит индикатором существования особого каноничного жанра «наивной графомании». В таком соотношении индивидуального и общего сходство с любовным романом велико.

Но в содержательном плане идеальная внешность героев, рекламная роскошь предметного мира и обязательный happy end импортных романов явно конфликтуют в пространстве интернет-графомании с подростковой жадой красоты, акцентом на внутренних переживаниях и трагической развязкой в традиции «девичьих рассказов». Зато графоманские тексты открыты для самого разного рода нелитературных ресурсов, которые по функциональному принципу вкрапляются в ткань повествования. Вот, скажем, неискушенный автор решает написать исторический любовный роман, однако знания об эпохе у него ничтожно малы. Помимо самих любовных романов, доступны разве что школьные учебники истории:

«Все люди на балу осознавали могущество и влияние ее религиозных родителей, к которым относились с большим уважением и боязнью. Религия всегда имела большое влияние на власть, а иногда и полностью брала ее в свои руки».

Или, например, описывая туристическое путешествие, автор обращается к рекламным буклетам или заученному рассказу экскурсовода (в последнем случае речь не перестает быть письменной по своей структуре):

«Луксор, небольшой городок на правом берегу Нила, известен своим Каркакским храмом, а особенно колонным залом фараона Сети Первого, состоящим из ста тридцати четырех шестнадцатиметровых колонн с цветными барельефами...»

Подходя к описанию какой-либо «функциональной зоны», автор словно включает реле, отвечающее за определенную тему, и транслирует ее целыми блоками. Там, где готовый блок кончается, автор снова принимается за судорожные поиски повествовательного пути. При прочтении таких текстов возникает комический эффект. Он связан с тем, что автор не умеет работать с клише, то и дело нарушает стилистику и ломает гладкую поверхность «кирпича». Отсюда — несоответствие разных частей фразы, смесь высокого слога с разговорными оборотами, характерная для наивной письменности вообще («12 апреля лучший летчик-испытатель — Юрий Гагарин — полетел *в черное неизведанное небо*»). В результате у «искушенного» читателя есть шанс насладиться теми стилистическими «изломами», которые, так сказать, обнажают смыслы задействованных литературных клише:

«Через несколько минут после завязавшегося разговора Витя признался Наташе в любви, и именно тогда она поняла, что он как раз *тот самый человек, который ей нужен*».

«Айнур частенько заходила в Интернет и искала то, чего ей так не хватало. Ей не хватало *любви, огромной и чистой, как небо*».

«Они улыбнулись друг другу, и у Леночки внутри что-то тихо шелкнуло, так бывало *всякий раз*, когда она встречала *мужчину своей мечты*».

Иногда литератор старательно вводит новые обороты и строит новую фразеологию, и тогда появляются: «поиски гейзера новых сил», «отдать все до последнего градуса Цельсия», «закат цвета убитого комара» или «груз депрессии под сердцем».

Если литератора можно назвать архитектором, тщательно продумывающим общий план здания, а уж затем детализирующим проект, то графомана мы смело записываем в строители — он кропотливо складывает кирпич к кирпичу и возводит стены. Означает ли это, что они испытывают разные чувства? Вопрос останется без ответа, если только не будет изобретен Прибор Для Измерения Качества Чувств.

Там, где кончается архитектура, а стало быть, и профессиональная зона литературного критика, начинается строительство — то есть материал для работы социолога, культуролога, антрополога, выявляющих структуру здания и технологические решения постройки. И материала хватит всем — мы лишь попытались сделать первый шаг в сторону понимания необъятного пространства графомании, которая, несмотря на огромное количественное преобладание, остается маргинальной прослойкой между литературой и народной письменностью.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Виктор Астафьев. Сочинения в 2-х томах. Том 1. Последний поклон. Повести. Рассказы. Екатеринбург, «У-Фактория», 2003, 720 стр.

Виктор Астафьев. Сочинения в 2-х томах. Том 2. Печальный детектив. Роман. Рассказы. Затеси. Екатеринбург, «У-Фактория», 2003, 626 стр.
«Зрелая» и поздняя проза Астафьева.

Амброз Бирс. Словарь Сатаны. Перевод с английского С. Барсова. М., «Центрполиграф», 2003, 350 стр., 6000 экз.

Амброз Бирс. Диагноз смерти. Рассказы. Перевод с английского С. Барсова. М., «Центрполиграф», 2003, 415 стр., 6000 экз.

Сатирический памфлет «Словарь Сатаны» и собрание рассказов американского классика (1842 — 1914), одного из основателей так называемого «черного жанра» в фантастической литературе.

Дмитрий Быков. Орфография. Опера в трех действиях. М., «Вагриус», 2003, 688 стр., 5000 экз.

Дмитрий Быков. Блуд труда. Эссе. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 3000 экз.

Дмитрий Быков. Призывник. Стихотворения и поэмы. СПб., «Амфора», «Геликон-Плюс», 2002, 424 стр., 5000 экз.

Что-то вроде трехтомника, изданного в разных издательствах, — стихи (о Быкове-стихотворце см. в «Новом мире» рецензию А. Василевского (1995, № 2), И. Роднянской (2000, № 11), а также К. Анкудинова в следующем номере журнала), проза (новый роман — журнал намерен отрецензировать его в ближайших номерах, эссеистика («Стихия Быкова — не аналитика и даже не критика в привычном смысле, а сугубо авторское, крайне субъективное эссе», — А. Мирошкин, «Книжное обозрение»).

Константин Ваншенкин. Женщина за стеной. Лирика. М., «Прогресс-Плеяда», 2003, 440 стр., 3500 экз.

«...вечные темы — жизнь, любовь, война, смерть, природа — понимаются и воспринимаются нами по-своему. Таинственный личный код, основной мотив, узнаваемая интонация — это главенствует в жизни и в поэзии, ощущаясь нами как лирика» (из авторского предисловия). Книгу составили два раздела: «Щека к щеке» (новые стихи), «Фрагмент» (избранное).

Алексей Иванов. Сердце Пармы. Роман-легенда. М., «Пальмира», 2003, 479 стр., 14 000 экз.

Урал XV века, противостояние пришлых русов (новгородцев и москвитов) и аборигенов (пермяков, манси, зырян, хантов и других) — повествование, обладающее признаками остросюжетного исторического романа, но только признаками; писатель здесь не воссоздает прошлое, а создает его — полуреальным-полумифическим, полностью подчиненным логике художественного замысла.

Семен Липкин. Воля. Стихи. Поэмы. М., О.Г.И., 2003, 492 стр., 1000 экз.

Самое полное собрание стихов Семена Израилевича Липкина (1911 — 2003), видимо, последнее, подготовленное автором при жизни, — стихотворения 1931 — 2001 годов, поэмы «Техник-интендант» и «Вячеславу. Жизнь переделкинская».

Айрис Мердок. Святая и греховная машина любви. Перевод с английского Н. Калошиной. М., «СЛОВО/SLOVO», 2003, 448 стр.

Впервые на русском языке роман знаменитой (и на родине, и в Европе, и в России) английской писательницы (1919 — 1999).

Молодые поэты России. Альманах фестиваля молодых поэтов «001». М., РИК Русанова, 2003, 320 стр., 3000 экз.

Максим Амелин, Роман Белецкий, Александр Дельфин, Дмитрий Воденников, Мария Кильдибекова, Инга Кузнецова, Александр Сорока, Дмитрий Тонконогов, Глеб Шульпяков, Санджар Янышев.

Ирина Полянская. Путь стрелы. Книга рассказов. М., «МК-Периодика», 2003, 248 стр., 3000 экз.

Собрание рассказов известного прозаика, постоянного автора «Нового мира». «...зрячая проза с женским лицом, а не так называемая женская проза. Несмотря на сострадание к своим героям, писательница беспощадно отслеживает фигуры их судеб... Те из них, кто слеп и не желает признавать, что главные решения принимаются не умом, а сердцем, обречены... Провинциальный, советский, мещанский мирки трещат под напором божьего большого мира, как одежда не по размеру человека» (издательская аннотация).

Павел Санаев. Похороните меня за плитусом. Повесть. М., «МК-Периодика», 2003, 148 стр., 3000 экз.

Книжное представление одного из самых ярких прозаических дебютов 90-х годов — впервые повесть была опубликована в журнале «Октябрь», 1996, № 7.

Мильтос Сахтурис. Голова поэта. Перевод с греческого И. И. Ковалевой, С. Б. Ильинской. Вступительная статья И. И. Ковалевой, Д. А. Яламаса. М., О.Г.И., 2003, 96 стр., 1000 экз.

Сборник стихов выдающегося современного поэта Греции. Родившийся в 1919 году, начавший публиковаться в конце 30-х, известность и признание он получает только в 60-х годах. «Сюрреализм сыграл в его творчестве решающую роль, но Сахтурис не является „классическим“ сюрреалистом. В его поэзии воссоздана сама стихия мира, смыкающаяся с ужасом обыденной действительности» (из аннотации).

Михаил Чердынцев. Более точно, чем случившееся. Мужской вариант. Проект «Точки зрения». Стихотворные произведения ритмического минимализма или образного малословия. Пятая книга. М., Библиотека «ЕДИНАЯ КНИГА», 2003, 120 стр., 1500 экз.

Михаил Чердынцев. Более точно, чем случившееся. Женская версия. Проект «Точки зрения». Стихотворные произведения ритмического минимализма или образного малословия. Пятая книга. М., Библиотека «ЕДИНАЯ КНИГА», 2003, 120 стр., 1500 экз.

Проект, отчасти поэтический, отчасти полиграфический, — попытка достичь художественного эффекта, используя графику стиха: собрание стихотворных текстов, представленное в традиционном вертикальном формате (мужской вариант), повторяется во второй книге, изданной в альбомном (сильно вытянутом) формате; автор исходит из предположения, что написание трехстрочной строфы (мужской вариант) в две строки (женский вариант) насыщает текст дополнительным смыслом.

Николай Энтелис. 75/55. Стихи. Грустные и веселые. М., 2003, 90 стр.

Новая книга стихов поэта-сатирика, в данном случае предстающего перед читателем «чистым лириком», — книгу составили стихи, написанные поэтом в год своего семидесятипятилетия. «Не живу, а доживаю, / мама мне сказала в лад: / Платье жизни дошиваю, / Ушиваю свой халат... / Не живу, а доживаю, / Повторяю я сейчас: / Никого не отшиваю, / Защищаюсь каждый раз...»



Вальтер Беньямин. Происхождение немецкой барочной драмы. Перевод с немецкого Сергея Ромашко. М., «Аграф», 2002, 282 стр., 3000 экз.

Первая крупная работа (опубликована в 1928) известного немецкого философа, социолога и литературного критика (1892 — 1940), предложившего свою концепцию драмы и трагедии с новым осмыслением содержания и внутренних взаимосвязей таких понятий, как трагическая поэзия, трагический герой, символ, аллегория, и некоторых других, — исследование, позволившее Беньямину одним из первых обратиться к «социологическому анализу изменений общественной функции и смысла художественного произведения, связанных с его массовым техническим воспроизведением и исчезновением его „ауры“ — ореола уникальности и неповторимости».

Наталья Иванова. Пастернак и другие. М., Издательство «Эксмо», 2003, 608 стр., 3100 экз.

Новая книга известного критика, в центре которой повествование о жизни Бориса Пастернака «Участь и предназначение» («Свою задачу я видела в том, чтобы познакомить читателя с моей версией жизни и личности поэта, реконструировать время и его, Пастернака, творческую и психологическую реакцию на события этого времени»); текст этой работы, вышедшей ранее отдельной книгой, уточнен и дополнен для нынешнего издания. «И другие» — второй раздел книги — содержит четыре статьи о взаимоотно-

ношениях Пастернака с Ахматовой, Булгаковым, Мандельштамом и Сталиным. В завершающий раздел «Совсем другие» вошли написанные *не* канонически («...глазами человека моего поколения» — как уточнено название одного из этих текстов) портреты Фадеева, Катаева, Симонова.

Ю. И. Минералов. История русской литературы. 90-е годы XX века. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002, 224 стр., 10 000 экз.

С точки зрения автора этого учебного пособия, 90-е годы в русской литературе определяло творчество Леонида Леонова, Василия Белова, Юрия Бондарева, Владимира Гусева, Валентина Распутина, Сергея Есенина, Алексея Варламова, Александра Проханова, Владимира Орлова (с романом 1988 года «Аптекарь»), Венедикта Ерофеева («нераскрывшийся талант»). Особо в книге — о Солженицыне, который, по мнению автора, сумел в позднейшем творчестве, обладающем «мощной документальной подосновой», преодолеть недостатки своих прежних сочинений, в частности «Архипелага ГУЛАГ» («...политический памфлет в оболочке документа, очерка. Здесь реальные факты, непроверенные факты, явные слухи, несомненно, недостоверные анекдоты и еще авторские эмоции — все выстроены в один ряд и в целях усиления воздействия на умы читателей высокоталантливо поданы как факты. Получилась жуткая картина»). Написанное для студентов гуманитарных вузов пособие строится на кратком пересказе сюжетов, характеристике героев и развернутом цитировании. Уровень и стилистика «теоретических» пассажей: «В нынешнем литературном авангарде бросается в глаза прежде всего та же злосчастная замашка строиться на песке или амбициозно возноситься над землей Отечества заморским небоскребом, не имея ни фундамента, ни иных толковых зацепок за национальную почву». В вопросы эстетики автор особо не углубляется («В романе... присутствует своя серьезная философия. Пусть временами она излишне тяжеловесна... но она так интонирует книгу, что прочесть „Аптекаря“ как легкомысленное произведение в духе фэнтези невозможно»). Жанровая новация Минералова состоит в введении в текст исследования фигуры его автора и в качестве, так сказать, субъекта («мой зоркий профессиональный глаз», «Я же был человеком, любящим Россию, да еще сибиряком», «На жизненном поприще со времен юности что думаю, то и говорю» и т. д.), и в качестве объекта исследования — в учебнике представлен разбор стихотворений самого Ю. И. Минералова.

Андрей Немзер. Замечательное десятилетие русской литературы. М., «Захаров», 2003, 608 стр., 3000 экз.

Статьи и рецензии, публиковавшиеся в различных журналах и в газете «Время»/«Время новостей», собранные в эту книгу, стали главами единого повествования о сегодняшней литературе и литературной жизни. Хроника литературной жизни прослеживается автором до декабря 2002 года, и напряжение вокруг затронутых им сюжетов еще не снято временем; в свою очередь сюжеты эти позволяют автору продолжить свое — не первое уже десятилетие длящееся — исследование острейших этических проблем современной общественности, в частности, литературной («Слишком большое место в нашей жизни заняло охорашивание перед зеркальцем, самолюбование, благородное „неучастие ни в чем“. Слишком легко мы поверили в исчерпанность интеллигенции, обреченность народа глупой поспе и собственное право на „единственно возможный“ убогий выбор: либо эксцентричный „театр для себя“, либо циничная халтура „на потребу масс“, либо изящное, с ироническим подмигиванием, совмещение этих, извините уж, лакейских стратегий...»). Первую часть книги «Проблемы и лица» составили журнальные статьи 1992 — 2001 годов, эта часть завершается хроникой литературной (и не только литературной) жизни 2001 и 2002 годов («Начало века»). Вторая часть «Словесность во времени» — газетные рецензии с 1997 по 2002 год. Книга эта в сочетании с двумя предыдущими («Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» — М., «Новое литературное обозрение», 1998; «Памятные даты. От Гавриила Державина до Юрия Давыдова» — М., «Время», 2002) помогает составить представление еще и о самом явлении, которым стала литературно-критическая деятельность Андрея Немзера и подступиться к которому часто мешала как раз актуальность, «разогретость» конкретной ситуацией его критических выступлений, — составившие «Замечательное десятилетие» статьи и рецензии «не раз вызывали полемические отклики, а их автор порицался за постмодернизм, консерватизм, отсутствие идей, идеологическую одержимость, эстетство, публицистичность, описательность, легкомыслие, занудство» (из аннотации).

Кира Сапгир. Дисси-блюз. Предисловие А. Битова. — СПб., «Алетейя», 2003, 302 стр., 1000 экз.

Представленная издательством с помощью вполне респектабельных словосочетаний типа «развенчание мифа о русской эмиграции» книга бывшей нашей соотечествен-

ницы, с 1978 года живущей в Париже, сотрудничавшей с «Русской мыслью» и радио «Свобода», изображает сообщество диссидентов из СССР как тесную и душную резервуацию, отношения в которой определяются завистью, тшеславием, трусостью и готовностью на любые компромиссы. Действующие лица (с подстрочными указаниями прототипов): Влас Забуеный, Ехидна Корифейская, Титан Властелицын, Педуард Архидэев, Боба Мастурбант и проч. Названия глав: «Дисси на случке», «Дисси на пьянке», «Похороны дисси». В предисловии сказано, что именно это «развенчание мифа» Кира Сапгир выбрала «литературным делом своей жизни». Поскольку автор, похоже, действительно хорошо знавший своих героев, обладает еще и специфически острым глазом, повествование его если и не убеждает, то производит достаточно сильное впечатление, а формируемое книгой отношение к диссидентам третьей волны неизбежно переносится и на самого автора.

Б. Г. Федоров. Петр Аркадьевич Столыпин. М., «РОССПЭН», 2002, 696 стр. Биография Столыпина, написанная известным экономистом и политиком.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Вопросы литературы», «Время МН», «Время новостей», «Газета», «22», «Завтра», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Консерватор», «Критическая масса», «Лебедь», «Левая Россия», «Лехаим», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературный дневник», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новое время», «Новый Журнал», «Огонек», «Отечественные записки», «Россия XXI», «Русский Журнал», «Седмица», «Складчина», «Спецназ России», «СП-Культура», «Топос», «Труд», «Урал», «Энтелехия»

Владимир Алейников. «Нет ни участия, ни вести благой». Беседу вела Елена Новикова. — «Литературная Россия», 2003, № 19-20, 16 мая <<http://www.lit-glossia.ru>>

«Я только сейчас осознаю, что тогда мы все [поэты андеграунда] ходили по лезвию ножа. Сколько раз мне разбивали голову после чтений стихов! У меня семь сотрясений мозга. В итоге в начале 80-х я уже плюнул и перестал читать. А ведь тогда была настоящая орфическая эпоха: стихи звучали и хорошо воспринимались именно со слуха».

Николай Александров. Мат в опасности. Его лишают силы. — «Газета», 2003, 15 мая <<http://www.gzt.ru>>

«Современные писатели просто оскорбляют дикую и архаичную красоту матерной речи случайным и неумеренным использованием мата. Это говорит о дурном вкусе и неуважении к тайнам языка».

Михаил Алексеев. Через годы, через расстояния... Автобиографическая повесть в письмах. — «Москва», 2003, № 5 <<http://www.moskvam.ru>>

Михаилу Алексееву — 85 лет.

«Америка» Бориса Григорьева. Публикация и вступительная статья Алекса Клевицкого. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 231 <<http://magazines.russ.ru/nj>>

«Вот человек — глаза его: два цента, / а вот глаза: как два доллара <...>». Стихотворное сочинение художника Бориса Дмитриевича Григорьева (1886 — 1939) под названием «Америка. (Материал)», датированное 1934 годом, а также его письма 1933 — 1934 годов к дипломату, биржевому маклеру, коллекционеру и ценителю искусства Владимиру Николаевичу Башкирову.

Александр Архангельский. Кошачьи шаги командора. — «Известия», 2003, № 80, 8 мая <<http://www.izvestia.ru>>

«Ровно 20 лет назад вышел в свет апрельский номер журнала „Новый мир“, в котором был напечатан дебютный рассказ молодого писателя [Андрея] Дмитриева „Штиль“...»

См. также: **Александр Архангельский,** «Тоска почета» — «Известия», 2003, № 72, 23 апреля; *о Макашине.*

Наталья Байдан. Охота на ведьм. — «Огонек», 2003, № 16, апрель <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

Говорит председатель комиссии РАН по борьбе со лженаукой, заместитель директора Института ядерной физики Сибирского отделения РАН академик Эдуард Кругляков: «<...> по некоторым оценкам, рынок псевдомедицинских приборов, циркулирующих по России, вместе с рынком услуг колдунов-врачевателей приближается к 2 млрд. долларов».

Дмитрий Бак. Майские тезисы. — «Русский Журнал», 2003, 15 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«Большой разговор о соотношении и взаимодействии сетевой и „бумажной“ критики назрел давно, основные его параметры вполне предсказуемы». Книга — альманах — толстый журнал — сеть/книга. Сетевая критика: *summa technologiae*. Почему всякое сопоставление «Сети» и «бумаги» хромает. Непродуктивные сценарии: конфронтация. Продуктивные сценарии: размежевание полномочий. Финальное отступление о Джойсе, вилле и видео.

Павел Басинский. Тело Эдуарда Лимонова. — «Литературная газета», 2003, № 16, 23 — 29 апреля <<http://www.lgz.ru>>

«За Лимонова мне не обидно и не жаль его. <...> Очаровательно наблюдать возмущение, с которым Лимонов говорит о том, что ни в одной свободной стране — ах, ах! — нет спецтюрем типа тюрьмы ФСБ. И как он рассыпается в благодарности общественному мнению! Но ведь его и в самом деле поддержали почти все — от газеты „Завтра“ до русского ПЕН-клуба и от молодых литературных радикалов вроде [Сергея] Шаргунова до немолодых питерских банкиров. Ему с поклоном отдавались чужие премии, посвящались полосы центральных газет и т. д. Это ему-то, который в памфлете „Другая Россия“ призывает срочно вбивать клинья между поколениями, крушить даже не строй (тут он оказался чист перед правосудием как ангел небесный), но самые естественные, самые необходимые принципы частной и социальной жизни. Жалостливый народ! По Лимонову — стадо, бессмысленное „большинство“, не достойное мимолетного взора „великолепного“ героя. Накануне суда „Новый мир“ [2003, № 4] посвятил ему большую статью Аллы Латыниной, в целом трезвую, даже жесткую, но тем не менее отдающую должное писательскому таланту Лимонова и признающую, что он — „жертва“. Я говорю это не потому, что я против. Нельзя быть против пусть даже ритуальной общественной гуманности. Писатель, если он преступник, все-таки должен сидеть в тюрьме, но писатели должны коллегу поддержать. <...> Но мне решительно мерзит, когда из него пытаются сделать крупного литературного героя, а самое главное — духовного лидера».

См. также: «Абсурдно, что такой писатель, как Лимонов, сидит в тюрьме. Какую он представляет опасность для общества, я не понимаю. Ну позволяет себе какие-то резкие высказывания, дразнит власть, дергает ее за усы. Мы [в издательстве] не разделяем его убеждений. Но при этом Эдуард Вениаминович — наше национальное достояние. Нам некого поставить с ним рядом после смерти Довлатова. <...> Он трагически, в одиночку продолжает традиции русской прозы», — считает **Вадим Назаров**, генеральный директор питерской «Амфоры» («Консерватор», 2003, № 15, 25 апреля <<http://www.egk.ru>>).

См. также: «Лимонов является одним из наиболее традиционных писателей ХХ века. Это не хула и не похвала, а скучная констатация факта. <...> В случае с „Эдичкой“ все не ново и апробировано опытом предшественников — от маски хулигана до тюремной отсидки. Да и сама технология: позиционирование своих текстов через биографический миф — ноу-хау даже не ХХ, а XIX века. <...> Даже радикальность Лимонова носит секонд-хэндский отпечаток, и он признает это, с завистью отзываясь то о Муссолини, то о Ленине, то о Че. Трудно в России быть радикальнее Петруши Верховенского с его ста миллионами голов, а ведь Петруше уже 160 лет как минимум. Все это уже было, было, и нищий мальчик, желающий покорить столицу, и голодный поэт на чердаке, и борец за народное счастье, брошенный в застенок», — пишет **Елена Шерман** («Эдуард Лимонов как продолжатель традиций русской художественной литературы» — «Русский Журнал», 2003, 21 мая <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также: «Эдуарду дали ужасно много. Приговор чудовищный. Но Эдуард за время отсидки, кажется, стал столь дезориентирован и надмирен, что уже не возмутился. Мы не слышали: „Мне нужна только свобода. Ура борьбе!“ Как юродивый, он что-то наборматывал в бороду, озаренный фаворским светом. А волосы у него были спутаны в монашескую косичку. Ни позы, ни самовлюбленности. Эстетство и политиканство куда-то отпали. Уже не человек. Седой пепел. Другая Россия за пределами этого мира...» — пишет **Сергей Шаргунов** («Стать пеплом. Родина: от Аввакума до Эдуарда» — «НГ Ex libris», 2003, № 15, 24 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>).

Ср.: «Процесс в прошлом, и теперь самое время поговорить о его значении. <...> Понять, почему карательный, хотя и не слишком суровый, приговор, вынесенный русскому писателю, вызывает странное чувство свершившегося возмездия. И отчего приговор оправдательный по отношению к Лимонову не показался бы образцово-справедливым», — пишет **Илья Мильштейн** («Нацбол — игра детская» — «Новое время», 2003, № 17, 27 апреля <<http://www.newtimes.ru>>).

См. также интервью с **Ильей Кормильцевым**: «Балет „Лимонов“» — «Завтра», 2003, № 19, 6 мая <<http://www.zavtra.ru>>

Игорь Богацкий. Языческий этос для либерализма. — «Русский Журнал», 2003, 15 мая <<http://www.russ.ru/politics>>

«Без всякой экзальтации, объективно можно утверждать, что фундаментальным философским основанием современного либерализма является отождествление высшей и абсолютной ценности с ценностью комфортной и безопасной жизни. От нее следует отказаться, заменив ее новым языческим воинским этосом. Либерализм нуждается в инъекции авторитарности, в уравнивании либеральных свобод такими принципами, как иерархия, порядок и авторитет. Победить сегодня внутренний экстремизм можно не запретами и репрессиями, а поставив его на службу конституционному государству, противопоставив экстремистским идеологическим доктринам доктрину столь же привлекательную своей непримиримостью и требующую такой же отдачи сил. <...> Бесплезно иметь совершенные вооруженные силы, спецслужбы etc., если не будет человеческого типа, способного их эффективно использовать и поддерживать, и если будет преобладать тип человека, готового капитулировать при первых же трудностях».

Юрий Бондарев. Надо дерзать. Диалог по телефону с Владимиром Бондаренко. — «Завтра», 2003, № 19, 6 мая <<http://www.zavtra.ru>>

«То, что произошло в нашей стране, управляемой литературой, через которую мы все прошли, — это поражение русских писателей. Ведь такой литературы, как у нас, не было нигде. <...> И закончилось это царство с разгромом СССР».

«До сих пор я считаю этот роман [„Искушение“] своей лучшей книгой, хотя мои же друзья считают иначе: „Горячий снег“, „Батальоны просят огня“, „Берег“, „Выбор“, „Тишина“, „Игра“... Это уж как бы и не мои книги. Они вошли уже в классический набор литературы двадцатого века».

Брат на брата. — «Знание — сила», 2004, № 4 <<http://www.znanie-sila.ru>>

«Перед нами еще только стоит задача в полной мере оценить место и роль гражданской войны в истории отечества...» (из редакционной врезки). Составителя «Периодики» удивило то обстоятельство, что обе публикуемые статьи — **Игоря Яковенко** и **Вадима Телицына** — обильно иллюстрированы исключительно *красными* агитационными материалами (плакатами, картинами Йогансона и проч.).

См. также: **Денис Горелов**, «Красные полковники» — «Известия», 2003, № 87, 21 мая; там же — беседа историка **Виталия Ершова** с Сергеем Нехамкиным «Белые. Но не пушистые» <<http://www.izvestia.ru>>

А. А. Бутров. Замирающее. — «Энтелехия». Научно-публицистический журнал. Выходит с 2000 года. Главный редактор **И. А. Едошина**. Кострома, 2001, № 1, январь — июнь.

«Никогда не понял бы Розанов стихов Пастернака: „Не спи, не спи, художник...“ <...> Сон для художника — путь. А потому — поспи, поспи, художник, не нарушая неопценных законов жизни».

Весь номер журнала посвящен Василию Розанову. Предыдущий номер (2000, № 2, июль — декабрь) посвящен отцу Павлу Флоренскому.

Дмитрий Быков. Прогулки с Розановой. — «Консерватор», 2003, № 15, 25 апреля <<http://www.egk.ru>>

Говорит **Мария Розанова**: «Дело в том, что узок был круг этих революционеров [диссидентов] и страшно далеки они от народа. Все происходило более-менее в одной прослойке, в границах одного поколения. Даниэль, например, имел множество рома-

нов, но всегда с ровесницами, потому что с девочками ему было неинтересно. „Они же не читали ничего! Их надо учить всему, все объяснять”...»

Она же: «Евреи часто думают, что холокост — это индульгенция на все времена, и тогда мне становится весьма неприятно с ними. Я не люблю, когда они рассматривают меня, русскую, и все русское — с брезгливым высокомерием. И не боюсь сказать об этой нелюбви. Евреи много вынесли, в том числе от русских. Но страдание не облагораживает. Синявский вернулся из тюрьмы куда большим эгоистом...»

Дмитрий Быков. Похождения бравого солдата Гашека. Во время третьей мировой войны. — «Огонек», 2003, № 16, апрель.

«Ежели бы [Платона] Каратаева не убили, если бы он не стал трагическим персонажем, из него получился бы идеальный Швейк для хорошего, правильного романа о грозе двенадцатого года».

А также между делом выстраивается забавная цепочка: *Гашек — Джозеф Хеллер — Роман Сенчин.*

Дмитрий Быков. Семицветик. Валентин Петрович Катаев был лучшим советским писателем. — «Огонек», 2003, № 19, май.

«Но думаю, что Катаев в своей изобразительной силе пошел дальше Бунина и дальше другого своего кумира — Набокова. Потому что Катаев музыкальней, все-таки его стихи (! — *А. В.*) лучше набоковских».

Светлана Василенко. «Смерть сделала меня писателем». Беседу вела Елена Новакова. — «Литературная Россия», 2003, № 16, 25 апреля.

«Сейчас, мне кажется, в России возникает новая христианская литература, которая раньше называла себя новым реализмом. Ее создают писатели моего возраста, от 40 до 50 лет, которых объединяет общее атеистическое прошлое. Начало перестройки для многих из них совпало с открытием Христа. И свой первый опыт веры, похожий на опыт первых христиан (? — *А. В.*), они принесли в литературу. Этим путем шли Алексей Варламов, Лариса Ванеева, Борис Евсеев, Владислав Отрошенко, Александр Яковлев и другие писатели».

Нина Воронель. Корней Чуковский. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 127 <<http://club.sunround.com/club/22.htm>>

«К. И. выхватил у меня рукопись и начал жадно ее читать. Чем дольше он читал, тем безудержнее была его радость:

— Ох эти провинциальные еврейские девочки! На что только они не способны! Вайте, переводите дальше!»

Рената Гальцева. Непреложное свидетельство. — «Русский Журнал», 2003, 23 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

В начале — о книге Павла Проценко «Цветочница Марфа» (М., «Русский путь», 2002); далее — полемика с газетой «Консерватор». «Грустно, но в стане апологетов репрессивного государства число интеллектуалов, пусть и по безответственности, не убывает, а прибывает, и это на 13-м году жизни новой России».

Ренате Гальцевой отвечает **Дмитрий Быков** («Быков-quickly: взгляд-53» — «Русский Журнал», 2003, 28 апреля <http://www.russ.ru/ist_sovr>): «Газета „Консерватор” ни разу не призвала к насилию, не осуществила ни одной заказной политической кампании, не опубликовала ни одного слива — и регулярно обвиняется во всех смертных грехах на том лишь основании, что делается непуганым поколением, для которого слова „патриотизм”, „свобода” и „государство” не имеют никакой априорной модальности — их пытаются рассмотреть с нуля, без шлейфа кровавых ассоциаций, без флера сусловской или „взглядовской” пропаганды...»

Владимир Глейзер. Записки пьющего провинциала. — «Новая Юность», 2003, № 1 (58) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>

Рассказы — «бывшего доцента, бывшего заключенного самого жуткого из корпусов саратовской тюрьмы, потом снова доцента, а ныне видного саратовского предпринимателя и мцената» — Владимира Вениаминовича Глейзера. Цитата — из предисловия Сергея Ильина.

Нина Горланова. «Без беды нет сюжета». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

Очевидное невероятное: «Или Астафьев. Был антисемит, а стал порядочным человеком». *Нина, вы — чудо.*

Борис Гройс. В ожидании русской культурной идентичности. Авторизованный перевод с немецкого Катарины Венцль. — «Критическая масса», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>

«<...> сегодняшний русский национализм <...> хочет перенять западную политическую идеологию национального государства, чтобы приблизиться к Западу, чтобы быть „нормально национальным“, как все остальные. Сегодняшний русский национализм — это путь к вестернизации России <...>».

«<...> этнические русские остаются одни со своим коммунистическим прошлым, и эта универсалистская коммунистическая мечта превращается во вполне оригинальную историческую традицию, которая вполне годится, чтобы сделать из нее интересную культурную идентичность. Этот процесс этнизации воспоминаний о царистской России и о советском коммунизме в данный момент идет полным ходом, но еще не полностью завершен. Есть, однако, основания надеяться на то, что не позднее, чем через десять — пятнадцать лет, ни один русский уже не будет чувствовать неловкости, когда его на Западе будут спрашивать о его культурной идентичности».

См. также: **Борис Гройс**, «Между белым кубом и черным квадратом» — «Новая газета», 2003, № 36, 22 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>; монолог философа, записанный Натальей Савоськиной.

Александр Грудинкин. В начале была струна? — «Знание — сила», 2004, № 4.

«По этой идее, которую трудно поверить рассудком, все элементарные частицы — электроны, протоны, кварки — представляют собой не что иное, как вибрации тех незримых струн. Каждый из „квантовых тонов“ соответствует определенной частице, например, кварку или электрону. Сами „струны“ представляют собой энергию в чистом виде. Итак, все известные нам „кирпичики мироздания“ возникают подобно звукам, рождаемым при колебании гитарной струны. Внезапно все наполнилось протяжными, вибрирующими звуками... Это — мелодии, долетающие из невидимого Ничто в микромир, чтобы потом эхом — сложной симфонической картиной — отозваться в макромире, порождая зримые образы объектов. Из звучания этих струн рождается опус, который носит название „Вселенная“. <...> В Евангелии от Иоанна сказано: „В начале было Слово“. С фонетической точки зрения, слово состоит из гласных и согласных звуков, заставляющих по-разному вибрировать наш слуховой аппарат. Итак, эту знаменитую фразу — если обращаться с ней так же вольно, как [физики Майкл] Грин и [Джон] Шварц с картиной мира, — можно истолковать в том смысле, что в начале всех начал была вибрация, породившая все мироздание. Отсюда легко перейти к новейшему научному убеждению: „В начале была Струна“. <...> Теперь весь вопрос в том, имеет ли эта умозрительная философия хоть что-то общее с действительностью».

Рене Давид. Различные концепции общественного порядка и права. Перевод Алексея Кржижевского. — «Отечественные записки». Журнал для медленного чтения. 2003, № 2 <<http://magazines.russ.ru/oz>>

Весь этот (как всегда — толстый) выпуск «Отечественных записок» посвящен правосудию в России.

Олег Дарк. Живые и мертвые. — «Русский Журнал», 2003, 16 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«Я дважды в поп-издательствах <...>, ничего общего не имеющих между собой ни в масштабе оборота, ни в выпускаемой продукции, сталкивался с почти ненавистью к фэнтези. <...> Фэнтези самим своим хронотопом отрицает существование бизнесмена (а издатель — бизнесмен) как деятеля, серьезность его (их) деятельности. Фэнтези любят за то, что там рисуется место, где их нет, как в том анекдоте. Простить это трудно. Тут можно от обиды и выгоду забыть. У издателя самой бросовой, примитивной литературы (поговорите!) обязателен пафос литературы „о нашей жизни“. Да оттого, что такая литература, *о чем бы* ни была, самым фактом ориентации „на жизнь“ (детектив, боевик — просто ее романтизация) утверждает значительность „жизни“ и, значит, деловых усилий в ней. Реализм, самый разоблачительный, — всегда ода в честь деловых людей...»

Олег Дарк — Дмитрий Кузьмин. [Переписка]. — «Литературный дневник». Свободная трибуна профессиональных литераторов. 2003, 30 апреля, 5 и 9 мая <<http://www.vavilon.ru/diary>>

Поводом для полемической переписки послужила литературная акция «Мы любим Америку» (литературный клуб «Авторник», май 2003 года). Далее — обо всем. «Моя важнейшая мысль: „культура“ не хорошо, не плохо. Ты отказываешь фашистской культуре в существовании потому, что, несмотря на все твои походы против нее, „культура“ для тебя — оценочный термин» (Дарк — Кузьмину).

Исаак Дейчер. Пастернак и календарь революции. Перевод В. Биленкина. — «Левая Россия», 2003, № 12 (88), 9 мая <<http://www.left.ru>>

«Самой поразительной чертой романа Бориса Пастернака „Доктор Живаго” является его *архаизм*, архаизм идеи и художественного стиля. <...> Приближающийся к своему семидесятилетию Пастернак, чей формативный период пал на последнюю предреволюционную декаду, мог бы написать эту книгу в 1921 или 1922-м, как если бы его сознание застыло в том времени после травматического шока революции, как будто почти все, что его страна пережила с тех пор, осталось за его пределами.

«Текстура его прозы даже не допрустовская, а домопассановская».

«<...> поразительный контраст между его словесным мастерством и его несостоятельностью как романиста».

Статья Исаака Дейчера (его перу принадлежит известная биография Троицкого) впервые была опубликована в 1959 году. Ныне мы находим ее русский перевод в сетевом литературно-критическом журнале «Посторонний наблюдатель» <pn@left.ru>, который располагается *внутри* сетевого политического еженедельника «Левая Россия» <pochta@left.ru>, который в свою очередь с сентября 2000 года издается «на общественных началах группой социалистической интеллигенции».

Алексей Декельбаум. Замороченные музы. — «Складчина». Литературная газета. Редактор Александр Лейфер. Омск, 2003, № 2 (8), апрель.

Зарисовки. Нравы. «Начало 80-х. Режиссер нашего городского театра (замечательный режиссер!) на очередной встрече с главой областной культуры. Когда все текущие вопросы были исчерпаны и режиссер уже собирался откланяться, глава придержала его и самым дружеским тоном сказала:

— Да. И вот еще... Дорогой мой, на вас обижаются. Ну что за мальчишество, ну зачем вы каждое утро, снимая трубку телефона, здороваетесь с сотрудниками КГБ?»

Кстати, газета «Складчина» — в отличие от большинства других периодических изданий, включая «Новый мир», — использует замечательную букву Ё.

Саша Денисова. Владимир Набоков. Главный русский пиарщик. — «Огонек», 2003, № 18, май.

«Когда нужно было высказаться по поводу конкурента Пастернака, романом своим потеснившего „Лолиту” с первых позиций рейтингов, или поддержать падающий рейтинг „Прозрачности предметов”, Набоков „размещал” в прессе, выражаясь современным языком, пиар-материалы и втолковывал недотепе читателю, почему хороши его вещи, безо всякой надменности, а очень даже заискивая».

См. также статьи разных авторов о Набокове: «Новый мир», 2003, № 7.

Леонид Десятников. «Надо ставить перед собой скромные задачи». Беседу вели Елена Фанайлова и Глеб Морев. — «Критическая масса», 2003, № 1.

«Я ведь приехал из провинциального Харькова в Ленинград в первую очередь для того, чтобы получить музыкальное образование, а не заводить знакомства. Увы, я довольно скоро разочаровался в том, что происходило в консерватории. Но мои старшие друзья объяснили мне, что они тоже не получали полноценного образования, когда учились в институте или университете. Высшие учебные заведения, оказывается, существуют не для того, чтобы получать образование, а для оформления некоей профессиональной среды, в которой иногда что-то происходит».

Сэмюэль Джонсон. Един во многих лицах. Эссе, статьи, очерки и письма. Вступительная статья, составление, примечания и перевод с английского А. Ливерганта. — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель.

Среди прочего — любопытные критические суждения о пьесах Шекспира. См. также отрывки из книги Джеймса Босуэлла (1740 — 1795) «Жизнь Сэмюэля Джонсона» (1791) — «Вопросы литературы», 1997, № 5, 6.

Добро и зло массовой культуры. — «Литературная газета», 2003, № 19-20, 21 — 27 мая.

Заседание клуба «Свободное слово» в Институте философии РАН. На всю полосу. «<...> культура для образованных объединяет именно образованных, которые выстраивают некие, что называется, универсальные общечеловеческие ценности. А массовая культура объединяет всех, в том числе и образованных. Потому что секс, насилие, желание, отказ от желания, счастье, семейное счастье, то да се — это интересует всех, хотя образованный будет всячески сопротивляться наслаждению, которое он испытывает при контакте с произведениями массовой культуры. Ему будет внутренне противно, что он получает от этого удовольствие <...>» (Кирилл Разлогов). «Высококобое презрение к массовой культуре недостойно интеллигенции» (Марк Масарский).

См. также: «Маскульт по-прежнему творит хотя и плоские, но чарующие для неискушенных душ идеалы — Любовь, побеждающая Смерть, Честь, бросающая вызов Силе, — низкопробная литература оказывается ближе к вечным целям искусства, чем интеллектуальная», — пишет Александр Мелихов («Опьянение культурное и некультурное» — «22», Тель-Авив, № 127 <<http://club.sunround.com/club/22.htm>>).

Ольга Дунаевская. Надо грести, а то заносит. — «Московские новости», 2003, № 18 <<http://www.mn.ru>>

Говорит **Наум Коржавин:** «Крестился здесь [в России], в 91-м. Давно считал себя христианином, а не крестился по лени».

См. также: **Наум Коржавин,** «Опять о Сталине» — «Новая газета», 2003, № 33, 12 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Дыхание вечности». Беседу вел Анатолий Стародубец. — «Труд», 2003, № 86, 14 мая <<http://www.trud.ru>>

С корреспондентом «Труда» **Фридрих Горенштейн** встретился незадолго до своего ухода из жизни. «В быту генералиссимус был бесребреником: не умел обращаться с деньгами, подолгу не выбрасывал старые носки. Хотя он жил на всем готовом, но у его детей ничего не было. Дочь Сталина — нищая. Брежневские потомки — тоже не богачи. Только Горбачев и Ельцин вовремя для себя поняли, что нужно обеспечивать семью».

«Молодежь в России теперь, конечно, другая, и она не будет идти, как стадо баранов, за шестидесятниками — людьми, рожденными фальшивым хрущевским ренессансом».

«Я тяготею к литературе 30-х годов, когда писали Михаил Булгаков, Юрий Олеся... С этой традицией я не вписываюсь в современный российский литературный истеблишмент, где в последние десятилетия в почете комсомольско-хемингуэевские настроения или умные тексты, написанные такими литературоведами, как Андрей Битов. Но, к сожалению, писать художественную прозу даже у Юрия Тынянова получалось не блестяще, хотя он куда талантливее».

См. также интервью **Фридриха Горенштейна:** «При свободе слова многим сказать нечего» — «Труд», 2002, № 65, 13 апреля.

См. также: «**Тайна Горенштейна**» — «Октябрь», 2002, № 9 <<http://magazines.russ.ru/October>>; это воспоминания Бориса Хазанова, Леонида Хейфеца, Марка Розовского, Евгения Попова, Анатолия Наймана, Виктора Славкина, Юрия Клепикова, Михаила Левитина.

Никита Елисеев. Честертон и Достоевский. — «Русский Журнал», 2003, 21 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«Вся литературная деятельность Бориса Акунина, начиная с „Азазеля“ и кончая „Красным петухом“, представляет из себя отчаянную попытку вырвать русский детектив из „достоевского“, если так можно выразиться, канона...»

См. также: **Алла Латынина,** «Христос и машина времени» — в настоящем номере «Нового мира».

Сергей Ермолин. С кем вы, мастера культуры? — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2003, № 9 (85), 17 апреля <<http://www.left.ru>>

«Октябрьская революция и Ленин — враги нашего инженера человеческих душ [Владимира Личутина]. <...> Меня всегда поражает в людях, в крестьянских детях, получивших все возможности для раскрытия своих способностей в результате Великой революции, какое-то раболепие, преклонение перед прежними хозяевами жизни, перед господами. Казалось бы, революция освободила от этого рабства и покорности родителей, ан нет, теперь крестьянские дети ностальгируют по господам-дворянам, купцам, попам. К сожалению, мы недооценили фактор мелкобуржуазности крестьянства, способного к самовоспроизведению, что и аукается нам сейчас». В связи со статьей **Владимира Личутина** «Деспотия герметиков» («Завтра», 2002, № 41, 42 <<http://www.zavtra.ru>>).

Михаил Золотоносов. Как проходит мирская слава. К столетию большого поэта Николая Заболоцкого прошлогоднее собрание его сочинений тиражом 2000 экземпляров еще не распродано. — «Московские новости», 2003, № 16.

«Передельвание стало навязчивой болезнью [Заболоцкого], ибо для новой посадки никакая аргументация не требовалась, но поэт ничего уже с собой поделать не мог».

См. также: «По-видимому, никогда не прекратятся споры: поздний Заболоцкий, в чьем творчестве возобладал „холод“, не отступил ли он от своей молодой экспрессионистской манеры под влиянием страха? Во всяком случае, женщина, короткое время бывшая его женой, попросту предположила: „классическая форма“ — это, с его стороны, испуганная дань партии и цензуре, традиционно недоверчивым к авангарду», — пишет **Станислав Рассадин** («Счетовод небесной канцелярии» — «Новая газета», 2003, № 31, 5 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>).

См. также: «На одно из построений вышел собственной персоной начальник лагеря — большой интеллект, о котором говорили: „Другие просто палачи, а наш — палач культурный”. И вот он спрашивает надсмотрщиков: „Как там наш поэт Заболоцкий — стихи пишет?” Ему рапортуют: „Зэка Заболоцкий по работе и в быту замечаний не имеет. Говорит, что стихов больше писать не будет”. Тогда начальник удовлетворенно крикнул: „Ну, то-то же!”...» — рассказывает об отце сына поэта, ученый-биолог **Никита Заболоцкий** в беседе с Анатолием Стародубцем («Труд-7», 2003, № 83, 8 мая <<http://www.trud.ru>>).

См. также: «<...> немного найдется художников, которые в начале и в конце своего пути явили бы столь разительное внутреннее несходство. Термин „эволюция” слишком академичен для такого беспрецедентного случая. Вообще поэтическая цельность Заболоцкого (а мы не можем не ощущать наличия этой цельности) особого рода, ее трудно объяснить исходя исключительно из литературы. Его опыт имеет отношение к чему-то выходящему за пределы искусства, но и само искусство находит в опыте Заболоцкого важное для себя оправдание», — пишет к юбилею поэта **Игорь Волгин** («Известия», 2003, № 80, 8 мая <<http://www.izvestia.ru>>).

См. также: **Евгений Яблоков**, «Возвращенный свет» — «Русский Журнал», 2003, 7 мая <<http://www.russ.ru/krug>>; «в день рождения великого поэта самое лучшее — послушать голос самого „юбиляра” и без экзальтации поразмыслить над тем, что он хотел сказать нам и себе», далее подробно анализируется стихотворение 1953 года «Сон»: «Жилец земли, пятидесяти лет, / Подобно всем счастливый и несчастный, / Однажды я покинул этот свет / И очутился в местности безгласной...»

См. также: **Андрей Немзер**, «Мученик сокровенного» — «Время новостей», 2003, № 81, 7 мая <<http://www.vremya.ru>>

См. также: **Сергей Федякин**, «Второе рождение поэта» — «Литературная газета», 2003, № 18, 14 — 20 мая <<http://www.lgz.ru>>

См. также: **Сергей Куняев**, «Победивший косноязычье мира» — «Наш современник», 2003, № 5 <<http://nashsovr.aihs.net>>

Валентин Зубков. Невидимки за работой. — «Москва», 2003, № 5.

«Но поскольку „Русский ислам” самый масштабный проект последних десятилетий, последствия его заденут каждого и окажут влияние на траекторию развития России...»

Денис Иоффе. Беззаконные шестьдесят вопросов к автору «Нормы». — «Топос», 2003, 16 апреля <<http://www.topos.ru>>

Интервью с **Владимиром Сорокиным** (в связи с переводом на иврит романа «Тридцатая любовь Марины»): «Моя мать, будучи беременной мною уже на 9-м месяце, была вынуждена ходить на преддипломную практику на завод „Борец”. По ее словам, я тяжело переносил гул машин — ворочался в животе. Вероятно, это было самым убойным впечатлением от мира, в который меня вскоре выдавили. Все остальные травмы только укрепили первую. <...> Я вырос в благополучной профессорской семье и с нехваткой денег столкнулся лет в 27».

Майя Каганская. «У нас есть шанс на спасение». Беседу вела Ирина Стельмах. — «Лехаим». Ежемесячный литературно-публицистический журнал. Главный редактор Борух Горин. 2003, № 1 (129) <<http://www.lechaim.ru>> [«За содержание рекламных материалов и кошерность рекламируемых продуктов редакция ответственности не несет»].

«Думаю, судьба Израиля не гарантирована. А раз так, значит, нет гарантии выживания еврейского народа как такового, причем — везде».

«Еврейство — субстанция иррациональная, находящаяся за пределами обычных представлений о социуме, истории, нациях, этносе. Еврейство — проблема ре-ли-ги-оз-ная. <...> Так что уничтожение евреев — задача метафизическая: ведь как задача физическая она — из наиболее легко решаемых».

«<...> то, что мы все называем русской культурой, на треть состоит из собственно русских текстов, собственно русских представлений и на две трети — из того, что приходило с Запада. Величие русской культуры в том, что она замечательно ассимилировала Запад, прекрасно на это откликнулась, — и в русской культуре мы всегда чувствовали себя как в культуре западной».

«Может быть, самое страшное из того, что произошло для моего поколения, — полная потеря Европы».

«Теперь о Западной Европе, которая никогда не была такой демократичной, такой либеральной, как сегодня, — либеральной абсолютно... Взять Францию, где законодательно разрешены однополые браки, где в уголовном порядке преследуются те, кто отрицает Катастрофу. И в этой же Франции — горят синагоги, эта же Франция — самое ныне антисемитское государство».

«Единственная надежда — только Америка. Европы больше не существует — это наш враг. Такой же враг, каким она была и в 30-е годы».

«В Европе победил леворадикальный либерализм. А это прежде всего — стремление заменить нацию обществом. Это либерализм, основанный на равенстве культур, обществ, коллективов, а не на равенстве личностей, потому что само понятие личности совершенно незаметно исчезло. Правда, что это — социализм!»

«Есть проект объединенной Европы: уничтожение национальных государств и национальных образований. И национальных личностей, так сказать. Это леворадикальный проект».

«<...> все элементы левого и правого радикализма будут вливаться в исламское море. Это чудовищный, чудовищный переворот».

«Думаю, предельная цель исламского фундаментализма — иудео-христианскую цивилизацию заменить исламо-христианской».

«Более того, почему Запад им [палестинским террористам-самоубийцам] сочувствует и мы бессильны бороться с этим сочувствием? Это не сочувствие, даже не сопереживание, это... восхищение! Потому что Запад на уровне риторическом, понятийном, политическом, моральном тысячу раз может говорить о ценности жизни, но — заражен завистью к смерти, понимаете? Самодовольный, достигший очень многого Запад ревнует к смерти...»

«Массовая продукция Запада вся замешена на насилии, смерти, а массовая продукция Запада — это подсознание общества. Значит, подсознание настроено на конец мира, на эсхатологию, на культ смерти, на влечение к смерти. И палестинцы реализуют все то, о чем Запад мечтает, но не может».

«Только русские сегодня позволяют себе ту степень свободы, которую не позволят себе ни одна западная демократия. Только русские позволяют себе говорить об исламском фундаментализме так, как о нем нужно говорить».

Юрий Казарин. Народный поэт Борис Рыжий. Необыкновенный и странный. — «НГ Ex libris», 2003, № 15, 24 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>

«Поминая давнего друга, мы публикуем с некоторыми сокращениями отрывок из работы Юрия Казарина — свердловчанина, друга и исследователя израненной Музы Бориса Рыжего. Книга называется „Поэт Борис Рыжий (постижение ужаса красоты)“ и ждет своего издателя». Здесь же — несколько стихотворений Бориса Рыжего (1974 — 2001).

См. также: **Лариса Миллер**, «Переписка с Борисом Рыжим (12.03.2001 — 30.04.2001)» — «Русский Журнал», 2003, 24 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

См. эту переписку также: «Урал», Екатеринбург, 2003, № 6 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

Кирилл Кобрин. Потерянный шедевр. — «Литературный дневник». Свободная трибуна профессиональных литераторов. 2003, 12 мая <<http://www.vavilon.ru/diary>>

«Не вызывает сомнения, что находка романа, написанного Владимиром Ильичем Ульяновым (Лениным) в последние годы его жизни, стала главным событием литературного 2003 года...» Не волнуйтесь, это — памфлет.

М. Ковров. Довженко. — «Завтра», 2003, № 19, 6 мая.

«Какая на Украине может быть партия, кроме партии Довженко, без списков и членских взносов, а в России — Платонова?»

Тадеуш Конвицкий. Памфлет на самого себя. Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской. — «Иностранная литература», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«Когда русские откуда-нибудь уходят, они говорят: „Мы еще вернемся“. И всегда сдерживают слово».

Владимир Корнилов. Поэзия — предмет капризный... Публикация Л. Беспаловой. — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель.

Стихи, эссе. «Есенин, Пастернак и Ахматова тоже, хотя и не столь блистательно, как Пушкин, победили ленинско-сталинские эпоху и пространство, еще раз доказав, что поэты появляются в одном времени, а умирают уже в другом, преобразованном ими» («Время — это люди», 2001).

П. Б. Корнилов. Творожок (без кавычек) как альфа и омега человеческого счастья. — «Энтелехия». Научно-публицистический журнал. Кострома, 2001, № 1, январь — июнь.

«<...> да только творожок-то и важен. Попробуй не поешь день-два? И?» Творожок — *розановский*.

Константин Крылов. *Memento mori.* — «Консерватор», 2003, № 15, 25 апреля.

«Он [Сергей Юшенков] вообще мыслил на эти темы весьма либерально: верил в то, что чеченцы имеют право убивать русских, а русские такого права отнюдь не имеют... Возможно, он полагал, что депутаты Госдумы „самой природой“ приравнены к неприкосновенным чеченцам. В этом он ошибался. Убивать можно всех».

Юрий Кублановский. «Мы мужали в дикие времена». Беседу вел Александр Неверов. — «Труд-7», 2003, № 75, 24 апреля.

«Молодой поэт [сегодня] не уверен в своем предназначении, в высшем смысле своей работы. Это не может не сказываться на поэтическом тексте, и эта неуверенность передается читателю. Лирическое слово девальвируется, теряет энергетику, вместо лирической речи — ритмизированный треп. Нас в свое время со всех сторон теснили советская идеология и цензура. Ныне кажется отравленной сама почва, из которой могли б родиться поэты».

См. также выступления **Юрия Кублановского** и **Ольги Седаковой** на церемонии вручения им премии Александра Солженицына: «Литературная газета», 2003, № 19-20, 21 — 27 мая <<http://www.lgz.ru>>

См. также: **Андрей Немзер**, «Защита поэзии. Ольга Седакова и Юрий Кублановский стали „солженицынскими“ лауреатами» — «Время новостей», 2003, № 87, 16 мая <<http://www.vremya.ru>>

Анна Кузнецова. «Толстые журналы»: сакральное и профанное. — «Русский Журнал», 2003, 5 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«С какого-то периода жизни уровневому читателю <...> современники становятся нужнее классиков. Сознание современника, взрослея, приходит в состояние, когда классики любимой литературы, помогавшие ему вырасти душевно развитым, при всей их гениальности и мудрости, наивны, поскольку не могли и представить глубины цинизма и безверия, которому он должен был причаститься, чтобы быть современным и понимать современность. В современной литературе уровневый читатель ищет тех же „мыслей и мыслей“ — только пропущенных через новое качество опыта».

«Если журналы потеряют чувство самоидентификации и будут делать поползновения стать коммерчески успешными, они потеряют все: лишатся репутации и экспертного статуса, который имеют у немногочисленного, но верного читателя, не обретя ничего взамен».

См. также: **Анна Кузнецова**, «Вместе» — «Русский Журнал», 2003, 12 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

См. также: **Наталья Зоркая**, «Чтение в контексте массовых коммуникаций» — «ПОЛИТ.РУ», 2003, 18 апреля <<http://www.polit.ru>>

См. также: **Сергей Солоух**, «Цех» — «Русский Журнал», 2003, 20 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

Сергей Кузнецов. В гостях у крокодила. — «Русский Журнал», 2003, 15 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«И еще мне всегда хотелось увидеть детскую сказку, написанную человеком, страдающим тяжелой депрессией и мизантропией. Думаю, она утешила бы не одну сотню несчастных без особых причин детей, с раннего возраста уверенных, что, может, у их сверстников все и хорошо, а вот лично они живут в аду».

Сергей Кузнецов. Кровь империи и печень врага. — «Русский Журнал», 2003, 8 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«Потому я рискну опять показаться непрофессионалом и скажу, что главным достоинством „Сердца Пармы“ [А. В. Иванова] является неverifiedируемая вещь, называемая зарубежным словом „драйв“. Это дикая, жестокая и безумная книга, если и напоминающая фэнтези, то фэнтези гонконгского образца, где взрывают маленьких детей и отрезают друг другу пальцы в кадре. <...> Тут хочется сказать, что от „Сердца Пармы“ возникает ощущение реальности. Потому что кажется, что так в XV веке все и должно было быть: боевые лоси, печень врага, стрела в ухе. Это, как мы понимаем, и есть определение хорошего исторического романа: после его написания прошлое меняется навсегда. Именно в этом смысле Иванов и написал исторический роман: даже если мы забудем про князя Михаила, то общее ощущение дорусского Урала — „там чудеса, там леший бродит“ — останется у нас навсегда. Итак — язык и драйв. А третье — *last but not least* — „актуальная проблематика“. „Сердце Пармы“ — роман про построение империи, про создание русских как большой нации, про ту цену, которую за это платили. Пятьсот лет назад русскими называли вовсе не тех, кого называют русскими сегодня: чтобы стать Россией, Русь покорила и инкорпорировала в себя множество других народов — причем колонизация шла как любая другая колонизация: с уничтожением чужой культуры, насильственной христианизацией, сжиганием святынь и массовой резней».

<...> Немного огрубляя, можно сказать, что Ирак или Россия должны принять „Макдоналдс” и демократию так же, как пермяки — Христа. Не понимая, что такое демократия, и не любя гамбургер — но почитая их всем сердцем. И если они сделают это хорошо, их примут в семью цивилизованных народов. И будет им там не многим хуже, чем пермякам в России».

См. также: Олег Дарк, «Поручение Мяндаша» — «Русский Журнал», 2003, 8 мая <<http://www.russ.ru/krug>>; книга А. В. Иванова как *эпос*.

Александр Куланов, Юлия Стоногина. Образ Японии в России: правда и вымысел. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 231.

«Самое интересное в формировании образа Японии в России то, что оно происходит во многом усилиями самих россиян. Мы сами придумываем Японию, в которую потом начинаем верить. <...> Негативные стороны современной Японии в России почти не известны». Работа осуществлена при поддержке Японо-русского центра молодежных обменов (Токио).

Вячеслав Куприянов. К русской философии языка. — «Литературная газета», 2003, № 18, 14 — 20 мая <<http://www.lgz.ru>>

«Если человек неплатежеспособен, его уничтожают».

Валентин Курбатов (Псков). Зеркало будущего. — «Литературная газета», 2003, № 17, 30 апреля — 6 мая.

«Я почти не понимаю, как это „сделано”. Два тома статей, тысяча страниц об одном, насквозь известном (так мы уверены) герое — А. С. Пушкине...» Это — о книге Валентина Непомнящего «Пушкин. Избранные работы 1960 — 1990-х гг.» (М., 2001). Среди прочего Курбатов пишет: «И даже консерватизм Д. Д. Благого издали отграден и благ. Противник был прям и честен. Дух и идея сталкивались живо и сильно. Краски были чисты и яркие. Не то что сегодня, когда „веленью Божию” противостоит что-то рыхлое и вязкое, пустой туман, в который проваливаешься, не чувствуя границы».

Сергей Кургиян. Сад ветвящихся троп. — «Россия XXI». Общественно-политический и научный журнал. 2003, № 2 <<http://www.russia-21.ru>> <<http://www.kurginyan.ru>>

«<...> *входит теперь больше некуда.* Путин, как и Ельцин, как и Горбачев, хотел ввести страну в некую успокоенность и устаканенность большого западного мира и большого западного Проекта. И можно было спорить, стоит ли туда входить. И в какой именно подвал этого — другими построенного — дома нас введут. <...> Но теперь-то где тот дом, в который надо заходить?»

«Европа — такая, как она сегодня есть, — прежде всего хочет объединиться с исламом. Объединенная Европа — это исламский проект. Это 200 миллионов эмигрантов, которые введут в Матушку за пару десятков лет. <...> Вот вам и мирный захват Европы. Вот вам и лопнувший пузырь некой западности. Вот вам и исчерпанность этой западности. Вот вам и ее сладострастие, ее влечение к „восточной самости”. У этого длинная история. От тамплиеров можно начать или даже ранее».

«Именно СССР нес в себе заряд молодой, во многом варварской новой западности. И именно она была сутью той формы, которая именовалась коммунизмом. Уничтожение этой формы и этой сути (и, конечно, сразу связанного с этим проектом государства — кто хотел отделить одно от другого, был просто безумцем) означало гигантский триумф фундаментально антизападных сил. Сил, враждебных сути Запада — всему тому, что он нес в себе в виде исключительной в истории человечества воли к свободе, к торжеству личного начала».

«Я с отвращением отношусь к миру Запада, в котором есть только одна альтернатива — между войной цивилизаций и глобализмом. Но западный мир — мой мир. Я ощущаю его исчерпанность как личную трагедию. Но это моя трагедия. Быть внутри и любить — это разные вещи. Я не люблю это, но я нахожусь внутри. И, находясь внутри, вижу, как это гибнет».

Александр Кушнер. Счастье опирается на топографию. — «Время MN», 2003, 30 апреля.

«Так что напрасно, по-моему, Анна Ахматова считала, что Литейный „опозорен” модерном. Чем он опозорен — так это Большим домом, ленинградским ГБ. Это мое самое нелюбимое место в городе — угол Шпалерной и Литейного; ужас по-прежнему исходит от этого дома...»

«Вообще жизнь в Петербурге требует мужества. Во-первых, вечно мрачная власть, во-вторых, невский ветер, дождь, снег, черный декабрь, январь — расплата за белые ночи. И все то гоголевско-достоевское, что нас мучит. Иногда думаешь: прорвался бы Петр в Крым, построил бы столицу на Черном море, как было бы хорошо...»

См. также: «Питер находится в таком трагическом упадке, что у меня возникло предложение перенести празднование его 300-летия в Москву», — говорит Андрей Битов в беседе с Сергеем Шаповалом: «Независимая газета», 2003, № 100, 23 мая <<http://www.ng.ru>>

Ян Левченко. И снова падающий камень... — «Русский Журнал», 2003, 13 мая <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Гений отточенной фразы и автор бездарных книг о Толстом, Достоевском и детской литературе, Шкловский был контрабандистом и спекулянтom, разменявшим передовую науку на поденную критику и второсортную беллетристику (см. его книгу о Марко Поло или позорный „Рассказ о Пушкине” 1937 года)».

Инна Лиснянская. «Заповеди чту, избегаю правил». Беседу вела Ольга Соломонова. — «Труд-7», 2003, № 87, 15 мая <<http://www.trud.ru>>

«Огорчают прежде всего бедность большинства населения, чудовищная пропасть между богатыми и бедными и общая бездуховность».

«А мемуарная литература зачастую интересна читателю, думаю, потому, что он, утрачивая какие-то свои ценные духовные качества, вдруг видит: ага, и этот вот писатель или артист тоже грешен — один был гомосексуалист, другой — картежник, третий — пьяница. И этим себя утешает...»

«Семен Израилевич [Липкин] переводил с наслаждением. Это я не любила переводы — бросалась на подстрочник как на врага, но чтобы побежденный в итоге выглядел красиво».

Ирина Маленко. «Освобожденные». — «Левая Россия», 2003, № 12 (88), 9 мая <<http://www.left.ru>>

«Когда-то, в детстве, по фильмам о войне, немецкий язык казался мне грубым и угрожающим; все мы знали слова „хайль” и „хенде хох”... Сегодня немецкий стал для меня обычным языком, таким, как многие. А вот от американского нагло-громкого „кванканья”, от их булькающе-высокомерного английского, который, по их мнению, обязаны понимать все люди в мире, у меня все переворачивается в душе от отвращения...»

Дмитрий Манин. Может ли ученый быть атеистом? — «Русский Журнал», 2003, 16 мая <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Я человек глубоко неверующий. Поэтому я испытал сильные чувства, прочитав в „Новом мире” (2003, № 1) статью Владимира Губайловского, пафос которой в том, что настоящий ученый не может быть атеистом. Если верить Губайловскому, я должен признать себя либо дураком, либо лицемером, лишенным интеллектуальной честности. Па-азвольте...»

См. также убедительный ответ Владимира Губайловского Дмитрию Манину: «Атеизм и наука» — «Русский Журнал», 2003, 21 мая <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Мир не стал бы протестовать, если бы мировой порядок поддерживали инопланетяне». Публикацию подготовила Любовь Цуканова. — «Новое время», 2003, № 19, 4 мая <<http://www.newtimes.ru>>

Говорит правозащитник Сергей Ковалев: «Да, у цыган есть генетическая склонность к миграции и к воровству. Из этого ведь не должно следовать, что каждого цыгана на лошади надо остановить и отвести в кутузку».

«А вот, смотрите, американцы получили базы в Средней Азии!.. Если бы они еще не только получили там базы, а оккупировали Среднюю Азию, я лично был бы рад. Во всяком случае, какого-нибудь Туркменбаши уж точно не осталось бы».

«<...> а если бы вокруг земного шара летали какие-нибудь инопланетяне и делали бы то, что однажды проделал Израиль? На пакистанский реактор очень точно бомбу бросили бы, на индийский, на северокорейский, а еще до того на китайский? Что было бы в мире? Я думаю, что мировой порядок благополучно существовал бы, ссылаясь на то, что это же извне, это же не мы, это же марсиане. Но жить было бы спокойнее».

Ю. В. Миронов. Неизвестный фашизм. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2003, № 9 (85), 17 апреля; № 10 (86), 22 апреля; № 11 (87), 1 мая <<http://www.left.ru>>

«<...> можем дать предварительный ответ на вопрос, поставленный в начале нашей работы: на основе чего в центре „цивилизованной” Европы возникла и получила распространение эта звериная идеология и связанная с ней практика. Сама постановка такого вопроса оказывается некорректной, поскольку она предполагает распространение в организме чего-то внешнего, чуждого ему, между тем в основе идеологии фашизма лежит менталитет обычного мелкого горожанина, что и предопределило его популярность в этой среде. В лице национал-социализма мелкий горожанин попытался

всерьез перестроить общество в соответствии со своими представлениями о справедливости, в соответствии со своими интересами <...>».

Виктор Мишецкий. Целлулоидные герои. — «Огонек», 2003, № 15, апрель.

Петр Шмидт, Николай Бауман — бренды для внутреннего пользования. Че Гевара как мировой бренд.

На этой стороне. Письмо Я. З. Черняка в защиту Анны Ахматовой. Публикация Е. Ефимова. — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель.

Письмо критика Якова Захаровича Черняка (1898 — 1955), адресованное И. В. Сталину. Август — сентябрь 1946-го. Хранится в РГАЛИ. «В постановлении наряду с автором уродливых пасквилей на советскую действительность Михаилом Зошенко названа Анна Ахматова, и это, необходимо прямо сказать, вызывает недоумение. Мы, советские литераторы, да и довольно широкие круги советских читателей с громадным удовлетворением следим за тем, как шаг за шагом приближается к нам поэт несомненный, превосходно владеющий поэтической формой, пишущий на чистейшем русском языке, в точном смысле слова взыскательный художник...» К сожалению, неизвестно, было ли письмо отправлено.

Вадим Назаров. «Я сторонник ввода цивилизованной цензуры». Беседу вел Андрей Дмитриев. — «Консерватор», 2003, № 15, 25 апреля.

Говорит генеральный директор питерского издательства «Амфора» Вадим Назаров: «Я на самом деле сторонник ввода цензуры. Нормальной, цивилизованной. В действительности должны быть какие-то рамки. А сегодня я сам вынужден нести груз ответственности, размышляя, имею я право на ту или иную книгу или нет. Я неравнодушен к коммерческому успеху Сорокина. По-хорошему завидую Саше Иванову, который у себя в „Ad Marginem“ вырастил такую вот звезду. Но этот самый Сорокин мне не нравится».

М. Николсон (Оксфорд). Солженицын на мифотворческом фоне. Перевод с английского М. Щеголевой. — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель.

Солженицын как персонаж романов и памфлетов (в том числе не переведенных на русский). Здесь же — Геннадий Красухин, «„Портрет на фоне мифа“ и его критики»; *апология Войновича*.

«О России». Беседа с Чеславом Милошем, поэтом, лауреатом Нобелевской премии. Беседу вела Сильвия Фролов (так! — А. В.). — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 3 (40).

Говорит Чеслав Милош: «Читая лекции о Достоевском, я искал причины этой увлеченности русской литературы злом. Я видел определенные связи, очень старые, времен начала православия, с ересями — например, с болгарской ересью богомилов или манихейцев, которые считали мир, материю воплощением зла. Предполагаю, что это могло каким-то образом просочиться в раннее православие. Увлеченность злом — великая сила русской литературы, она допускала реалистическое описание, а не приукрашивание действительности. В Польше было иначе, и я усматриваю здесь огромное влияние католицизма. <...> Польскую литературу отличает некоторая детскость, она пытается доказать, что мир в принципе добр...»

См. эту беседу также: «Московские новости», 2003, № 19 <<http://www.mn.ru>>

Александр Панарин. Север — Юг. Сценарии обозримого будущего. — «Наш современник», 2003, № 5 <<http://nashsovr.aihs.net>>

«<...> либеральная утопия, с ее ожиданиями безграничной толерантности и плюрализма, ни в каком из нынешних полюсов мира не находит реальных подтверждений. Ее реальное насаждение — целиком пропагандистское, направленное на то, чтобы как-то оттянуть момент истины и притупить у людей чувство исторической реальности».

Октавио Пас. Сыны праха. Глава из книги. Перевод с испанского Татьяна Ильинской. — «Иностранная литература», 2003, № 5.

«Эта книга — о современной поэтической традиции. Смысл последних трех слов состоит не только в том, что существует современная поэзия, но и в том, что *современное* — тоже традиция».

Виктор Переведенцев. Недожитые годы. — «Новое время», 2003, № 20, 18 мая.

Мужская *сверхсмертность* в России. «Доля пенсионеров по возрасту (в нынешних границах) к середине века более чем удвоится и приблизится к половине всего населения. Это будет население с громадной долей одиноких старых женщин. Одиноких — в смысле не имеющих родственников».

Виктор Перельман. Весенние литературные тезисы-2 (апрельские). — «Русский Журнал», 2003, 30 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Однако, поскольку литература продолжает существовать и развиваться, делался вывод, что: 1. Очевидно, российское общество как самоорганизующаяся структура является структурой куда более стабильной, чем это могло показаться на первый взгляд. 2. Чувство самосохранения есть у субъектов культуры и литературы, в частности, у многочисленных и все увеличивающихся числом литераторов».

«<...> нет сейчас для развития отечественной рекламы вещи более полезной и нужной, чем современная российская поэзия. Причем, как представляется, крайне нужны и достаточно передовые ее разделы, особенно такие, как минимализм, примитивизм, авангардизм, концептуализм и т. д. и т. п. Да все разделы поэзии весьма полезны копирайтерам — даже самые белые верлибры. Российская поэзия, короче, может быть весьма и весьма полезна для разработки названий новых торговых марок, сочинения рекламных лозунгов и продвижения товаров и услуг. И это первый повод литературе и рекламе обратить друг на друга внимание. Для тех, кстати, кто ищет деньги на литературу и, может быть, не в курсе. В рекламе крутятся хорошие бабки».

«Почему нам надо осторожно радоваться группе „Тату“? Потому, что девочки осуществляют [российскую] экспансию, нашу с вами культурную экспансию, при помощи их [западных] технологий».

«1. Мы уже практически овладели информационными и другими технологиями, позволяющими добиваться успехов на рынках — любых, в том числе и международных. Поэтому всемирные успехи России надо готовить так же, как выборные и рекламные кампании. 2. Россия — страна духовная, об этом знают даже какие-то задрипанные западные попсовики. Вот и двигать надо в первую очередь культуру. Пользоваться имеющимся имиджем».

«Надо бы нам встрепенуться, господа. Свет более не исходит с Запада. Свет уже здесь».

Антонина Пирожкова (Витон, США). Неизвестный рассказ И. Бабеля — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель.

«<...> безусловно написан И. Э. Бабелем, хотя я и не отношу его к лучшим рассказам». Тут же и сам рассказ — «Кольцо Эсфири».

Игорь Пыхалов. Поминая Сталина. — «Спецназ России». Газета ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». 2003, № 4 (79), апрель <<http://www.specnaz.ru>>

Говорит иеромонах Евстафий (Жаков), настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Знаменке, по образованию врач, кандидат философских наук: «У меня было два отца (кроме Отца Небесного): один отец — это мой отец по плоти, а другой отец — это отец народов, который был строг, который судил, который, может быть, ошибался, но который все равно тем не менее имеет для меня высокое имя моего отца как отца моей страны. <...> Я поминаю Иосифа Виссарионовича Сталина на всех службах, где это уместно, особенно в те дни, когда он умирал, в день его рождения, в те дни, когда он праздновал общую Победу нашего народа».

«<...> нет худшего наказания для православного человека, чем лежать в Мавзолее. Сводя счеты с трупом Сталина, пигмей Хрущев руками своими совершил дело Божье, он помог Сталину после своей смерти обрести достойный покой».

«Сталин — это был своеобразный синтез, если говорить гегелевскими терминами, это было то великолепное окончание вот этого самого пути от слабого Николая II, который обречен быть слабым по произволению Божьему, этого как бы сильного Ленина, который обречен быть сильным потому, что Господь попустил его силу, и наконец Сталина, который вобрал в себя и Православие Николая II, и власть императора и оказался тем человеком, который вывел нашу страну на тот путь, идя по которому мы наконец можем вновь, как мне кажется, стать истинной православной монархией».

«Смертную казнь надо вводить немедленно. Если не ввести смертную казнь в отношении одного наркоторговца, то это значит, что послезавтра этот наркоторговец убьет своим товаром сотни или тысячи людей. Поэтому надо взять на себя этот грех убийства с тем, чтобы не взять на себя грех потакания многократным убийствам тех людей, которые были убиты благодаря тому, что не было произнесено достойного приговора над тем, кто действительно заслужил смерти своей. Людям вроде наркоторговцев и серийных убийц-маньяков надо дать возможность, чтобы они быстрее прекратили свой греховный путь на земле, чтобы они убили как можно меньше людей, чтобы они своим зельем поставили в наркотическую зависимость как можно меньше людей. Это помощь им, их душе. Ведь если этих преступников убить сегодня — это значит, что они завтра не совершат то, что они совершили бы, если их оставить в живых. Поэтому я считаю смертную казнь актом высокого гуманизма».

Радость преодоления. — «СП-Культура». Специальный выпуск газеты «Северная правда». Кострома, 2003, № 56, 21 марта.

Фрагменты юношеских дневников костромского прозаика Владимира Григорьевича Корнилова (1923 — 2003), относящиеся к 1935 — 1945 годам. На фронте он, двадцатилетний лейтенант, потерял обе ноги.

Геннадий Райков, Валерий Гальченко. Свобода для человека или человек для свободы? Народная партия предлагает проект радикальной конституционной реформы. — «Независимая газета», 2003, № 91, 13 мая <<http://www.ng.ru>>

«Будучи последовательным осуществлением ультралиберальной идеологии, согласно которой только свободы и права являются „непосредственно действующими“, наша [нынешняя] Конституция, во-первых, антиконституционна! Она сама нарушает ст. 13-2 Конституции, согласно которой „никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной“. В упаковке Основного закона обществу навязывается доктрина, основными чертами которой являются нравственный релятивизм, „методологический индивидуализм“, элиминация понятия „социальное“ (а вместе с ним категорий солидарности, общественного блага, общественного долга, служения) и как следствие признание обмена (=торга) единственной формой социальной интеграции».

Евгений Рейн. Поэзия и «вещный» мир. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 231.

«Интересно, что максимально Мандельштам провел этот принцип во второй своей сталинской эпопее, в том, что называется „Одой Сталину“. Когда он в ссылке стал писать стихи о Сталине, которые по заданию были панегирическими, он, естественно, попал в некую „рассечку“ между абсолютно ангажированным заданием и своей поэтической сущностью. И он прошел как бы по биссектрисе, по средней линии. Да, он хотел возвеличить Сталина: „Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили...“; но тут же у него вдруг возникают какие-то опять вечные образы. Его Сталина окружают бугры голов — с одной стороны, это, конечно, депутатские головы каких-то партийных съездов, но вместе с тем „бугры голов“ имеют грандиозный куст ассоциаций. Это какие-то чудовищные отрубленные головы, результат всякого палачества, и вообще пейзаж ужасный, inferнальный и грубый».

Евгений Рейн. «Слухи о глобальном пьянстве писателей сильно преувеличены». Записала Екатерина Варкан. — «Огонек», 2003, № 18, май.

«Сам Бродский мог выпить очень много, но не был ни алкоголиком, ни запойным пьяницей. Если он три месяца не прикасался к алкоголю, то спокойно это переживал. <...> Бродский под настроение мог выпить бутылку коньяка или виски. И это я видел своими глазами. И еще он не страдал похмельем. <...> А рестораны Бродский ненавидел — не умел себя в них вести и всему предпочитал пельменную, шашлычную, рюмочную, где чувствовал себя уверенно. В ресторане он комплексовал по поводу официантов, ему казалось, что все смотрят на него с подозрением и подсмеиваются, догадываясь, что денег у него нет. Тем более что часто он ходил в ресторан за чужие деньги. И хотя никто на него денег не жалел, он это очень переживал и не хотел быть вечным нахлебником и приживалой. Но потом, через годы, когда я посетил его в Америке, он стал человеком сугубо ресторанным. Чем дороже ресторан, тем охотнее он туда шел. По-видимому, поменялось место в жизни. Вернее, он его получил».

Здесь же — беседа **Валерия Попова** с Екатериной Варкан («За свои тексты писатель платит печенью»): «Без женщин выпивать, кстати, — абсолютная потеря смысла. Ну напиток, а куда все это деть потом — безмерное обаяние?!»

Инна Ростовцева. Через зеркало в загадке. — «Вопросы литературы», 2003, № 2, март — апрель.

«Записные книжки [Андрея Платонова], предпринятые (? — А. В.) в 20 — 30 — 40-е годы, попадают в ситуацию, когда современная литература конца XX — начала XXI века буквально наводнена образцами и всевозможными модификациями этого жанра — кровосмесительного сращения дневника, записной книжки и автобиографии, сращения, явившегося в свою очередь следствием пышно расцветшего эссеизма, захватившего пространство прозы, критики, публицистики».

Владимир Сальников. *Ars una.* Социальное и эстетическое сегодня. — «Критическая масса», 2003, № 1.

«Ужас, испытываемый русскими в западных странах перед „неграми“, и расизм советских эмигрантов по отношению к цветным на Западе объясняются в том числе и переносом на западную ситуацию своего положения коренных жителей „метрополии“, которму „контрколонируют“ кавказские и закавказские диаспоры, владеющие непропорционально большой долей денационализированной в 1990-е годы собственности

<...>. Но то, что русская схема никак не накладывается на западную реальность, — это абсолютно точно».

Бенедикт Сарнов. Павел Савлович. — «Лехаим». Ежемесячный литературно-публицистический журнал. 2003, № 1, 2, 3, 4, продолжение следует <<http://www.lechaim.ru>>

Рубрика в журнале — цикл мемуарных очерков. До этого Сарнов вел в журнале «Лехаим» мемуарную рубрику «Я был евреем». *Павел Савлович* — это, по выражению Виктора Шкловского, Илья Эренбург.

См. также: **Бенедикт Сарнов**, «Вспоминая Илью Григорьевича. (Из книги „Скуки не было“)» — «Литература», 2001, № 43, 16 — 22 ноября <<http://www.1september.ru>>

Георгий Свиридов. Тетрадь 1972 — 1980. Из книги «Музыка как судьба». — «Наш современник», 2003, № 5, 6, окончание следует.

«Не следует обманываться симпатией, например, Маяковского к Революции, Ленину, Дзержинскому... Это были лишь способы утвердиться в намеченном заранее амплуа, не более того. Эти люди не гнушались любым способом, я подчеркиваю — *любым*, для того, чтобы расправиться со своими конкурентами, соперниками (из литературного мира)».

См. также: **Георгий Свиридов**, «Разные записи. Тетрадь № 2 (1977 — 1979)» — «Наш современник», 2000, № 12; «Разные записи. Тетрадь 1990 — 1994» — «Наш современник», 2002, № 9.

См. также: **Сергей Субботин**, «Мои встречи с Георгием Свиридовым» — «Наш современник», 2002, № 10.

См. также рецензию Романа Рудицы на книгу Георгия Свиридова «Музыка как судьба» (М., «Молодая гвардия», 2002) — «Критическая масса», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>

Александр Секацкий. Эстетика в эпоху анестезии. — «Критическая масса», 2003, № 1.

«<...> можно сказать: экологическое сознание есть анимизм плюс антропоморфизм в стадии оплешневелости. Ясно, что анимизм в данном случае имеет мало общего с мироощущением первобытных охотников, он является совокупным эффектом киногографической и компьютерной анимации. <...> Полностью элиминирована хтоническая ипостась природы, хорошо знакомая грекам и господствовавшая в европейском Средневековье. Нынче все находящееся за пределами минимально возможного умиления воспринимается как уродство и монструозность, которые можно и нужно ликвидировать. И желательно быстро, одним пшиком специального, дезодорирующего монстрорцида. Примером тут может служить вожак тараканов *грязный Луи* из рекламного ролика — таким исчадиям нет места в „природе“. Для них остаются две принципиальные возможности: либо исправиться (оплешневеть), либо исчезнуть. Причем второе совсем не обязательно означает „погибнуть“; вполне достаточно просто скрыться в невидимость, перебраться куда-нибудь с глаз долой, туда, где пребывает грязный Луи и подобные ему извращенцы».

Священник Вадим Семчук. Фильм «Матрица»: православный взгляд. — «Седмица. Православные новости за неделю». Электронная версия еженедельного приложения «Новости Православного Интернета» к газете «Одигитрия» (Винницкая и Могилев-Подольская епархии Украинской Православной Церкви). 2003, № 89, 10 мая и № 91, 22 мая <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>

«Примечательно, что в Интернете есть тысячи страниц, посвященные „Матрице“. Как правило, все они о компьютерах и новых технологиях. Но не о Евангелии. А ведь этот фильм — Евангельский призыв, поданный в современных категориях и образах. (Кстати, „компьютерные“ образы можно проследить в некоторых богослужебных текстах. Так часто диавол называется „запинателем“, а в молитве на пострижение новокрещеного сказано о Боге, что Он создал человека очень разумно, дал ему множество органов, чувств и проч., „не запинаящих друг друга“. Слово „запинать“ можно перевести с церковно-славянского на компьютерный сленг как „глючить“)»

Здесь же — священник **Вадим Семчук** неодобрительно пишет о фильме «Шрек»: «Слишком уж американский, в худшем понимании, этот мультфильм».

См. также: **Георгий Циплаков**, «Что в „Матрице“ тебе моей?» — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>; «Матрица» как экранизация философии Э. Гуссерля.

Смерть в телевизоре. Записала И. Прусс. — «Знание — сила», 2003, № 3.

Два мнения — **Бориса Дубина** и **Даниила Дондуря**. «<...> в последнее десятилетие завершается великая виртуальная революция, в результате которой обе реальности —

эмпирическая, в которой мы движемся, дышим, действуем, живем, и реальность телевизионная, придуманная и показанная нам с экрана, — окончательно „схлопнулись”, практически совместились, и телевизионная теперь воспринимается, переживается, предопределяет наши реакции совсем как „настоящая»» (Даниил Дондурей).

См. также: Татьяна Чередниченко, «Теленовости» — «Новый мир», 2003, № 5.

Глеб Смирнов. Ты либо плачешь, либо то же... — «Консерватор», 2003, № 15, 25 апреля.

Встречи с Бродским в Венеции (ноябрь 1995).

Максим Соколов. Лепта вдовицы. — «Известия», 2003, № 80, 8 мая.

«Авторское право Е. Г. Боннэр на имя Сахарова — куда уж *plus ultra*».

Андрей Столяров. Вселенский город России. — «Литературная газета», 2003, № 19-20, 21 — 27 мая.

«Национальное, сказал он [один петербуржец], — это то, что растет само. Вот картошка растет в России сама, и это наш национальный продукт, пусть даже завезена она первоначально из Южной Америки. А вот ананасы сами у нас не растут, и потому национальным русским продуктом они никогда не станут».

Суп и облака. Анатолий Найман в процессе еды и беседы. Беседовала Ирина Барметова. — «Время MN», 2003, 24 мая <<http://www.vremyamn.ru>>

Говорит Анатолий Найман: «Я против того, чтобы делить темы на высокие и низкие: мол, этими литературному журналу пристало заниматься, а этими — фи! Пушкинская „Литературка” небось не брезговала модами и ресторанами».

Михаил Спутныйкий. «Вызов природы». Интервью провел Денис Тукмаков. — «Завтра», 2003, № 18, 30 апреля.

«ВИЧ — единственный микроорганизм, который научился передаваться, хотя при этом конкурирующими паразитами уничтожается 100% его носителей. Его эпидемиологическая цепочка ограничена лишь количеством живущих на Земле людей. <...> Уже через 20 минут вирус, проникший в кровь человека, интегрируется с его геномом, становится частью собственных генов человека. Для человеческого организма бороться с вирусом, вызывающим СПИД, — это то же самое, как самому бороться с цветом глаз или кожи. Дальше, в течение нескольких недель, человек становится заразным, но это еще не означает, что вирус может быть немедленно обнаружен с помощью иммунологических реакций. Он себя никак не проявляет. Человек сдает кровь на антитела — они не обнаружены, а вирус уже присутствует! <...> Вакцина создана не будет. Миллиарды долларов, которые тратятся на ее разработку, либо напрямую питают массу „исследователей”, которым только давай побольше, либо отстирываются от незаконного прошлого. <...> Уже лет пятнадцать известно, что антитела к вирусу СПИДа не обрывают инфекционный процесс, а усиливают его. Это так называемый феномен „антителозависимого усиления инфекции”. Причем свою оболочку вирус делает из клеточного материала человека. У него на поверхности есть отдельные участки, которые вызывают образование антител, но эти антитела лишь ускоряют его распространение по клеткам иммунной системы, в которых вирус СПИДа живет и размножается. <...> Поэтому говорить о том, что создание какой-то вакцины против СПИДа возможно, — это по меньшей мере лицемерие». Автор — кандидат биологических наук.

«Там, где аборт — норма жизни, жить как-то не хочется». Беседовали Владимир Ларионов и Василий Владимирский. — «Книжное обозрение», 2003, № 17, 28 апреля <<http://www.knigoboz.ru>>

Говорит фантаст Елена Хаецкая: «Я участвую в мероприятиях [литературно-философской] группы „Бастион” потому, что у меня добрые отношения с членами группы „Бастион”. Это единственная известная мне группа, где христианин находится среди своих. Сейчас основная тема, которую развивает „Бастион”, — это не столько „империя”, сколько „традиция”, то есть стремление культивировать (хотя бы в литературе) такие вещи, как традиционная религия, нормальная теплая семья. Это взгляд, свободный от „модного”, от „нового времени”, — от мира, где реклама чулочных изделий неотличима от рекламы стриптиза. В общем, „пусть шар земной кружится — мы неподвижны”. <...> „Где вера тебя застала, там и стой”. Застала в писательстве — буду пока писателем. Идеалом совмещения религиозных убеждений и литературного творчества могут служить Льюис, Толкин, Андерсен, Лесков. Это не значит, что я их всех люблю, например, Андерсен — протестант, и весь боекомплект протестантского морализаторства у него налицо. Толкин — католик, он почти свой. Кроме того, Толкин писал фэнтези. Писатель-христианин, что бы он ни писал, никогда не будет развивать идею дуализма добра и зла, их равновесия и равноправия в мире. Добро — абсолют, а зло — отсутствие добра, не самостоятельная субстанция, но направление воли. Поэтому даже в

фэнтезийном романе не будет противостояния Двух Сил. Будет Одна Сила — и злое направление воли отдельных заблуждающихся товарищей. Писатель-христианин не станет заигрывать с чуждыми идеологиями. У него не появится „добрая ведьма“, не будет белых магов. Магия — как насилие своевольного человека над естественным ходом вещей — есть грубейшее попрание Божьей воли; направлена ли она на исцеление ближнего или на наведение на онтого порчи, магия всегда есть зло, в любом случае. Чудо будет показано как некий разрыв в ткани рутинного бытия, возможный благодаря присутствию высшей силы и чуткости того человека, с которым оно происходит. Чудо есть подарок Бога человеку — чтобы ободрить, похвалить, спасти. Некое отцовское деяние по отношению к своему ребенку. Целью положительных персонажей книги, написанной автором-христианином, как мне представляется, должно быть непрерывное движение вверх, к Богу, обретение чистоты, очищение от грехов. Эти персонажи кладут жизнь за ближних, отменяют терзавшие их страсти, обретают истинное прибежище в Боге и Небесном Царстве. Сказка вполне может не нарушать всех этих принципов, и фэнтези может не оскорблять христианского чувства...»

Евгений Терновский. О Марине Цветаевой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 231.

«В те пролетевшие — и улетевшие — первые годы моей эмиграции (1975 — 1978) парижская жизнь Марины Цветаевой была мне мало известна. Но я отметил не без удивления, что и светила русской эмиграции, и скромные литературные труженики отзываются о поэтессе уважительно и вяло, отнюдь не разделяя моего восхищения.»

Георгий Трубников. Я читаю Вознесенского. — «Известия», 2003, № 80-М, 12 мая.

Здесь же — другие материалы к 70-летию поэта. Среди прочего: «Конечно, я готов подписать каждую строчку [„Лонжюмо“], потому что тогда это было искренне и шло с небес. Вот этот ритм, который там есть, и все это... Поэт должен разделять иллюзии своего народа. Здесь я шел за Пастернаком. Он встретился у гроба Ленина с Мандельштамом. Оба пришли туда не для того, чтобы плюнуть в него, а чтобы проститься. Поэт Олег Хлебников говорил, что его учитель называл „Лонжюмо“ антисоветской вещью. Тогда ведь Ленин был анти-Сталиным. В третьем томе собрания сочинений, выходящего в „Вагриусе“, я восстановил „Лонжюмо“ так, как было написано. Без купюр», — говорит **Андрей Вознесенский**.

См. также: «Ипатьевский грех — когда-то я стал косвенной причиной сноса дома в Екатеринбурге, где царскую семью расстреляли. Я тогда туда прорвался и решетку, которую они перед смертью видели, выломал на память, думал — все равно уничтожат... Говорят, поступок мой сильно подействовал на интеллигенцию, на молодежь местную — волнения начались. А чтобы неповадно было — дом и снесли...» Говорит **Андрей Вознесенский** в беседе с Еленой Квасковой: «Почва не раз плыла у меня под ногами» — «Труд», 2003, № 84, 12 мая <<http://www.trud.ru>>

См. также: **Белла Ахмадулина**, «Я думаю, что в нем есть нечто, может быть, таинственное» — «Газета», 2003, 13 мая <<http://www.gzt.ru>>

См. также: **Евгений Лесин**, «Поэт и символ» — «НГ Ex libris», 2003, № 16, 15 мая <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: **Лев Пипоров**, «Вознесенский и Реализм» — «НГ Ex libris», 2003, № 16, 15 мая <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: **Армен Асриян**, «Семидесятник» — «Консерватор», 2003, № 16, 16 мая <<http://www.egk.ru>>

См. также сайт: <http://www.voznesensky.spb.ru>

«Трудно быть богом». Беседа с Екатериной Гениевой о создаваемом в России Институте толерантности. Беседу вел Игорь Шевелев. — «Время MN», 2003, 23 апреля.

Говорит **Екатерина Гениева**: «Он [Садам Хусейн] рос среди людей недобрых, злых, в абсолютно нетолерантной среде».

Георгий Хаззагеров. «Русская культура противится официальной политкорректности». Беседа вела Наталья Коньгина. — «Известия», 2003, № 84, 16 мая.

«У нас использование эвфемизмов в отношении слова „негр“ звучит смешно».

Егор Холмогоров. Итоги. — «Спецназ России», 2003, № 4 (79), апрель.

«„Ооновский“ мировой порядок был установлен силой, согласно „праву сильного“ и в интересах сильных. Это был порядок, который победители во Второй мировой войне установили для своих младших союзников и для „нейтралов“ и с помощью которого они пытались ограничить возможности побежденных. Цель ООН была в том, чтобы перенести идеальную модель „антигитлеровской коалиции“ на послевоенный мировой порядок. <...> СССР сегодня нет. США и Великобритания фактически от системы

ООН отказались, так что ООН денонсирована с политической точки зрения вполне „легитимно”, двумя учредителями из трех, при том, что третий „скончался”».

«<...> для оптимизма нам нужно лишь одно — перестать соотносить себя с Америкой в едином историческом и смысловом пространстве. История Америки — это история Запада, финальный аккорд европейской истории — широкий и плоский. История России — история Севера, история, скорее еще не начавшаяся, нежели уже заканчивающаяся. И эти две истории пересеклись ненадолго и на узком отрезке нашего пути».

Егор Холмогоров. Антиутопия образования. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 322, 4 мая <<http://www.lebed.com>>

«Лет пять назад я был умственно большим антисоветчиной мальчиком, чье политическое мировоззрение (как ему казалось) было вполне сформировано „зарубежнической” эмигрантской литературой и идеологией, в которой большевики — антихристы и узурпаторы, а СССР — незаконная полития. Однако „советчика” во мне взлелеяли и взрастили антисоветчики, когда раз за разом, разговор за разговором „против советской власти” я ощущал острейшую несправедливость, ложь, а главное — бесовскую одержимость быть „барами”. Эти баре, эти „расово полноценные”, раз за разом вызывали у меня чувство такого глубочайшего омерзения, что и не передать <...>. Условно говоря, „поколения советских людей” по-настоящему всерьез вложились в то, чтобы их детям досталось образование и чтобы их лечили без гнусной „медицинской страховки”, просто по факту их принадлежности к роду человеческому, чтобы они и жили в своих пусть маленьких квартирках — по-человечески, а не по-барачному и не по-бомжовому. Они совершили ради этого немалое дело — отказались от пресловутых „свободы, собственности, законности”, в особенности — от собственности. На убогом либеральном языке это может называться „долгосрочными инвестициями” кровью, потом и слезами в масштабный проект. И вдруг их инвестиции пропали. Они не исчезли, деньги физически есть, но перешли в другие руки, руки татей, которые после того, как эти деньги присвоили, первым делом заявили, что тех благ, ради которых люди кровь и пот лили, не будет, что „за все надо платить”, а не рассчитывать на халяву... Мне порой хочется этих умников, которые смеют вякать про „за все надо платить”, окунуть в ванную из крови и пота и подержать там минут десять, чтобы они наглотались, чтобы поняли наконец, что Заплатили. Вперед лет на пятьсот заплатили».

Марина Цветаева в письмах сестры и дочери. Вступительное слово и публикация Р. Б. Вальбе. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 3, 4 <<http://magazines.russ.ru/neva>>

«Будь М<арина> жива — я бы смеялась над старостью, преодолевала ее, мускульно, кажд<ый> час. Теперь я иду ей навстречу. Мне ничего не хочется (кроме невозможного свидания с близкими). Я от всего — сбоку» (из письма А. И. Цветаевой к Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич от 16 апреля 1944 года).

Сергей Шаргунов. Андрей Немзер похож на Пуаро. — «НГ Ex libris», 2003, № 16, 15 мая <<http://exlibris.ng.ru>>

«Увы, никто не уловил, насколько Немзер героичен. Достаточно умный и тонкий, ценитель трагично-загульной поэзии, он наперекор всему улыбается. Пускай накатывает черный вал, Андрей Семенович хранит равновесие духа. Даже на литературных попойках выгодно отличается от окосевших и невнятных собратьев. Застыв статуэткой воина, потягивает золотистый напиток. <...> Он такой мякенький, но цепкий соглада-тай. Проницательный детектив. Благообразный, с пушистыми усами (присмотритесь!), невероятно схож со знакомым нам киношным Эрjouлем Пуаро. Внутренне — ребенок, идеалист, внешне же — респектабельный мсье. Вот поэтому для меня Немзер в первую голову — „авторитет”...»

Это критика. Выпуск 4. — «Русский Журнал», 2003, 22 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит критик Александр Агеев: «<...> желание человека читать — ценность куда более важная, чем все, вместе взятые, „гамбургские счета” сомнительной корпорации критиков». Он же: «<...> я люблю читать про себя, а в современной зарубежной литературе (по крайней мере последние полвека) меня нет».

Савва Ямщиков. Вопросы простодушного. — «Завтра», 2003, № 20, 13 мая.

«<...> и совсем ставит в тупик отношение „свободолюбивых” представителей творческой интеллигенции, на дух не переносящих идей большевизма, носящих Дзержинского и его контору на каждом углу, к одной из самых матерых чекисток — Лиле Брик».

Составитель Андрей Василевский.

«Вестник РХД», «Вопросы истории», «Дружба народов», «Егупец», «Звезда», «Знамя», «Континент», «Октябрь»

С. С. Аверинцев. Некоторые проблемы передачи культурного и вероучительно-го предания в современных условиях. — «Вестник русского христианского движения», № 185 (2003, № 1).

«Опасность заключается в том, что сегодня под действием телевизора и прочих подобных воспитателей люди разучиваются употреблять точку с запятой и ему подобные знаки препинания, которые предполагают возможность уточняющей оговорки, и все реже мы встречаем фразы, где посредине было бы некое „но“. И это одновременно императив культуры и необходимость для передачи нашей веры. <...> По моему убеждению, тот, кто передает наследие веры, будь то старший в семье, школьный учитель, проповедник на амвоне или автор книги, должен научиться говорить примерно так: „есть еще такой рассказ..“ — или: „наши предки когда-то верили, что...“ — и пересказать это так, чтобы собеседник, слушатель или читатель чувствовал, что повествование предлагается ему не затем, чтобы он поверил ему наряду с содержанием членов Символа веры, но затем, чтобы уловить, как в причте, его смысл, порадоваться красоте цветка, принесенного когда-то для украшения святыни, — и притом все-таки не путать его с самой святыней».

Михаил Айзенберг. В метре от нас. Стихи. — «Знамя», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Почему летит мошкара,
к световому рвется пятну?
И такую правду — одну —
о себе узнать бы пора.
За собою знать, как подвох.
Но чужую сажу белить, —
это знание — о, не дай Бог
собирать, ни с кем не делить.

Геннадий Барабтарло. Разрешенный диссонанс. — «Звезда», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Крайне интересное, глубокое исследование четвертого английского романа Владимира Набокова («Пнин») сделано американским профессором русской словесности и переводчиком названного сочинения («в сотрудничестве с вдовой писателя»). «Публикуемое эссе — значительно сокращенный вариант главы из готовящейся книги „Серсо. О движущей силе у Набокова“ (изд-во „Гиперион“»).

Дмитрий Быков. Своя правда. — «Континент», № 115 (2003, № 1) <<http://magazines.russ.ru/continent>>

«Из новых оппозиций, на мой взгляд, главной является оппозиция сложности и простоты, утонченности и прагматизма. Новый век, если только нам повезет и человечество сохранится, станет бунтом против прагматизма, ограничивающего мысль и редуцирующего жизнь. По идее, он должен стать веком прекрасных и бесполезных вещей, но такие вещи, как правило, процветают только при диктатурах, болезненно разрастаясь в их теплицах. Если это состоится, у нас будет классная литература; если нет, может не быть никакой. Чтобы обеспечить нормальное литературное развитие, я также полагал бы полезным если не запретить, то значительно ограничить продажу сочинений Д. Донцовой, Т. Устиновой, Т. Поляковой и других клонов И. Хмелевской. Покупатель, конечно, волен приобретать некондиционный продукт, но когда им завалены все прилавки — он попросту теряет представление о кондиционности (это что понимать под *прилавком*; магазин „Москва“, например, клонами не завален, — кроме одного-единственного отдела, а вот лоточки всегда найдут, что раскинуть веером перед спешащим на свою электричку гражданином. — *Л. К.*) <...> И последнее. У меня есть подспудное ощущение, что великая литература всегда начиналась с дневников, с интимного разговора о том, о чем вслух пока сказать нельзя. Бурный расцвет «Живого Журнала» <www.livejournal.com>, оживленные и подчас ожесточенные дискуссии, которые кипят там и на форумах, скажем, «Русского Журнала» <www.russ.ru>, заставляют надеяться, что вскоре мы действительно получим незаурядную словесность. Надо только смелости набраться и сказать вслух то, что сегодня проговаривается шепотом и в тусовках. А именно — что Бог есть (и если даже нет, то правильной думать, что есть). Что человек жив надличными, внеположными ему ценностями, а не только страхами и желаниями своего брюха. Что есть вещи поважнее жизни и поинтереснее настоящего времени. Вот когда об этом станет можно говорить в открытую, не боясь попасть в фашисты, — у нас и будет литература. А пока у нас есть суррогат. Пустая порода, в которой, впрочем, сейчас уже начали попадаться первые блестящие».

Сергей Васильев. Как в яме оркестровой. Стихи. — «Знамя», 2003, № 3.

Так много звездных тропок и дорог,
Так мало не кривых путей небесных.
Вон месяца исламский полурог,
Вон стая полуангелов любезных.
Вон целый сонм... Но нет, чему бывать,
Тому не я, мой Господи, виною,
Ведь Ты меня научишь убивать,
Когда они пойдут на нас войною?

С. Гедройц. Алексей Цветков. Просто голос. — «Звезда», 2003, № 4.

О книге стихов и прозы, изданной в прошлом году издательством «Независимая газета». «Кое-кто, боюсь, даже не догадывается, что есть такой значительный современник. И рискует упустить „Просто голос” — а эта поэма написана прозой самой лучшей, какая бывает. Прозой, не уступающей стихам Цветкова же — крайне, в свою очередь, неуступчивым». Трудно не подписаться: Цветков — блистательный (и, странным образом, не оцененный по-настоящему) писатель.

Дискуссия о монашестве (переписка прот. Василия Зеньковского и сестры Иоанны Рейтлингер). — «Вестник РХД», № 185 (2003, № 1).

«Для меня в центре христианской жизни стоит подвиг борьбы с собой, преображение себя (не во имя „идеала”, а во имя Христа). Я не знаю (или почти не знаю) внутренней жизни монахов, чтобы судить, насколько у них эта основная задача остается на первом месте, но по себе (как священник) боюсь, что это остается лишь в принципе у них так, а не в живой динамике души. Скажу о себе как священник: священство есть особый благодатный дар *во* мне, но мое „я” и священство во мне *не тождественны*. Между тем я с ужасом чувствую, как во мне все больше и больше идет тенденция к отождествлению, — точно я думаю и чувствую и делаю все „как священник”. Священство есть *таинственный* дар, прежде всего таинственный и страшный для меня самого. О, если бы мне навсегда сохранить самое острое ощущение этого страха и даже ужаса перед священством во мне!.. И я боюсь, что в монашестве (даже если считать постриг таинством) наступает успокоение, *точно с постригом произошло онтологическое изменение* в самом человеке. С постригом должно быть труднее, а не легче! Между тем общая (?) психология у монахов, они точно за стеной... Да, психологически (то есть в самосознании) они за стеной, но онтологически они над миром, вне его, то есть обнажены от естественной благодатности. Вот этот психологизм, это воображение себя за стеной *и есть мифология*, ибо мы (миряне и священники, живущие в мире) *больше за стеной*: нас ограждает свет и тепло мира...

<...> Пол в человеке остается огнем палящим, и в монашестве, как свидетельствуют патерики, тут идет ожесточенная борьба. Тут страшно много напутано — и по распутству в мире, и по тайному гнушению полом.

Тае одно — где бы прочитать о том, что в Церкви первоначально постриг считался таинством? Подозреваю, что это считалось таинством *в том* распространенном смысле, при котором всякая молитва переходит в таинство. Да будет с вами Господь. Прот. В. Зеньковский <...>».

Ирина Ермакова. Уголь зрения. Стихи. — «Октябрь», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/october>>

Уголь зрения — вид на жизнь из окна.
Пепел стряхни, и так прожог одеяло.
Ветер меняется. Дай-ка еще огня!
Я вообще не курю
С кем попало.

Дмитрий Замятин. Метагеография русских столиц. — «Октябрь», 2003, № 4.

Рубрика «Путевой журнал» (ведущий Андрей Балдин).

«Чужеродность Петербурга для Расеи-матушки настолько очевидна, что говорить о ней — уже дурной тон. Хочется рассеяться от этого геополитического „не в дугу” сна, ан не получается. Но затем и Москва спокойно стоит, дабы Питер время от времени порскал».

Кстати, если бы я и желал чего моей любимой рубрике, так это побольше *настоящего* «слова в простоте», да боюсь, это не в их вкусе.

Наталья Иванова. Клондайк и клоны. Заметки о способах литературного размножения. — «Знамя», 2003, № 4.

«Надежда на то (и на тех), у кого есть страсть к разрывам. К пробе себя — нового. К испытаниям, экспериментам над собой, даже к провокациям самого себя — иногда и

это полезнее загустевания собственных находок. По мне, неудачный, странный, на особицу растущий цветок дороже стандартного самоповторяющегося нарцисса». Уйма примеров (неожиданных в том числе).

Михаил Кольцов. Фельетоны 1918—19 годов. Публикация М. А. Рыбакова. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах. Киев, 2003, № 11 <<http://judaica.kiev.ua>>

Фельетоны того времени, когда Кольцов «застрял» в Киеве после Октябрьского переворота. Из предисловия благополучного брата-карикатуриста: «То был период, когда под эгидой германских оккупантов в столице украинской державы (так именно называлось государство, возглавляемое гетманом Скоропадским) установился определенный порядок и спокойствие». Далее брат пишет, что эти-то фельетоны через двадцать лет и «помогли» шить расстрельное «дело» Михаилу Кольцову. Ну, это легко. Пытали его тринадцать месяцев с другими целями, я думаю.

Фельетонов — семь: от «Театральных силуэтов» и «Темных залов. (Мысли об экранные)» до «Русской сатиры и революции». Примечателен фельетон «Никаких двадцать» — о торжествующем хаме, городской сволочи, растворившейся и в театральной толпе, и в кинотеатре, и в «паштетных за Думой».

«И так он гуляет между нами, спокойный и уверенный, наглый и требовательный, как у себя дома. Мы привыкли к нему, миримся спокойно и почти равнодушно слушаем за ухом его „никаких двадцать” и „А раньше!”, не протестуем. Мы не думаем бороться с ним. Все так в порядке вещей... А ведь он, этот большой, „никаких двадцать” — самое страшное в нашей жизни. Это он за пятнадцать месяцев утопил Россию в крови и слезах. И взбунтовавшиеся солдаты, рабочие и крестьяне — все это войдет в свои берега, все скоро вернется к порядку и труду.

Городская чернь — никогда!

Пока она существует, она будет опасна при всех режимах, при всех правопорядках. У большевиков „никаких двадцать” служил в комиссарах.

Носил фронтовой френч, беспощадно и холодно расстреливал буржуев, носил золотые кольца на всех десяти пальцах заскорузлых рук. У „самостийников” он был не менее свиреп, подстерегая и старательно уничтожая сторонников ненужной ориентации. В эпоху реакции он будет усердно служить в „союзе”, устраивать погромы и топтать изнасилованных девушек тяжелыми сапогами.

Для нас, „жителей” и „обывателей”, он опаснее всяких диктатур, ибо он сам диктатура и сам террор, причем террор постоянный, не страдающий от политической погоды и перемены режимов. Те грабежи и убийства, о которых мы читаем петилом в городской хронике, — только маленькое временное занятие. Он отдыхает теперь, ненасытный „никаких двадцать”. Отдыхает и растет, все увеличиваясь в размерах среди соблазнов и удовольствий нашего жутко веселого житья. Он гуляет между нами, не обращая на нас никакого внимания...

Но пусть, на горе нам, прорвется какая-нибудь плотина, сломается что-нибудь в непрочных механизмах, охраняющих наши тела и спокойствие, и опять мы увидим у своих лиц, близко-близко, озверелую маску городского дикаря, гориллы в пиджаке, необузданной и дикой черни. — „Вечер”, 6.12.1918, № 50».

Григорий Кружков. Все изменяется, кроме палочки от эскимо... Стихи. — «Дружба народов», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>

Называется «Гамлет 2001».

«Гертруда, вливающая в уши сыну отраву; / Офелия, путающаяся с королем, его сыном и братом, / с кузеном и дядей, со стражниками на стене и / могильщиками в яме; / Гамлет, крадущий у отца шкатулку с письмами, чтобы / их подменить; / Череп Йорика, вспоминающий, как он тешил и веселил / неблагодарного принца; / Лаэрт, не желяющий поднимать выбитую у него шпагу; / Три Горацио, беспрерывно удивляющихся».

Юрий Кублановский. Стихи. — «Вестник РХД», № 185 (2003, № 1).

Цитирую вторую строфу стихотворения, первоначально опубликованного в «Новом» мире» (2003, № 5).

...Когда в приделе полутемном
вдруг поднял батюшка седой
казавшееся неподъемным
Евангелie над головой,
мне вдруг припомнился витии
ядоточивого навет:
заемный, мол, из Византии
фаворский ваш и горний свет.

Пока, однако, клен и ясень
пылают тут со всех сторон
в соседстве сосен,
источник ясен,
откуда он.

В современной поэзии, кажется, только у него, Кублановского, я встречаю этот целомудренный и одновременно зависающий по-над пропастью *риск сопряжения*: в предыдущей строфе — осенний пейзаж, слитый с более чем откровенным и чувственным портретом возлюбленной, и затем — через отточие — то, что вы прочитали. Вот написал и вспомнил, что еще более десяти лет тому назад покойный Семен Липкин говорил как раз о поэтической смелости Ю. К., но тогда речь шла о взгляде на купола храма Василия Блаженного и мысли о победе Востока над Москвой. *Философия* риска, в общем, та же, она «окупается» искренностью и неподдельным изумлением перед красотой и таинственной гармонией всего сущего.

Микола Лукаш. Шпигачки. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах. Киев, 2003, № 11 <<http://judaica.kiev.ua>>

Предупреждаю: альманах двуязычный. Теперь — пара «шпигачек»:

Ой ти, боже мій, боже істини,
Поможи мені, атеїстові!

Это называется «Молитва». И еще одна — без названия:

Бувають же такі дебіли —
Не зна, де чорне, а де біле!

Сергей Морозов. Устная речь. Стихи. Вступительная заметка и публикация Бориса Дубина. — «Дружба народов», 2003, № 4.

Очевидно, это первая относительно представительная публикация стихов талантливого малоизвестного поэта, когда-то входившего в поэтическую группу СМОГ; бесыходно-одинокого человека, стихи которого выглядят полноценным лирическим дневником его горькой судьбы.

Во многолюдье кану,
всеведенья вольней,
судьбу на том достану,
что умолчу о ней.

Верней других отрада
того стиха и дня,
где от условия лада
не отличить меня.

(Из стихотворения «Обещание», 1970)

В. М. Муханов. Князь Александр Иванович Барятинский. — «Вопросы истории», 2003, № 5.

«Вскоре после этого Барятинский сам отправился в Большую Чечню. <...> Затем он завершил прошлогоднее уничтожение Шалинского окопа. Таким образом, под удар русских войск в 1852 г. попала наиболее населенная и жизненно важная часть Чечни...»

Любимая рубрика «Исторические портреты». О жизни и боевой/административной деятельности командующего Кавказской армией (и наместника), при котором «начался процесс интеграции Кавказа в общероссийские рамки и его постепенное умиротворение». Впоследствии князя «ушли». Как это часто бывает при чтении означенного журнала, вашему обозревателю немедленно пришли в голову фантастические ассоциации (в том числе *именные*).

Да-да, и Трошев тоже!

Александр Неклесса. Инновация и революция. — «Дружба народов», 2003, № 4.

«У России есть качества, которые проявляются одновременно и как негативные, и как устойчивые. Одно из них — слабо формализованный, „рваный“ контекст. При решении любой проблемы в России сталкиваешься со специфической неряшливостью, дефицитом формальных конструкций. Подобная „клочковатость“ имеет свои культурологические основы, но не они предмет нашего разговора. Главное — то, что в российской реальности есть, на мой взгляд, некая специфическая черта, которая, как это ни странно, в ряде случаев способствует инновациям. Именно потому, что у русского ума нет устойчиво формализованного взгляда на положение вещей, внутреннего согласия с прописью и линейной логикой. Русский взгляд лучше видит переменчивость про-

странств и структур, их несоответствие формальным лекалам, а следовательно, улавливает и невидимые, „не имеющие имени” возможности, то есть инновации».

Ольга Новикова. Мне страшно, или Третий роман. — «Звезда», 2003, № 4.

Печальное, по-настоящему очень *женское* сочинение (хотя глагол «сочинять» здесь, думаю, был бы не вполне к месту) о любви, одиночестве, «защитном» и «беззащитном» цинизме и унижении паче гордости. Но прежде все-таки — о любви, о, кажется, не вполне осознаваемой, глубоко запрятанной тоске по ней, настоящей (какой же, какой?).

Там в тексте кроется одна, на мой взгляд, ключевая фраза, характеризующая героиню-повествовательницу: «Никогда еще не выходила с миром один на один». Пользуясь известной скороговоркой про колпак, добавлю еще, что это крайне *неререфлектированная* вещь, что, по-моему, является важной деталью в душевном портрете лирической героини.

А еще это — о материнской страсти, «неразумной родительской доброте», рассказ о которой сопровождается весьма неожиданными умозаключениями. «Неуправляемый вирус доброты атрофирует волю им зараженного — нормальный с виду человек неминуемо и незаметно для себя (для близких тоже) превращается в инвалида, и вместо того, чтобы перебираться через естественные препятствия, которые ставит людская злоба, ревность, зависть (каждый побывал их строителем, кто нет, киньте в меня камень), и наращивать благодаря этому тренингу не стероидные, а крепкие, хорошо действующие мускулы, — человек робеет, отступает и скатывается на обочину, а ум услужливо подсовывает философию клошара, пораженческую, ведь победное место Диогена (в бочке, если кто не помнит) при повторе, тиражировании как всякое искусство становится лишь пародией».

Наталья Панасенко. Чуковский в Одессе. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах. Киев, 2003, № 11 <<http://judaica.kiev.ua>>

Многие таинственно зияющие бреши в биографии Чуковского теперь заполнены. Трудюбивая краеведка раскопала (или вплотную приблизилась к искомому) адреса и метрики, уточнила даты, соотнесла изложенное в *художественном* сочинении Чуковского «Серебряный герб» с открывшейся ей реальностью. Теперь мы знаем, когда он крестился и венчался, кто были родители жены и почему гимназия, из которой его выгнали, называется в разных источниках то второй, то пятой. И — самое трагическое: родители незаконнорожденного мальчика. «Теперь и слова „кто я? еврей? русский? украинец?” уже не кажутся случайным набором национальностей, а приобретают конкретность: отец — еврей, мать — украинка, а по языку и культуре он чувствовал себя русским».

Это первая публикация, которая (с 99,9%-процентной уверенностью все-таки) позволяет назвать *настоящее* имя Корнея Ивановича Чуковского или, точнее, каким бы оно было, если бы его крестьянская мама смогла выйти замуж за человека, не отмеченного клеймом простолудина. Его бы звали... Николай Эммануилович Левенсон. «Однако чем больше о нем (К. И. Чуковском. — П. К.) узнаешь, — пишет в конце своего исследования Н. Панасенко, — тем больше возникает вопросов».

Дмитрий Полищук. Приглашения. Стихи. — «Октябрь», 2003, № 3.

Ежли мне попушено еще наперед
хоть полслова вышептать наоборот —
смертью чтоб довременной не оплошать,
город мой, мне б сызнава научиться дышать!
.....
Чтоб опять и сызнава, любя и губя,
через себя протискивать, нанизываться на тебя
и трубить во славу дымную иль
кукарекать, взмыв на эфирный шпиль.

Владимир Радзишевский. В кругу себя. Труды и дни Давида Самойлова. — «Дружба народов», 2003, № 4.

Как всегда у этого автора (В. Радзишевского) — исчерпывающе внятный «портрет» рецензируемой книги, вкрапляющий в себя историко-литературоведческий и психологический анализ ее и — собственные воспоминания.

«Поэтам нравится повторять вслед за Есениным, что вся их жизнь — в их стихах. Это так весомо, многозначительно и несуетно. Но если говорится без лукавства, то наталкивает лишь на мысль о том, что поэту пока не приходило в голову завести дневник. <...> Комментаторам дневников не позавидуешь: столько событий им нужно переворо-

шить, столько намеков расшифровать, столько людей представить читателю. Так и подмывает пересказать то, что общеизвестно, маскируя тем самым отсутствие сведений, которых нет в расхожих справочниках. А надо ли вообще устраивать ликбез для тех, кто не подозревает, что Юнна Мориц — „поэтесса, переводчица“, Виктор Соснора — „поэт, прозаик“, а Чухонцев — просто „поэт“? <...> Теперь очередь Александра Кушнера. Кто же он в самом деле? Оказывается, „поэт, главный редактор серии 'Новая библиотека поэта'. Вот так фокус! Выходит, Самойлов понятия не имел, кого принимает. Ведь при его жизни „Новой библиотеки поэта“ еще не существовало. Наверное, Давиду Самойловичу было бы интересно это узнать, но не с таким же запозданием. А тем, кто до сих пор не осведомлен, что Кушнер — поэт, нужно попросту предложить для чтения какую-нибудь другую книгу. В то же время множество лиц, обозначенных в дневнике, остаются неопознанными. Видимо, поэтому нет здесь именного указателя, без которого теряется смысл задорная поговорка Пабло Пикассо: „Я не ищу, я нахожу“ и вспоминается унылое присловье: „Ищи — свищи!“

См. также переписку Давида Самойлова и Лидии Чуковской — «Знамя», 2003, № 5, 6 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Редакция приносит извинения за ряд опечаток в № 183 и 184. — «Вестник РХД», № 185 (2003, № 1).

«№ 184 <...> с. 369 (вместо) „отец дьявола“ следует читать „отец дьякона“».

Мало, конечно, редакции утешения, но, слава Богу, хоть не в богословском тексте, а в статье о «делах» прототипов эпопеи И. С. Шмелева «Солнце мертвых» — в архиве КГБ.

Мария Ремизова. Москва — Питер и обратно. — «Континент», № 115 (2003, № 1).

Жесткая, поэтичная, организованная с помощью какого-то сумасшедшего ритма повесть-«неделька» (начинается в пятницу и кончается в пятницу). Я прочитал ее, нервничая, как историю о том, как оно жить *без Бога* (вспомнил и прошлогоднюю новмирскую публикацию дневников доктора Ливанова, между прочим). Ремизова написала о эле, включающем в себя и безумие; о размягчении души; о том, как много в человеке от *робота*, куклы, которая легко и незаметно становится поводырем по доброльному прижизненному аду. Впрочем, кому-то может показаться, что это — об инфантильных и несчастных молодых людях и их родителях. О потерянных поколениях и потерянном времени. Как бы не так.

Надо ли напоминать, что автор — известный (и любимый вашим обозревателем) литературный критик?

Ольга Сedaкова. Сила присутствия. — «Континент», № 115 (2003, № 1).

О книге: Антоний, Митрополит Сурожский. Труды. Составитель Е. Л. Майданович. М., «Практика», 2002, 1080 стр. (!).

«В те годы, когда слова митрополита Антония и сам он появились перед московскими искателями православия, нельзя сказать, чтобы мы были готовы к такому повороту дела. Многие тогда думали, что все дело в знании: надо поскорее и поточнее узнать, как правильно все делать, сколько раз, как именно. На одной из встреч кто-то характерным образом спросил Владыку: „Сколько раз в день нужно читать 'Отче наш'?“ И услышал — со ссылкой на кого-то из подвижников — что человек, один раз в жизни *в самом деле* призвавший Господа, уже не погибнет. Такая мера обескураживала».

Константин Сигов. Письмо в Иерусалим о «Северном кресте». Вместо предисловия к публикации стихотворений Вадима Гройсмана. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах. Киев, 2003, № 11 <<http://judaica.kiev.ua>>

«Вчитавшемуся в этот странный перекресток становятся внятны смесь боли, юмора и песенной, истовой интонации. Внятна невозможная возможность в старом городе Иерусалиме

Встать под мозаики и фрески,
Поднять десницу, как в бою,
Перекрестить свой лоб еврейский
И грудь еврейскую свою.
И после мора, глада, труса,
Вражды и казни роковой
Ко гробу Господа Иисуса
Припасть холодной головой.

Скорбями, горем очищенным, — тихо очам открывается дверь в Дом».

Никита Струве. К 150-летию кончины В. А. Жуковского (1783 — 1852). — «Вестник РХД», № 185 (2003, № 1).

«В предыдущей передовице мы сожалели, что 150-летие смерти Гоголя было слабо отмечено в России. Что же сказать тогда о 150-летию его друга, наставника и помощника Василия Жуковского, старшего на 26 лет, одарившего его в письмах нежно-шутливым прозвищем „Гоголек“? <...> А в жизни их соединяла подлинная, по-разному проявляющаяся тяга к святости. <...> Трудно найти у кого-либо более высокое представление о поэзии, чем у Жуковского: как он писал, она есть „Бог в святых мечтах земли“, он первый определил ее прилагательным „святая“, позже подхваченным Боратынским, — до Тютчева сказал, что „лишь молчание понятно говорит“. <...> Удивительны „его готовность к моральным лишениям, страданиям, мысль о закономерности утрат“ (И. Семенко). Считаю, что в жизни „все или жертва, или губитель“, он сам безропотно склонялся к жертве, ради мира пожертвовал невестой, ради жены-немки — родиной».

Д. О. Чураков. «Третья сила» у власти: Ижевск. 1918 год. — «Вопросы истории», 2003, № 5.

Автор пишет, что политика *таких* правительств изучена существенно хуже, чем деятельность и большевистского, и белых правительств: «Это проявилось в том, что российские и зарубежные авторы в своих работах заимствовали не только аргументы, но и язык героев своих исследований. Отсюда проистекали „кулацкий мятеж“, „бело-учредиловцы“, „белые банды“, а также „интернационалистский сброд“, „красные палачи“ и многое другое».

После обилия цифр, имен и цитат из документов следует вывод: «Ижевские рабочие проявили незаинтересованность как в белом, так и в красном режиме. Вместе с тем опыт правления в Ижевске „третьей силы“ показал, что демократическая власть в тех условиях была реальна только в виде „демократической диктатуры“, которая по своим методам и средствам осуществления политики мало чем отличалась и от большевистской, и от военной диктатуры. Развиваясь в этом направлении, политическая линия „третьей силы“ ижевских социалистов была если и не исчерпана, то сильно дискредитирована. Демократические лозунги без демократического наполнения не могли убедить в своей справедливости и полезности людей, поглощенных прежде всего решением сложной задачи — выжить в условиях полного развала и разорения. Не случайно поэтому, что в конечном счете повстанцам пришлось выбирать между Москвой и Омском: Гражданская война навязывала свои законы; оказалось, что у баррикады могут быть только две стороны, а стоящие посередине оказываются под перекрестным огнем».

Кстати, из этой статьи я узнал, что именно в бою ижевцев с большевиками последним пришлось впервые столкнуться с применением психической атаки, «так красочно воссозданной в кинофильме „Чапаев“». Завыл городской гудок, зазвонили колокола Михайловского собора, и под красно-зеленым знаменем ровные шеренги повстанцев пошли, так сказать, в никуда.

Олег Чухонцев. Меликой и вокабулами. Стихи. — «Знамя», 2003, № 4.

Я хлебнул этой жизни непутевой,
отравил душу пойлом непотребным
и давно бы махнул на все рукою,
каб не стыд перед Материю Божией.
.....
Я худой был на земле богомолец,
скоморошьях перезвон колоколец
больше звонов я любил колокольных,
не молитвы сотворял, а погудки.

Леонид Шевченко. Степень родства. Повесть. Предисловие Татьяны Бек. — «Знамя», 2003, № 3.

Из предисловия к повести погибшего в прошлом году от рук уличных бандитов тридцатилетнего писателя: «Когда читаешь эту прозу — еще дрожаще живую, но уже необратимо посмертную, — каждый слог, и знак, и образ кажется вещим (зловещим), пророческим, колдовским предчувствием. Жизнь и смерть неразделимы и взаимоперетекают — границ нет. Бабушка приходит в сон к герою, чтобы от туда показать внуку, какую церковь построили тут (там), где он еще жив...»

Прот. Александр Шмеман. Между утопией и эскапизмом. — «Вестник РХД», № 185 (2003, № 1).

«Все существующие системы взглядов, даже самые пессимистичные, уделяли место радости, но счастьем считалось что-то совсем иное. Никому и в голову не приходи-

ло, что жизненной целью человека должно быть счастье, и притом счастье, понимаемое как принятие исключительно пищи, одобренной Сельскохозяйственным департаментом США, и воздержание от таких опасных продуктов, как вода, хлеб, мясо, кофе, чай, не говоря уж о табаке и прочих вещах подобного рода. Радость находили скорее в небольших нарушениях всяких предписаний: побольше выпить, побольше посмеяться, иногда покуролесить по случаю праздников... Не удивлюсь, если скоро у нас будут в ходу рецепты, утопические рецепты, как веселиться, не нанося себе вреда, блюда пресловутое счастье. Утопия — вещь всепроникающая, повсеместная, хотя мы еще не вполне всего достигли. Мы все еще загрязняем воздух, но завтра мы непременно станем благороднее.

<...> Существует это ощущение мира, как сотворенного, падшего и искупленного. Пока это триединое ощущение не распалось, наша культура, укорененная в Евангелии, никак не способна была впасть до конца ни в утопию, ни в эскапизм. И сегодня реальная интеллектуальная и духовная работа, стоящая перед нами, христианами, состоит вовсе не в том, чтобы просто сделать выбор между утопией и бегством от действительности, не в том, чтобы преподнести религию как некую успокоительную пилюлю, что-то вроде святой валерьянки. Настоящая наша задача — заново обрести то, что я называю фундаментальной христианской эсхатологией. Каким бы ни был „мир иной” (а нам ничего о нем не известно), этот „мир иной” прежде всего открывается нам здесь и сейчас. Если мы, я повторяю, не можем найти Царство Божие в Чикаго, Вильмингтоне, на Тайм-сквере и т. д., то мы никогда не найдем его нигде. И пусть те, кто надеется обрести его где-нибудь в Трансваале, поедет туда, если они могут себе это позволить. Они обнаружат, что там все то же самое, что и здесь.

<...> Эта фундаментальная христианская эсхатология нарушается как оптимизмом, ведущим к утопии, так и пессимизмом, ведущим к бегству от реальности. Если есть два еретических слова в христианском словаре, — это оптимизм и пессимизм. Эти два понятия совершенно противны Библии и христианству. Нам, христианам, необходимо восстановить эту единственную в своем роде веру, которая не имеет никаких, совершенно никаких иллюзий относительно зла. Мы попросту не можем себе позволить дешевенькую веру, требующую от нас всего-навсего бросить пить и курить, маленькую религию, обещающую нам „поющее завтра”, лишь только мы перестанем разрушать свое здоровье употреблением утреннего кофе. Наша вера основана на двух главных откровениях: „Так возлюбил Бог мир” и: „Этот падший мир таинственно искуплен”.

Я дарю тебе свою любовь, передавай ее дальше... О явлениях Богородицы в Междугорье. — «Континент», № 115 (2003, № 1).

Пятидесятистраничная публикация, включающая в себя статьи от редакции и текст о. Анри Мартена «Междугорье». Здесь и обзор посланий Богородицы в Междугорье, множество свидетельств, их осмысление. Убежден, это надо прочитать. «Одни, может быть, только посмеются над этим, другие скажут: да вы с ума сошли! — третьи недоверчиво и осторожно решат — что ж, подождем, посмотрим... И все будет в своем праве. И все-таки есть один очень простой вопрос, который не может, не имеет права не обратиться к себе любой человек, который нешуточно относится к своему пребыванию в этом мире: *а вдруг?..* Вот это „а вдруг?” и обязывает, по крайней мере с полной серьезностью и ответственностью, отнестись к тому, чтобы узнать все, что можно узнать о происходящем в Междугорье, попытаться разобраться в этом и столь же ответственно совершить свой выбор, какой бы он ни был. Но только для этого мы и предприняли настоящую публикацию».

Составитель Павел Крючков.




АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

●

АДРЕСА: аналитический портал «Конструирование будущего»: <http://www.future-design.ru>

●

ДАТЫ: 28 августа (9 сентября) исполняется 175 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828 — 1910).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Август

10 лет назад — в № 8 за 1993 год напечатана повесть В. Богомолова «В кригере».

15 лет назад — в № 8, 9, 10, 11 за 1988 год напечатан роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей».

30 лет назад — в № 8, 9, 10, 11 за 1973 год напечатан роман Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

35 лет назад — в № 8 за 1968 год напечатана повесть Василя Быкова «Атака с ходу».

40 лет назад — в № 8 за 1963 год напечатана поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

ИЗ ПОЭМЫ «СИНИЦЫН И К°»

I

Страна лежала,
В степи и леса
Закутанная глухо,
Логовом гор
И студёных озёр,
И слушала,
Как разрастается
Возле самого её уха
Рек монгольский, кочевнический
Разговор.
Ей ещё мерещились
Синие, в рябинах, дали,
Она ещё вынюхивала
Золотое слово «Русь»...
Из-под бровей её каменных
Вылетали
Стаями утица и серый гусь.

И волков вольная казачья стая
Пробиралась гуськом
По её хребту,
И, тяжёлыми лопатками
Под шкурой играя,
Опасливый медведь
Урчал в темноту.

II

И, ширясь,
Не переставали дивиться
Глаза королевских
И купецких дворов
На потрескивающий ворс
Чёрно-бурым лисицы,
На связки соборей
И сажённых бобров.
Они досылали бочками пороха
и свинца,

Но страна,
Богатством своим густая,
Бобром вцеплялась
В брови дельца
И мантии оторачивала
Горностаем.

И соборей
Дорогие
На женских плечах
Поблескивали сдержанно,
Тревожно
И гордо,
Будто помнили,
Как их лупили в нощах
Свирепой палкой
По окровавленным мордам.

III

Но редкие выстрелы
Таежных троп
Были подобны
Хлопанью птицы сбитой,
И страна только ниже
Пасмурный наклоняла лоб,
Крылатый,
Лосиный,
Готовый в битву.

Она под первый
Весенний
Выкрик гагары
Выпускала процвесть
Народы свои,
В дурман и урман уводила пары
И долго корчилась
В судорогах любви.

А к осени,
Спутав следы добычи,
Волчонок скользил
Сквозь студёный дым,
И всплескивался
Отпустивший усищи
В реках
Полуфунтовый налим.

«Новый мир», 1934, № 8.

IV

К северу,
В предгорьях,
У ледовитых речек,
Где в песке
Синева медвежьей стопы,
Келейным богородицам
Первые свечи
Сжигали одичавшие лесные попы.

Там ютились
Смолевые поместья раскола,
Заросшие по бровь
Грехом и постом...
И до самых крыльев светлых
Тонули пчелы
В цвету золотом,
В меду золотом.

И старцы
Желтый воск
Отделяли богу,
Мед — себе. Вечерами после работ
Девки выходили.
В песнях тая тревогу,
Долгий и невеселый
Вели
Хоровод.

.....

SUMMARY



This issue publishes a narration by Vladimir Makanin «Without Politics», four stories by Georgy Kalinin, an autobiographical epistolary narration by Aleksey Mikhailov «Rehabilitation, or Letters from Spain» on drugs dependence treatment at a rehabilitation centre in Spain. The poetry section is made up of the new poems by Aleksandra Mochalova, Vyacheslav Kupriyanov, Natalya Vankhanen, Yan Shanly.

The sectional offerings are as follows:

Studies of Our Days presents «Colombian Impressions» by Alyona Andreyeva.

Essays contains «Night Watch» — notes by Aleksander Obrastsov from the cycle «Satan in the Cupboard» and the essay by Vladimir Kholkin «„Kolobok”: the Death of a Poet» — a deconstruction analysis of the Russian folk fairy tale.

Close and Distant section contains an essay by Dmitry Shevarov «Visiting Astafyev».

Comments section presents «Christ and Time Machine», an article by Alla Latynina on the latest novel by the popular writer Boris Akunin «Pelagia and the Red Rooster».

The Writer's Diary section: Aleksander Solzhenitsyn resumes his literary collection publishing the article «The Two-part Novel by Vasily Grossman».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,

А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,

Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,

П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,

О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замяткина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”».

Сдано в набор 20.04.2003 г. Подписано к печати 30.06.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8900 экз. Зак. 3275. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Индекс 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек
Индекс 16410 — для предприятий и организаций

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно), по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ.

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию имени Юрия Казакова» до 1 декабря 2003 года.

Объявление лауреата 2003 года и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года.

Состав жюри и размер премии будут объявлены дополнительно.

Контактный телефон: (095) 209-57-02

E-mail: newworld@newtimes.ru